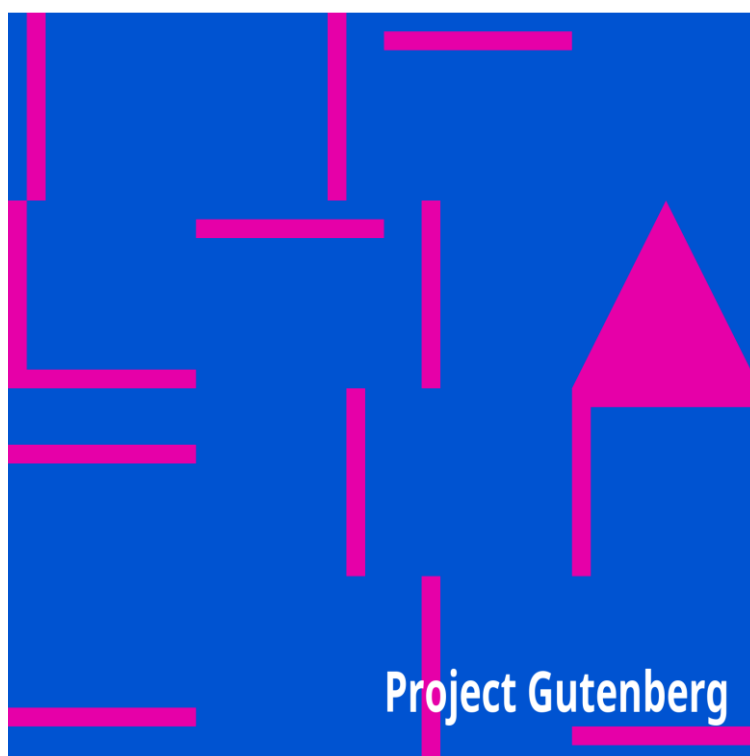


Наследие Греции. Эссе Гилберта
Мюррея, У. Р. Инга, Дж. Бернета, сэра
Т. Л. Хита, Д'Арси У. Томпсона,
Чарльза Сингера, Р. У. Ливингстона,
А. Тойнби, А. Э. Циммерна, Перси
Гарднера, сэра Реджинальда
Бломфилда

The Legacy of Greece

Sir Richard Winn Livingstone



Электронная книга проекта "Проект Гутенберг" "Наследие Греции".

Эта электронная книга может быть использована любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: Наследие Греции

Редактор: Сэр Ричард Уинн Ливингстон

Дата выхода: 6 августа 2007 [eBook #22259]

Последнее обновление: 25 января 2021 г.

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Л.Н. Ядданапуди и командой Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net>

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK THE LEGACY OF GREECE ***

Наследие Греции

Эссе Гилберта Мюррея, У. Р. Инга, Дж. Бернета, сэра Т. Л. Хита, Д'Арси У. Томпсона, Чарльза Сингера, Р. У. Ливингстона, А. Тойнби, А. Э. Циммерна, Перси Гарднера, сэра Реджинальда Бломфилда

Под редакцией Р. У. Ливингстона



ОКСФОРД
В КЛАРЕНДОНСКОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

Примечание транскриптора

Краткие фрагменты греческого текста выделены тонким пунктирным синим подчеркиванием. Транслитерированная версия появляется во всплывающем окне при наведении курсора мыши на слова.

Длинные греческие фразы и стихи сопровождаются транслитерированной версией в скобках.

Несмотря на многие различия, ни одна эпоха не была так близка к Древней Греции, как наша; ни одна эпоха не основывала свою глубокую жизнь в такой степени на идеалах, которые греки принесли в мир. История не повторяется. И все же, если бы двадцатый век искал в прошлом своих ближайших духовных родственников, они были бы найдены именно в пятом и последующих веках до Рождества Христова. Снова и снова, когда мы изучаем греческую мысль и литературу, за завесой, сотканной временем и расстоянием, нам встречается наше собственное лицо, более молодое, с меньшим количеством морщин на чертах и с более определенной и продуманной целью в глазах. По этим причинам мы сегодня, как ни одна другая эпоха, имеем возможность понять Древнюю Грецию, усвоить преподанные ею уроки и, изучая идеалы и судьбы людей, с которыми у нас так много общего, полнее понять и оценить свои собственные. Эта книга - первая в своем роде на английском языке - призвана дать представление о том, чем мир обязан Греции в различных сферах духа и интеллекта и чему он еще может у нее научиться.

Редактор.

Октябрь 1921 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- СТРАНИЦА
- **ЗНАЧЕНИЕ ГРЕЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО МИРА.** Гилберт Мюррей, Ф.Б.А., Региус профессор греческого языка в Оксфордском университете **1**
- **РЕЛИГИЯ.** У. Р. Индж, доктор философии, декан церкви Святого Павла **25**
- **ФИЛОСОФИЯ.** Дж. Бернетт, профессор греческого языка в университете Сент-Эндрюс **57**
- **МАТЕМАТИКА И АСТРОНОМИЯ.** Сэр Т. Л. Хит, К.С.В., К.С.V.O., F.R.S. **97**
- **ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.** Д'Арси В. Томпсон, профессор естественной истории в Сент-Эндрюсском университете **137**

- **БИОЛОГИЯ.** Чарльз Сингер, преподаватель истории медицины в Университетском колледже Лондона **163**
 - **МЕДИЦИНА.** Чарльз Зингер **201**
 - **ЛИТЕРАТУРА.** Р. У. Ливингстон, стипендиат Колледжа Корпуса Кристи, Оксфорд **249**
 - **ИСТОРИЯ.** Арнольд Тойнби, корейский профессор византийского и современного греческого языка, литературы и истории в Лондонском университете **289**
 - **ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ.** А. Э. Циммерн, покойный профессор международной политики Вильсона, Университетский колледж Уэльса, Аберистуит **321**
 - **ЛАМПЫ ГРЕЧЕСКОГО ИСКУССТВА.** Перси Гарднер, Ф.Б.А., Мертонский профессор классической археологии в Оксфордском университете **353**
 - **АРХИТЕКТУРА.** Сэр Реджинальд Бломфилд, F.S.A., R.A. **397**
-

ЗНАЧЕНИЕ ГРЕЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО МИРА

Если измерять ценность жизни человека на земле в долларах, милях и лошадиных силах, то Древняя Греция должна считаться нищей и ничтожной территорией; ее двигатели и орудия труда были ближе к копы и луку дикаря, чем к нашему телеграфу и аэроплану. Даже если мы пренебрежем материальными вещами и возьмем за стандарт фактические достижения расы в поведении и знаниях, средний клерк, который ежедневно ходит по городу, празднично глядя на утреннюю газету, вероятно, лучше ведет себя и бесконечно лучше информирован, чем средний афинянин, который замороженно сидел над трагедиями Эсхила. Только по меркам духа, для которого достигнутое мало, а качество ума, достигшего его, много, который заботится не столько о сумме достигнутых знаний, сколько о любви к знаниям, не столько о хорошей работе полиции, сколько об одном свободном поступке героя, великая эпоха Греции может быть оценена как нечто экстраординарное и уникальное по своей ценности.

По этому стандарту, если он законен и обоснован, мы сможем понять, почему классическая греческая литература была основой образования на протяжении всей поздней античности; почему ее повторное открытие, каким бы фрагментарным и несовершенным оно ни было, смогло опьянить самые острые умы Европы и стать своего рода духовным "возрождением", и как ее дальнейшее и углубленное изучение все еще может быть задачей, на которую стоит тратить жизнь, и способной дать человечеству руководство, а также вдохновение.

Но является ли такой стандарт законным и обоснованным? Непроанализированными фразами мы ничего не добьемся. Но я думаю, что это просто естественный стандарт любого историка философии. Допустим, утверждается, что средний оптик в наши дни знает больше оптики, чем Роджер Бэкон, изобретатель очков; допустим, утверждается, что поэтому он, с точки зрения оптики, более великий человек, и что Роджеру Бэкону нечему нас учить; каков будет ответ? Я полагаю, что Роджер Бэкон, получив определенное количество знаний от своих учителей, имел в себе то, что повернуло их в неожиданные стороны и сделало их безмерно большими и более плодотворными. Средний оптик, вероятно, добавил немного к тому, чему его учили, но не очень много, и, несомненно, многое забыл или перепутал. Так что, если бы, изучая жизнь Роджера Бэкона или его книги, мы смогли соприкоснуться с его умом и приобрести некоторые из его особых трогательных и вдохновляющих качеств, это помогло бы нам гораздо больше, чем простое знание оптики.

Эту истину, несомненно, трудно увидеть в случае чисто технической науки; в книгах более широкого диапазона, таких как, например, книги Дарвина, любой читатель легко может почувствовать присутствие действительно великого ума, производящего вдохновение иного рода, чем самый превосходный современный учебник для экзаменов. В философии, религии, поэзии и высших видах искусства величие ума автора, как правило, имеет значение; почти не обращают внимания на дату, в которую он работал. Это происходит потому, что в технических науках элемент простого факта, или простого знания, так огромен, а элементы воображения, характера и т. п. так малы. Поэтому книги по науке в прогрессивную эпоху очень быстро устаревают, и каждое новое издание обычно заменяет предыдущее. Редчайший случай, когда научное произведение может просуществовать в качестве учебника более десяти лет или около того. *Principia* Ньютона - почти единственный случай среди современных трудов.

И все же таких книг немного. Примерно до 1900 года элементы геометрии регулярно преподавались по всей Европе по учебнику, написанному греком по имени Эвклид в четвертом или третьем веке до нашей эры.^[1] Этот учебник просуществовал более двух тысяч лет. Сейчас, конечно, люди обнаружили множество недостатков в Евклиде, но на это у них ушло столько времени.

Опять же, я знал одного пожилого джентльмена, который рассказывал мне, что в хорошей английской школе в начале XIX века его учили принципам грамматики у писателя по имени Дионисий Фракс, или Денис Фракийский. Денис был греком первого века до нашей эры, который сделал или осуществил замечательное открытие, что существует такая вещь, как наука грамматика, то есть что люди в своей повседневной речи бессознательно подчиняются чрезвычайно тонкому и запутанному своду законов, которые можно изучить и привести в порядок. Денис не сам сделал это открытие, его привел к нему его учитель Аристарх и другие. И его книга несколько раз пересматривалась за девятнадцать сотен лет, прежде чем ее преподали этому старому джентльмену.

Возьмем третий случай: на протяжении всей поздней античности и средневековья медицинская наука основывалась на трудах двух древних врачей, Гиппократ и Гален. Гален был греком, жившим в Риме в начале империи, Гиппократ - греком, жившим на острове Кос в пятом веке до н. э. Большая часть истории современной медицины - это история освобождения от мертвой руки этих великих древних. Но один маленький трактат, приписываемый Гиппократу, активно использовался при обучении студентов-медиков в мое время в Шотландии и до сих пор используется в некоторых американских университетах. Это была клятва, которую давали студенты-медики в классическую эпоху Греции, когда они торжественно приступали к выполнению своих профессиональных обязанностей. Ученик клялся почитать и слушаться своего учителя и заботиться о его детях, если они когда-либо будут нуждаться; всегда помогать своим пациентам в меру своих сил; никогда не использовать и не исповедовать магию, чары или какие-либо сверхъестественные средства; никогда не поставлять яд или проводить незаконные операции; никогда не злоупотреблять особым положением близости, которое врач, естественно, получает в доме больного, но всегда при поступлении помнить, что он идет как друг и помощник для каждого человека в нем.

Теперь мы отказались от этой клятвы: Наверное, мы не так уж верим в ценность клятв. Но человек, который впервые дал эту клятву, совершил великий поступок. Он осознал и определил смысл своего высокого призвания в словах, которые врачи неизвестных языков и неизведанных стран приняли от него и использовали для выражения своих целей на протяжении более чем двух тысяч лет.

Что же я хочу проиллюстрировать этими тремя примерами? Стремительность, с которой мы сейчас, наконец, сбрасываем последние остатки греческого ига? Нет, не это. Я хочу показать, что даже в области науки, где прогресс так быстр, а книги так недолговечны, греки великой эпохи обладали таким гением и жизненной силой, что их книги жили так, как не жили никакие другие. Давайте отвлечемся от мыслей о Евклиде как о чернильном и несовершенном английском школьном учебнике и обратимся к древнему Эвклиду, который, имея очень мало книг, но большой стол с песком, вделанный в пол, планировал и открывал, складывал и перестраивал первые законы геометрии, пока наконец не написал одну из величайших простых книг мира, книгу, которая должна была служить опорой и маяком для человечества еще долго после того, как весь политический мир, который знал Эвклид, был сметен, а короли, которым он служил, были завоеваны римлянами, а римляне со временем завоеваны варварами, и сами варвары, с большим трудом и неохотой, частично с помощью книги Эвклида, в конце концов получили образование; так что, наконец, в наши дни они могут изучать свою геометрию и без нее. Пришло время заменить Евклида; пусть он уйдет. Он, несомненно, достаточно долго держал факел для человечества, а научные книги рождаются, чтобы быть вытесненными. Я хочу сказать, что та же необыкновенная жизненная сила ума, которая заставила Гиппократов, Евклида и даже Дениса Фракийского прожить две тысячи лет, была вложена греками великого века в те виды деятельности, которые в большинстве своем, во всяком случае, не тленны и не прогрессивны, а вечны.

Это простой момент, но он настолько важен, что мы должны остановиться на нем на мгновение. Если мы читаем старый трактат по медицине или механике, мы можем восхищаться им и считать его гениальным произведением, но мы также чувствуем, что он устарел: его работа закончена, мы вышли за его пределы. Но когда мы читаем Гомера или Эсхила, если мы однажды обрели способность восхищаться и понимать их произведения, у нас по большей части не возникает ощущения, что мы вышли за их пределы. Мы, несомненно, достигли этого во всевозможных мелочах, в общих знаниях, в деталях техники, в цивилизации и тому подобном; но вряд ли кто-либо из здравомыслящих людей когда-либо воображает, что он вышел за пределы их основного качества, того качества, которое сделало их великими.

Несомненно, в каждом искусстве есть элемент простого знания или науки, и этот элемент прогрессирует. Но есть и другой элемент, который не зависит от знаний и не прогрессирует, а имеет некую неподвижную и вечную ценность, как красота рассвета, или любовь матери к своему ребенку, или радость молодого животного от того, что он жив, или мужество мученика, стоящего перед муками. При всем нашем прогрессе мы не можем выйти за пределы этих вещей; они стоят там, как свет в горах. Вопрос лишь в том, сможем ли мы подняться до них. Так же обстоит дело и со всеми величайшими порождениями человеческого воображения. Насколько мы можем судить, нет ни малейшей вероятности того, что какой-либо поэт когда-нибудь возьмется за работу, скажем, над основным эффектом, на который нацелился Эсхил в сцене Кассандры в *"Агамемноне"*, и сделает это лучше, чем Эсхил. Единственное, что человечество должно сделать с этой сценой, - это понять ее и извлечь из нее всю радость, эмоции и чудо, которые она содержит.

Это вечное качество, возможно, наиболее ярко проявляется в поэзии: в ней смесь знаний имеет меньшее значение. В искусстве происходит постоянное развитие инструментов, средств и технических процессов. Современный художник может чувствовать, что, хотя он, возможно, не может сделать такую же хорошую статую, как Фидий, он мог бы здесь и там чему-то научить Фидия: и, во всяком случае, он может попробовать свое искусство на предметах гораздо более разнообразных и более стимулирующих его воображение. В

философии смесь более тонкая и глубокая. Философия всегда в некотором смысле зависит от науки, но лучшая философия, как правило, обладает неким вечным свойством творческого воображения. Платон написал диалог о строении мира *"Тимей"*, который пользовался большим влиянием в поздней Греции, но нам, с нашими значительно превосходящими научными знаниями, кажется почти бессмыслицей. Однако когда Платон пишет о теории познания, о высшем смысле Справедливости или Любви, ни один хороший философ не может позволить себе оставить его в стороне: главный вопрос в том, сможем ли мы подняться до высоты и тонкости его мысли.

И здесь возникает еще один момент, столь же простой и столь же важный, если мы хотим понять наше отношение к прошлому. Предположим, человек говорит: "Я вполне понимаю, что у Платона или Эсхила могли быть прекрасные идеи, но, конечно, все ценное, что они сказали, должно было задолго до этого стать общим достоянием. Нет необходимости возвращаться за этим к грекам. Мы не возвращаемся и не читаем Коперника, чтобы узнать, что Земля вращается вокруг Солнца". Каков же ответ? В том, что такой взгляд игнорирует именно это различие между прогрессивным и вечным, между знанием и воображением. Если Гарвей обнаружит, что кровь не неподвижна, а циркулирует, если Коперник обнаружит, что Земля движется вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли, эти открытия можно будет легко передать в самой сокращенной форме. Если механик изобретет усовершенствованный телефон или социальный реформатор заменит плохой телефон хорошим, то через несколько лет мы все, вероятно, будем пользоваться этим усовершенствованием, даже не зная, что это такое, и не говоря "спасибо". Мы можем быть сколь угодно глупыми, но в каком-то смысле мы получили от этого пользу.

Но можно ли применить тот же процесс к *"Макбету"* или *"Ромео и Джульетте"*? Может ли кто-нибудь в нескольких словах рассказать нам, к чему он пришел? Или может ли человек получить от них пользу любым способом, кроме одного - путем яркого и любовного изучения, следуя и чувствуя авторский смысл на протяжении всей книги? Полагать, как, по-моему, делают некоторые люди, что ценность великого стихотворения можно понять, изучив его аннотацию в энциклопедии или бегло прочитав средний перевод, - это, по сути, своего рода умственный недостаток, подобный глухоте или дальтонизму. Вещи, которые мы называем вечными, вещи духа и воображения, всегда кажутся скорее процессом, чем результатом, и достичь их и насладиться ими можно, только пройдя через этот процесс еще раз. Если ценность конкретной прогулки заключается в пейзаже, вы не получите ее, срезав путь или воспользовавшись быстрым автомобилем.

Оглядываясь назад, на любую жизненно важную и значимую эпоху прошлого, мы обнаружим объекты двух видов. Во-первых, это такие вещи, как Венера Милосская, Книга Иова или *"Республика"* Платона, которые интересны или ценны сами по себе, в силу присущих им качеств; Во-вторых, будут такие вещи, как римский кодекс двенадцати таблиц, изобретение печатного станка или запись некоторых великих сражений, которые интересны главным образом потому, что они являются причинами других и более значительных вещей или образуют узлы в великой паутине истории - первые имеют художественный интерес, вторые - только исторический, хотя, конечно, очевидно, что в любом конкретном случае обычно присутствует смесь того и другого.

Древняя Греция важна в обоих смыслах. Для художника или поэта она в совершенно исключительной степени обладает качеством красоты. Например, для контраста с Римом: если вы раскопаете Римскую стену в Камберленде, то найдете множество предметов, алтарей, надписей, статуэток, оружия, сапог и тубель, которые полны исторического интереса, но не намного красивее, чем содержимое современной мусорной кучи. И то же

самое можно сказать о большинстве раскопок по всему миру. Но если вы раскопаете любой классический или субклассический объект в греческом мире, пусть даже не имеющий исторического значения, практически каждый предмет, который вы найдете, будет красивым. Сама стена будет красивой; надписи будут красиво вырезаны; фигурки, пусть дешевые и простые, могут иметь некоторые намеренные гротески среди них, но остальные будут иметь особую правдивость и изящество; вазы будут хорошей формы, а узоры будут красивыми узорами. Если вам доведется покопаться в захоронении и наткнуться на эпитафии умершим, то практически все они, даже если стихи не совсем удачны и слова написаны неправильно, будут иметь этот необъяснимый оттенок красоты.

Я не хочу писать об этом ерунду. Можно подробно доказать этот факт, взяв любую коллекцию греческих эпитафий, и это единственный способ, которым это можно доказать. Красота - это факт, и если мы попытаемся проанализировать ее источники, то, возможно, отчасти поймем, как она появилась.

Прежде всего, это не красота орнамента, это красота структуры, красота правильности и простоты. Сравните атлета во фланели, играющего в теннис, и статного сановника, облаченного в золотые одежды. Или сравните хорошую современную яхту, быструю, легкую и простую, с громоздким, сильно позолоченным галеоном XVI века или даже с китайской государственной джонкой: яхта гораздо красивее, хотя у нее нет и сотой доли украшений. Красива именно она, потому что ее линии и структура правильны. Остальные, по сути, неуклюжие и, следовательно, уродливые вещи, облепленные золотом и краской. Древнегреческие вещи в большинстве своем обладают красотой яхты. Греки много пользовались краской, но кроме нее греческий храм почти так же прост, как сарай: люди, привыкшие к арабескам, витражам и горгульям, часто ничего в нем не видят. Греческая статуя, как правило, вообще не имеет украшений: юноша мчится или молится, старик размышляет - все это выражено в величественной и простой условности, истинной или ложной, анатомия и поверхности правильные или неправильные, не стремящиеся ни к какой красоте, кроме самой истинной. Создателю средневековой деревянной фигуры короля, которую я, помнится, видел в одном из городов на востоке Европы, она показалась бы довольно скучной: корона, поблескивающая разноцветными стеклами, длинная пунцовая мантия, покрытая орнаментами, а под ними - идиотское лицо, ни костей, ни мышц, ни позы. Греки понимали под красотой совсем не это. То же качество в значительной степени относится и к греческой поэзии. Конечно, не то чтобы художественная конвенция была одинаковой или вообще похожей для обработки камня и для обработки языка. Греческая поэзия статна в том смысле, что сильно зависит от своей органической структуры; она ничуть не холодна, бесцветна или жестка. Но в целом греческая поэзия отличается обнаженностью и строгостью, которые разочаровывают современного читателя, привыкшего к пышным украшениям и преувеличениям на каждом шагу. Она отличается той же простотой и прямоотой, что и греческая скульптура. Поэту есть что сказать, и он говорит это так хорошо и правдиво, как может, в подходящем стиле, и если вам неинтересно, то вам неинтересно. За некоторыми исключениями, которые объясняются сами собой, он не разыгрывает по дороге тысячу милых трюков и выходов, чтобы вы забыли о скучности того, что он говорит, забавляясь драпировками, в которые он это заворачивает.

Но тут возникает очевидная трудность. Греческая поэзия, говорим мы, очень прямая, очень простая, очень свободная от неуместных украшений. И все же, когда мы переводим ее на английский и смотрим на наш перевод, наше главное чувство, я думаю, заключается в том, что каким-то образом слава ушла: вещь, которая была высокой и величественной, стала бедной и убогой. Любой приличный греческий ученый, открыв одного из древних поэтов,

сразу же ощущает присутствие чего-то возвышенного и редкого - что-то вроде атмосферы *Paradise Lost*. Но язык "*Потерянного рая*" изощренно извращен и приукрашен до возвышенности и редкости, а язык греческой поэмы прост и прям. Что это значит?

Я могу только предположить, что обычный язык греческой поэзии сам по себе в каком-то смысле возвышен. Большинство критиков принимают это как очевидный факт, но, если это правда, это очень странный факт, над которым стоит задуматься. Отчасти это зависит от простого благозвучия: *Khaireis horôn fôs*, вероятно, красивее по звучанию, чем "Ты радуешься, видя свет", но благозвучие не может быть всем. Звучание многих греческих стихов, как мы их произносим, так и древние, для современных ушей почти безобразно. Отчасти, возможно, это зависит от фактической структуры греческого языка: филологи говорят нам, что, если рассматривать его как образец, то по структуре и росту, а также по способности выражать вещи он является самым совершенным из известных им языков. И, конечно, часто можно обнаружить, что на греческом языке можно легко и изящно выразить мысль, которая становится неуклюжей и запутанной на латыни, английском, французском или немецком. Но ни одна из этих причин, как мне кажется, не доходит до сути дела.

Что же придает словам характер и делает стиль высоким или низким? Очевидно, их ассоциации; компания, которую они привычно составляют в сознании тех, кто их использует. Слово, принадлежащее к языку баров и бильярдных салонов, будет пронизано нормальным умонастроением, преобладающим в таких местах; слово, навевающее мысли о Мильтоне или Карлайле, будет иметь привкус ума этих людей. Поэтому я не могу удержаться от вывода, что если язык греческой поэзии обладает, для тех, кто знает его близко, этим особым качеством острой строгой красоты, то это потому, что умы поэтов, которые использовали этот язык, были привычно настроены на более высокий уровень интенсивности и благородства, чем наши. Это более тонкий язык, потому что он выражает мысли более тонких людей. Под "более тонкими людьми" я не обязательно имею в виду людей, которые вели себя лучше, как по нашим, так и по их собственным стандартам; я имею в виду людей, для которых прекрасные вещи мира, восход солнца, море и звезды, любовь человека к человеку, вражда и противостояние злу во имя добра, и даже такие обычные вещи, как мясо и питье, и такие злые вещи, как ненависть и ужас, имели, как бы, более острый край, чем для нас, и вызывали более быструю и благородную реакцию.

Давайте продолжим этот спор, прежде чем идти дальше. Начнем с того неоспоримого факта, что греки примерно пятого века до нашей эры по тем или иным причинам создавали различные произведения искусства, здания, статуи и книги, особенно книги, которые, вместо того чтобы достойно умереть или выйти из моды при жизни тех, кто их создал, продолжали существовать и до сих пор могут вызывать высокие мысли и сильные эмоции. Пытаясь объяснить этот странный факт, мы замечаем, что греки обладали великим и всепроникающим инстинктом красоты, причем красоты особого рода. Это красота, которая никогда не заключается в неуместном орнаменте, но всегда в самой сути и структуре созданного объекта. В литературе мы обнаружили, что особая красота, которую мы называем греческой, зависит отчасти от прямоты, правдивости и простоты, с которой греки говорят то, что хотят сказать, а отчасти от особой остроты и благородства языка, который, кажется, является естественным выражением острого и благородного ума. Можем ли мы каким-то образом соединить все эти вещи вместе, чтобы объяснить их - или, во всяком случае, более четко зафиксировать их?

В этом нам поможет очень старая и часто вводящая в заблуждение метафора. Люди говорят: "Тогда мир был молод". Конечно, строго говоря, это не так. В общем возрасте мира или человека две тысячи лет между нами и Периклом не имеют большого значения. Мы также не

можем представить, что шестидесятилетний мужчина в пятом веке до нашей эры чувствовал себя более юным, чем сейчас. Как раз наоборот, ведь в те времена не было ни очков, ни вставных зубов. И все же в каком-то смысле мир тогда *был* молод, во всяком случае, наш западный мир, мир прогресса и человечества. Ведь в Греции тогда закладывались основы почти всех тех великих вещей, о которых сегодня заботятся прогрессивные умы.

Молодость, возможно, не совсем верное слово. Есть некоторые растения - например, некоторые виды алоэ, - которые неопределенное количество лет ведут медленную обычную жизнь вблизи земли, а потом вдруг, накопив достаточно жизненных сил, вырастают на десять футов в высоту и распускаются, после чего, несомненно, умирают или проявляют признаки истощения. Если не считать умирания, то похоже, что нечто подобное время от времени происходило с человеческой расой или с теми ее частями, которые действительно цвели. Ведь большинство рас и народов на протяжении большей части своей жизни не прогрессируют, а просто стагнируют, иногда лишь сохраняя свои стандартные обычаи, иногда скатываясь в трясину. Поэтому истории нечего о них сказать. История мира состоит в основном из воспоминаний о тех эпохах, весьма немногочисленных, в которые какая-то часть мира поднялась над собой и расцвела или расцвела.

Мы сами живем в середине или, возможно, в конце одного из таких периодов. За последнее столетие в повседневной жизни, в идеях и в общем облике Земли произошло, пожалуй, больше изменений, чем за все четыре века после христианской эры: и этот факт заставляет нас смотреть на быстрый прогресс как на нормальное состояние человеческой расы, которым он никогда не был. И еще один такой период расцвета, сравнительно короткий по времени и узкий по территории, но удивительно быстрый и интенсивный, произошел в нижних частях Балканского полуострова примерно с шестого по четвертый век до нашей эры.

Именно этот вид цветения наполняет мир надеждой и делает его молодым. Возьмите человека, который только что сделал открытие или изобретение, человека, счастливо влюбленного, человека, который начинает какое-то большое и успешное общественное движение, человека, который пишет книгу или картину, которую он знает, что она хороша; возьмите людей, которые сражаются за какое-то великое дело, которое до их борьбы казалось безнадежным, а теперь торжествует; подумайте об Англии, когда Армада была только что побеждена, о Франции на заре революции, об Америке после Йорктауна: такие люди и народы будут выше себя. Их силы будут сильнее и острее; в воздухе будет витать воодушевление, ощущение того, что они идут по новым путям, что у них появились надежды и неиспытанные возможности, уверенность в том, что все можно выиграть, если только очень постараться. В этом смысле мир будет молодым. В этом смысле я думаю, что он был молод во времена Фемистокла и Эсхила. И именно в этой молодости заключается половина секрета греческого духа.

И здесь я могу встретить возражение, которое, возможно, затаилось в умах многих читателей. "Все это, - скажут они, - претендует на простой анализ известных фактов, но на самом деле является чистой идеализацией. Эти греки, которых вы называете "благородными", уже давно разоблачены. Антропология направила на них свои прожекторы. Не только их плуги, их оружие, их музыкальные инструменты и их нарисованные идола похожи на дикарей, но и все остальное. Многие из них погрязли в самых унижительных суевериях: многие практиковали противоестественные пороки: во времена сильного страха некоторые были склонны считать, что лучшее "лекарство" - это человеческое жертвоприношение. После этого вряд ли стоит упоминать, что их социальная структура в значительной степени основывалась на рабстве; что они жили в маленьких городках,

похожих на множество осиных гнезд, каждый из которых воевал со своим соседом, а половина из них воевала сама с собой!

Если бы наш антигрек пошел дальше, он, вероятно, перестал бы говорить правду. Мы остановим его, пока еще можем с ним согласиться. Эти обвинения в целом верны, и, если мы хотим понять, что такое Греция, мы должны осознать и переварить их. Мы должны помнить о двух фактах: во-первых, о том, что греки пятого века создали одни из самых благородных поэтических и художественных произведений, самое тонкое политическое мышление, самую жизненную философию, известные миру; во-вторых, о том, что людей, которые слышали и видели, а возможно, даже и тех, кто создавал эти чудеса, отделял от дикарей тонкий и шаткий промежуток. Поскребите цивилизованного русского, говорят они, и вы найдете дикого татарина. Поскребите древнего грека, и вы, без сомнения, попадете на очень примитивное и грозное существо, где-то между викингом и полинезийцем.

В этом и заключается вся магия и чудо. Духовное усилие, которое подразумевается, настолько огромно. Мы читали истории о диких вождях, обращенных христианскими или буддийскими миссионерами, которые в течение года или около того перешли от пьяных гулянок и кровавых колдовских камланий к жизни, которая была не только благочестивой, но даже филантропической и государственной. Мы видели, как японцы в последнее время прошли через несколько столетий нормального роста в течение одного поколения. Но во всех этих примерах люди лишь следовали учению более высокой цивилизации, и в конце концов они не закончили тем, что создали произведения необычайной и оригинальной гениальности. Совершенно очевидно, что греки очень мало чем были обязаны иностранному влиянию. Даже в период своего упадка они были расой, как замечает профессор Бьюри, привыкшей "мало брать и много отдавать". Они сами построили свою цивилизацию. Мы должны с должным вниманием выслушать критиков, которые указывают на все пережитки дикости и суеверий, которые они находят в Греции: рабовладелец, фетишист и знахарь, попирающий женщин, кровожадный ненавистник всего, что находится за пределами его собственного города и партии. Но не эти люди составляют Грецию; таких людей можно найти по всему историческому миру, они встречаются чаще, чем ежевика. Греция - это не что-то неподвижное и стационарное: Греция - это движение, которое ведет от всех этих людей к стоику или софисту V века, осуждающему и отрицающему рабство, отменившему все жестокие суеверия и проповедующему религию, основанную на философии и гуманности, требующему для женщины тех же духовных прав, что и для мужчины, рассматривающему все человеческие существа как своих братьев, а мир как "один великий город богов и людей". Это то движение, которое вы не найдете больше нигде, кроме статуй Фидия, диалогов Платона или поэм Эсхила и Еврипида.

Из всего этого вытекают два или три результата. Во-первых, будучи построенной так быстро, с такими усилиями и с такой низкой отправной точки, греческая цивилизация, несмотря на всю свою славу, была любопытно нестабильной и полной недостатков. Эти недостатки, конечно, делали ее гораздо хуже для тех, кто в ней жил, но вряд ли они делают ее менее интересной или поучительной для тех, кто ее изучает. Скорее наоборот. Опять же, соседство с дикарем придает греческому уму определенные качества, за обладание которыми мы, представители более безопасных и солидных цивилизаций, многое бы отдали. Он стремительный и прямой. Он никогда не устает. Его удивление и интерес к миру свежи. И наконец, есть одно любопытное и очень важное качество, которое, если я не ошибаюсь, принадлежит греческой цивилизации больше, чем любой другой. В необычайной степени она берет свое начало от природы, почти не опутываясь сложными верованиями, обычаями и традициями.

Я, конечно, не забываю ни о доисторической минойской цивилизации, ни о своеобразных формах - в основном достаточно простых, - в которые впала традиционная греческая религия. Возможно, меня немного вводит в заблуждение моя собственная привычка много жить среди греческих вещей и забывать из-за долгого знакомства, какими странными казались некоторые из них когда-то. Но если сделать все поправки, я думаю, что это чистое начало от природы, в целом, является верным утверждением. Если вдумчивый европеец или американец хочет изучать китайские или индийские вещи, он должен не только усвоить определенные сведения из истории и мифологии, но и выработать в своем сознании определенный настрой; надеть, так сказать, очки определенного рода. Если он хочет изучать средневековые вещи, если он берет даже такого универсального поэта, как Данте, это то же самое. Любопытные взгляды на папу и императора, заумная схоластическая философия, странная и для современного ума довольно ужасная теология, плавающая в адском пламени: все это должно быть каким-то образом перенесено в его воображение, прежде чем он сможет понять своего Данте. С греческими вещами дело обстоит гораздо хуже. Исторический и образный фон различных великих поэтов и философов, несомненно, очень важен. Большая часть работы современной науки посвящена тому, чтобы прояснить его. Но в целом, если отбросить на время возможные недостатки перевода, греческая философия говорит прямо с любым человеком, готовым мыслить просто, греческое искусство и поэзия - с любым, кто может использовать свое воображение и наслаждаться красотой. Чтобы понять их, не нужно надевать на себя оковы или моргалки новой системы; нужно лишь избавиться от своей собственной - гораздо более выгодная и менее хлопотная задача.

Этот конкретный вывод, я думаю, вряд ли кто будет оспаривать, однако он сопряжен с трудностями, и на нем следует остановиться.

Прежде всего, это не означает, что греческое искусство является тем, что мы называем "натуралистическим" или "реалистическим". Наоборот. Искусство для грека - это всегда форма *Софии*, или Мудрости, *Техники* с правилами, которые необходимо усвоить. Воздух абсолютной простоты обманчив. Колонна, которая кажется просто прямой, на самом деле состоит из тонких изгибов. Погребальный барельеф, который, казалось бы, самым простым образом изображает женщину, прощающуюся со своим ребенком, расположен плоскость за плоскостью с тончайшим мастерством, а иногда и с намеренной фальсификацией перспективы. Всегда есть какая-то условность, какая-то идеализация, какой-то оттенок света, которого никогда не было ни на море, ни на суше. Но все это время, как мне кажется, греческое искусство остается в удивительной степени близким к природе. Взгляд художника всегда устремлен на объект, и, хотя он изображает его в своем собственном стиле, этот стиль всегда нормальный и умеренный, без жеманства, без преувеличения или болезненности, а в ранние периоды - без условности. Это, несомненно, искусство; но это естественное и нормальное искусство, такое, которое возникло спонтанно, когда человечество впервые попыталось свободно выразить красоту. Например, язык греческой поэзии заметно отличается от языка прозы, и даже существуют четкие языковые различия между разными стилями поэзии. Кроме того, поэзия очень редко посвящена настоящему. Речь идет о прошлом, причем об идеальном прошлом. Мы должны заметить, что это правило, обычное для всех великих эпох поэзии, очевидно, не искусственное или произвольное, а тенденция, которая выросла естественным образом с первыми великими выражениями поэтического чувства.

Более того, эта близость к природе, отсутствие объединяющей или скрытой системы мышления, действуя вместе с другими причинами, привели к необычайному разнообразию и многоликости, которые являются одной из самых загадочных прелестей Древней Греции по

сравнению, скажем, с Израилем, Ассирией или ранним Римом. Географически это небольшая страна с сильно изрезанной береговой линией и внутренним пространством, изрезанным множеством почти изолированных долин. В политическом отношении это было запутанное единство, состоящее из множества независимых государств, причем одного обнесенного стеной города с несколькими тысячами жителей было вполне достаточно, чтобы образовать государство. И граждане этих государств, каждый в отдельности, были довольно чрезмерно способны формировать собственное мнение и бороться за него. Отсюда на практике проистекали изоляция, раздробленность и общая слабость, в ущерб самим грекам; но та же причина привела к огромному разнообразию и жизнеспособности мысли и литературы, к большому благу тех, кто изучает греков впоследствии. Вряд ли найдется какой-либо тип мысли или стиль письма, который нельзя было бы соотнести с Древней Грецией, только там они предстают, как бы, в своих более ранних и простых формах. В греческой литературе можно найти следы всего того, что кажется самым негреческим: сладострастие, аскетизм, поклонение знаниям, презрение к ним, атеизм, пиетизм, религия служения миру и религия отвержения от мира: все эти и почти все другие точки зрения, о которых только можно подумать, представлены где-то в записях этого маленького народа. И вряд ли в этой главе найдется хоть одно обобщение, которое сам автор не смог бы опровергнуть примерами, свидетельствующими об обратном. В целом чувствуется отсутствие всяких оков: человеческий разум свободен, довольно неопытен, сильно заинтересован в жизни и полон надежд, стремится во всех направлениях к тому совершенству, которое греки называли *aretê*, и руководствуется каким-то особым инстинктом в сторону умеренности и красоты.

Разнообразие существует, и его нельзя забывать; но среди этого разнообразия есть общие или центральные черты, в основном обусловленные тем же качеством свежести и близости к природе.

Если вы посмотрите на греческую статую или барельеф или прочтете среднее произведение Аристотеля, то, скорее всего, поначалу почувствуете скуку. Почему? Потому что все это так нормально и правдиво; так необычно, без преувеличений, парадоксов, резких акцентов; так лишено тех очаровательных побочных форм безумия, которые вызывают к какому-то такому же слабому элементу безумия в нас самих. "Нас тошнит, - воскликнем мы, - от вида этих красивых, совершенно здоровых мужчин с серьезными лицами и нормальными костями и мышцами! Нас тошнит от того, что нам говорят, будто добродетель - это нечто среднее между двумя крайностями и стремится сделать человека счастливым! Нам не будет интересно, пока кто-нибудь не скажет нам, что добродетель - это полное отречение от себя, или, может быть, крайнее и безжалостное утверждение себя; или, опять же, что добродетель - это позорная ошибка! А для статуй нам подавай изможденного человека с голодным телом и пещеристыми глазами, проклинающего Бога, или дайте нам что-нибудь, обросшее жиром и цветом....'.

Что лежит в основе такого рода чувств, которые, как я признаю, часто принимают более разумные формы, чем те, что я предложил. Это та же самая психологическая причина, которая приводит к изменению моды в искусстве или одежде: которая любит "трюки" и делает состояния желтым газетам. Это скука или *тоска*. Мы перебрали А; нам это надоело, мы знаем, как это делается, и презираем это; дайте нам немного Б, а еще лучше - немного З. И после сильной дозы З мы снова будем жаждать начала алфавита. А теперь подумайте о человеке, которому вовсе не скучно; напротив, он безмерно интересуется миром, стремится выбирать хорошие вещи и отвергать плохие; полон стремления к знаниям и азарта открытий. Для него радость - видеть вещи такими, какие они есть, и нормально оценивать их. Его не утомляет вид нормальных, здоровых мышц на здоровом, хорошо сложенном теле; он в

восторге. Если вы исказите мышцы для эмоционального эффекта, он с разочарованием скажет: "Но это же уродливо!" или "Но у мужчины мышцы так *не* ходят!" Он заметит, что слезы соленые и довольно теплые; но если вы скажете, как современный поэт, что слезы вашей героини "горячее огня, соленее соленого моря", он, вероятно, сочтет ваше заявление απίθανον "неубедительным", а значит, ψυχров "ледяным".

Пожалуй, особенно в религиозной и нравственной сфере мы привыкли к привычному использованию экстатического языка: выражения, которые справедливы только для возвышенных моментов, используются нами как обыденность в обычной жизни. "В тысячу раз хуже видеть, как страдает другой, чем страдать самому". "Настоящая любовь желает счастья только любимому объекту". Подобная "высокопарность" стала частью нашей обычной ментальной привычки, так же как мертвые метафоры в бушелях являются частью нашего повседневного языка. Поэтому мы немного охлаждены и разочарованы языком, в котором люди почти никогда не используют метафору, за исключением тех случаев, когда они ярко ее осознают, и никогда не произносят героических чувств, за исключением тех случаев, когда они доведены до предела, чтобы почувствовать их истинность. Значит ли это, что грек всегда остается, так сказать, при нормальной температуре, что он никогда не испытывает сильных или ослепляющих эмоций? Ни в коем случае. Подобный вывод свидетельствует о недостатке веры в ценность жизни. Он подразумевает, что больших эмоций можно достичь только притворством или привычным преувеличением мелких эмоций, тогда как, скорее всего, дело обстоит с точностью до наоборот. Когда наступит великое событие, у грека будут готовы великое слово и великая мысль. Именно привычный преувеличенец, возможно, окажется банкротом. И в конце концов, великое обязательно придет!

Способность видеть вещи прямо и знать, что красиво или благородно, совершенно не нарушаемая минутной скукой или изменениями вкуса, - очень редкий дар, которым, возможно, никогда и никто не обладал в полной мере. Но есть глубокое правило искусства, предписывающее человеку посреди всего изучения различных стилей или погони за своими особыми фантазиями время от времени *se retremper dans la nature* - "снова погружаться в природу". И точно так же кажется, что мир должен время от времени снова погружаться в эллинизм: то есть, среди всех переменчивых жеманств, экстравагантностей и изменений условностей в искусстве и письме, он должен внимательно относиться к тем, которые возникли, когда человек впервые пробудился к пониманию истины и красоты и увидел мир в свободном виде как новую вещь.

Является ли это преувеличением? Думаю, нет. Но здесь не может быть и речи о его полной защите. В этом очерке мы почти полностью рассматривали художественный интерес Греции. С таким же успехом можно было бы остановиться и на историческом интересе. Тогда мы обнаружим, что для той части человечества, которая ответственна за западную цивилизацию, семена почти всего того, что мы считаем лучшим в человеческом прогрессе, были посеяны в Греции. Концепция красоты как радости самой по себе и как руководства в жизни была впервые и наиболее ярко выражена в Греции, и сами законы, по которым вещи являются красивыми или уродливыми, были в значительной степени открыты там и заложены. Концепция свободы и справедливости, свободы тела, слова и разума, справедливости между сильными и слабыми, богатыми и бедными, пронизывает всю греческую политическую мысль и, несмотря на очевидные недостатки, была в значительной степени реализована в лучших греческих общинах. Концепция Истины как цели, к которой следует стремиться ради нее самой, вещи, которую можно открыть и разгадать с помощью эксперимента, воображения и особенно Разума, концепция, по сути, связанная со Свободой

и противостоящая как анархии, так и слепому повиновению, возможно, никогда в мире не была понята более четко, чем ранними греческими авторами, занимавшимися наукой и философией. Порой поражаешься совершенной свободе их мысли. Другая концепция возникла гораздо позже, когда маленькие города-государства с исключительными правами гражданства слились в единое целое: концепция всеобщего единения человека с человеком. Вскоре после Персидской войны Греция поняла, что у нее есть миссия перед миром, что эллинизм выступает за высшую жизнь человека в противовес варварству, за Aretê, или Превосходство, в противовес простому среднему уровню, не требующему усилий. Сначала появился грубый патриотизм, считавший каждого грека выше каждого варвара; затем пришло осмысление, показавшее, что не все греки были истинными носителями света, а все варвары - его врагами; что эллинизм был делом духа и не зависел от расы, к которой принадлежал человек, или места, где он родился: затем появилось новое слово и понятие ἀνθρωπότης, *humanitas*, которое для стоиков превратило мир в единое братство. До греков ни один известный истории народ не сформулировал четко эти идеалы, а те, кто произносил их впоследствии, по большей части, похоже, лишь повторяли мысли старых греков.

Эти идеи, стремление к истине, свободе, красоте, совершенству - далеко не все. Они были закваской для смуты в мире; они несли свет, который не всегда был приятен для глаз. Есть другой идеал, который в целом сильнее и может, насколько мы знаем, в конце концов вытеснить их как зло. Это подчинение вместо свободы, омертвление или огрубление чувств вместо красоты, принятие традиции вместо стремления к истине, вера в галлюцинации или страсть вместо Разума и умеренного мышления, затушевывание различий между добром и злом и принятие всех людей и всех состояний души как равных по ценности. Если нечто подобное в конце концов окажется правильным для человека, то Греция сыграет роль великого разрушителя в истории человечества. Она будет держать ложные огни, которые заманили наш корабль в опасные места. Но как бы то ни было, в штиль и бурю она держит свой свет; она зажгла его первой из всех народов и держала его в течение своего короткого правления наиболее ярко; И верим ли мы в индивидуальную жизнь, основанную на Свободе, Разуме, Красоте, Совершенстве и стремлении к Истине, и в международную жизнь, направленную на общение человека с человеком, или же считаем эти идеалы великими ловушками человеческой политики, но в каждом поколении есть веская причина для некоторых из нас ценой некоторого времени и труда изучить эти важные силы там, где они впервые осознанно проявились в умах наших духовных предков. В мысли и искусстве Древней Греции, как ни в каком другом, мы найдем эти силы, а также в некоторой степени их великие противоположности, свежими, чистыми и сравнительно несложными, с каждым обширным вопросом, выведенным на малый материальный масштаб, и каждой проблемой, изложенной в самых низких терминах.

Гилберт Мюррей.

РЕЛИГИЯ

Те, кто пишет о греках, должны остерегаться ереси, которая сейчас очень распространена, - теории *расизма*. Политическая этнология, которая не является подлинной наукой, оправдывала амбиции немцев перед самими собой и помогала им вести войну; союзникам она предложила метод ведения мира. Ложная и злонамеренная доктрина о высших и низших

расах используется для оправдания угнетения в Европе и убийства с помощью пыток в Америке. Она не поможет нам понять греков. Греки были нацией великолепных дворняг, состоящей из тех же элементов, смешанных по-разному, что и мы. Их знаменитая красота, которая почти исчезла, когда Цицерон посетил Афины, была в основном результатом здоровой жизни на свежем воздухе и физической подготовки в сочетании с очень красивым костюмом. Они были, пожалуй, не красивее оксфордских гребцов или мальчиков из Итона. Время расцвета их гениальности было вызвано теми же причинами, которые привели к аналогичным результатам в итальянском Возрождении. Город-государство - это форсированный дом блестящих достижений, хотя он быстро расходует свой человеческий материал. Мы даже не можем рассматривать греков как однородную смешанную расу. Спартиаты были почти чистыми нордиками, афиняне - почти чистыми средиземноморцами. Ранние колонисты, от которых произошло множество величайших имен в эллинском списке почета, вряд ли сохранили чистоту своей крови. Не было и греческой культуры, которую разделяли бы все греки. Спартанская система, когда небольшое боевое племя стояло лагерем в подвластной стране, напоминает систему зулусов Чаки; Аркадия была буколической, Этолия - варварской, Беотия - твердой, Македония - наполовину за пределами бледности. Расовое сознание среди греков имело практически такое же значение, как сознание того, что они белые люди или христиане, в современной цивилизации.

Греция для наших целей означает не расу, а культуру, язык и литературу, и еще больше - отношение к жизни, которое для нас начинается с Гомера и сохраняется, со многими изменениями, но без перерывов, до закрытия афинских аудиторий Юстинианом. Изменения, несомненно, были велики, когда политически Греция перестала быть живой Грецией, а носители традиции перестали быть прямыми потомками тех, кто ее основал. Но традиция, закреплённая в литературе, в памятниках и в общественных обычаях, выжила. Цивилизация Римской империи была не итальянской, а греческой. После VI века эллинизм - язык, литература, отношение к жизни - был практически утрачен для Запада почти на тысячу лет. Он был восстановлен в эпоху Возрождения, и с тех пор и по сей день является мощным элементом западной цивилизации. Темные века и раннее Средневековье - это период, когда Запад был отрезан от эллинизма. Однако и тогда отрыв не был полным. Ведь это были века католической теократии; и если бы нам пришлось выбрать одного человека в качестве основателя католицизма как теократической системы, мы должны были бы назвать не Августина, не святого Павла, не Иисуса Христа, а Платона, который в "Законах" с удивительной прозорливостью набросал условия для такого правления и форму, которую оно должно было бы принять. Даже в спекулятивной мысли мы знаем, что Августин многим обязан платоникам, школяры - Аристотелю, мистики - ученику Прокла, которого они называли Дионисием. Только греческая наука и научный дух были почти полностью утрачены, и, когда Запад сбросил оковы, пришлось начинать *все заново*.

Таким образом, эллинизм - это не сознание какого-то определенного этнического типа или определенного периода. Он не был уничтожен, хотя и выхолощен, потерей политической свободы; он не был убит и не умер естественной смертью. Его философия продолжалась от Фалеса до Прокла, от Фичино и Пико до Лотце и Брэдли, после долгого сна, который не был смертью. Его религия переходит в христианскую теологию и культ без какого-либо реального разрыва. Ранняя Церковь говорила по-гречески и думала по-гречески. Во времена греческой свободы быть греком означало быть гражданином греческого кантона; после Александра это означало обладать греческой культурой. Никто из великих стоиков не был уроженцем собственно Греции; сам Зенон был семитом. Из поздних греческих писателей Марк Аврелий был романизированным испанцем, Плотин, возможно, коптом, Порфирий и Лукиан - сирийцами, Филон, святой Павел и, вероятно, четвертый евангелист - евреями. Все эти люди

принадлежат к истории греческой культуры. И если они были греками, как мы можем отрицать это имя у Рафаэля и Майкла Анджело, у Спенсера и Сидни, у Китса и Шелли? Когда Блейк писал -

Свет солнца, когда он раскрывается,
Зависит от органа, который его видит,

Он подытожил не только философию поэтов Озера, но и фундаментальные догмы зрелой греческой мысли. Разве Платон не обрадовался бы исповеданию веры Михаэля Анджело, которое перевел для нас Вордсворт?

Рожденная на небесах, душа должна устремиться ввысь;
За пределы видимого мира она стремится
(Ведь то, что восхищает чувство, ложно и слабо).
Идеальную форму, вселенский слепок.
Мудрый человек, утверждаю я, не найдет покоя
В том, что погибает; и не отдаст он
Сердце свое тому, что зависит от времени.

Был ли когда-нибудь высший аспект греческой религии выражен лучше, чем самим Вордсвортом, к которому, как и к Блейку, она пришла по вдохновению, а не из книг?

Еще будучи ребенком и задолго до своего времени
Он ощущал присутствие и силу
величия; и глубокие чувства впечатляли его
Так ярко великие объекты, что *они лежали*
в его сознании, как субстанции, присутствие которых
озадачивало телесные чувства.

Дух человека не живет только традициями, он может черпать прямо из источника. Мы имеем дело с постоянным типом человеческой культуры, которая по праву носит имя греков, поскольку достигла своей главной славы в литературе и искусстве эллинских городов, но которую нельзя отделить от западной цивилизации как чужеродный импорт. Без того, что мы называем нашим долгом перед Грецией, у нас не было бы ни нашей религии, ни нашей философии, ни нашей науки, ни нашей литературы, ни нашего образования, ни нашей политики. Мы были бы простыми варварами. Нам не нужно рассуждать о том, как много мы могли бы в конечном итоге открыть для себя. Наша цивилизация - это дерево, корни которого уходят в Грецию, или, если воспользоваться более подходящей метафорой Климента Александрийского, это река, которая впадает в нее со всех сторон, но ее главные воды - греческие. Преемственность греческой мысли и практики в религии и религиозной философии особенно важна, и это необходимо подчеркнуть, потому что в результате случайности нашей образовательной программы в сознании большинства студентов остается широкая пропасть между стоиками и христианами, полностью игнорируется более поздняя греческая философия религии, а христианская догма восходит к Палестине, с которой она имеет очень мало общего.

Наше чувство преемственности притупляется и по другой причине. Существует тенденция выделять определенные аспекты эллинской жизни и мысли как характерные, а другие, которые в равной степени встречаются среди древних греков, отметить как нетипичные и исключительные. В сфере религии, которой мы занимаемся в этом очерке, нам предлагают рассматривать Платона и Еврипида как бунтарей против национальной традиции, а не как нормальный продукт своего века и страны. Я не чувствую себя вправе выбирать таким образом. Национальный характер может быть лучше всего показан в его бунтарях, религия - в ее еретиках. Если Ницше был прав, называя Платона христианином до Христа, я не считаю его неэллинским греком. Скорее, я восхожу к нему, а значит, и к Греции, к религии и политической философии христианской церкви, а также к христианскому типу мистицизма. Если Еврипид в необычайной степени предвосхитил благочестивый агностицизм, смутный пантеизм, гуманитарные чувства девятнадцатого (а не двадцатого) века, я не считаю, что он был чудачком в Афинах пятого века, но что Греция указала нам путь даже там, где мы не привыкли обращаться к ней за советом. Я также не склонен бездоказательно утверждать, что поздний платонизм, называем ли мы его религией или философией, неэллинистичен. Совершенно излишне искать азиатские влияния в школе, которая крепко держалась за аттическую традицию. Гораздо важнее показать, как религиозная философия мистического откровения и самоанализа естественным образом выросла из более древних натурфилософий, подобно тому как в наши дни метафизика и наука были отброшены назад на теорию познания и психологию. Нет необходимости напоминать эллинам, что "Познай самого себя" было высшим словом мудрости в классический период, или что Гераклит раскрыл свой метод в словах "Я исследовал себя".

Сейчас мы перейдем к некоторым частям нашего современного наследия, которые не являются греческими ни по происхождению, ни по родству. Их не найти у Еврипида или Платона, так же как и у Геродота или Софокла. Но некоторые направления развития религии, которые наши эллинисты особенно не любят и поэтому стремятся отрицать как чуждые греческой мысли и практике, такие как аскетизм, сакраментальная магия, религиозные гонения и робкая опора на авторитет, являются болезнями греческого духа, и пришли в Церковь из эллинистических, а не иудейских источников. Именно Клеанф хотел поступить с Аристархом так, как Церковь поступила с Галилеем, за то, что тот предвосхитил открытие Галилея. Именно Плутарх, а точнее, его почитаемый отец, сказал: "Мне кажется, вы занимаетесь очень важным и опасным делом, или, скорее, поднимаете вопросы, которые вообще не должны подниматься, когда ставите под сомнение мнение, которого мы придерживаемся о богах, и требуете причин и доказательств для всего. Достаточно древней и исконной веры, и если хоть в одном пункте нарушить ее незыблемый и традиционный характер, она будет подорвана, и никто не станет ей доверять". Правда, Цельс обвинял христиан в том, что они говорили: "Не спрашивайте, только верьте". Но это не было позицией Климента и Оригена, а тем более мужественного первопроходца Святого Павла; это была скорее позиция обычного благочестивого язычника. В это время защита народных суеверий была уже не просто вопросом политики, а сердечной потребностью. Марк Аврелий был большим любителем сожжения белых коров. Христиан не любили не как суеверных, а как нечестивых. Александр Абунотеич по имени изгонял "христиан и эпикурейцев" со своих *сеансов*. Лукиан - Вольтер доверчивого века. Что касается сакральной магии, то Овидий прямо приписывает грекам доктрину *ex opere operato*.

Graecia principium moris fuit; illa nocentes
impia lustratos ponere facta putat,
a nimium faciles, qui tristia crimina caedis

fluminea tolli posse putatis aqua.

Христианская церковь стала последним великим творческим достижением классической культуры. По своей сути она не является ни азиатской, ни средневековой. Она не азиатская; христианство - наименее восточная из всех великих религий. Семиты либо отбросили его и вернулись к иудаизму, очищенному от эллинских элементов, либо с рвением встали под знамена ислама, который Уэсткотт назвал "окаменевшим иудаизмом". Христианские миссии не имели успеха ни в одной азиатской стране. В католицизме также нет ничего специфически средневекового. Он сохранил идею римского империализма после того, как светская империя Запада исчезла, и даже сохранил традицию светской империи. Он создал все свои механизмы по образцу Римской империи и освятил римские притязания на всеобщее господство римским законом *maiestas* против всех, кто оспаривал его власть. Даже излюбленное наказание в виде "пламени возмездия" было заимствовано из более поздних римских кодексов. Она сохранила официальный язык античности и императорский титул самодержца, царствовавшего на Семи холмах. Ранние христиане также не стремились отрицать эту преемственность, как это часто предполагается. Сначала, правда, их апологетика была направлена на доказательство преемственности с иудаизмом; но иудаизм перестал иметь значение после разрушения Святого города в 70 году н. э., и апологеты второго века призывают к веротерпимости на том основании, что лучшие греческие философы учили примерно тому же, во что верят христиане. "Мы учим тому же, что и греки", - говорит Иустин Мученик, - "хотя нас одних ненавидят за то, чему мы учим". "Некоторые из нас, - говорит Тертуллиан, - сведущие в древней литературе, написали книги, чтобы доказать, что мы не приняли ни одного догмата, который не был бы поддержан общей и публичной литературой". "Учение Платона, - снова говорит Юстин, - не чуждо учению Христа; то же самое можно сказать и о стоиках". Гераклит и Сократ жили в соответствии с божественным Логосом и должны считаться христианами". Климент говорит, что Платон писал "по вдохновению Божьему". Августин, много позже, находит, что нужно изменить "всего несколько слов и фраз", чтобы привести платонизм в полное соответствие с христианством. Этика современного язычества, как показывает Харнак, ссылаясь на Порфирия, почти идентична этике христиан его времени. Они во многом отличаются от стандартов 500-летней давности и от стандартов 1500-летней давности, но эти расхождения не носят ни расового, ни конфессионального характера. Католическое христианство исторически непрерывно связано со старой цивилизацией, которая действительно продолжала жить в этом регионе после того, как другие ее традиции и обычаи были разрушены. В истории мало других примеров столь значительного расхождения между видимостью и реальностью. Внешне кажется, что преемственность с иудаизмом не нарушена, а с язычеством - нарушена. В действительности же все обстоит с точностью до наоборот.

Эта важнейшая истина затушевывается по многим причинам. О пробелах в истории, допущенных нашей образовательной традицией, уже говорилось. А история ранней церкви слишком часто искажается из-за прискорбной предвзятости. Христианство оценивается с лучшей стороны, язычество - с худшей. Риторические обличения таких писателей, как Сенека, Ювенал и Тацит, принимаются за чистую монету, и мало кто помнит о конвенции, которая обязывала сатирика быть язвительным, или о политических предрассудках стоиков против монархии, или о непредставительном характере столичной моды. Современный церковный историк, как говорит мистер Бенн, набирается опыта в четырехугольнике колледжа или в соборном храме, и мало что знает о своей собственной стране, почти ничего о том, какой была мораль в Средние века, и совсем ничего о том, какой она остается во

многих частях Европы. В последних книгах, однако, прослеживается реальное желание справедливо расставить чаши весов, и христианству нечего бояться беспристрастного суждения.

Существует также предположение, которое мы находим даже у таких ученых писателей, как Харнак и Хэтч, что эллинский элемент в христианстве - это добавка, которая изменила новую религию от ее первоначальной чистоты и снова наполовину языческая Европа. Они хотели бы доказать, что под католицизмом скрывался примитивный протестантизм, который ничем не был обязан Греции. Правда заключается в том, что Церковь с самого начала была наполовину греческой, хотя, как я сейчас скажу, первоначальное Евангелие не было таковым. Святой Павел был евреем из рассеяния, а не из Палестины, и христианство, в которое он был обращен, было христианством Стефана, а не Иакова, брата Господня. Его поздние послания пропитаны фразеологией греческих мистерий. Послание к Евреям и Четвертое Евангелие непонятны без знания Филона, чье богословие скорее греческое, чем иудейское. В конфликте о природе будущей жизни именно греческая эсхатология одержала верх над иудейской. Знаменитое заявление святого Павла: "Мы смотрим не на видимое, но на невидимое; ибо видимое временно, а невидимое вечно" - это чистый платонизм, совершенно чуждый иудейской мысли. Иудейское христианство было локальным делом и имело очень короткую жизнь.

Кроме того, слишком много внимания уделяется конфликту между официальными культами язычества и христианским общественным поклонением. Забывается, насколько полно в эллинистические времена были слиты религия и философия. Не недооценивая простого благочестия, которое, особенно в сельской местности, все еще было связано с храмами и их ритуалом, мы можем с уверенностью сказать, что жизненно важная религия империи была связана с мистериальными религиями и с дисциплиной "философской жизни". Именно в этой области в основном можно обнаружить преемственность католицизма с эллинизмом. Философы в это время были проповедниками, исповедниками, капелланами и миссионерами. Профессия священника почти во всех своих проявлениях напрямую восходит к эллинистическим философам.

Это утверждение о преемственности может показаться парадоксальным, если вспомнить о жестоких гонениях на христиан со стороны императорского правительства. У этих гонений было несколько причин. Империя, как и все империи подобного типа, частично опиралась на религиозную поддержку. Август поощрял своих придворных поэтов выступать за возрождение благочестия и здоровой морали. Правительство не может вникать в религиозные убеждения, но оно может принуждать к соответствию и внешнему уважению к формам культа, установленным "законом". Христиане и эпикурейцы считались виновными в одном и том же политическом преступлении - "атеизме". Государство не имело претензий к мистериальным религиям, которые были частным делом, но открытое неуважение к национальным божествам было нелояльностью. Язычники не могли понять, почему церковь не соглашается на слияние религий (θεοκρασία), которое казалось им естественным результатом слияния национальностей. Апулей заставляет Исиду сказать, когда она открывается Луцию: "cuius numen unicum multiformi specie, ritu vario, nomine multiugo totus veneratur orbis"; и затем она перечисляет свои различные имена. Это более чем терпимое гостеприимство духа казалось смешанному населению империи логичным признанием реальной политической ситуации, а те, кто сознательно стоял вне ее, были, по крайней мере, потенциальными врагами общества. В этом и заключался реальный спор между Церковью и империей. Именно на старую государственную религию нападает Августин, высмеивая бесчисленных римских божков, имена которых он, возможно, нашел у Варро. Правда,

Платон, Еврипид и Ксенофан нападали на официальную мифологию с едва ли меньшей язвительностью; но они не избежали порицания, а христианское отчуждение от олимпийцев было гораздо более фундаментальным.

Языческое возрождение в империи было скорее похоже на неокатолицизм во Франции. Оно было скорее патриотическим, националистическим и консервативным, чем строго религиозным. Цельс в своей утраченной книге против христиан, похоже, взывал к их патриотизму, призывая их поддерживать свою страну и ее правительство в опасные времена. По мере того как церковь росла в численности и силе, а старые традиции разрушались, в основном из-за падения рождаемости среди высшего и среднего классов, консерваторы все больше привязывались к своей собственной культуре и видели в христианстве "бесформенную тьму", которая грозила погасить "все прекрасное в мире". Мы можем отчасти сочувствовать этой тревоге, но не той глупой политике, которую она вдохновляла. Первые гонения были похожи на русские "погромы", спровоцированные или спровоцированные правительством в качестве предохранительного клапана для народного недовольства. Ведь в это время простые люди ненавидели христиан и наполовину верили чудовищным историям о них. Нападения не были постоянными и носили полусерьезный характер, совсем не похожий на систематическое истребление евреев и протестантов в Испании. В Александрии Адриан обнаружил жадное до денег население, почти равнодушно поклонявшееся Христу и Сарапису. Неверное впечатление складывается, если представить себе две части общества, вовлеченные в постоянную войну. Первая настоящая война была последней, при Диоклетиане; она должна была решить, что будет государственной религией - язычество или христианство. Однако несомненно, что гонения помогли решить судьбу старой культуры.

Харнак прослеживает три этапа эллинизации христианства. В самых ранних христианских сочинениях, кроме Павла, Луки и Иоанна, он не находит никаких существенных следов греческого влияния. Настоящий приток греческой мысли и жизни начался около 130 года. Исключение настолько важно, что делает это утверждение малозначительным. После 130 года, говорит он, "греческая философия попала прямо в основу новой религии". Спустя столетие или около того "греческие мистерии и греческая цивилизация во всем диапазоне своего развития оказывают свое влияние на Церковь, но пока не на ее мифологию и политеизм; они еще должны были прийти". Должно было пройти еще одно столетие, прежде чем эллинизм в целом и на всех этапах своего развития утвердился в Церкви". Процесс, который он описывает, на самом деле начался, как только христианские проповедники стали использовать греческий язык, и никогда не был таким полным, как он говорит. Логос-христология, которой он справедливо приписывает наибольшее значение, уже присутствует в посланиях святого Павла; не хватает только имени; и резкое противоречие, которое он находит между христианской идеей откровения, полученного через человека в определенный момент, и греческой идеей постижения вечной и неизменной истины, всегда открытой для индивидов после соответствующей дисциплины, было преодолено греческими отцами. Харнак также рассматривает гностицизм как воплощение истинно греческого взгляда на откровение, забывая, что ортодоксальный платонизм был так же враждебен гностицизму, как и сама Церковь. Отвергнув гностицизм, Церковь фактически сделала выбор в пользу подлинного эллинизма против его испорченного и варварского развития. С другой стороны, не существует периода, когда можно было бы говорить о полном завоевании христианства греческими идеями. Значительная часть старой традиции погибла вместе со своими защитниками, которые, повинувшись меланхоличному закону, управляющему человеческим выживанием, вымерли, чтобы место для иммигрантов и для ранее

погруженных классов, людей с ограниченными потребностями, равнодушных к культуре, которую им никогда не позволяли разделить.

Еще одну причину непонимания можно проиллюстрировать на примере произведений Мэтью Арнольда. Он делит человеческую расу на гебраистов и эллинов, а современных англичан и американцев относит к гебраистам. Основополагающая максима еврейской этики, по его мнению, звучит так: "Ходи по свету, который имеешь"; греческой - "Смотри, чтобы свет, который в тебе, не был тьмой". Гебраист совестлив, но непросвещен; эллин - ясномыслящий, но беспринципный. Профессор Сантаяна недавно отметил ту же разницу между типом характера, выработанным латинскими народами и англосаксами. Средиземноморская цивилизация, более древняя и утонченная, тщательно следит за правильностью своих ценностей; северный человек стремится сделать что-то большое, несмотря ни на что, и следует совету Клафа:

Иди! Не говори в сердце своем, И что тогда, если бы это свершилось,
Если бы дикий порыв был подавлен, в чем польза и благо?

Но Сантаяна не совершает ошибки, рассматривая Реформацию как возвращение к палестинскому христианству. Действительно, так считали сами реформаторы; но все религиозные новшества стремятся опираться на какую-то старую традицию. Христианство поначалу искало свои основания в иудаизме, хотя иудеи очень быстро увидели, что оно "разрушило Закон". Убеждение реформаторов было правдоподобным, ведь они отвергли лишь те части католицизма, которые не имели ничего общего с Палестиной, но были заимствованы из старой эллинской или эллинистической культуры. Но остаток был не столько еврейским, сколько тевтонским. С одной стороны, Реформация была возвращением к эллинизму от романизма. Раннехристианская философия была в основном платонической; раннехристианская этика (примером которой служат такие писатели, как Амвросий) была в основном стоической. В среде неоплатоников произошло значительное слияние Платона и Стои, так что эти два направления легко процветали вместе. Августин изгнал стоическую этику из Церкви, и она возродилась только в эпоху Реформации. Кальвинизм - это просто крещеный стоицизм; он логически пантеистичен, поскольку признает только одну действительную волю во вселенной. Кредо науки XIX века очень похоже. Пуританизм совсем не похож на иудаизм, несмотря на его любовь к Ветхому Завету; он очень похож на стоицизм. Реформация была восстанием против латинской теократии и наследственного язычества средиземноморских народов; на самом деле она не была возвращением к доэллинскому христианству. Она дала приют гуманизму Эразма и позднему расцвету английского Ренессанса, а христианский платонизм нигде не имел такого расцвета, как в протестантской Британии.

В настоящее время среди *городского плебса* происходит более радикальный бунт, который действительно угрожает уничтожением "того, чем мы обязаны Греции". Промышленная революция породила новый тип варварства, не имеющий корней в прошлом. Во второй раз в истории Западной Европы преемственность находится под угрозой утраты. Растет поколение, не необразованное, но получившее образование в системе, которая мало связана с европейской культурой в ее историческом развитии. Классика не преподается, Библия не преподается, история не преподается. Что еще более серьезно, отсутствуют социальные традиции. Современный горожанин *дерацинирован*: он забыл привычки и настроения деревни, из которой пришли его предки. Неестественный и нездоровый образ

жизни, оторванный от сладостного и очеловечивающего влияния природы, породил неестественный и нездоровый менталитет, аналогов которому мы не найдем в прошлом. Его главная характеристика - глубокая светскость или материализм. Типичный городской ремесленник не имеет ни религии, ни суеверий, у него нет идеалов, выходящих за пределы видимого и осязаемого мира чувств. Это, конечно, открывает непроходимую пропасть между ним и греческой религией, и еще более широкую пропасть между ним и христианством. Попытки, которые время от времени предпринимаются, особенно в этой стране, представить лейбористское движение как возвращение к палестинскому Евангелию, выглядят просто гротескно. Контраст хорошо подытожен Белфортом Баксом в отрывке, процитированном профессором Гарднером. Согласно христианству, возрождение должно происходить изнутри. Этика и религия современного социализма, напротив, ищут возрождения извне, из материальных условий и более высокой социальной жизни". Здесь перчатка брошена и Христу, и Платону.

Вполне логично, что новый дух восстает против того, что он называет интеллектуализмом, что означает применение сухого света разума к проблемам человеческой жизни. Он хочет заменить разум тем, что некоторые философы называют инстинктом, но что скорее следует называть чувством и эмоцией. Между таким взглядом на жизнь и эллинизмом нет никакого примирения. Ведь наука - старшее и самое дорогое дитя греческого духа. Одна из великих битв будущего будет происходить между наукой и ее врагами. На стороне мизологов - численность; но "природа", которую все греки чтили и которой доверяли, будет оправдана в своих детях.

Новый дух особенно ожесточен против стоической этики, которая, как мы уже видели, вместе с платоновской метафизикой была воспринята христианством. Стоицизм учит людей почитать естественный закон и подчиняться ему; с гордым спокойствием принимать жизненные невзгоды; быть благосклонными, но сдерживать чувство жалости; быть самодостаточными и самодостаточными; практиковать самоотречение ради победы над собой; рассматривать эту жизнь как суровую школу нравственной дисциплины. Все это просто отвратительно для нового духа, который сентиментален, недисциплинирован и гедонистичен. Он помнит о жесткости пуританства и не восхищается его добродетелями.

Часто говорят, что современный человек полностью утратил греческую любовь к красоте. Это, я думаю, неправда, и это несправедливо по отношению к нашей нынешней цивилизации, какой бы нелюбимой она ни была во многих отношениях. Любопытно, что современные критики греков не обратили внимания на *эстетическую* тупость, проявившуюся в ущербной реакции древних на жестокость. Дело не в том, что они исключали прекрасные поступки из сферы эстетики; им и в голову не приходило отделять прекрасное от доброго таким образом. Но они не испытывали отвращения ни к пыткам рабов, ни к обнажению новорожденных детей, ни к массовому уничтожению населения восставшего города. Та же черствость проявляется в итальянских городах эпохи Возрождения; Эццелино был современником великих архитекторов и живописцев. Я не могу избежать вывода, что она каким-то неясным образом связана с художественным творчеством этих двух близких эпох. Крайняя чувствительность к физическим страданиям, характерная для современной цивилизации, возникла вместе с индустриализмом и наиболее ярко проявляется в самых высокоразвитых промышленных странах. Она синхронизировалась с полным затмением спонтанного и бессознательного художественного творчества, о котором мы сожалеем в наше время. Ивлин в семнадцатом веке все еще мог посетить парижскую тюрьму, чтобы удовлетворить свое любопытство, увидев пытки заключенного, и хотя он не остался до конца выставки, он показывает, что его желудок не

был легко повернут. Несомненно, что наше отвращение к подобным зрелищам носит скорее эстетический, чем моральный характер, и, вероятно, оно сильнее всего проявляется в низших слоях общества. Несколько лет назад я побывал на премьере довольно глупой пьесы о Древнем Риме, в которой раннего христианина привели, чтобы подвергнуть очень мягким пыткам на сцене. При первом же ударе хлыста мои соседи вскочили со своих мест с криками: "Позор! Прекратите это!"; в последующих спектаклях сцену пришлось убрать. На одной фабрике рабочие на час остановили двигатели, потому что услышали мяуканье кошки среди механизмов. С трудом спасая животное от раздавливания, они задушили его. Объяснение этой крайней восприимчивости следует оставить психологам, но я убежден, что перед нами случай перенесенной эстетической чувствительности. Мы можем спокойно ходить по улицам Плейстоу, но не можем спокойно смотреть на избивание лошади. Афиняне не ставили мемориалов Альберту, но они пытали девушек-рабынь в своих судах и отправляли своих заключенных работать в ужасные галереи серебряных рудников Лаурейона.

Появление нового духа, который кажется почти независимым от всех традиций, затрудняет оценку нашего нынешнего долга перед Грецией в вопросах религии. Это было бы трудно, даже если бы не произошла промышленная революция. Северные европейцы еще не достигли самовыражения. Их религия - это смесь греческих, латинских и древнееврейских элементов, которые отказываются гармонизироваться, и, которые в этой стране иногда вступают в конфликт с идеалом джентльмена, этой светской религией англоязычных народов, которая больше не имеет никакого отношения к геральдике или собственности на землю. Английский джентльмен - не грек и не еврей. Его кодекс делает Одиссея забавным плутом, Ахилла - жестоким и угрюмым дикарем, а аристотелевский *μεγαλοφυχος* (как уже было сказано) скорее похож на дворянина из романа Дизраэли, но не на джентльмена любого другого сорта. Англичанин по своей природе религиозен; но христианство в его развитой форме - это средиземноморская религия; по всем внешним признакам она могла бы быть совсем другой, если бы ее впервые посадили к северу от Альп. Поэтому в протестантизме существует хроническая путаница, из-за которой его конфликты с латинской церковью напоминают сражения недисциплинированных варваров с хорошо обученными войсками.

Тем не менее, хотя так трудно отделить различные нити, составляющие запутанный клубок нашей современной религии, возможно, стоит сделать попытку выделить, во-первых, те части нынешнего христианства, которые не являются греческими в том широком смысле, который я выбрал для этого слова, а затем те, которые, в том же смысле, являются греческими по происхождению или родству.

Среди тех элементов, которые не являются греческими, первое место должно быть отдано оригинальному Евангелию, о котором я еще ничего не сказал. Наши записи о галилейском служении, содержащиеся в трех синоптических Евангелиях, были составлены лишь спустя долгое время после описываемых в них событий, и их нельзя использовать некритически. Но, по моему мнению, во всяком случае, суть учения Христа прослеживается в этих книгах очень четко. В них не прослеживается никакого эллинского влияния; нет даже признаков того эллинизированного иудаизма, который для нас представляет его современник Филон. Но и Евангелие нельзя назвать еврейским, разве что со многими оговорками. Христос предстал перед своими соотечественниками как пророк; он сознательно поставил себя в ряд пророческой традиции. Как и другие пророки его народа, он не отказался от апокалиптики, которая в то время была естественной формой для пророчества. Но он не проповедовал ни народный национализм, ни народную церковность, ни народную этику. Его

соотечественники отвергли его, как только поняли. Евангелие было, по словам святого Павла, новым творением. Очень важно, что оно сразу же ввело новую этическую терминологию. Греческие слова, которыми мы обозначаем любовь (или милосердие), радость, мир, надежду, смирение, не входили в арсенал греческих моралистов до Христа. Люди не придумывают новых слов для старых идей. Евангелие в целом глубоко оригинально, и христианин может найти убедительные доказательства своей веры в то, что во Христе было совершено откровение для всего человечества, в котором религия Духа в ее чистейшей и универсальной форме впервые была представлена человечеству. Это откровение в значительной степени вошло в общее сознание цивилизованного мира; но его последствия в вопросах поведения, индивидуального, социального и международного, все еще несовершенны и никогда не применялись, за исключением слабых и спорадических действий. Для нас является упреком то, что учение Христа должно рассматриваться лишь как один из многих элементов, составляющих то, что мы называем христианством. Квакеры как организация, как мне кажется, ближе всего подходят к тому, чем должно быть подлинно христианское общество.

Во-вторых, греки избежали зла священнического правления. Восточный тип теократии, с которым они были знакомы в Египте фараонов, был чужд их цивилизации. Их жертвоприношения в большинстве своем были гениальным типом, общением-трапезой с богом. Но даже в Греции мы должны помнить о мрачных хтонических обрядах и деградации орфизма, о которых упоминает Платон в *"Республике"*. Они убеждают не только отдельных людей, но и целые города, что искупление греха можно жертвоприношениями и развлечениями, которые заполняют свободный час и одинаково служат живым и мертвым; последние они называют мистериями, и они избавляют нас от адских мук, но если мы пренебрегаем ими, никто не знает, что нас ожидает". Такая эксплуатация сакраментализма была достаточно распространена в Греции; но характерный цезаро-папизм Византии и современного империализма был совершенно чужд эллинизму. Он был введен Константином как часть процесса ориентализации империи, начатого Диоклетианом. Как говорит Сили, "Константин приобрел неоспоримый титул с помощью хартии. Он дал определенные свободы и получил взамен пассивное повиновение. Он получил санкцию на восточную теорию правления; взамен он принял закон Церкви. Он становился безответственным перед своими подданными при условии, что станет ответственным перед Христом".

У греков никогда не было книжной религии, в том смысле, в каком иудаизм стал, а ислам всегда был книжной религией. Но они подвергались некоторой опасности, рассматривая Гомера и Гесиода как вдохновенные писания. Для нас очевидно, что за Гомером стоит долгая религиозная история, а отношение к богам в эпической поэзии доказывает, что они почти перестали быть объектами религиозного чувства. Некоторые из них даже являются комическими персонажами, как, например, дьявол в шотландском фольклоре. Превратить эти поэмы в священную литературу означало навлечь на себя насмешки христиан. Но Гомер никогда не считался носителем "веры, однажды переданной святым"; на нем не могла быть построена авторитетная религия, и греческая спекуляция оставалась гораздо более раскрепощенной, чем мысль христианства до наших дней.

Те, кто наблюдал за фактическим состоянием христианства в странах Средиземноморья, не могут не подчеркнуть разницу между христианским монотеизмом и языческим многобожием. Ранняя церковь боролась с тенденцией помещать объекты поклонения между Богом и человеком; но мариолатрия проникла через лазейку, и поклонение масс в римско-

католических странах гораздо более языческое, чем богослужebные книги. В воображении многих простых католиков Иисус, Мария и Иосиф - главные властители на их Олимпе.

Учение о сотворении мира во времени, которое отрицалось большинством языческих мыслителей и утверждалось большинством христианских богов, относится скорее к философии, чем к религии. Неверие в предсуществование души - доктрина, которая для греческой мысли стоит на одном уровне с верой в выживание после смерти, - имеет большее значение и может быть частично объяснена еврейским влиянием. Но в предсуществование, похоже, не верило большинство греков, и фактически оно почти исчезло из греческой мысли между Платоном и неоплатониками. Возможно, у пифагорейской и платоновской доктрины еще есть будущее.

Есть те, кто будет настаивать на том, что эти различия незначительны на фоне того факта, что христианство было идеалистической стороной восстания пролетариата против всего социального порядка того времени. Это представление, которое сделало Христа "богом без культа", снова стало популярным в последнее время; некоторые даже сравнивают первых христиан с большевиками. Справедливо задаться вопросом, в какой период это было хотя бы приблизительно верно. Христос и его апостолы принадлежали к зажиточному крестьянству Галилеи, образованному и комфортному среднему классу. Домашние рабы богатых римлян, которые в большом количестве приняли новую веру, были юридически беззащитны, но отнюдь не несчастны и не деградировали. После второго века сравнение христиан с современными революционерами становится слишком абсурдным для обсуждения. У христианских отцов можно найти немало риторических заявлений о богатстве и бедности, но, к сожалению, церковь, кажется, сделала очень мало для того, чтобы выразить протест против вопиющей экономической несправедливости четвертого и пятого веков. От начала до конца в католической церкви не было ничего от движения "Спартак". Как только гонения прекратились, епископы заняли свое естественное место среди знати.

Когда мы переходим к вопросу об обязательствах современной религии перед Грецией, трудно понять, с чего начать.

Концепция философии как *ars vivendi* является типично греческой. Ничто не может быть дальше от истины, чем называть греков "интеллектуалами" в том пренебрежительном смысле, в котором это слово часто используется сейчас. Цель философии состояла в том, чтобы научить человека жить хорошо, а вместе с этим - правильно мыслить о Боге, мире и себе. Этот тесный союз между метафизикой, моралью и религией остался постоянным достоянием современного мира. От каждого философа теперь ждут, что он покажет, как его система влияет на мораль и религию, и критика часто оправдывается тем, что какими бы смелыми ни были рассуждения мыслителя, он старается, когда дело доходит до поведения, быть достаточно условным. Эллинистическое сочетание платоновской метафизики со стоической этикой до сих пор является доминирующим типом христианской религиозной философии. Любопытно наблюдать, как конкурирующие тенденции в этих системах - восхваление изолированной отстраненности и активного социального сочувствия - продолжают бороться друг с другом в христианской церкви.

Место аскетизма в религии настолько важно, а о контрасте между эллинизмом и христианством в этом вопросе написано так много и невразумительно, что я предлагаю рассмотреть его вкратце, но с чуть большим количеством деталей, чем того требует строгое соблюдение пропорций. Часто предполагается, что нация атлетов, сделавшая героями Геракла и Тесея, Ахилла и Гектора, не могла испытывать ничего, кроме презрения к аскетическому идеалу. Но на самом деле аскетизм имеет непрерывную историю внутри

эллинизма. Даже Гомер знает о жрецах прохладной Додоны, селли, чьи босые ноги не моются и которые спят на земле. Возможно, это не описание жизни дикарей, как считает Виламовиц-Мёллендорф, а описание аскетической школы пророков. Ведь постные дни, которые ввели Фесмофории, афинские матроны соблюдали точно так же: они ходили без обуви и сидели на голой земле; можно сравнить и нудипедалии, которые римляне устраивали во время засухи и о которых упоминают Петроний и Тертуллиан. Пророки и пророчицы постились в Милете, Колофоне и других местах. Национальные посты назначались во время бедствий или опасностей, а Тарентум соблюдал ежегодный пост в знак благодарности за избавление от осады. Флагелляцию мальчиков в Спарте вряд ли стоит принимать во внимание, поскольку она, вероятно, заменяла человеческие жертвоприношения; но продолжение этого жестокого обряда почти до конца античности вызывает удивление. Поклонение Дионису Загрею во Фракии сопровождалось аскетическими практиками еще до Пифагора. Вегетарианство, которое всегда играло важную роль в аскетической жизни, было обязательным для всех пифагорейцев, но в этой школе помимо желания умертвить плоть существовал и другой мотив. Те, кто верит в переселение душ в тела животных, должны рассматривать плотоядение не иначе как каннибализм. Пифагорейские и орфические правила жизни были хорошо известны в древности и, вероятно, соблюдались многими. Правило целомудрия было гораздо менее строгим, чем в католической "религиозной" жизни; но Эмпедокл, согласно Ипполиту, советовал воздерживаться от брака и деторождения, и тенденция рассматривать безбрачие как часть "философской жизни" неуклонно росла. Климент Александрийский цитирует киника Антисфена, выражавшего желание "застрелить Афродиту, погубившую столько добродетельных женщин". Но аскетизм ранних киников и некоторых стоиков был основан не на самоотверженности и духовности, а на стремлении к независимости, и часто принимал отталкивающие формы. О некоторых из них можно сказать, что они не возражали против чувственных удовольствий, они возражали лишь против того, что за них нужно было платить. Стремление к самодостаточности - всегда часть аскетизма, но у христианских святых оно было незначительным. Греки, которые его практиковали, от начала до конца слишком стремились быть неуязвимыми; это было главной привлекательной чертой философской жизни со времен Антисфена, и она оставалась главной до конца. Но кинизм и стоицизм (которые, как правило, идут рука об руку) стали более мягкими, гуманными и духовными во времена Римской империи. Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий часто кажутся наполовину христианами. Прямое влияние христианской этики в этот ранний период, пожалуй, маловероятно; достаточно предположить, что дух эпохи сходным образом влиял на все вероисповедания и конфессии. Самоуничтожение принимало все более и более жестокие формы, пока не достигло кульминации в странных отклонениях египетского эремитизма. Их нельзя считать ни греческими, ни христианскими; они свидетельствуют о патологическом состоянии общества, которое можно частично, но не полностью объяснить условиями того времени. Через несколько столетий отшельников вытеснил гораздо более благотворный тип монашества; анкориты Средневековья сохранили уединенную жизнь, но были совсем не похожи на безумных дикарей из Фиваиды. В наше время те, кто в наибольшей степени проникся греческим духом, обычно живут в строгой простоте, но без жестокой самодисциплины, которую, как говорят, до сих пор практикуют некоторые набожные католики. Усердная практика самообладания и самое щадящее потакание удовольствиям чувств - вот та "философская жизнь", которую греческий дух рекомендует как высшую. Лучшие греки обвинили бы жизнь английского священника, профессора или философа в излишней самоиндульгенции; мы часто забываем, как экономно и тяжело жили греки во все времена. Но здесь мы должны учитывать различия климата и очевидную необходимость довольно щедрой диеты для нордической расы.

Влияние греческих мистерий на христианство - остро дискуссионный вопрос, в котором страсти и предрассудки играют слишком большую роль. Информация, необходимая для формирования суждения, была значительно расширена благодаря недавним открытиям в Египте и других местах, и, как это обычно бывает, важность новых фактов иногда преувеличивается. Протестантское богословие в целом минимизировало влияние мистерий и отнесло его на более поздний срок из-за нежелания допустить, что в христианстве первого века уже существовал сильный католический элемент. Ортодоксальный католицизм игнорировал его по другим, но столь же очевидным мотивам. Модернистский католицизм, на мой взгляд, опередил вторжение грубого сакраментализма в Церковь и сильно преувеличил его значение в религии христиан первого века. Эта школа практически отрицает нечто большее, чем полуслучайную преемственность между проповедью исторического Христа, которого они, как ни странно, считают простым апокалиптистом, одним из многих мессий или махди, возникших в этот период в Палестине, и католической церковью, которая, по их мнению, принадлежала к тому же типу религии, что и поклонение Исиде и Митре. Еще одним предметом споров является значение мистериальных религий Греции. Очень способные немецкие ученые, писавшие на эту тему, такие как Рейтценштейн и еще более Роде, кажутся мне слишком несимпатичными в своем отношении к мистериям-культам. Наконец, некоторые компетентные критики в последнее время утверждают, что эта сторона христианства в большей степени обязана иудаизму - разумеется, эллинизированному иудаизму, чем считалось до сих пор.

Платон в "Фаэдо" говорит, что "те, кто установил наши мистерии, заявляют, что все, кто приходит в Аид непосвященным, будут лежать в грязи, а тот, кто был очищен и посвящен, будет жить с богами". Ибо, как говорится в мистериях, "много тирсоносцев, но мало вдохновенных". Этот сакраментализм не был бесспорным, как мы уже видели на примере самого Платона. Говорят, что Диоген спрашивал, лучше ли на том свете разбойнику Патесиону, чем герою Эпаминондасу, потому что первый был посвящен, а второй - нет. Но орфизм, хотя и был подвержен деградации, очистил и возвысил старые вакхические обряды. Как говорит мисс Харрисон, вакханки надеялись достичь единения с Богом с помощью опьянения, орфики - с помощью воздержания. Путь к спасению теперь лежал через "святость" (ὁσιότης). Инициированным давалось заверение: "Счастлив и благословен! Ты станешь богом, а не смертным". Быть богом означало для грека просто быть бессмертным; орфический святой был избавлен от мучительного цикла повторяющихся рождений и смертей. А орфическая чистота была в основном, хотя и не полностью, результатом моральной дисциплины. Кюмон говорит, что мистериальные культы принесли с собой две новые вещи - таинственные средства очищения, с помощью которых они предлагали очистить душу от скверны, и уверенность в том, что бессмертное блаженство будет наградой за благочестие. Истина, говорит мистер Х. А. Кеннеди, преподносилась им в виде божественных откровений, эзотерических доктрин, тщательно скрываемых от взора профанов, доктрин, дающих в руки мощный аппарат для избавления от нападков злобных демонических влияний, и прежде всего для преодоления неумолимой тирании судьбы. В эту демонологию верили повсюду во времена Римской империи, о которой думает мистер Кеннеди в этом предложении, и она, к сожалению, оставила больше следов в посланиях святого Павла, чем нам хотелось бы допустить. Образование братств для мистического поклонения также было важным шагом в развитии греческой религии. Эти братства были космополитичными и, похоже, особенно процветали в крупных морских портах. Они были очень популярны, черпая поддержку в основном из низших слоев населения, и в них игнорировались национальные и социальные различия. Их конечную цель нельзя выразить лучше, чем словами мистера Кеннеди - "поднять душу над преходящей материей через реальное единение с Божественным". На сайте принято проводить различие между

достойными и официально признанными мистериями, как в Элевсисе, и независимыми добровольными объединениями, некоторые из которых приобрели большое значение. Но, скорее всего, между ними не было существенной разницы. Ни в том, ни в другом случае не было определенного обучения; целью, как говорит Аристотель, было вызвать определенное эмоциональное состояние (οὐ μαθεῖν τὶ δεῖν ἀλλὰ παθεῖν). Страстная игра разыгрывалась в самом впечатляющем окружении, и мы не должны сомневаться, что моральный эффект был благотворным, а иногда и глубоким. Когда египетские мистерии Исида и Осириса соединились с эллинскими, возник тип поклонения, поразительно похожий на христианство. Знаменитый египетский текст содержит обещание: "Как истинно жив Осирис, так будет жить и он [поклоняющийся ему]; как истинно не умер Осирис, так и он не умрет". Благодарение Исиде в конце *"Метаморфоз"* Апулея очень красиво само по себе, хотя и является странным завершением развратного романа. Герметическая литература также содержит учение явно иоганнинского типа, как, например, в молитве к Исиде: "Прославь меня, как я прославила имя сына твоего Гора". Я согласен с теми критиками (Кумон, Зелинский и другие), которые приписывают "высшее" герметическое учение истинно эллинским источникам. Но не обязательно приписывать все высшие учения Греции, а низшие - Египту.

Большая часть богословия святого Павла принадлежит к тому же кругу идей, что и эти мистерии. Особенно важна психология, разделяющая человеческую природу на дух, душу и тело, причем дух - это божественный элемент, в который спасенные преображаются через "познание Бога". Это знание - сверхъестественный дар, который (в *"Поймандрах"*) дает "обожествление". Св. Павел обычно предпочитает "пневму" в качестве названия этой высшей части человеческой природы; в герметической литературе нелегко провести различие между пневмой и Nous, занимающим то же место в неоплатонизме. Представление о спасении как , состоящем в познании Бога , нередко встречается у св. Павла; сравните, например, 1 Кор. xiii. 12 и еще более важный отрывок, Фил. ii. 8-10. Частично это знание передается через видения и откровения, которым святой Павел придает определенное значение; но в целом он последовательно рассматривает знание как венец и завершение веры. Пневматическое преображение личности - центр эсхатологии святого Павла. "Хотя внешний наш человек и погибает, но внутренний обновляется день ото дня". Духовное тело" является проводником преображенной личности, ибо "плоть и кровь не могут наследовать Царства Божия". Выражение "родиться свыше" часто встречается в мистической литературе.

Легко найти множество других параллелей в посланиях святого Павла, в книгах Иоганна, которые являются лучшим комментарием к ним, и в богословии греческих отцов, которые доказывают тесную связь раннего христианства с мистериальными религиями империи. Двадцать лет назад, возможно, стоило бы более детально проследить эти сходства даже в таком кратком обзоре, как этот. Но в настоящее время наблюдается тенденция если не переоценивать долг христианской религии перед эллинистической мыслью и культом, то, во всяком случае, игнорировать огромную разницу между высшими элементами в мистериях-религиях, которые новая вера могла с радостью и готовностью усвоить, и низшим типом, теософией, магией и теургией, которые не были в русле эллинского развития и не встречаются в Новом Завете. Вендланд, всегда рассудительный критик, очень верно сказал, что святой Павел относится к мистериальным религиям, как Платон к орфизму; они не являются центром его религиозной жизни, но они дали ему эффективные формы выражения его религиозного опыта. Или, как говорит Вайнель, "учение святого Павла о Духе и Христе - это не подражание мистериальной доктрине, а глубокий личный опыт, метафизически истолкованный в соответствии с манерой его времени". Писатели вроде Луази, утверждающие, что для святого Павла Иисус был "Богом-спасителем, подобно Осирису,

Аттису или Митре", и проводящие очевидные параллели между страданиями, смертью и воскресением этих мифологических персонажей и Евангелиями христианской церкви, конечно же, забывают, что святой Павел был евреем, а религиозный разум не способен на некоторые трансформации. Он никогда не говорит о Христе как о "Боге-спасителе". Еще более извращенными являются аргументы, которые используются для доказательства того, что центром религии святого Павла была грубая и материалистическая сакраментальная магия. Апостола, чья антипатия к ритуалам в любой форме наложена на все его труды, который благодарит Бога за то, что крестил лишь немногих коринфян, который заявляет, что "Христос послал его не крестить, а проповедовать Евангелие", обвиняют в том, что он рассматривает крещение как "*opus operatum*, обеспечивающий принятие человека в Царство независимо от характера его будущего поведения". И все же в Послании к Римлянам, как говорит Вайнел, "крещение лишь однажды приходит ему на ум, а Вечера Господня - даже не один раз". Крещение для него - не *opus operatum*, а церемония социального значения, символ, обуславливающий более глубокий опыт божественной благодати, уже воспринятый верой. Эти же критики продолжают иллюстрировать учение святого Павла о Вечере Господней ссылками на религию ацтеков и других варваров. Но вряд ли стоит спорить с теми, кто полагает, что человек с воспитанием и культурой святого Павла мог задумываться над понятием "есть бога". Стол Господень - это стол, за которым Господь является духовным хозяином, а не стол, на котором находится Его плоть. Неужели кто-то полагает, что "стол бесовский", который противопоставляется "столу Господню", - это стол, за которым едят бесы? У демонов не было тел, как мы узнаем из οὐκ εἶσι δαιμονίων σώματα известного отрывка в новозаветном манускрипте.

Грубый сакраментализм, безусловно, появился позже. Его родословную можно проследить, если угодно, до тех таинственников, о которых с неодобрением упоминает Платон. Если эллинизм - это название образа мышления, то эта форма религии не является здоровым эллинизмом; то, что ее придерживались многие эллины, нельзя отрицать.

Библейская доктрина о грехопадении человека, которую евреи никогда бы не приняли для себя, оставалась одиозной догмой в иудейской религии. Она была возрождена в христианстве под греческим влиянием. Человек, как учили Эмпедокл и другие, был "изгнанником и бродягой от Бога"; его тело было его могилой; он был одет в "чуждую одежду плоти". Он находится в падшем состоянии и нуждается в искуплении. Эллинизм стал религией искупления; империя была вполне готова принять эту часть христианской доктрины. Грех Адама стал первой сценой в великой драме человечества, которая привела к Искуплению. В то же время весь процесс никогда не был просто историей; его глубочайший смысл проявлялся в истории жизни каждого человека. Греческая мысль придала такой поворот догмам, которые для иудея были бы плоским историческим пересказом. В наше время ранние сцены истории, во всяком случае, рассматриваются как не более чем драматизация обычного опыта человеческой души. Но греческая мысль, оставаясь верной своему типу, никогда не воспринимала грех так трагично, как это делает христианство. Борьба со злом стала более жесткой, чем когда-либо была для греков. Однако следует помнить, что большинство исповедующих христиан не слишком беспокоятся о своих грехах, и что лучшие из греков всерьез стремились исправить свою жизнь.

Искупление было принесено на землю Искупителем, который был одновременно Богом и Человеком. Это опять же соответствовало греческим представлениям. Посредник между Богом и человеком должен быть полностью божественным, поскольку промежуточное существо не имело бы связи ни с одной из сторон. Победа Афанасия ни в коем случае не была поражением эллинизма. Единственной трудностью для греческого мыслителя было,

что воплотившийся Бог должен быть бесстрастным. Это было загадкой только для философов; народная религия не видела никаких трудностей в *Christus patiens*. Доктрина Логоса привела христианство в прямое родство с платонизмом и стоицизмом, а Второе Лицо Троицы было наделено теми же атрибутами, что и *Nous* неоплатоников. Но попытки приравнять Троицу к трем божественным ипостасям Плотина были не более успешными, чем более поздняя попытка Гегеля вписать Троицу в рамки своей философии.

Тема эсхатологии настолько обширна, что ее невозможно рассмотреть даже в самом кратком виде в одном абзаце. Обычно говорят, что воскресение тела - это еврейская доктрина, а бессмертие души - греческая. Но евреи очень медленно внедряли идею будущей жизни в свою живую веру; и по сей день она не имеет особого значения в иудаизме. Некая форма миллениаризма - царствование святых на земле - кажется, была бы естественной формой для иудейских надежд. Эта вера, которая была самой ранней формой, в которую было залито сокровище нового откровения, никогда полностью не исчезала из Церкви, а во времена волнений и потрясений она имеет тенденцию вновь заявлять о себе. Самая зрелая греческая философия рассматривает вечность как божественный способ существования, в то время как смертные рождаются, живут и умирают во времени. Человек - микрокосм, соприкасающийся с каждой ступенькой лестницы бытия; он потенциально "участник" божественного способа существования, который он может сделать своим, живя, насколько это возможно, в отрыве от суетных теней и тленных земных благ. То, что эта концепция бессмертия оказала огромное влияние на христианскую мысль и практику, не нуждается в доказательствах. Она есть и всегда была религией мистика. Но орфическая традиция с ее картинами чистилища, вечного блаженства и мучений в целом доминирует над двумя другими в народной христианской вере. Она была лишена своих аксессуаров - веры в реинкарнацию и переселение душ, доктрин, которые поддерживают несколько непростое существование в рамках схемы неоплатоников. Без них картина будущего возмездия становится еще более ужасающей. И философские, и народные представления о потустороннем мире в гораздо большей степени греческие, чем иудейские; но попытка удержать эти весьма противоречивые верования вместе привела христианскую эсхатологию в крайнее замешательство, и многие христиане отказались от попыток сформулировать какие-либо теории о том, что называется четырьмя последними вещами. В таком загадочном вопросе не стоит ни ожидать, ни желать определенности. Первоначальное Евангелие не поощряет естественное любопытство человека узнать свою будущую судьбу; и три типа эсхатологии, которые мы описали, имеют всю свою ценность как отражение различных аспектов религиозной веры и надежды. В конце концов, мы должны признать истинность слов святого Павла о том, что "глаз не видел, ухо не слышало, и в сердце человеческое не входило, чтобы помыслить, что приготовил Бог любящим Его". Тот же апостол напоминает нам, что "ныне мы видим как бы сквозь зеркало, загадками, и знаем только отчасти"; видение лицом к лицу и знание, объединяющее знающего и познаваемого, может стать нашим, когда мы закончим свой курс. В этих словах, напоминающих знаменитый платоновский миф о пещере, святой Павел в корне солидарен с платониками; и вполне возможно, что именно на этом пути наши современники смогут вернуть себе веру в вечную жизнь, которая сейчас горит среди нас очень тускло.

В заключение следует сказать, чему религия греков может научить нас, что мы больше всего рискуем забыть? Одним словом, это вера в то, что Истина - наш друг, и что познание Истины не находится за пределами нашей досягаемости. Вера в честный поиск (*ζητησις*) лежит в основе греческого взгляда на жизнь. "Те, кто хочет справедливо судить об истине, - говорит Аристотель, - должны быть арбитрами, а не тяжущимися". Счастлив тот, кто познал ценность исследования" (*ἱστορία*), - говорит Еврипид в одном из фрагментов. Любопытство, как знали

греки и не знали средние века, - это добродетель, а не порок. Природа, по Платону, - наместник и открыватель Бога, Душа Вселенной. Человеческая природа - это та же природа, что и божественная; никто не провозгласил это сильнее. Природа - для нас; хаос и "необходимость" - враги. Разрыв между религией и гуманизмом начался, надо признать, при преемниках Платона, которые, к несчастью, были равнодушны к естественным наукам и даже не следили за тем, что лучше всего освещало физические знания. В Темные века, когда связь с Грецией была прервана, разделение стало абсолютным. Пышная мифология ранних греков не была ненаучной. В отсутствие знаний пробелы заполнялись воображением и "методом проб и ошибок". Драматическая фантазия, создающая мифы, является сырьем как для поэзии, так и для науки. Конечно, религиозные мифы могут стать препятствием на пути прогресса науки; это происходит, когда в эпоху рационализации вопрос ставится как факт или вымысел. Ошибочно полагать, что вера "пострационального" века, по выражению Сантаяны, может быть такой же, как и вера ненаучного века, даже если она использует те же формулы. Сам греческий дух сегодня призывает нас отказаться от некоторых одеяний греческой традиции. Перед нами стоит выбор между "пострациональным" традиционализмом, в основе своей скептическим, прагматичным и интеллектуально нечестным, и доверием к разуму, которое действительно опирается на веру в божественный Логос, самораскрывающуюся душу вселенной. Настоящий автор убежден, что непоколебимый взгляд и открытый разум вновь приведут нас к ногам Христа, к Которому Греция с ее давней традицией свободного и бесстрашного исследования стала быстрым и добровольным пленником, принесла Ему свои многообразные сокровища в обоснованной уверенности, что Он пришел не разрушить, а исполнить.

W. P. Инге.

ФИЛОСОФИЯ

Если мы рассмотрим философские тенденции сегодняшнего дня, то, вероятно, прежде всего заметим, что искусственная стена перегородки между философией и наукой, особенно математической, начинает сильно истончаться. С другой стороны, мы не можем не заметить реакцию против того, что называется интеллектуализмом. Эта реакция принимает различные формы, наиболее характерной из которых, пожалуй, является возрождение интереса к мистицизму. Она также приводит к сильному настаиванию на практическом аспекте философской мысли и к взгляду на ее влияние на то, что считалось в первую очередь теоретическими вопросами, который известен под довольно неудачным названием "прагматизм". Именно в этих вопросах нам есть чему поучиться у греков, и поэтому греческая философия имеет для нас особое значение в настоящее время. В своих лучших проявлениях она никогда не отрывалась от науки, находя способ примириться как с интересами практической жизни, так и с мистицизмом, ни в коей мере не ослабляя притязаний интеллекта. Исключительно с этих позиций предлагается рассматривать греческую философию. Было бы бесполезно пытаться изложить весь предмет в отведенном для этого месте, да и ценность такого изложения была бы нулевой. Поэтому мы обойдем молчанием многие моменты, которые важны сами по себе и должны были бы быть полностью рассмотрены в полном изложении. Все, что можно сделать сейчас, - это указать на те моменты, в которых греческая философия, как представляется, соприкасается с нашими актуальными проблемами. Мы увидим, что здесь, как и везде, "вся история - это современная история", и что настоящее можно понять только в свете прошлого.

Слово "философия" - греческое, как и то, что оно обозначает. Если не использовать этот термин в столь широком смысле, чтобы лишить его всякого особого значения, то нет никаких доказательств того, что философия когда-либо появлялась где-либо, кроме как под греческим влиянием. В частности, мистические спекуляции, основанные на религиозном опыте, сами по себе не являются философией, хотя часто оказывают на нее глубокое влияние, и по этой причине пантеизм *Упанишад* не может быть назван философским. Правда, существует индийская философия, и индусы - единственный древний народ, кроме греков, у которого она когда-либо была, но индийская наука была явно заимствована из Греции после завоевания Александром, и есть все основания полагать, что те индийские системы, которые можно считать подлинно философскими, появились гораздо позже. С другой стороны, самый ранний достоверный случай, когда греческий мыслитель попал под индийское влияние, - это Пирр (326 г. до н. э.), и то, что он привез с Востока, было скорее идеалом квиетизма, чем какой-либо определенной философской доктриной. Языковой барьер был достаточным препятствием для любого общения на важные темы, поскольку ни греки, ни индийцы не стремились изучать какой-либо язык, кроме своего собственного. Конечно, философия может завершиться теологией, и лучшая греческая философия, безусловно, так и поступает, но начинается она с науки, а не с религии.

Под философией греки понимали серьезное стремление понять мир и человека, главной целью которого было открытие правильного образа жизни и обращение людей к нему. Однако было бы неверно утверждать, что это слово всегда имело такой особый смысл. Во всяком случае, соответствующий глагол (φιλοσοφειν) поначалу имел гораздо более широкий диапазон. Например, Геродот (i. 30) заставляет Креза сказать, что Солон путешествовал далеко и широко "как философ" (φιλοσοφῶν), и из контекста ясно, что это относится к той любви к путешествиям ради "чудес", которые можно было увидеть в чужих странах и которые были так характерны для ионийских греков в V веке до н. э. Это совершенно ясно. Это становится ясно из фразы "ради осмотра достопримечательностей" (θεωρίας εἰνεκεν), с которой сочетается это слово. Опять же, когда Фукидид (ii. 40) заставляет Перикла сказать о своих согражданах: "Мы следуем философии без потери мужественности" (φιλοσοφοῦμεν ἀνευ μαλακίας), он, конечно, не думает о философии в специальном смысле. Он лишь противопоставляет афинскую культуру и несколько развращенную цивилизацию ионийцев в Малой Азии. Уже в следующем веке Исократ пытается вернуться к этому более широкому значению слова и регулярно использует его для обозначения искусства политической журналистики, которое он передавал своим ученикам.

Традиция приписывает первое использование термина "философия" в более ограниченном смысле, указанном выше, Пифагору Самосскому, ионийцу, основавшему общество для ее культивирования в Южной Италии во второй половине VI века до н. э. Известно, что трудно делать какие-либо позитивные заявления о Пифагоре, поскольку он ничего не написал; но на общих основаниях безопаснее приписывать ведущие идеи системы мастеру, а не его последователям. Более того, эта конкретная традиция подтверждается тем фактом, которому есть достаточные доказательства, что название "философы" первоначально обозначало пифагорейцев особым образом. Например, мы знаем, что Зенон из Элеи (ок. 450 г. до н. э.) написал книгу "Против философов", и в его устах это могло означать только "Против пифагорейцев". Пифагорейское использование этого термина зависит от определенного взгляда на человека, который есть все основания приписывать самому Пифагору. Сейчас это стало более или менее общим местом, но мы должны попытаться уловить его в его первоначальной свежести, если хотим понять ассоциации, которые слово "философия" стало вызывать у греков. Если говорить кратко, то это мнение о том, что человек является чем-то промежуточным между Богом и "другими животными" (τὰλλα ζῶα). По сравнению с

Богом он "просто человек", подверженный ошибкам и смерти (и то, и другое говорится как о специфически *человеческом*, ἀνθρώπινα); по сравнению с "другими животными" он добр и способен к цивилизации. Латинское слово *humanus* переняло этот двойной смысл, который в английском языке несколько произвольно обозначается написанием *human* и *humane*. Теперь ясно, что для существа, подверженного ошибкам и смерти, мудрость (σοφία) в полном смысле слова невозможна; это подвластно только Богу. С другой стороны, человек не может довольствоваться, подобно "другим животным", пребыванием в невежестве. Если он не может быть мудрым, то, по крайней мере, может быть "любителем мудрости", и из этого следует, что его главной целью будет "уподобление Богу, насколько это возможно" (ὁμοιωσις τῷ θεῷ катὰ τὸ δυνατόν), как выразился Платон в *"Теэтете"*. Математические исследования пифагорейцев вскоре поставили их лицом к лицу с идеей постоянного приближения, которое никогда не достигает своей цели. Таким образом, есть достаточно оснований для принятия традиции, которая делает Пифагора автором этого особого смысла слова "философия" и связывает его с разделением живых существ на Бога, людей и "других животных". Если поздние пифагорейцы пошли дальше и классифицировали разумных животных на богов, людей и "таких, как Пифагор", то это было вызвано энтузиазмом учеников, и на самом деле является еще одним свидетельством истинно пифагорейского характера всего этого спектра идей. Таким образом, мы можем считать, что слово "философия" приобрело свой особый смысл в Южной Италии еще до начала пятого века до нашей эры.

Еще более очевидно, что этот смысл был хорошо известен в Афинах, по крайней мере в определенных кругах, вскоре после середины пятого века. По всей видимости, это была работа Сократа (470-399 гг. до н. э.). Как бы ни относиться к философии Сократа или к его отношению к философии, изложенной в ранних диалогах Платона (этот вопрос здесь не обсуждается), по крайней мере, не подлежит сомнению, что он был лично близок с ведущими пифагорейцами, которые укрылись в Фивах и во Флии в Пелопоннесе, когда их общество стало рассматриваться как опасное для государства в Кротоне и других местах на юге Италии. Это произошло примерно в середине пятого века, и Сократ, должно быть, познакомился с этими людьми вскоре после этого. В то время было вполне естественно, что они посещали Афины; но после начала Пелопоннесской войны (431 г. до н. э.) все контакты с ними должны были прекратиться. Они жили во вражеских государствах, а Сократ сражался за свою страну. За исключением короткого периода Никийского мира (421 г. до н. э.), он мог ничего не видеть с ними в течение многих лет. Тем не менее очевидно, что они не забыли его; ведь мы должны принять утверждение Платона в *"Фаэдо"*, что многие из самых выдающихся философов того времени приехали в Афины, чтобы быть рядом с Сократом, когда его предали смерти, и что те из них, кто не смог приехать, жаждали услышать полный отчет о том, что произошло. Очень важно, что еще до этого два молодых ученика пифагорейца Филолая, Симмий и Цебес, прибыли из Фив и присоединились к Сократу. Об этом мы имеем свидетельство Ксенофонта, а также Платона, и заявление Ксенофонта здесь имеет реальную ценность, поскольку именно в эти несколько лет он сам был связан с Сократом, хотя видел его в последний раз за год или два до суда и смерти. Какие бы выводы ни делались из этих фактов, их достаточно, чтобы доказать, что Сократ познакомился с некоторыми из ведущих философов греческого мира еще до сорока лет, и сделать весьма вероятным, что именно он ввел в обиход афинян слово "философия" в его пифагорейском смысле.

Итак, со словом покончено; далее следует спросить, как вообще возникло такое понятие, как философия. Уже упоминалось, что Пифагор был ионийцем, и мы, естественно, должны были ожидать, что он принес по крайней мере начатки того, что он называл философией, из восточной Эллады. На сайте было отмечено, что греческая философия основывалась на науке, а наука зародилась в Милете на материковой части Малой Азии, почти напротив

острова Самос, который был первоначальным домом Пифагора. Ранние милетцы были, по сути, учеными, а не философами в строгом смысле слова. Впрочем, эти два понятия еще не были разграничены, и традиционная точка зрения, согласно которой греческая философия начинается с Фалеса (ок. 585 г. до н. э.), в конце концов вполне оправдана. Рудиментарная математическая наука, основоположником которой он был, как объясняется в другом месте этого тома, фактически привела его и его преемников к постановке определенных вопросов о конечной природе реальности, и эти вопросы стали началом философии с ее теоретической стороны. Правда, милетцы не смогли дать на эти вопросы ничего, кроме самых грубых ответов, и, скорее всего, они не осознавали всей их важности. Эти первые исследователи хотели лишь узнать, из чего состоит мир и как он устроен, но полный разрыв с мифологией и традиционными взглядами, который они осуществили, расчистил путь для всего последующего. Не маловажно, что они смогли отбросить старую доктрину о том, что впоследствии было названо "стихиями" - огонь, воздух, земля и вода - и рассматривать все это как состояния единой субстанции, которая проявляла себя по-разному в зависимости от того, насколько она была разрежена или сгущена. Более того, Анаксимандр (ок. 546 г. до н. э.), преемник Фалеса, освободился от мысли, что земля нуждается в какой-то опоре, чтобы оставаться на своем месте. Он считал, что она свободно качается в пространстве и что она остается на месте, потому что нет причин для ее падения в одном направлении, а не в другом. В целом эти ранние космологи считали, что вес не является неотъемлемым свойством тел и не может быть использован для объяснения чего-либо. Напротив, вес сам по себе был тем, что нужно было объяснить. Анаксимандр также отметил важность вращательного или вихревого движения в космической схеме и предположил, что может существовать неопределенное количество вращающихся систем в дополнение к тем, с которыми мы непосредственно знакомы. Он также сделал несколько очень важных наблюдений биологического характера и заявил, что человек должен произойти от животного другого вида. Молодые особи большинства животных, по его словам, могут сразу найти себе пищу, в то время как молодым особям человеческого вида требуется длительный период выкармливания. Таким образом, если бы человек изначально был таким, как сейчас, он никогда не смог бы выжить. Все это, несомненно, рудиментарная наука, а не философия, но начало философии было положено именно в этом смысле: полностью изменило традиционный взгляд на мир и сделало неизбежным постановку более глубоких проблем.

Эта трансформация происходила в полной независимости от религии. То, что мы можем назвать секуляризмом, на самом деле было характерно для всей восточной ионийской науки до самого конца. Нас не должен вводить в заблуждение тот факт, что Анаксимандр называл свои бесчисленные миры "богами", а его преемник Анаксимен говорил об Эфире как о "боге". Они никогда не были богами какого-либо города, им никто не поклонялся, и поэтому они совершенно не соответствовали тому, что обычный грек подразумевал под богом. Использование этого термина милезийцами означает скорее, что место, которое когда-то занимали боги в религии, теперь заняли великие фундаментальные явления природы, и поздние греки были совершенно правы, называя это атеизмом, со своей точки зрения. Аристофан очень точно характеризует этот способ говорить в *"Облаках"*, когда заставляет Стрепсиада подытожить полученное им учение словами "Вихрь изгнал Зевса и царствует вместо него", и когда заставляет Сократа поклясться "Хаосом, дыханием и воздухом". Так и милезийцы говорили о первичной субстанции как о "нестареющей и не умирающей", что является гомеровской фразой, используемой для обозначения различия между богами и людьми, но это означает лишь то, что эмоции, ранее присущие божественному, теперь переносятся на природное.

Итак, милезийцы сформировали концепцию вечной материи, из которой все вещи производятся и в которую все вещи возвращаются, а концепция материи относится скорее к философии, чем к науке. Но помимо этого они заложили основы геометрии, что в других руках привело к формулированию коррелятивной концепции предела или формы. Нет необходимости перечислять здесь вклад милезианцев и пифагорейцев в плоскую геометрию; достаточно напомнить читателю, что они охватили большую часть основ *Евклида*, книги I, II, IV и VI, а также, вероятно, и книгу III. Кроме того, Пифагор основал арифметику, то есть научную теорию чисел (ἀριθμητική), в отличие от практического искусства вычислений (λογιστική). Мы также знаем, что он открыл шарообразность Земли и числовые соотношения интервалов между созвучными нотами октавы. Очевидно, что он был научным гением первого порядка, и также ясно, что его методы включали в себя наблюдение и эксперимент. Открытие шарообразной формы Земли было сделано благодаря наблюдению за затмениями, а открытие интервалов октавы могло быть основано только на экспериментах с натянутой струной, хотя реальные эксперименты, приписываемые традицией Пифагору, абсурдны. Несомненно, именно это последнее открытие побудило его сформулировать свою доктрину в поразительном изречении "Вещи - это числа", тем самым определенно отдав приоритет элементу формы или предела, а не неопределенной материи своих предшественников.

Пифагор отличался от своих предшественников еще в одном отношении, которое оказалось крайне важным. Он был настолько далек от того, чтобы игнорировать религию, что основал в Южной Италии общество, которое было в первую очередь религиозной общиной. Вполне возможно, что на него повлиял рост орфических обществ, которые начали распространяться повсеместно в течение шестого века, но его религия отличалась от орфической во многих отношениях. В частности, главным богом пифагорейцев был Аполлон, а не Дионис, и все наши свидетельства указывают на то, что Пифагор принес свою религию, как и свою науку, из восточной Эллады, хотя скорее с островов Эгейского моря, чем из материковой Ионии. На него, как мы видим, оказали большое влияние некоторые традиции храма на Делосе, который стал религиозным центром ионического мира. Конечно, у греков и до Пифагора было много религиозных спекуляций, и они были не похожи на те, что мы находим в Индии, хотя существуют непреодолимые трудности, чтобы предположить какое-либо эгейское влияние на Индию или какое-либо индийское влияние на Эгейское море в этот период. Возможно, зачатки таких идей восходят к тому времени, когда греки и индусы жили вместе, но все же более вероятно, что и греки, и индийцы были затронуты движением, зародившимся на севере, которое принесло им обоим новый взгляд на душу. Можно считать, что Делийская легенда о гиперборейцах указывает на это направление. Как бы то ни было, главной целью религиозных обрядов, которые практиковали и орфики, и пифагорейцы, было обеспечение с помощью "очищений" (καθαρμοί) выкупа (λύσις) души, которая рассматривалась как падший бог, от наказания в виде заключения в последующих телах. Нет оснований полагать, что Пифагор проявил какую-то особую оригинальность в этой части своего учения. Все зависит от доктрины трансмиграции или возрождения (παλιγγενεσία), которую часто неверно обозначают поздним и неточным термином "метемпсихоз". Несомненно, Пифагор учил этому, а также правилу воздержания от животной плоти, которое является его естественным следствием, но подобные идеи были хорошо известны во многих частях Греции еще до его времени. Настоящая трудность заключается в том, чтобы увидеть связь между всем этим и его научной деятельностью. Здесь мы, конечно, ограничены выводами из того, что нам сообщают более поздние авторы; но если доктрина, которую Платон заставляет Сократа излагать в начале *"Федота"*, является пифагорейской, как это

обычно предполагается, мы можем сказать, что Пифагор учил, что, хотя обычные методы очищения были достаточно хороши в своем роде, лучшим и самым истинным очищением души является научное исследование. Только таким образом можно объяснить религиозную ноту, характерную для всей лучшей греческой науки. Она связана с учением о том, что теоретическая жизнь - это высший путь человека, которого до сих пор придерживаются Платон и Аристотель и к которому нам еще придется вернуться. Однако сразу отметим, что это не "интеллектуалистский" идеал. Здесь нет речи о праздном созерцании; это напряженный образ жизни, цель которого - спасение души, и он порождает страстное желание обратить других людей. Именно поэтому пифагорейский философ при удобном случае принимает участие в практической жизни и даже управляет государством, если его к этому призывают. Пифагорейское общество с самого начала было прозелитическим, и оно старалось привлечь к себе всех, до кого могло дотянуться, без различия национальности, социального положения или пола (ведь женщины с самого начала играли в нем большую роль). Именно его рвение к реформе человеческой жизни и попытка установить Правило святых в городах Южной Италии привели к его непопулярности. Если бы пифагорейцы довольствовались пустыми рассуждениями, они не были бы истреблены и не были бы вынуждены спасаться бегством, которое настигло их еще до середины V века.

Однако вскоре выяснилось, что пифагорейская доктрина во всей ее полноте оказалась слишком высокой для ее приверженцев, и раскол между пифагорейской религией и пифагорейской наукой был неизбежен. Те, кто был способен оценить научную сторону движения, все больше и больше стремились пренебречь религиозными правилами, которые оно предписывало, и, соответственно, мы видим, что до конца пятого века ведущие пифагорейцы, те, чьи имена нам известны, были прежде всего учеными людьми и все больше и больше склонялись к отказу от того, что они, без сомнения, считали суеверной стороной доктрины. В конце концов они были поглощены новыми философскими школами, возникшими в Афинах. Масса верующих, с другой стороны, не интересовалась арифметикой, геометрией, музыкой и астрономией, и для них следовать Пифагору означало ходить босиком и воздерживаться от животной плоти и бобов. Они продолжили традицию даже после того, как научное пифагорейство исчезло как таковое, и были излюбленным предметом насмешек комических поэтов четвертого века до нашей эры.

Теперь нам легко понять, что все это указывает на реальную слабость пифагорейства. Наука и религия не могут быть объединены простым процессом сопоставления. Мы не знаем, насколько сам Пифагор осознавал двусмысленность своей позиции; не удивительно, если он почувствовал это к концу жизни, и мы точно знаем, что он прожил достаточно долго, чтобы стать свидетелем зарождения восстания против его общества в Кротоне и других местах. Именно по этой причине он удалился в Метапонтум, где и умер, и где Цицерон смог посетить его могилу много времени спустя. Позже мы увидим, в чем заключалось слабое место его системы, и нам придется рассмотреть, как в конце концов были преодолены оставленные им разногласия. Сейчас же важнее отметить, что он был настоящим основателем как науки, так и философии в том виде, как мы их понимаем сейчас. В науке особенно верно то, что именно первые шаги являются самыми трудными, и Пифагор оставил после себя достаточно достижений в математике, чтобы другие могли их доработать. Грекам потребовалось менее трех столетий, чтобы завершить строительство, и в этом была главная заслуга Пифагора, который заложил фундамент истинно и хорошо.

Мы уже видели, как были достигнуты две великие концепции материи и формы; следующей проблемой, с которой столкнулась греческая философия, стало движение. Сначала факт движения просто принимался как должное. Ионийская тенденция заключалась в том, чтобы

видеть движение повсюду; нужно было объяснить покой, или, скорее, его видимость. Однако когда новая концепция вечной материи стала восприниматься всерьез, сразу же возникли трудности. Если рассматривать реальность как непрерывную, то оказывалось, что в ней нет места ни для чего другого, даже для пустого пространства, которое можно было отождествить только с нереальным, и легко было показать, что нереальное не может существовать. Но если нет пустого пространства, то, по-видимому, невозможно и движение, а мир, о котором мы думаем, что знаем, должен быть иллюзией. Такова, вкратце, позиция другого ионийца из Южной Италии, Парменида из Элеи (ок. 475 г. до н. э.), который начинал как пифагореец, но был вынужден применить строгий метод рассуждений, с таким успехом введенный пифагорейцами в геометрию, к старому вопросу о природе мира, который занимал милезийцев. Примечательность первых геометров заключается, по сути, в том, что они не сформулировали концепцию пространства, которая кажется нам сегодня фундаментальной. Им удалось избежать этого, поскольку они владели концепцией материи и рассматривали воздух как нормальное состояние материального субстрата. Путаница воздуха с пустым пространством, конечно, естественна, хотя можно считать удивительным, что она не была обнаружена основателями геометрической науки. Впрочем, подобные неудачи с выводом всех следствий из нового открытия достаточно часто встречаются в истории научной мысли.

Парменид разрешил эту двусмысленность, не утверждая существование пустого пространства, а отрицая возможность такого явления еще до того, как оно было кем-то заявлено. Он увидел, что пифагорейцы действительно подразумевали это, хотя и не осознавали этого факта. Он интересен для нас как первый философ, которому пришлось в голову изложить свою систему в стихах. Это была не очень удачная мысль, так как аргументы, которыми он оперировал, не очень легко поддаются такому способу выражения, и мы можем быть благодарны, что никто из его преемников, кроме Эмпедокла, не последовал его примеру. Это очень неудобно тем, что приходится использовать разные слова для обозначения одного и того же предмета в соответствии с требованиями метра. И если когда-либо существовал аргумент, требующий точного изложения, то это был аргумент Парменида. Его поэма и так имеет недостатки, которые мы должны искать в метрической версии Евклида. С другой стороны, Парменид - первый философ, от которого у нас осталось достаточно остатков, чтобы мы могли проследить непрерывный аргумент; ведь от Пифагора у нас вообще ничего нет, а от остальных - лишь отрывочные фрагменты. Мы видим, что он был готов следовать за аргументом, куда бы он ни привел. Он взял концепцию материи, разработанную его предшественниками, и показал, что если к ней относиться серьезно, то она должна привести к выводу, что реальность непрерывна, конечна и сферична, не имеет ничего вне ее и пустого пространства внутри нее. Для такой реальности движение невозможно, а мир чувств, следовательно, является иллюзией. Разумеется, это не тот результат, с которым люди могли долго мириться, и с исторической точки зрения элеатскую доктрину следует рассматривать как *сокращение до абсурда* более ранних спекуляций. Однако нет никаких оснований полагать, что сам Парменид хотел, чтобы его понимали именно так. Он твердо верил, что нашел истину.

Было предпринято несколько попыток избежать выводов Парменида, и все они начинаются с отказа от предположения об однородности и непрерывности материи, которое было неявным в предыдущих системах, хотя впервые было выдвинуто Парменидом. Здесь снова отчетливо влияние современной науки на философскую мысль. Эмпедокл из Агригентума (ок. 460 г. до н. э.), единственный гражданин дорийского государства, который нашел место в ранней истории науки и философии, был основателем сицилийской школы медицины, и, вероятно, именно его увлечение этой наукой привело его к возрождению старой доктрины

об огне, воздухе, земле и воде, которую милезийцы отбросили, но которая легко поддавалась физиологическим теориям того времени. Он не использовал для их обозначения слово, которое впоследствии перевели как "элементы" (στοιχεῖα). Оно означает буквально "буквы алфавита" и, по-видимому, впервые было использовано в этой связи пифагорейцами позднее, когда они сочли необходимым принять во внимание новую теорию. Эмпедокл говорил о "четырех корнях" вещей, подразумевая тем самым, что эти четыре формы материи одинаково изначальны и совершенно несхожи между собой. Это давало хотя бы частичный ответ на аргументы Парменида, которые зависели от предположения, что материя однородна. Он также счел необходимым предположить два источника движения или силы, как мы можем их назвать, хотя Эмпедокл считал их субстанциями, один из которых стремился разделить "четыре корня", а другой - объединить их. Их он называл Любовью и Страстью, и предполагал, что жизнь мира имеет форму чередующихся циклов, в которых поочередно преобладает то одно, то другое. Во всем этом он явно находился под влиянием своих физиологических исследований. Он рассматривает мир как животный организм, подверженный тому, что сейчас называется анаболизмом и катаболизмом. Детали теории делают это совершенно очевидным. Аналогичную доктрину преподавал Анаксагор (ок. 460 г. до н. э.), который прибыл из Клазомен в Малой Азии в Афины после Персидских войн и был одним из учителей Перикла. Его учение о "семенах", в котором традиционные "противоположности" - влажное и сухое, холодное и горячее - сочетались в разных пропорциях, более тонкое, чем у Эмпедокла, и в нем можно увидеть любопытное предвосхищение некоторых черт современной химии. Анаксагор тоже считал необходимым предположить наличие силы или источника движения, но он полагал, что одной силы будет достаточно для объяснения вращения (περίχωρησις), которому он приписывал образование мира. Он называл эту силу Умом (νοῦς), но его собственное описание показывает, что он считал ее телесной, хотя и полагал ее чем-то более непрочным и несмешанным, чем другие тела. Нет сомнений, что он выбрал этот термин, чтобы обозначить идентичность источника движения в мире и в животном организме. Это опять же соответствует научным интересам того времени. Однако в своих астрономических теориях Анаксагор показал себя истинным восточным ионийцем и значительно отстал от пифагорейцев. Для него, как и для ионийцев Эгейского моря до Демокрита включительно, Земля была плоской, а вихрь или водоворот, породивший мир, все еще вращался на плоскости. Более удовлетворительным ответом Пармениду стала доктрина атомизма, которая откровенно признавала существование пространства и утверждала, что оно так же реально, как и тело. Первый намек на такое решение был дан Мелиссом (ок. 444 г. до н. э.), который был саамийцем, но принадлежал к элеатской школе. Он сказал: "Если вещей много, то каждая из них должна быть такой, какой я показал Единого". Это было сделано в качестве *сокращения абсурда*; но когда Лейппип из Милета (ок. 440 г. до н. э.), который также учился в школе Элеи, осмелился утверждать существование Пустоты, больше не было причин уклоняться от вывода, который Мелисс сделал только для того, чтобы показать его невозможность. Атомы - это, по сути, лишь непрерывное неделимое Единое Парменида, умноженное *ad infinitum* в бесконечном пустом пространстве. По крайней мере, с этой стороны теория тела была завершена, и на вопрос, заданный Фалесом, был дан ответ, и очень интересно заметить, что это произошло благодаря возобновлению сношений между ионийцами Италии и жителями Эгейского моря, возобновлению, которое стало возможным благодаря созданию Афинской империи. Ничто не заставляет нас так ярко ощутить историческую связь, как возрождение имен Милета и Самоса спустя столько лет. Однако существовали и более фундаментальные проблемы, которые атомизм не мог решить и на которые впервые напали в самих Афинах. До сих пор, как можно заметить, Афины не играли никакой роли в нашей истории, и на самом деле не более двух афинян когда-либо становились философами первого ранга. Правда, их звали

Сократ и Платон, так что исключение значительное. Именно основание Афинской империи сделало Афины естественным местом встречи самых разных философских и научных взглядов. Именно здесь сошлись восток и запад Эллады, и два потока традиции стали единым целым, в результате чего зародилась новая традиция, которая, хотя и прерывалась на время, продолжается до сих пор.

Если мы хотим понять развитие греческой философии, то нам в первую очередь необходимо осознать интеллектуальное брожение, которое существовало в Афинах в великие дни Периклеанской эпохи. Уже упоминалось, что там поселился Анаксагор из Клазомен, и вскоре его примеру последовали другие. В частности, Зенон из Элеи (ок. 450 г. до н. э.), любимый ученик Парменида, имел в Афинах значительный круг почитателей. Он занимался тем, что отстаивал доктрину своего учителя, показывая, что те, кто отказывается ее принять, вынуждены соглашаться с мнениями, которые, по крайней мере, столь же противны здравому смыслу, и таким образом он, кстати, сделал многое для математики и философии, подняв в острой форме трудности бесконечной делимости и непрерывности. Все это не считая влияния "софистов" в более позднее время, хотя они тоже пришли как с востока, так и с запада, и хотя на них повлияли более строгие философские школы этих регионов. Именно в этих Афинах родился Сократ (470 г. до н. э.) примерно через десять лет после битвы при Саламине, и он, естественно, с ранней юности подвергался всем этим противоречивым влияниям, яркое описание которых Платон дал нам в *"Феэдо"*. На самом деле его невозможно понять, если не держать в поле зрения этот исторический фон. Нет никаких сомнений в том, что в раннем возрасте он привязался к Архелаю, афинянину, сменившему Анаксагора, когда тот был вынужден уехать из Афин в Лампсак. Ион Хиосский, свидетель-современник, говорит, что Сократ посетил Малую Азию вместе с Архелаем, и это, по-видимому, относится к осаде Самоса, когда Сократу не исполнилось и тридцати. Нет никаких оснований сомневаться в утверждении, которое Платон делает неоднократно, что он встречался с Парменидом и Зеноном в еще более ранний период. Во всяком случае, влияние Зенона на диалектику Сократа несомненно. Можно также предположить, что он был знаком со всевозможными орфическими и пифагорейскими сектами. Эсхин из Сфеттоса написал диалог под названием *"Теллаугес"*, в котором он представил Сократа как сторонника крайнего аскетизма строгих последователей Пифагора. Однако, насколько мы можем судить о нем, он был не из тех людей, которые становятся чьими-то учениками. Он был истинным афинянином в отношении того, что называют его "иронией", что подразумевает определенную юмористическую сдержанность, которая удерживала его от всех экстравагантностей, как бы он ни был заинтересован в экстравагантностях других. Тем не менее, будучи еще совсем молодым человеком, он каким-то образом приобрел репутацию "мудрого", хотя сам отрицал что-либо подобное. Судя по всему, он также собрал вокруг себя круг "соратников" (ἑταῖροι). Единственным прямым свидетельством этих ранних дней являются *"Облака"* Аристофана (423 г. до н. э.), которые, конечно, являются комедией и не должны восприниматься слишком буквально. С другой стороны, комический поэт, знающий свое дело (а Аристофан, несомненно, знал), вряд ли мог представить афинской публике известного человека в манере, не имеющей ни малейшего отношения к действительности. К счастью, в *"Памятных записках"* Ксенофонта (i. 6) есть отрывок, который, кажется, дает нам тот самый фон, который необходим для того, чтобы сделать *"Облака"* понятными. Он представляет Сократа в совершенно ином свете, чем тот, в котором он предстает в остальных частях произведения, и вряд ли может быть собственным изобретением Ксенофонта. Кажется, что она относится к тому времени, когда Платон и Ксенофонт были младенцами, если не ко времени до их рождения, и вполне вероятно, что она происходит из какого-то литературного источника, который мы уже не можем отследить. Итак, нам рассказывают, что софист Антифон пытался оторвать своих товарищей (συνουσιασταί) от Сократа, и последовал разговор, в котором он

обвинил его в том, что тот учит своих последователей быть несчастными, а не счастливыми, и добавил, что тот был прав, не взимая плату за свое учение, поскольку на самом деле оно не имело никакой ценности. Как видно, это подразумевает регулярные отношения между Сократом и его последователями, которые были достаточно хорошо известны, чтобы вызывать профессиональную ревность. Сократ не пытается отрицать этот факт. Он говорит, что он и его товарищи проводят время вместе, изучая мудрость древних людей, которую они оставили после себя в книгах, и что, если они находят что-то, что считают хорошим, они извлекают это для своего собственного использования, и считают большой выгодой, если при этом они становятся друзьями друг другу. Очевидно, что это предполагает нечто совершенно иное, чем нынешнее представление о Сократе как о болтуне на углах улиц, нечто гораздо более похожее на обычную школу, и что, насколько это возможно, это объясняет бурлеск Аристофана.

Однако Сократ, о котором мы знаем больше всего, занят совсем другим. Он посвятил свою жизнь миссии, обращенной к своим братьям, и особенно к своим согражданам. Если верить *"Апологии"* Платона, поводом для этого послужил ответ, полученный от дельфийского оракула Херефоном, которого мы знаем от Аристофана как одного из ведущих учеников Сократа в начале его жизни. Херефон спросил дельфийского бога, есть ли кто мудрее Сократа, и это, конечно, подразумевает, что Сократ имел репутацию "мудрого" еще до начала своей миссии. Оракул объявил, что нет никого мудрее, и Платон заставляет Сократа сказать в *"Апологии"*, что это было настоящим началом его миссии. Сначала он решил доказать, что оракул ошибается, и для этого попытался найти кого-то более мудрого, чем он сам, но его постигло разочарование, поскольку он смог найти только людей, которые считали себя мудрыми, но никого, кто действительно был бы таковым. Поэтому он пришел к выводу, что на самом деле оракул имел в виду, что Сократ был мудрее других людей только в одном отношении. Ни он, ни кто-либо другой не был действительно "мудрым", но Сократ был мудрее остальных, потому что знал, что он не мудр, а они считали себя мудрыми. Должно быть понятно, что это в основном "ирония", и не следует думать, что Сократ придавал чрезмерное значение оракулу, о котором он говорит довольно легкомысленно, но вряд ли он вообще мог бы рассказать эту историю, если бы не было общеизвестно, что его миссия действительно относится примерно к тому периоду его жизни. С исторической точки зрения правильнее было бы сказать, что начало Пелопоннесской войны, в которой Сократ принимал самое активное участие в качестве гоплита, стало решающим переломным моментом. Именно в лагере в Потидее он однажды пробыл в транс двадцать четыре часа (431 год до н. э.), и это, по-видимому, указывает на какие-то большие психологические изменения, которые, вполне возможно, были вызваны или ускорены его опытом на войне. Во всяком случае, теперь мы видим, что он полностью посвятил себя обращению своих сограждан, и мы должны попытаться понять, какое послание он имел для них.

В *"Апологии"* Сократ заявляет, что его миссия была возложена на него Богом, поэтому он не смеет пренебрегать ею, даже если это приведет к его смерти, как это и произошло на самом деле. Тон здесь совсем иной, чем в полушутливом стиле, в котором он рассказывает о дельфийском оракуле и даже о "божественном знаке". Те только предостерегали его от вещей, в основном довольно тривиальных, которые он собирался сделать, и никогда не говорили ему делать что-либо; это, напротив, было позитивным повелением, возложенным на него Богом, и нет никаких сомнений в том, что Платон хочет, чтобы мы поняли, что это было внутренним убеждением Сократа. Трудно поверить, что Платон мог исказить отношение своего учителя к этому вопросу. Он присутствовал на суде, а *"Апология"*, должно быть, была написана вскоре после этого, когда память о нем была еще свежа в памяти людей. Теперь Платон совершенно ясно говорит нам, что Сократ пытался донести до афинян

обязанность "заботиться о своих душах" (ψυχῆς ἐπιμελείο). Это подтверждают и другие источники, и это действительно общепризнанно. Однако фраза стала настолько привычной, что сразу не кажется нам чем-то новым и важным. Афинянину V века до н. э., напротив, она должна была показаться очень странной. Слово, переведенное как "душа" (ψυχή), встречается в литературе того периода достаточно часто, но оно никогда не используется для обозначения чего-либо, о чем мы могли бы призвать "заботиться" в том смысле, который, очевидно, имел в виду Сократ. Обычно оно используется для обозначения дыхания жизни, "призрака", с которым человек "расстается" в момент смерти. Поэтому его можно использовать для обозначения "жизни" во всех случаях, когда речь идет о риске или потере жизни или о том, чтобы держаться за нее, когда мы должны быть готовы пожертвовать ею, но оно вообще не используется для обозначения места сознательной жизни. Иногда его используют для обозначения места, где находится сознание сновидений или то, что сейчас называют подсознанием или сублиминальным "я", но никогда - для обычного бодрствующего сознания, которое является местом знания и невежества, добра и зла.^[2] С другой стороны, в четвертом веке это слово употребляется довольно часто, и можно сделать вывод, что это изменение произошло благодаря Сократу. Аристофан не раз высмеивает его за странное представление о "душе", и эти насмешки были сделаны в то время, когда Платон был еще ребенком. Мы, конечно, не можем рассчитывать получить из них какое-то определенное представление о реальном учении Сократа по этому вопросу, но не исключено, что оно было таковым, если принять во внимание взгляды на душу, которых придерживались философские школы восточной и западной Ионии.

Ионийцы из Малой Азии, конечно, отождествляли душу с тем, что в нас сознает себя и что является местом добра и зла, мудрости и глупости; но они не считали ее тем, что мы называем "я", и не относились к ней как к личности. Анаксимен и его школа считали, что душа - это то, что они называли воздухом, но это только потому, что они считали воздух первичной субстанцией, из которой состоят все вещи. На самом деле душа была чем-то, что приходит к нам извне (θιυράθεν) посредством дыхания. По выражению Диогена Аполлонийского, это "малая часть бога", то есть первичной субстанции, заключенная на время в человеческом теле и возвращающаяся после смерти в большую массу той же субстанции снаружи. Формула "Земля в землю и воздух в воздух" была принята как адекватное описание того, что происходит во время смерти. Западные ионийцы, и особенно пифагорейцы, придерживались совершенно иного мнения. Для них душа была чем-то божественным. Она была, по сути, падшим богом, заключенным в тело в наказание за родовую грех, и заслуживала нашей заботы в этом смысле, что наше главное дело в жизни - очистить ее, чтобы избавить от необходимости реинкарнации в другом теле. Но во время нынешней жизни, по их мнению, этот божественный элемент дремлет, за исключением пророческих снов. Как говорит Пиндар, "оно спит, когда конечности активны". Ни одна из этих точек зрения не была знакома простому афинянину, но Сократ, конечно, хорошо знал обе и не чувствовал удовлетворения ни от одной из них. Когда он говорил о душе, он имел в виду не какого-то таинственного падшего бога, который был временным жильцом тела, а сознательное "я", которое мы должны попытаться сделать мудрым и добрым. С другой стороны, его настойчивое требование "заботиться" о ней совершенно не согласуется с мнением, что она является чем-то внешним, как учили все восточные ионийцы вплоть до Анаксагора. Напротив, это наше "я", то, что в нас самих имеет для нас большее значение, чем все остальное. Именно к этому учению о душе и нашем долге перед ней, по мнению Сократа, он должен был обратиться человечество и особенно своих сограждан. Тогда это была странная и новая доктрина; и если с тех пор она стала общепринятой, то это говорит лишь о том, что ему удалось если не убедить своих сограждан действовать на основе этого знания, то хотя бы донести до них его. Именно таким образом Сократ преодолел раскол между

наукой и религией, оказавшийся роковым для пифагорейского общества, и можно предположить, что значение его учения еще не исчерпано. Как уже было сказано выше, оно четко изложено в платоновской *"Апологии Сократа"* и является единственным ключом к правильному пониманию великого ряда платоновских диалогов вплоть до *"Республики"*, в которых Сократ представлен в качестве главного оратора. Добавил ли Платон много или мало своего к учению своего учителя в этих диалогах - интересная историческая проблема, но она не должна волновать обычного читателя, по крайней мере, в первом случае. Из аллюзий Аристофана мы знаем, что Сократ сам преподавал новую доктрину о душе, когда Платон был ребенком, и ни один сочувствующий читатель не сможет не увидеть, что отрывок *"Апологии"*, на который мы ссылались, задуман как верное изложение этой доктрины. Все остальное - это просто ее законное развитие, и для нас не имеет большого значения, кому принадлежит это развитие - Сократу или Платону. Вдохновение, которое черпали из этих трудов многие поколения, не уменьшится от любого решения, к которому мы можем прийти по этому вопросу, так долго как мы будем четко помнить, что новая доктрина души - это их главная тема, и что она должна быть понята в свете доктрин, которые подготовили путь для нее. Сократ поступил следующим образом. Он углубил смысл восточной ионийской доктрины, сообщив ей часть чувств и эмоций, которые характеризовали пифагорейское учение по этому вопросу, а с другой стороны, он рационализировал пифагорейскую теорию, отождествив душу с нашей сознательной личностью.

Если это верное изложение того, чему учил Сократ, то его следует считать открытием совершенно нового периода в истории философии. Это подразумевается под общим термином "пресократики", который обычно применяется к его предшественникам, хотя в обычных учебниках нет ясности относительно оснований для того, чтобы приписывать Сократу это первенствующее положение. Мы также видим, насколько естественно было для него делать такой акцент на обращении душ, как он, безусловно, делал. Эта цель продолжала доминировать в греческой философии до самого конца. Несомненно, сменявшие друг друга школы по-разному представляли себе, что такое обращение, но это то связующее звено, которое объединяло их всех. Фактически, это породило новую литературную форму, "увещательный дискурс" (протреттикоς λόγος), который с течением времени все более и более культивировался и, наконец, был воспринят отцами христианской церкви вместе со многим другим более фундаментальным характером.

Уже отмечалось, что у Сократа были последователи среди всех ведущих философских школ того времени, и не стоит исключать, что мы еще сможем узнать о нем больше благодаря открытию новых источников. На данный момент главным дополнением к нашим источникам информации является обнаружение новых и довольно обширных фрагментов *"Алкивиада"* Эсхина Сфеттосского. Мы знаем, что Эсхин был учеником Сократа, и по античной традиции его диалоги дают наиболее верное представление о человеке, каким он был на самом деле. Если это так, то, вероятно, потому, что у Эсхина не было собственной философии. Для нас главное значение новых фрагментов состоит в том, что, если читать их вместе с уже известными (жаль, что старые и новые еще не напечатаны вместе), они убедительно подтверждают впечатление, которое производит на нас Платон манерой поведения Сократа и его методом аргументации, и это помогает нам увериться в том, что платоновский Сократ по сути своей исторический человек. Фрагменты Эсхина также подтверждают Платона, показывая, что обращение Алкивиада (чью жизнь он спас в молодости) было одним из самых близких его сердцу дел.

Но настоящим преемником Сократа был, конечно же, сам Платон (427-347 гг. до н. э.). Здесь невозможно дать даже краткое изложение философии Платона. Да и время для этого еще не

пришло, хотя в настоящее время проделана большая работа, особенно французским профессором М. Робеном, которая обещает более определенные выводы, чем те, которые еще были возможны. Все, что можно попытаться здесь сделать, - это обозначить отношение Платона к некоторым из обсуждаемых нами проблем. Его очень большой вклад в теорию познания будет пропущен, поскольку его начинают хорошо понимать, и *"Тезет"*, в частности, с его продолжением *"Софист"*, все больше и больше занимает свое законное место в качестве лучшего введения в философию в целом. Необходимо, однако, лишь мимоходом отметить фундаментальный вопрос метода, который предлагают сами платоновские диалоги. Он заключается в следующем. Хотя Сократ присутствует во всех диалогах, кроме *"Законов"*, в некоторых из них он практически не принимает участия, а те диалоги, в которых это происходит, по другим признакам относятся к поздним годам жизни Платона. Этому должна быть какая-то причина, и, очевидно, разумно рассматривать эти поздние диалоги в первую очередь как наше главное свидетельство о взглядах самого Платона. Действительно, только после того, как его философия будет реконструирована на основе этих источников и иногда неясных ссылок на нее у Аристотеля, можно будет попытаться ответить на вопрос, сколько в диалогах раннего периода жизни Платона может быть того, что следует отнести к самому Платону, а не к Сократу. Это исторический вопрос, представляющий большой интерес; но, как уже было сказано, его решение, если оно когда-нибудь окажется возможным, не сильно повлияет на впечатление, которое оставляет на нас афинская философия в целом.

Теперь, если мы рассмотрим более поздние и, предположительно, наиболее независимые труды Платона, мы обнаружим, как и следовало ожидать от ученика Сократа, что учение о душе занимает первое место, но что оно имеет некоторые собственные черты, которые нет достаточных оснований приписывать Сократу. Мы слишком склонны думать, что Платон в основном занят так называемой "теорией идей", теорией, которая обсуждается один или два раза в его ранних диалогах и приписывается Сократу, но которая совсем не играет роли в его зрелых работах. Там главное место, несомненно, занимает учение о душе, и мы видим, что оно имеет для Платона первостепенное значение. Душа рассматривается как источник всякого движения в мире, потому что это единственная вещь в мире, которая движется, не будучи движимой ничем другим. Именно это и только это позволяет Платону объяснить существование мира и человечества и избежать теории "двух миров", в которую, как он указывает в *"Софисте"*, были склонны впадать "друзья Идей", кем бы они ни были. У Платона этот взгляд на душу достигает кульминации в теологии такого рода, которую он нигде не приписывает Сократу. Он, конечно, представляет его как человека глубоко религиозного, но мы не видим, чтобы он испытывал потребность в формальной доктрине Бога. С другой стороны, Платон оставил нам первую известную нам систематическую защиту теизма, и она полностью основана на его учении о душе как самодвижущемся двигателе. Но высшая душа, или Бог, - это не только конечный источник движения, но и высшее благо. Теперь, поскольку в мире есть много вещей, которые не являются хорошими, и поскольку было бы кощунством приписывать их Богу, в мире должны существовать и другие души, которые, по крайней мере, относительно независимы. Бог не является, по крайней мере, непосредственно, причиной всех вещей, но нелегко обнаружить, в каком отношении эти другие души находятся к Богу. В *"Тимее"* этот вопрос ставится так. Душа мира и все остальные души, человеческие и божественные, - дело рук Творца, который отождествляется с Богом, и они не являются неразрушимыми по своей природе, поскольку все, что было создано, может быть не создано. Однако они практически неразрушимы, поскольку Бог сотворил все вещи, потому что Он благ и желает, чтобы они также были как можно более благими. Поэтому Его доброта не позволит Ему разрушить то, что Он однажды создал. Это, конечно, мифическое выражение, и Платон не считает его утверждением своей собственной веры, поскольку это

лишь рассказ, который *Тимей* вкладывает в уста Творца. Однако мы видим, какая проблема занимала Платона, и, возможно, небезосновательно предположить, что он подошел к вопросу, который до сих пор вызывает недоумение, с той точки зрения, что всемогущество Бога, как мы должны его называть, ограничено его благостью. Это гораздо более важное ограничение, чем то, которое накладывает существование материи, на которое также ссылается Тимей. В этом он просто следует традиции пифагорейского общества, к которому он принадлежал, что видно из его отождествления материи с пространством, или, скорее, с "комнатой". Насколько можно судить на данный момент, мы не вправе без лишних слов приписывать эту точку зрения Платону, но это тот вопрос, по которому еще не сказано последнее слово.

Описание творения, приведенное в "Тимее", конечно, следует рассматривать как мифическое в своих деталях, но в нем есть черты, по которым мы можем многое узнать о направлении, в котором развивались мысли Платона о мире. В частности, хотя важная роль геометрии вполне понятна в устах пифагорейца, он использует некоторые теории, которые, как мы знаем, принадлежат новейшей математике того времени, в частности, полное учение о пяти правильных твердых телах, которое принадлежит Теэтету, одному из самых ранних членов Академии, и которого Платон представляет как познакомившегося с Сократом незадолго до смерти мастера. Теэтет умер молодым, но мы знаем о нем достаточно, чтобы быть уверенными, что он был одним из немногих великих оригинальных математиков, появившихся в истории. В "Тимее" теория правильных твердых тел используется для того, чтобы еще раз избавиться от доктрины четырех конечных "элементов". Они, по словам Тимея, настолько далеки от элементов или букв алфавита, что даже не являются слогами. То, как так называемые элементы строятся из молекул, соответствующих по своей конфигурации правильным твердым телам, и объяснения их превращения друг в друга, основанные на геометрическом построении этих фигур, могут показаться обычному читателю фантастическими, но один из самых выдающихся ныне живущих математиков и физиков заявил, что больше всего его поражает их сходство с научными теориями двадцатого века. Поэтому будет хорошо, если мы избежим поспешных суждений на этот счет. Во всяком случае, легко понять, как изучение математики стало занимать в платоновской Академии то место, которое оно занимало.

В соответствии с планом данной работы, теперь необходимо сказать кое-что об отношении Платона к практической жизни, о том, в чем очень легко ошибиться. Никто не настаивал сильнее, чем он, на примате теоретической жизни. Философ - это человек, который влюблен в зрелище всего времени и всего бытия, и именно это избавляет его от мелких амбиций и низменных желаний. Он совершил утомительное восхождение из пещеры, в которой обитает масса людей и в которой они видят лишь тени реальности. Но даже в этом восторженном описании философской жизни не меньший акцент делается на обязанности философа поочередно спускаться в Пещеру и спасать как можно больше своих бывших сокамерников, даже против их воли, обращая их к свету и увлекая в мир истины и реальности. В связи с этим легко понять, что Платон посвятил несколько лучших лет своей жизни практическим делам и что он на время оставил занятия в Академии, чтобы руководить воспитанием Дионисия II. Дело оказалось вполне достойным; ведь греческой цивилизации на Сицилии, а следовательно, как мы теперь видим, и цивилизации Западной Европы, серьезно угрожали карфагеняне. Их сдерживал Дионисий I, но после его смерти все зависело от его преемника. Теперь воспитанием Дионисия II совсем пренебрегли, но он обладал хорошими природными способностями, а его дядя Дион, друг Платона, был готов ответить за свои добрые намерения. Платон не мог остаться глухим к такому призыву. К сожалению, Дионисий был тщеславен и упрям, и вскоре он стал нетерпим к серьезным занятиям, которые Платон

справедливо считал необходимыми для подготовки его к выполнению задания. В результате между Платоном и его учеником возникла растущая отчужденность, которая не позволяла надеяться на успешное завершение планов Диона. Нет необходимости пересказывать здесь всю историю, но будет правильно сказать, что в том, что предпринял Платон, не было ничего невыполнимого и что он, безусловно, был оправдан, считая, что образование Дионисия должно быть завершено, прежде чем можно будет смело доверить ему первенство в деле эллинизма на западе.

Неудача с Дионисием не заставила Платона отказаться от попыток залечить раны эллинизма. Одной из самых горячих наук в Академии была юриспруденция, настоящим основателем которой он является. Греческие государства нередко обращались в Академию за помощью к законодателям, чтобы те кодифицировали существующие законы или разработали новый кодекс для только что основанных колоний. Именно этим и объясняется замечательный труд под названием "*Законы*", который, должно быть, занимал Платона в течение многих лет и который, вероятно, был начат, когда он еще руководил занятиями Дионисия. Похоже, что она осталась незаконченной, поскольку, хотя некоторые ее части сильно проработаны, есть и другие, которые производят на нас впечатление первого наброска. Тем не менее, это великое произведение, если рассматривать его с правильной точки зрения. Прежде всего, это кодификация греческого, особенно афинского, права, разумеется, с теми реформами и улучшениями, которые напрашиваются при систематическом рассмотрении предмета, и она легла в основу эллинистического, а через него и римского права, которому мир обязан столь многим. Нет более полезного корректора популярного представления о Платоне как о непрактичном провидце, чем тщательное изучение самых скучных и технических частей *Законов* в свете *Институтов*.

Здесь не было предпринято попытки описать систему Платона в целом, и действительно, еще не пришло время, когда такая попытка может быть сделана с пользой. У нас нет прямых сведений о его преподавании в Академии; ведь мы располагаем только теми работами, которые он написал, ориентируясь на широкую публику. В случае с Аристотелем (384-322 гг. до н. э.) необходимо сделать аналогичную оговорку, хотя и по прямо противоположной причине. Мы располагаем лишь фрагментами его опубликованных работ, а то, чем мы владеем, - это в основном материалы его лекций в Ликее. Как видно, и здесь предстоит сделать еще очень многое. По природе дела, в записях к лекциям многое само собой разумеющееся, что было бы более полно объяснено во время чтения лекций, а некоторые из наиболее важных моментов вообще почти не развиты. Тем не менее есть вещи, которые проступают достаточно четко, и так получилось, что это очень важные моменты, из которых мы можем почерпнуть что-то в отношении философских проблем сегодняшнего дня.

Прежде всего, следует отметить, что Аристотель был не афинянином, а ионийцем с севера Эгейского моря, и что на него оказала сильное влияние восточная ионийская наука, особенно система Демокрита (которую Платон, похоже, не знал) и медицинские теории того времени. Именно поэтому он так несимпатично относится к западным философским школам, особенно к пифагорейцам и элеатам. Только Эмпедокл, который, как и он сам, был биологом и основателем медицинской школы, находит благосклонность в его глазах. Поэтому в математических вопросах он не в своей тарелке, а его система физики может считаться ретроградной только в сравнении с системой Академии. Он, правда, принял доктрину шарообразности Земли, но за этим исключением его космологические взгляды следует назвать реакционными. Где он действительно велик, так это в биологии, области исследований, которая не была полностью игнорирована Академией, но к которой относились как к второстепенной по сравнению с математикой и астрономией. Контраст

между Платоном и Аристотелем в этом отношении, кажется, повторяет на более высоком уровне контраст между Пифагором и Эмпедоклом, и это предполагает нечто вроде закона философского развития, который, возможно, может пролить свет на нынешнюю ситуацию. Кажется, что это чередование математического и биологического интереса было основополагающим в развитии научной мысли и что философия разных периодов черпает из него свои краски. В философии девятнадцатого века в основном преобладали биологические концепции, в то время как философия двадцатого, похоже, должна была быть в основном математической в своем взгляде на мир. Мы, конечно, не должны придавать слишком большое значение подобным формулам, но очень поучительно изучать такие чередования в философии греков, где все проще и легче воспринимается.

С другой стороны, Аристотель был членом Академии в течение двадцати лет, и это не могло не наложить на него свой отпечаток. Этим, несомненно, объясняется тот факт, который часто отмечался, что во всем мышлении Аристотеля прослеживаются два противоположных и несовместимых направления. С одной стороны, он решительно избегает всего "трансцендентного", и его неприязнь к пифагорейской и платоновской математике объясняется главным образом этим. С другой стороны, несмотря на придиричивую и порой несправедливую критику Платона, он явно восхищался им и находился под его большим влиянием. Можно предположить, что тон его критики отчасти объясняется его досадой на то, что он не может избавиться от своего платонизма, что бы он ни делал. Это подтверждается тем фактом, что, дойдя до самой дальней точки, куда может завести его собственная система, он склонен прибегать к метафорам мифического или "трансцендентального" характера, к которым мы никак не подготовлены и объяснения которых нам не дано. Особенно это касается души и первотолчка. В целом его рассказ о душе - это просто развитие восточных ионийских теорий, и мы чувствуем, что действительно далеки от платонистской концепции приоритета души перед всем остальным. Но когда он говорит нам, что высшей и наиболее развитой формой души является Разум, нас вдруг удивляет утверждение, что Разум в этом смысле просто пассивен, в то время как существует другая его форма, отделимая от материи, и только она бессмертна и вечна. Это породило бесконечные споры, которые нас здесь не касаются, но, кажется, лучше всего интерпретировать это как невольную вспышку платонизма, от которого Аристотель не мог полностью отречься. Очень похожим является отрывок, в котором он пытается объяснить, как первотолчок, хотя сам не движется, сообщает движение миру. Он говорит нам: "Он движет его, как любимая вещь", - и оставляет нас самим догадываться об этом. И все же мы не можем не чувствовать, что в таких отрывках мы гораздо ближе к тем убеждениям, которые действительно волновали Аристотеля, чем где-либо еще. В глубине души он платоник, несмотря на самого себя.

Отношение Аристотеля к практической жизни также зависит от Платона. В Десятой книге *Этики* он ставит требования созерцательной жизни еще выше, чем Платон, так что практическая жизнь оказывается лишь вспомогательной по отношению к ней. Он не чувствует в той же степени, что и Платон, призыв к философу вновь спуститься в Пещеру ради заключенных там узников, и в целом кажется гораздо более равнодушным к практическим интересам жизни. Тем не менее он последовал примеру Платона и посвятил большую часть своего времени изучению "Политики", причем с явно практической целью - подготовить законодателей. Его часто критикуют за неспособность понять, что дни города-государства сочтены, и за то, что он игнорирует возвышение имперской монархии в лице своего ученика Александра Македонского. Однако это не совсем справедливо. Аристотель испытывал здоровую неприязнь к князьям и дворам, и город-государство все еще привлекал

его как нормальная форма политической организации. Он не верил, что она когда-нибудь будет вытеснена, и хотел внести свой вклад в улучшение управления ею. По сути, он придерживался гораздо более консервативных взглядов, чем Платон, который вместе с Исократом склонялся к мысли, что возрождение монархии - единственное, что может сохранить эллинизм в его нынешнем виде. Мы должны помнить, что Аристотель сам не был гражданином какого-либо свободного государства, и вряд ли можно ожидать, что он обладал теми же политическими инстинктами, что и Платон, который по рождению принадлежал к правящим классам Афин и унаследовал либеральные традиции периклийской эпохи. Лучше всего это проявляется, пожалуй, в отношении двух философов к вопросу о рабстве. В *"Законах"*, где речь идет о существующих условиях, Платон, конечно, признает *фактическое* существование рабства, хотя и прекрасно осознает его опасность и вносит множество законодательных предложений, направленных на ее смягчение. С другой стороны, в *"Республике"*, где нет необходимости беспокоиться о существующих условиях, он заставляет Сократа представить нам сообщество, в котором, очевидно, вообще нет рабов. Аристотель также стремится смягчить худшие злоупотребления рабством, но он оправдывает этот институт как постоянный тем, что варвары - "рабы по природе" и что в их же интересах быть "живыми орудиями". Многим современникам Аристотеля такое настаивание на фундаментальном различии между греками и варварами должно было показаться анахронизмом, а Платон прямо осуждал его как ненаучное.

Непосредственный эффект от отказа Аристотеля от платоновской математики был таким, какого он, конечно, не предвидел и не предполагал. Оно привело к разрыву между философией и наукой. Математическая наука, осознавал это Аристотель или нет, все еще находилась в расцвете своей первой молодости, и математики были воодушевлены достижениями последнего поколения, чтобы попытаться решить еще более высокие проблемы. Если Лицей отвернулся от них, они были вполне готовы продолжить академическую традицию самостоятельно, и на какое-то время им это удалось сверх всяких ожиданий. Третий век до нашей эры стал, по сути, золотым веком греческой математики, и было высказано предположение, что это произошло благодаря эмансипации математики от философии. Если бы это было так, нам было бы очень важно это знать; но, как мне кажется, можно показать, что это не так. Великие математики третьего века, безусловно, продолжали традицию своих предшественников, которые были не только математиками, но и философами, и не стоит удивляться тому, что на какое-то время им это удалось. Но действительно поразительным фактом является то, что греческая математика за сравнительно короткое время стала бесплодной и не продвигалась дальше вплоть до времен Декарта и Лейбница, у которых философия и математика вновь шли рука об руку.

Не менее катастрофическими были и последствия этого развода для самой философии. Теофраст продолжил работу Аристотеля и основал науку ботанику, как его предшественник основал зоологию, но перипатетическая школа практически угасла вместе с ним и имела очень мало влияния, пока изучение Аристотеля не было возрождено спустя много времени неоплатониками.

На данный момент развод науки и философии был завершен. И стоики, и эпикурейцы, действительно, имели научную систему, но их философия ни в коем случае не основывалась на ней. Особенно хорошо видно отношение Эпикура к науке. Он не интересовался ею как таковой, но использовал ее как инструмент для освобождения людей от религиозного страха, которому он приписывал человеческое несчастье. Для этой цели наука Академии, которая вела к теологии, явно не годилась, и, как истинный восточный иониец, каким он и был, Эпикур вернулся к атомной теории Демокрита, добавив к ней, однако, некоторые вещи,

которые действительно делали ее бессмыслицей, такие как, например, теория абсолютного веса и легкости, которую, к сожалению, преподавал Аристотель. Стоики тоже были корпореалистами и нашли необходимую им науку в системе Гераклита, хотя они также переняли в полемических целях многое из логики Аристотеля, сделав, однако, все возможное, чтобы изменить его терминологию. Обе эти школы, оставаясь верными идее философии как преобразования, забыли, что в свои лучшие времена она всегда опиралась на науку. Именно это, несомненно, послужило главной причиной того, что стоицизм и эпикурейство понравились римлянам, которые никогда не интересовались наукой. И стоицизм, и эпикурейство имели практическую пользу, хотя и разного рода, и это способствовало их признанию в Риме.

Академия, основанная Платоном, продолжала существовать, хотя и отклонилась от своей первоначальной цели не более чем через поколение после смерти Платона. Математика, как мы видели, стала независимой, и самой насущной необходимостью того времени была критика нового догматизма, который ввели стоики. Это была действительно одна из сторон платонизма, и не самая важная. Правда, на этом временном отрезке Академия предстает перед нами в основном как школа скептицизма, но мы должны помнить, что ее скептицизм был направлен исключительно на чувственный мир, отношение к которому у самого Платона не было принципиально иным. Настоящие скептики всегда отказывались признавать, что академики были скептиками в собственном смысле этого слова, и возможно, что традиция собственно платонизма никогда не была полностью прервана. Во всяком случае, к I веку до н. э. мы начинаем замечать, что стоицизм становится все более и более платоническим. Изучение платоновского *"Тимея"* снова вошло в моду, а комментарий, который написал к нему Посидоний (ок. 100 г. до н. э.), оказал большое влияние на развитие философии вплоть до конца Средневековья. Именно этот период эклектики отражен для нас в философских трудах Цицерона. Он имел огромное значение для истории цивилизации, но был далек от духа подлинной греческой философии. Она была мертва на данный момент и ожила лишь в третьем веке нашей эры, когда платонизм был возрожден в Риме Плотинем.

Лишь совсем недавно историки греческой философии начали уделять должное внимание "неоплатонизму". Отчасти это связано с современными философскими тенденциями, отмеченными в начале данной статьи, а отчасти с историческими исследованиями философии Средневековья, которая все больше и больше оказывается зависимой от неоплатонизма вплоть до системы св. Фомы Аквинского. В истории западноевропейской цивилизации именно то, что Плотин основал свою школу в Риме, а не в Афинах или Александрии, стало решающим фактом; ведь именно так Западная Европа стала настоящей наследницей философии Греции. Все, конечно, знают, что Плотин был "мистиком", но этот термин наводит на совершенно неверные мысли о нем. О нем до сих пор часто говорят как о человеке, который привнес восточные идеи в греческую философию, и популярно предположение, что он был египтянином. Это очень маловероятно; а если бы это было правдой, то это только усилило бы примечательность того, что, хотя он, несомненно, учился в Александрии в течение одиннадцати лет, он никогда даже не упоминает о религии Исиды, которая была так модна в Риме в его дни и которая очаровала такого подлинного грека, как Плутарх, за несколько поколений до него. Несомненно, Плотин считал, что его учение - это подлинный платонизм, и что он подготовился к нему, тщательно изучив Аристотеля и даже стоицизм, насколько это соответствовало его цели. Несомненно, он был слишком великим человеком, чтобы стать простым рупором чужой мысли; но, несмотря на все это, он был законным преемником Платона, и можно добавить, что М. Робин, взявший на себя трудную задачу извлечения настоящей философии Платона из трудов Аристотеля, пришел к выводу, что в Платоне гораздо больше "неоплатонизма", чем иногда предполагается.

Плотин - мистик, хотя и не в том смысле, в котором этот термин часто употребляют. Он предлагает своим ученикам "путь жизни", который ведет по ступеням к высшей жизни из всех, но это именно то, что делали Пифагор и Платон, и лишь продолжение традиции, восходящей среди греков к шестому веку до н. э., почти за тысячу лет до времени Плотина. Его цель, как и у его предшественников, - обращение душ к этому образу жизни, и он отличается от таких мыслителей, как стоики и эпикурейцы, тем, что "образ жизни", к которому он их призывает, должен быть вновь основан на систематической доктрине о Боге, мире и человеке. В результате разрыв, существовавший на протяжении веков между наукой и философией, был вновь аннулирован. Мы не можем утверждать, что сам Плотин специально изучал математику, но нет никаких сомнений в том, что это делали его последователи, и именно благодаря им, и особенно Проклу, мы знаем о греческой математике столько, сколько знаем. Прокл действительно был систематизатором учения Плотина, хотя и отличался от него по некоторым пунктам, и его влияние на последующую философию невозможно переоценить. Оно отчетливо прослеживается даже у Декарта, до которого оно дошло по ряду каналов, изучением которых недавно занялся французский ученый, профессор Жильсон из Страсбургского университета. Когда его исследования будут завершены, преемственность греческой и современной философии станет очевидной, и роль, которую сыграл платонизм в формировании современного европейского ума, станет очевидной. Тогда мы лучше, чем когда-либо, поймем, почему греческая философия представляет собой предмет непреходящего интереса.

История греческой философии - это, по сути, история нашего собственного духовного прошлого, и невозможно понять настоящее, не принимая ее во внимание. В частности, платонистская традиция лежит в основе всей западной цивилизации. Именно в Риме, как уже отмечалось, преподавал Плотин, и именно в некоторых латинских переводах трудов его школы святой Августин нашел основу для искомой им христианской философии. Именно благодаря огромному авторитету Августина в латинской церкви платонизм стал официальной философией на многие века. Совершенно ошибочно полагать, что в мышлении Средневековья господствовал авторитет Аристотеля. Аристотель был известен лишь в XIII веке, и даже тогда его изучали в свете платонизма, как и Плотин и его последователей. Только в самом конце Средних веков он приобрел то преобладание, которое произвело столь сильное впечатление на последующие века. Именно из платонистской традиции происходила и наука раннего Средневековья. Значительная часть *"Тимея"* Платона была переведена на латынь в IV веке Халькидием с очень подробным комментарием, основанным на античных источниках, а *"Утешение философией"*, написанное в тюрьме римским платоником Боэцием в 525 году н. э., было самой популярной книгой Средневековья. Она была переведена на английский Альфредом Великим, Чосером и многими другими европейскими языками. Именно на этих основах был построен французский платонизм двенадцатого века, особенно Шартрской школы, влияние которой в Англии было очень велико. В связи с этим можно упомянуть имена Гроссетесте и Роджера Бэкона, и нетрудно доказать, что особый характер вклада, который английские писатели смогли внести в науку и философию, во многом объясняется этим влиянием.

Но интерес греческой философии не только исторический; он полон наставлений на будущее. Со времен Локка философия была склонна ограничиваться дискуссиями о природе знания и оставлять вопросы о природе мира специалистам. История греческой философии показывает опасность такого неестественного разделения области мысли, и чем больше мы ее изучаем, тем больше ощущаем потребность в более комплексном взгляде. Философия человеческих вещей", как называли ее греки, - это лишь один из отделов среди других, а теория познания - лишь один из них. Если изучать ее в отрыве от целого, она неизбежно

станет односторонней. Из греческой философии мы также можем узнать, что отрыв спекуляции от служения человечеству губителен. Мысль о том, что философия может быть настолько изолированной, была бы совершенно непонятна любому из великих греческих мыслителей, и в первую очередь, возможно, платоникам, которых часто обвиняют в этой самой ереси. Прежде всего, из греческой философии мы можем узнать о первостепенной важности того, что мы называем личностью, а они называли душой. Именно потому, что греки осознали это, истинно эллинская идея обращения сыграла столь большую роль в их мышлении и жизни. Это, прежде всего, тот урок, который они должны преподать, и именно поэтому труды их великих философов по-прежнему способны обратить души всех, кто примет их учение со смирением.

Л. Бернет.

МАТЕМАТИКА И АСТРОНОМИЯ

Хорошо сказано, что, если мы хотим изучить какой-либо предмет должным образом, мы должны изучать его как нечто живое и растущее и рассматривать его с учетом его роста в прошлом. Поскольку большинство жизненных сил и движений в современной цивилизации зародились в Греции, это означает, что для их правильного изучения мы должны вернуться в Грецию. Так же и с литературой современных стран, их философией или искусством; мы не можем изучать их с решимостью докопаться до сути и понять их, не указывая в конечном итоге путь в Грецию.

Когда мы думаем о долге, которым человечество обязано грекам, мы склонны думать исключительно о шедеврах литературы и искусства, которые они нам оставили. Но греческий гений был многогранен; грек, с его ненасытной любовью к знаниям, решимостью видеть вещи такими, какие они есть, и видеть их целиком, с его горячим желанием быть в состоянии дать рациональное объяснение всему на небе и земле, был так же неудержимо влеком к естественным наукам, математике и точным рассуждениям в целом, или логике.

Процитируем блестящую рецензию на одну из известных работ: "Быть греком означало стремиться к знанию, познать первооснову материи, познать смысл числа, познать мир как рациональное целое. Без всякого парадокса можно сказать, что Евклид - самый типичный грек: он знал до дна и знал как рациональную систему законы измерения Земли. Платон тоже любил геометрию и чудеса чисел; он был по сути греком, потому что был по сути математиком..... И если таким образом найти греческого гения в Евклиде и "*Задней аналитике*", то становится понятен девиз, написанный над Академией: μηδεις αὐεωμετρητος εἰσῆτω. Чтобы понять, что имел в виду греческий гений, нужно (если можно так выразиться εν αἰνιγματι) начать с геометрии".

Математика, действительно, играет важную роль в греческой философии: например, у Платона и Аристотеля есть много отрывков, для толкования которых знание техники греческой математики является первым необходимым условием. Поэтому в программу каждого классического студента должно входить чтение значительной части работ греческих математиков в оригинале, скажем, нескольких ранних книг Евклида в полном объеме и определений (по крайней мере) из других книг, а также выборки из других авторов. Фон Виламовиц-Моеллендорф включил в свой *Griechisches Lesebuch* выдержки из Евклида,

Архимеда и Герона Александрийского; этому примеру должны последовать и в нашей стране.

Знакомство с оригинальными работами греческих математиков не менее необходимо для любого математика, достойного этого имени. Математика - это греческая наука. До тех пор пока речь идет о чистой геометрии, техническое оснащение математика почти полностью греческое. Греки заложили принципы, закрепили терминологию и изобрели методы *ab initio*; более того, они сделали это с такой уверенностью, что за прошедшие века не было необходимости восстанавливать, а тем более отвергать как несостоятельную, какую-либо существенную часть их доктрины.

Рассмотрим сначала терминологию математики. Почти все стандартные термины являются греческими или латинскими переводами с греческого, и, хотя математика можно научить их значению, не зная греческого, он, конечно, лучше поймет их значение, если будет знать их в том виде, в каком они возникли, и как часть живого языка людей, которые их придумали. Возьмем, к примеру, слово "*равнобедренный*"; школьнику можно показать, что такое равнобедренный треугольник, но, если он ничего не знает о его происхождении, он будет недоумевать, почему для выражения столь простой идеи понадобился такой, казалось бы, необычный термин. Но если сам вид этого слова покажет ему, что оно означает вещь с *равными ногами*, будучи составленным из *ισος*, равный, и *σκελος*, нога, он поймет его уместность и без труда запомнит его. *Равносторонний*, с другой стороны, заимствован из латыни, но это всего лишь латинский перевод греческого *ισοπλευρος*, *равносторонний*. *Параллелограмм* можно объяснить и человеку, не знающему греческого, но он будет гораздо лучше понять тем, кто увидит в нем два слова *παράλληλος* и *γραμμή* и поймет, что это короткий способ выразить, что рассматриваемая фигура содержится параллельными линиями; и мы лучше всего поймем само слово *параллельный*, если увидим в нем утверждение того факта, что две прямые линии, описанные таким образом, идут *рядом друг с другом*, *пар'* *αλληλας*, на всем пути. Точно так же математик должен знать, что *ромб* называется так от сходства с формой вершины (*ρομβος* от *ῥεμβω* - вращаться) и что, как параллелограмм - фигура, образованная двумя парами параллельных прямых, так и *параллелепипед* - твердая фигура, ограниченная тремя парами параллельных плоскостей (*παράλληλος* - параллельный и *επιπεδος* - плоскость); Кстати, в последнем случае он будет избавлен от написания "*параллелопипеда*", чудовища, изуродовавшего не один учебник геометрии. Другим хорошим примером является слово *гипотенуза*; оно происходит от глагола *ὑποτείνειν* (с. *ὑπο* и асс. или просто асс.), *простирается под*, или, в своей латинской форме, *отступать*, этот термин используется довольно широко для "быть напротив"; в нашей фразеологии слово *гипотенуза* ограничивается той стороной прямоугольного треугольника, которая противоположна прямому углу, являясь сокращением выражения, используемого в Eucl. i. 47, *ἡ τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτείνουσα πλευρά*, 'сторона, противоположная прямому углу', что объясняет причастную форму женского рода *ὑποτείνουσα*, *hypotenuse*. Если бы у математиков было больше греческого, возможно, ошибочная форма "*гипотенуза*" не сохранилась бы так долго.

Если взять пример не из "Элементов", то как математик может правильно понять термин *latus rectum*, используемый в конических сечениях, если он не видел его у Аполлония как *прямую сторону* (*ὀρθία πλευρά*) определенного прямоугольника в случае каждой из трех коник?[3] Слово *ордината* вряд ли может что-то сказать тому, кто не знает, что это то, что Аполлоний описывает как "прямую линию, проведенную вниз (из точки на кривой) *предписанным* или *установленным* образом (*τεταγμένως κατηγμένη*)". *Асимптота* снова происходит от *ἀσυμπτωτός*, *не встречающийся, не секущий*, и имела у греков как более общее значение,

так и более узкое, которое она имеет для нас: она иногда использовалась для параллельных линий, которые также "не встречаются".

Опять же, если мы возьмем учебник геометрии, написанный в соответствии с самым современным циркуляром Совета по образованию или университетской программой, то обнаружим, что используемая фразеология (за исключением тех случаев, когда она более разговорная и менее научная) почти вся является чисто греческой. Греческий язык был необычайно хорошо приспособлен для передачи научной мысли. Одна из особенностей языка Евклида, которую больше всего любит подчеркивать его комментатор Прокл, - это его удивительная *точность* (ακριβεία). Язык греческих геометров также удивительно лаконичен, несмотря на все видимости обратного. Одна из претензий, часто предъявляемых к Евклиду, заключается в том, что он "рассеян". Однако (если не считать сокращений в письменном виде) можно обнаружить, что изложение соответствующих вопросов в современных учебниках по элементарным дисциплинам обычно занимает не меньше, а больше места. И, не говоря уже о безупречной законченности трактатов Архимеда, мы найдем у Герона, Птолемея и Паппуса настоящие образцы лаконичного изложения. Чисто геометрическое доказательство Героном формулы площади треугольника, $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, и геометрические предложения в первой книге "*Синтаксиса*" Птолемея (включая "теорему Птолемея") - вот примеры.

Принципы геометрии и арифметики (в смысле теории чисел) изложены в предварительном материале I и VII книг Евклида. Но Евклид не был их первооткрывателем; они постепенно развивались со времен Пифагора и далее. Аристотель четко определяет природу принципов и их классификацию. Любая доказательная наука, говорит он, имеет дело с тремя вещами: предметом, доказываемыми вещами и тем, с чего начинается доказательство (ἐξ ὧν). Не все можно доказать, иначе цепь доказательств была бы бесконечной; нужно с чего-то начинать, и начинать нужно с того, что признается, но не поддается доказательству. Это, во-первых, общие для всех наук принципы, которые называются *аксиомами* или *общепринятыми мнениями*, как, например, "из двух противоречий одно должно быть истинным" или "если из равных вычесть равные, то остатки будут равны"; во-вторых, принципы, свойственные предмету конкретной науки, скажем, геометрии. Первыми среди последних принципов являются определения; необходимо согласие относительно того, что мы понимаем под определенными терминами. Но определение ничего не утверждает о существовании или несуществовании определяемой вещи. Существование различных определяемых вещей должно быть *доказано*, за исключением нескольких первичных вещей в каждой науке, существование которых не подлежит доказательству и должно *предполагаться* среди первых принципов науки; так, в геометрии мы должны предполагать существование точек и линий, а в арифметике - единицы. Наконец, мы должны предположить некоторые другие вещи, которые менее очевидны и не могут быть доказаны, но все же должны быть приняты; они называются *постулатами*, потому что они требуют веры ученика. Постулаты Евклида относятся к этому типу, особенно тот, который известен как постулат о параллельных.

Методы решения задач, несомненно, сначала применялись в конкретных случаях, а затем постепенно систематизировались; технические термины для них, вероятно, были придуманы позже, после того как сами методы стали общепринятыми.

Одним из методов решения было *сведение* одной задачи к другой. Это называлось ἀπαγωγή, термин, который, кажется, впервые встречается у Аристотеля. Но случаи такого сведения встречались задолго до него. Гиппократ Хиосский свел задачу о дублировании куба к задаче о нахождении двух средних пропорций в продолжении пропорции между двумя прямыми линиями, то есть он показал, что если последняя задача может быть решена, то тем самым

решается и первая; и вполне вероятно, что в пифагорейской геометрии были еще более ранние случаи.

Далее следует метод математического *анализа*. Считается, что этот метод был "сообщен" или "объяснен" Платоном Леодамасу из Фасоса; но, как и редукция (с которой он тесно связан), анализ в математическом смысле, должно быть, использовался гораздо раньше. *Анализ* и коррелятивный ему *синтез* определяются Паппусом: "В анализе мы предполагаем искомое так, как если бы оно уже было сделано, и спрашиваем, из чего оно вытекает, и снова, что является предшествующей причиной последнего, и так далее, пока, проследивая наши шаги, не наткнемся на что-то уже известное или принадлежащее к классу принципов. Но в синтезе, обращая процесс вспять, мы принимаем как уже сделанное то, к чему пришли в последний раз в ходе анализа, и, расположив в естественном порядке в качестве следствий то, что раньше было предшествующими причинами, и последовательно соединяя их одно с другим, мы приходим, наконец, к построению того, что искали".

Метод *reductio ad absurdum* - это разновидность анализа. Начиная с гипотезы, а именно противоречащей тому, что мы хотим доказать, мы используем тот же процесс анализа, возвращаясь назад, пока не придем к чему-то заведомо ложному или абсурдному. Аристотель называет этот метод по-разному: *reductio ad absurdum*, *proof per impossibile* или доказательство, ведущее к невозможному. Но и здесь, хотя термин был новым, метод не был новым. Классическими примерами являются парадоксы Зенона.

Наконец, греки создали форму изложения, которая до сих пор управляет геометрическими работами, просто потому, что она продиктована строгой логикой. Она видна в предложениях Евклида с их отдельными формальными подразделениями, которым впоследствии были присвоены конкретные названия: (1) *изложение* (πρотаσις), (2) *изложение* (εκθεσις), (3) *διόρισμος*, представляющее собой повторное изложение того, что мы должны сделать или доказать, не в общих чертах (как в *изложении*), а со ссылкой на конкретные данные, содержащиеся в *изложении*, (4) *построение* (κατασκευη), (5) *доказательство* (αποδειξις), (6) *заключение* (συμπέρασμα). В случае проблемы часто случается, что решение невозможно, если конкретные данные не удовлетворяют определенным условиям; в этом случае в пропозиции есть еще одна составная часть, а именно изложение условий или границ возможности, которая была названа тем же именем *διόρισμος*, определение или разграничение, что и третья составная часть теоремы.

До сих пор мы старались в общих чертах указать на законченность и непреходящую ценность работы, проделанной творцами математической науки. Остается как можно короче изложить историю греческой математики по периодам и темам.

Греки, конечно, переняли у египтян и вавилонян все, что могли, в виде элементарных фактов в геометрии и астрономии. Но некоторые из существенных характеристик греческого гения проявляются даже в их заимствованиях из этих или других источников. Здесь, как и везде, мы видим их прямоту и сосредоточенность; они всегда знали, чего хотят, и обладали безошибочным инстинктом брать только то, что стоило иметь, и отвергать все остальное. Это иллюстрирует история о путешествиях Пифагора. Он общался со жрецами и пророками и был посвящен в религиозные обряды, практикуемые в разных местах, не из религиозного энтузиазма, "как вы могли бы подумать" (говорит наш информатор), а для того, чтобы не упустить ни одной крупницы знаний, которые стоило бы приобрести и которые могли быть скрыты в таинствах божественного поклонения.

Эта история также иллюстрирует важное преимущество, которое греки имели перед египтянами и вавилонянами. В этих странах наука, в том виде, в котором она существовала, была монополией жрецов, а в таких случаях первые шаги в науке оказывались последними, потому что достигнутые научные результаты, как правило, оказывались замешанными на религиозных предписаниях и рутине, а в итоге превращались в набор безжизненных формул. К счастью для греков, у них не было организованного священства; не скованные предписаниями, традиционными догмами или суевериями, они могли дать волю своим рассудочным способностям. Таким образом, они смогли создать науку как живое существо, способное к неограниченному развитию.

Греческая геометрия, как и греческая астрономия, начинается с Фалеса (около 624-547 гг. до н. э.), который путешествовал по Египту и, как говорят, привез оттуда геометрию. Та геометрия, которая существовала в Египте, возникла из практических нужд. Доходы собирались за счет налогообложения земельной собственности, а ее оценка зависела от точного установления границ различных владений. Когда эти границы исчезали в результате периодических наводнений, связанных с подъемом уровня Нила, необходимо было заменить их или определить налогооблагаемую площадь независимо от них с помощью искусства межевания. Из папируса Ринда (около 1700 г. до н. э.) и других документов мы заключаем, что египетская геометрия состояла в основном из практических правил для измерения, с большей или меньшей точностью, (1) таких площадей, как квадраты, треугольники, трапеции и круги, (2) твердого содержания мер кукурузы и т. д., различных форм. Египтяне также строили пирамиды определенного наклона с помощью арифметических вычислений, основанных на определенном соотношении, *se-qet*, а именно на отношении половины стороны основания к высоте, что фактически эквивалентно котангенсу угла наклона. Использование этого соотношения подразумевает понятие подобия фигур, особенно треугольников. Египтяне тоже знали, что треугольник со сторонами в соотношении чисел 3, 4, 5 является прямоугольным, и использовали этот факт как средство для построения прямых углов. Но нет никаких признаков того, что они знали общее свойство прямоугольного треугольника (= Eucl. I. 47), частным случаем которого является этот, или что они доказали какую-либо общую теорему в геометрии.

Несомненно, Фалес, находясь в Египте, видел диаграммы, нарисованные для иллюстрации правил измерения окружностей и других плоских фигур, и эти диаграммы наводили его на мысль об определенных сходствах и совпадениях, которые заставили бы его задуматься, не существует ли каких-то элементарных общих принципов, лежащих в основе построения и отношений различных фигур и частей фигур. Это соответствовало бы греческому инстинкту обобщения и их желанию иметь возможность объяснить все на рациональных принципах.

Фалесу приписываются следующие теоремы: (1) что круг пересекается любым диаметром (Eucl. I, Def. 17), (2) что углы при основании равнобедренного треугольника равны (Eucl. I. 5), (3) что если две прямые линии пересекают друг друга, то вертикально противоположные углы равны (Eucl. I. 15), (4) что если у двух треугольников два угла и одна сторона соответственно равны, то треугольники равны во всех отношениях (Eucl. I. 26). Говорят (5), что он первым вписал прямоугольный треугольник в окружность, что должно означать, что он первым обнаружил, что угол в полукруге - прямой (ср. Eucl. III. 31).

Какими бы элементарными ни были эти вещи, они представляют собой новое, судьбоносное открытие, являющееся первым шагом на пути к *теории* геометрии. По этому поводу мы не можем сделать ничего лучше, чем процитировать некоторые замечания из предисловия Канта ко второму изданию его "*Критики нового мира*".

Математика с самых ранних времен, к которым восходит история человеческого разума, (то есть) с этого замечательного народа греков, шла по безопасной дороге *науки*. Но не следует думать, что математике было так же легко, как и логике, где разум занимается только собой, найти или, скорее, построить для себя эту королевскую дорогу. Я считаю, наоборот, что с математикой это долгое время оставалось делом нащупывания - египтяне, в частности, все еще были на этой стадии - и что это преобразование должно быть приписано *революции*, вызванной счастливым вдохновением одного человека в попытке эксперимента, с этого момента дорога, по которой нужно идти, больше не могла быть пропущена, и безопасный путь науки был найден и прослежен на все времена и на расстояния необозримые..... Свет пролился на первого человека, который продемонстрировал свойство равнобедренного треугольника (независимо от того, звали ли его Фалес или как вам угодно)....'

Фалес также решил две проблемы практического характера: (1) он показал, как измерить расстояние до корабля в море, и (2) он нашел высоту пирамид с помощью теней, отбрасываемых на землю пирамидой и палкой известной длины в один и тот же момент; в одном рассказе говорится, что он выбрал время, когда длины палки и ее тени были равны, но в любом случае он доказывал сходство треугольников.

В астрономии Фалес предсказал солнечное затмение, которое, вероятно, произошло 28 мая 585 года до н. э. Теперь вавилоняне в результате наблюдений, продолжавшихся на протяжении веков, открыли период в 223 луны, после которого повторяются затмения. Поэтому наиболее вероятно, что Фалес слышал об этом периоде и что его предсказание было основано на нем. Считается также, что он использовал Малую Медведицу для нахождения полюса, открыл неравенство четырех астрономических сезонов и написал работы "*О равноденствии*" и "*О солнцестоянии*".

После Фалеса следуют пифагорейцы. О пифагорейцах Аристотель говорит, что они посвятили себя изучению математики и первыми продвинули эту науку, зайдя так далеко, что нашли в принципах математики принципы всех существующих вещей. О самом Пифагоре нам говорят, что он придавал огромное значение изучению арифметики, продвигая ее и выводя из области практической пользы, а также, что он превратил изучение геометрии в либеральное образование, изучая принципы этой науки с самого начала.

Само слово *μαθηματά*, которое первоначально означало "предметы обучения" в целом, как говорят, впервые было применено к математике пифагорейцами.

Говоря, что арифметика началась с Пифагора, мы должны различать употребление этого слова тогда и сейчас. *Αριθμητική* у греков отличалась от *λογιστική*, науки о расчетах. Именно последнее слово охватывает арифметику в нашем смысле, или практическое вычисление; термин *αριθμητική* ограничивался наукой о числах, рассматриваемых самих по себе, или, как мы должны сказать, теорией чисел. Другой способ обозначить это различие - сказать, что *αριθμητική* имеет дело с абсолютными числами или числами абстрактными, а *λογιστική* - с пронумерованными *вещами* или конкретными числами; таким образом, *λογιστική* включает простые задачи о количестве яблок, чаш или предметов вообще, такие как встречаются в Греческой антологии и иногда включают простые алгебраические уравнения.

Теория чисел началась с Пифагора (около 572-497 гг. до н. э.). Она включала в себя определения единицы и числа, а также классификацию и определения различных классов чисел: четных, нечетных, простых, составных и таких их подразделений, как четные, нечетные, четные и нечетные. Снова были фигурные числа, а именно треугольные числа, квадраты, продолговатые числа, многоугольные числа (пятиугольники, шестиугольники и т. д.), соответствующие соответственно плоским фигурам, и пирамидальные числа, кубы,

параллелепипеды и т. д., соответствующие твердым фигурам в геометрии. Обработка была в основном геометрической, числа представлялись точками, заполняющими геометрические фигуры различных видов. Были установлены законы образования различных фигурных чисел. Важную роль в этом исследовании сыграл *гномон*. Первоначально означавший вертикальную иглу солнечных часов, этот термин затем использовался для обозначения фигуры, похожей на столярный квадрат, а затем был применен к фигуре такой формы, поставленной вокруг двух сторон квадрата и составляющей больший квадрат.

Арифметическое применение термина было аналогичным. Если изобразить единицу одной точкой и поставить вокруг нее три точки так, чтобы четыре образовали углы квадрата, то *три* - это первый гномон. *Пять* точек, расположенных на равных расстояниях вокруг двух сторон квадрата, содержащего четыре точки, образуют следующий квадрат (3^2), а *пять* - второй гномон. Вообще, если у нас есть n^2 точек, расположенных так, чтобы заполнить квадрат с n сторонами, то гномон, который нужно поставить вокруг него, чтобы составить следующий квадрат, $(n+1)^2$, имеет $2n+1$ точек. Таким образом, при построении квадратов последовательные гномоны представляют собой ряд нечетных чисел, следующих за 1 (первый квадрат), а именно 3, 5, 7, ... При образовании *продолговатых* чисел (чисел вида $n(n+1)$), первым из которых является 1. 2, последовательными гномонами являются следующие за 2 члены ряда *четных* чисел 2, 4, 6, Треугольные числа образуются путем прибавления к 1 (первому треугольнику) членов, следующих за 1 в ряду натуральных чисел 1, 2, 3, ...; таким образом, это гномоны (по аналогии) для треугольников. Гномоны для пятиугольных чисел - это члены после 1 в арифметической прогрессии 1, 4, 7, 10 ... (с 3, или 5-2, в качестве общей разности) и так далее; общая разность последовательных гномонов для *а-гонального* числа равна $a-2$.

Из серии гномонов для квадратов легко выводится формула для нахождения квадратных чисел, которые являются суммой двух квадратов. Так как гномон $2n+1$ является разностью между последовательными квадратами n^2 и $(n+1)^2$, нам остается только сделать $2n+1$ квадратом. Предположим, что $2n+1=m^2$; следовательно, $n=\frac{1}{2}(m^2-1)$, и $\{\frac{1}{2}(m^2-1)\}^2+m^2=\{\frac{1}{2}(m^2+1)\}^2$, где m - любое нечетное число. Эта формула на самом деле приписывается Пифагору.

Считается, что Пифагор открыл теорию пропорций, или соразмерности. Это была числовая теория и, следовательно, применимая только к соизмеримым величинам; несомненно, она в какой-то мере повторяла теорию Евклида, книга VII. С теорией пропорций связана теория *средств*, и Пифагор был знаком с тремя из них - арифметической, геометрической и субконтрарной (впоследствии названной гармонической). В частности, считается, что Пифагор ввел из Вавилона в Грецию "самую совершенную" пропорцию, а именно:

$$a:(a+b)/2=2ab/(a+b):b,$$

где второй и третий члены - соответственно среднее арифметическое и среднее гармоническое между a и b . Частный случай - $12:9=8:6$.

Это относится к тому, что, вероятно, было величайшим открытием Пифагора, а именно: музыкальные интервалы соответствуют определенным арифметическим соотношениям между длинами струн при одинаковом натяжении. Октава соответствует соотношению 2:1, пятая - 3:2, четвертая - 4:3. Эти соотношения совпадают с соотношениями 12 к 6, 8, 9 соответственно, и мы можем понять, как третий член, 8, в приведенной выше пропорции стал называться "гармоническим" средним между 12 и 6.

Пифагорейская арифметика в целом, с ее развитием после времен самого Пифагора, известна нам в основном благодаря "*Введению в арифметику*" Никомаха, комментариям

Иамвлиха к ней и труду Теона Смирнского *"Изложение правильной математики по легенде о Платоне"* (*Expositio rerum mathematicarum ad legendum Platonem utilium*). В этих книгах больше всего заслуживают внимания следующие моменты.

Во-первых, там есть описание "совершенного" числа (числа, равного сумме всех его частей, то есть всех его целых делителей, включая 1, но исключая само число), с утверждением того свойства, что все такие числа оканчиваются на 6 или 8. Четыре таких числа, а именно 6, 28, 496, 8128, были известны Никомаху. Закон образования таких чисел впервые встречается в Eucl. IX. 36, где доказывается, что если сумма (S_n) из n членов ряда $1, 2, 2^2, 2^3 \dots$ является простой, то $S_{(n)} \cdot 2^{n-1}$ - совершенное число.

Во-вторых, Теон Смирнский приводит закон образования ряда "боковых" и "диаметральных" чисел, удовлетворяющих уравнениям $2x^2 - y^2 = \pm 1$. Закон зависит от доказанного в Eucl. II. 10 о том, что $(2x+y)^2 - 2(x+y)^2 = 2x^2 - y^2$, откуда следует, что если x, y удовлетворяют одному из вышеприведенных уравнений, то $2x+y, x+y$ является решением другого уравнения в больших числах. Последовательные решения дают значения y/x , а именно $1/1, 3/2, 7/5, 17/12, 41/29, \dots$, которые являются последовательными приближениями к значению $\sqrt{2}$ (отношение диагонали квадрата к его стороне). Поводом для такого метода приближения к $\sqrt{2}$ (который можно применять как угодно далеко) послужило открытие пифагорейцами несоизмеримого или иррационального в данном конкретном случае.

В-третьих, Иамблих упоминает об открытии пифагорейца Тимарида, сделанном не позднее времени Платона, которое называется $\epsilon\pi\alpha\nu\theta\eta\mu\alpha$ ("расцвет") Тимарида и заключается в решении любого числа одновременных уравнений следующего вида:

$$x + x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} = S,$$

$$x + x_1 = a_1,$$

$$x + x_2 = a_2,$$

....

$$x + x_{n-1} = a_{n-1},$$

$$\text{решение } x = ((a_1 + a_{(2)} + \dots + a_{n-1}) - S) / (n-2).$$

Правило сформулировано в общих чертах, но приведенное выше представление его действия показывает, что оно является частью чистой алгебры.

Вклад пифагорейцев в геометрию был еще более значительным. Самым известным предложением, приписываемым самому Пифагору, является, конечно, теорема Евкла I. 47 о том, что квадрат гипотенузы любого прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух других сторон. Но помимо теории пропорций Прокл приписывает ему также построение "космических фигур", пяти правильных твердых тел.

Одно из этих твердых тел, додекаэдр, имеет двенадцать правильных пятиугольников в качестве граней, а построение правильного пятиугольника предполагает разрезание прямой линии "по крайнему и среднему соотношению" (Eucl. II. 11 и VI. 30), что является частным случаем метода, известного как *применение площадей*. Этот метод был полностью разработан пифагорейцами и оказался одним из самых мощных во всей греческой геометрии. Самый элементарный случай приводится в Eucl. I. 44, 45, где показано, как применить к данной прямой в качестве основания параллелограмм с одним углом, равным данному углу, и равным по площади любой данной прямолинейной фигуре; это построение является геометрическим эквивалентом арифметического деления. Общий случай - тот, в

котором параллелограмм, хотя и приложенный к прямой, перекрывает ее или не совпадает с ней таким образом, что часть параллелограмма, которая выходит за пределы или не доходит до параллелограмма того же угла и ширины на самой данной прямой (точно) в качестве основания, подобна любому данному параллелограмму (Eucl. VI. 28, 29). Это геометрический эквивалент решения наиболее общей формы квадратного уравнения $ax \pm mx^2 = C$ в той мере, в какой оно имеет действительные корни; условие, что корни могут быть действительными, также было разработано (=Eucl. VI. 27). Именно в форме "применения площадей" Аполлоний получил фундаментальное свойство каждого из конических сечений, и, как мы увидим, именно из терминологии применения площадей Аполлоний взял три названия - *парабола*, *гипербола* и *эллипс*, которые он первым дал трем кривым.

Еще одна проблема, которую решали пифагорейцы, - начертить прямолинейную фигуру, равную по площади одной данной прямолинейной фигуре и подобную другой. Плутарх упоминает о сомнении, была ли это эта задача или теорема Евкла I. 47, на основании которой Пифагор, как говорят, принес в жертву быка.

Основные конкретные приложения теоремы о квадрате на гипотенузе, например, те, что приведены в книге II Евклида, также были пифагорейскими; построение квадрата, равного данному прямоугольнику (Eucl. II. 14), является одним из них и соответствует решению чистого квадратного уравнения $x^2 = ab$.

Пифагорейцы знали свойства параллелей и доказали теорему о том, что сумма трех углов любого треугольника равна двум прямым углам.

Как мы видели, пифагорейская теория пропорций, будучи числовой, была неадекватной, поскольку не распространялась на несоизмеримые величины; но, с этой оговоркой, можно сказать, что пифагорейская геометрия охватывала большую часть предмета книг I, II, IV и VI "Элементов" Евклида. Менее ясно дело обстоит с III книгой "Элементов", но, поскольку основные положения этой книги были известны Гиппократу Хиосскому во второй половине пятого века до н. э., мы заключаем, что они тоже были частью пифагорейской геометрии.

Наконец, пифагорейцы открыли существование несоизмеримого или иррационального в частном случае диагонали квадрата по отношению к его стороне. Аристотель упоминает древнее доказательство несоизмеримости диагонали со стороной, *приводящее к абсурду* и показывающее, что если бы диагональ была соизмерима со стороной, то из этого следовало бы, что одно и то же число является одновременно и четным, и нечетным. Это доказательство, несомненно, было пифагорейским.

Следует добавить несколько слов о пифагорейской астрономии. Пифагор был первым, кто утверждал, что Земля (и, несомненно, все остальные небесные тела) имеет сферическую форму, и он знал, что Солнце, Луна и планеты имеют независимые движения в смысле, противоположном суточному вращению; но он, похоже, сохранил Землю в центре. Его преемники по школе (сиракузцу Гикету и Филолаю попеременно приписывают это нововведение) фактически отказались от геоцентрической идеи и заставили землю, как и солнце, луну и другие планеты, вращаться по кругу вокруг "центрального огня", в котором пребывал управляющий принцип, упорядочивающий и направляющий движение вселенной.

Геометрия, о которой мы говорили до сих пор, относится к Элементам. Но, прежде чем корпус "Элементов" был завершен, греки вышли за пределы "Элементов". Ко второй половине V века до н. э. они исследовали три знаменитые проблемы высшей геометрии: (1)

квадратура круга, (2) трисекции любого угла, (3) дублирование куба. К этому периоду относятся Гиппий Элидский, Гиппократ Хиосский и Демокрит.

Гиппиас из Элиды изобрел некую кривую, описываемую сочетанием двух равномерных движений (углового и прямолинейного), требующих одинакового времени для завершения. Сам Гиппиас использовал свою кривую для трисекции любого угла или деления его в любом соотношении; но впоследствии она была использована Диностратом, братом ученика Евдокса Менахма, и Никомедом для квадратуры круга, откуда она получила название τετραγωνίζουσα, *quadratrix*.

Гиппократ Хиосский упоминается Аристотелем как пример, доказывающий, что человек может быть выдающимся геометром и в то же время глупцом в обычных жизненных делах. Он занимает важное место как в элементарной геометрии, так и в связи с двумя вышеупомянутыми высшими проблемами. Насколько известно, он был первым составителем книги "Элементы"; он же первым доказал важную теорему Евкл. XII. 2 о том, что окружности относятся друг к другу как квадраты к их диаметрам, из чего он далее вывел, что аналогичные сегменты окружностей относятся друг к другу как квадраты к их основаниям. Эти положения он использовал в своем трактате о квадратуре лун, который должен был привести к квадратуре круга. Основные части трактата сохранились в отрывке комментария Симпликия к "Физике" Аристотеля, который содержит значительные выдержки из утраченной "Истории геометрии" Евдема. Гиппократ показал, как возвести в квадрат три определенных луны разных видов, а затем, наконец, возвел в квадрат сумму окружности и определенной луны. К сожалению, последний из упомянутых лун не принадлежал к числу тех, которые можно возвести в квадрат, так что попытка возвести круг в квадрат таким способом в конце концов не удалась.

Гиппократ также занимался проблемой удвоения куба. Существует две версии происхождения этой знаменитой задачи. Согласно одной из них, старый трагический поэт представил Миноса недовольным размером кубической гробницы, возведенной для его сына Глаука, и велел архитектору сделать ее вдвое больше, сохранив при этом кубическую форму. Другая история гласит, что делийцы, страдавшие от моровой язвы, обратились к оракулу и получили совет удвоить определенный алтарь как средство от чумы. Гиппократ не решил проблему удвоения, но свел ее к другой, а именно к поиску двух средних пропорций в продолжении пропорции между двумя заданными прямыми линиями; и впоследствии эта проблема решалась в такой форме. Если x, y - две искомые средние пропорции между двумя прямыми a, b , то $a:x=x:y=y:b$, откуда $b/a=(x/a)^3$, и, как частный случай, если $b=2a$, то $x^3=2a^3$, так что, когда x найден, куб удвоен.

Демокрит написал большое количество математических трактатов, сохранились только их названия. Из одного из них - "Об иррациональных линиях и твердых телах" - следует, что он писал об иррациональных величинах. Демокрит не менее полно, чем Зенон, и с не меньшей остротой осознавал трудности, связанные с непрерывным и бесконечно малым. Это видно из его дилеммы о круглом основании конуса и параллельном ему отрезке; отрезок, который он имеет в виду, - это отрезок, "бесконечно близкий" (как сказано) к основанию, то есть *самый следующий* отрезок, как мы могли бы сказать (если бы он существовал). Равна или не равна она основанию, говорит Демокрит? Если она равна, то равна и следующая за ней часть, и так далее, так что конус на самом деле будет не конусом, а цилиндром. Если же она не равна основанию и фактически меньше, то поверхность конуса будет зубчатой, как ступени, что очень нелепо. Мы можем быть уверены, что в работе Демокрита "О соприкосновении круга и сферы" обсуждалась подобная трудность.

Наконец, Архимед говорит нам, что Демокрит был первым, кто заявил, хотя и не смог дать строгое доказательство, что объем конуса или пирамиды равен одной трети объема цилиндра или призмы, соответственно, на том же основании и равной высоты, теоремы, впервые доказанной Евдоксом.

Мы переходим ко времени Платона, и здесь великими именами являются Архит, Феодор Киринейский, Теэтет и Евдокс.

Архит (около 430-360 гг. до н. э.) писал о музыке и числовых соотношениях, соответствующих интервалам тетрахорда. Считается, что он первым написал трактат по механике, основанный на математических принципах; с практической стороны он изобрел механического голубя, который мог летать. В геометрии он дал первое решение проблемы двух средних пропорций, используя удивительную конструкцию в трех измерениях, которая определяла определенную точку как пересечение трех поверхностей, (1) определенного конуса, (2) полуцилиндра, (3) анкерного кольца или *тора* с внутренним диаметром *ноль*.

Теодор, учитель Платона по математике, расширил теорию иррационального, доказав несоизмеримость в некоторых частных случаях, кроме диагонали квадрата по отношению к его стороне, что было уже известно. Он доказал, что сторона квадрата, содержащего 3 квадратных фута, или 5 квадратных футов, или любое неквадратное число квадратных футов до 17, несоизмерима с одним футом, другими словами, что $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$... $\sqrt{17}$ несоизмеримы с 1. Доказательство Теодора, очевидно, не было общим; и Теэтету было поручено охватить все эти иррациональности одним определением и доказать свойство в общем виде, как оно доказано в Eucl. X. 9. Большая часть содержания остальной части X книги Евклида (посвященной составным иррациональным величинам), а также XIII книги о пяти правильных твердых телах, принадлежит Теэтету, который, как говорят, даже открыл два из этих твердых тел (октаэдр и икосаэдр).

Платон (427-347 гг. до н. э.), вероятно, не был оригинальным математиком, но "благодаря своему увлечению математикой в целом и геометрией в частности, он добился большого прогресса". Он поощрял членов своей школы специализироваться в математике и астрономии; например, нам рассказывают, что в астрономии он поставил перед всеми серьезными студентами задачу найти, "каковы равномерные и упорядоченные движения, на основании которых можно объяснить видимые движения планет". В сочинениях самого Платона можно найти некоторые определения, например, определение прямой линии как "той, у которой середина покрывает концы", и несколько интересных математических иллюстраций, особенно во втором геометрическом отрывке в "*Мено*" (86E-87C). Самому Платону приписывают (1) формулу $(n^2 - 1)^2 + (2n)^2 = (n^2 + 1)^2$ для нахождения двух квадратных чисел, сумма которых является квадратным числом, (2) изобретение метода анализа, который он, как говорят, объяснил Леодамасу из Тасоса (*математический анализ*, однако, безусловно, применялся на практике задолго до него). Приписываемое Платону решение проблемы двух средних пропорций с помощью рамки, похожей на ту, которую сапожник использует для измерения ступни, вряд ли может принадлежать ему.

Евдокс (408-355 гг. до н. э.), оригинальный гений, не имеющий себе равных (если только это не Архимед) в истории нашего предмета, сделал два открытия, имевших огромное значение для дальнейшего развития греческой геометрии.

(1) Как мы уже видели, открытие несоизмеримых величин сделало неадекватной пифагорейскую теорию пропорций, которая применялась только к соизмеримым величинам. Несомненно, в большинстве случаев можно было бы заменить доказательства, зависящие от пропорций, другими; но это влекло за собой большие неудобства, а также порочило

геометрию в целом. Проблема была решена раз и навсегда благодаря открытию Евдоксом великой теории пропорций, применимой к соизмеримым и несоизмеримым величинам, которая изложена в V книге Евклида. Барроу мог бы сказать об этой теории, что "во всем корпусе элементов нет ничего более тонкого изобретения, ничего более прочно установленного". Краеугольным камнем структуры является определение равных соотношений (Eucl. V, Def. 5); и двадцать три столетия ни на йоту не умалили его ценности, как видно из того, что Вейерштрасс повторяет его слово в слово как свое определение равных чисел, и оно почти до точки совпадения соответствует современной трактовке иррациональных чисел благодаря Дедекинду.

(2) Евдокс открыл метод исчерпывания для измерения криволинейных площадей и твердых тел, которому, с расширениями, данными Архимедом, греческая геометрия обязана своими величайшими триумфами. Софист Антифон в связи с попытками возвести круг в квадрат утверждал, что если вписать в круг последовательные правильные многоугольники, постоянно удваивая число сторон, то в конце концов мы придем к многоугольнику, стороны которого будут совпадать с окружностью круга. Предупрежденные неопровержимыми аргументами Зенона против бесконечно малых, математики заменили это утверждением, что, продолжая построение, мы можем вписать многоугольник, приближающийся к равенству с окружностью *настолько, насколько нам будет угодно*. Метод исчерпания использовал для доказательства методом *reductio ad absurdum* лемму, доказанную в Eucl. X. 1 (о том, что если из любой величины вычесть не менее половины, а затем из остатка не менее половины и так далее, то когда-нибудь останется величина, меньшая, чем любая заданная величина того же рода, сколь бы мала она ни была): и это снова зависит от предположения, которое практически содержится в Eucl. V, Def. 4, но в целом известно как аксиома Архимеда, гласящая, что если у нас есть две неравные величины, то их разность (какой бы малой она ни была) может, если ее постоянно прибавлять к самой себе, стать больше любой величины того же рода (какой бы большой она ни была).

Метод исчерпания можно увидеть в действии в Eucl. XII. 1-2, 3-7 Кор., 10, 16-18. Реквизиты. 3-7 и 10 доказывают, что объемы пирамиды и конуса равны одной трети объемов призмы и цилиндра соответственно на том же основании и равной высоты; Архимед прямо говорит, что эти факты были впервые доказаны Евдоксом.

В астрономии Евдокс известен прекрасной теорией концентрических сфер, которую он придумал для объяснения кажущихся движений планет и, в частности, их кажущихся неподвижных точек и ретроградов. Теория применима также к Солнцу и Луне, для каждой из которых Евдокс использовал три сферы. Движение каждой планеты он представлял как результат вращения четырех сфер, концентрических по отношению к Земле, одна внутри другой, и соединенных следующим образом. Каждая из внутренних сфер вращается вокруг диаметра, концы которого (полюса) закреплены на следующей сфере, окружающей ее. Самая внешняя сфера представляет собой суточное вращение, вторая - движение по зодиакальному кругу; полюса третьей сферы закреплены на последнем круге; полюса четвертой сферы (несущей планету, закрепленную на ее экваторе) так закреплены на третьей сфере, а скорости и направления вращения так расположены, что планета описывает на второй сфере кривую, называемую *бегемотом*, или восьмеркой, лежащую вдоль и продольно рассеченную зодиакальным кругом. Вся эта схема - чудо геометрической изобретательности.

Гераклид Понтийский (около 388-315 гг. до н. э.), ученик Платона, сделал большой шаг вперед в астрономии, заявив, что Земля вращается вокруг своей оси раз в 24 часа, и открыв, что Меркурий и Венера вращаются вокруг Солнца как спутники.

Менахм, ученик Евдокса, был первооткрывателем конических сечений, два из которых, параболу и гиперболу, он использовал для решения задачи о двух средних пропорциях. Если $a:x=x:y=y:b$, то $x^2=ay$, $y^2=bx$ и $xy=ab$. Эти уравнения в декартовых координатах и с прямоугольными осями представляют собой коники, пересечением которых два и два Менахмус решил задачу; в случае прямоугольной гиперболы он использовал свойство асимптоты.

Мы переходим к временам Евклида. Немного старше Евклида, Автолик из Питаны, написал две книги: *"О движущейся сфере"*, труд по сферике для использования в астрономии, и *"О восходах и заходах"*. Первая работа является самым ранним греческим учебником, дошедшим до нас в целостности и сохранности. Она была написана еще до Евклида, когда он писал свои *"Феномены"*, и между этими двумя книгами есть много точек соприкосновения.

Евклид процветал около 300 года до н. э. или чуть раньше. Его великий труд, *"Элементы"* в тринадцати книгах, слишком хорошо известен, чтобы нуждаться в описании. Ни одно произведение, за исключением Библии, не имело такого царствования; и будущие поколения будут возвращаться к нему снова и снова, когда устанут от пестрых заменителей и путаницы, вызванной их обескураживающей многочисленностью. После того, что было сказано выше о развитии Элементов, мы можем оценить замечание Прокла о Евклиде, "который собрал Элементы воедино, собрав многие теоремы Евдокса, усовершенствовав многие теоремы Теэтета, а также доведя до неопровержимой очевидности то, что было лишь в некоторой степени слабо доказано его предшественниками". Хотя значительная часть предмета была исследована предшественниками, все говорит о том, что вся система была создана Евклидом; несомненно, что он внес большие изменения в порядок предложений и доказательств, и его нововведения начались в самом начале первой книги.

Евклид написал и другие книги по элементарной и высшей геометрии, а также по другим математическим предметам, известным в его время. К элементарным геометрическим работам относятся *"Данные"* и *"О делениях (фигур)"*, первая из которых сохранилась на греческом языке, а вторая - только на арабском; также *"Псевдария"*, ныне утраченная, которая была своего рода руководством по заблуждениям в геометрических рассуждениях. Трактаты по высшей геометрии все утрачены; они включают (1) *"Коники"* в четырех книгах, которые охватывают почти ту же тему, что и первые три книги *"Коник"* Аполлония, хотя, несомненно, для Евклида коники все еще, как и для его предшественников, были сечениями прямоугольного, тупоугольного и остроугольного конуса, соответственно сделанными плоскостью перпендикулярной к генератору в каждом случае; (2) *Поризмы* в трех книгах, о важности и сложности которых можно судить по рассказу Паппуса и леммам, которые он дает для их использования; (3) *Поверхности-лоции*, к которым опять же Паппус дает леммы; одна из них подразумевает, что Евклид принял за известное свойство фокуса-директрисы трех коник, которое отсутствует в *"Кониках"* Аполлония.

В области прикладной математики Евклид написал (1) *"Феномены"*, труд по сферической астрономии, в котором ὁ ὀρίζων (без киклос или каких-либо уточняющих слов) впервые появляется в смысле *горизонта*; (2) *"Оптику"*, своего рода элементарный трактат о перспективе: эти два трактата сохранились на греческом языке; (3) труд *"Элементы музыки"*. *Sectio Canonis*, дошедшая до нас под именем Евклида, однако, вряд ли может быть его сочинением в нынешнем виде.

В период между Евклидом и Архимедом появляется Аристарх Самосский (около 310-230 гг. до н. э.), известный тем, что предвосхитил Коперника. Приняв мнение Гераклида о том, что Земля вращается вокруг своей оси, Аристарх пошел дальше и выдвинул гипотезу о том, что

само Солнце находится в покое, а Земля, Меркурий, Венера и другие планеты вращаются по кругу вокруг Солнца. Мы располагаем неоспоримым авторитетом Архимеда, который был всего на двадцать пять лет позже и наверняка видел книгу, содержащую эту гипотезу. Нам также рассказывают, что стоик Клеанф считал, что Аристарха следует обвинить в нечестии за то, что он привел в движение Очаг Вселенной.

Одна из работ Аристарха, *"О размерах и расстояниях Солнца и Луны"*, сохранившаяся на греческом языке, очень интересна сама по себе, хотя в ней нет ни слова о гелиоцентрической гипотезе. Тщательно классический по форме и стилю, он излагает определенные гипотезы, а затем выводит из них, с помощью строгой геометрии, размеры и расстояния Солнца и Луны. Если бы гипотезы были точными, то и результаты были бы правильными; но Аристарх фактически принял определенный угол за 87° , который на самом деле равен $89^\circ 50'$, а угол, вычитаемый в центре Земли диаметром солнца или луны, за 2° , тогда как мы знаем от Архимеда, что сам Аристарх обнаружил, что последний угол составляет всего $\frac{1}{2}^\circ$. Следствием геометрии Аристарха является нахождение арифметических пределов значений того, что на самом деле является тригонометрическими соотношениями некоторых малых углов, а именно

$$1/18 > \sin 3^\circ > 1/20, 1/45 > \sin 1^\circ > 1/60, 1 > \cos 1^\circ > 89/90.$$

Основные полученные результаты: (1) диаметр Солнца в 18-20 раз больше диаметра Луны, (2) диаметр Луны составляет от $2/45$ до $1/30$ расстояния центра Луны от нашего глаза, и (3) диаметр Солнца составляет от $19/3$ до $43/6$ диаметра Земли. Книга содержит большое количество арифметических вычислений.

Архимед родился около 287 года до н. э. и был убит при разграблении Сиракуз войском Марцелла в 212 году до н. э. Рассказы о нем известны. Хорошо известны рассказы о нем: как он сказал "Дайте мне место, на котором я буду стоять, и я сдвину землю" (πα βω καὶ κίνω τὰν γῆν; как, придумав решение проблемы короны, когда он был в бане, он побежал домой голым с криками ἔγρηκα, ἔγρηκα; и как при взятии Сиракуз, обнаружив, что он задумался над нарисованной на земле фигурой, он сказал подошедшему римскому солдату: "Отойди, парень, от моей диаграммы." О его работе мало кто знает больше, чем то, что он изобрел трубчатый винт, который до сих пор используется для перекачки воды, и что в течение долгого времени он срывал атаки римлян на Сиракузы с помощью механических устройств и двигателей, которые он использовал против них. Но он не думал об этих вещах, и его настоящий интерес был связан с чистыми математическими спекуляциями; он выгравировал на своей могиле изображение цилиндра, охватывающего сферу, с соотношением $3/2$, которое цилиндр имеет по отношению к сфере: из этого мы делаем вывод, что он считал это своим величайшим открытием.

Все работы Архимеда оригинальны и являются прекрасными образцами математического изложения; их широкий диапазон виден из списка сохранившихся: *О сфере и цилиндре* I, II, *Измерение окружности*, *О коноидах и сфероидах*, *О спиралях*, *О плоских равновесиях* I, II, *Сандрекконере*, *Квадратура параболы*, *О плавающих телах* I, II, и, наконец, *Метод* (открытый только в 1906 году). Ему также приписывается трудная проблема скота и *Liber Assumptorum*, дошедшая до нас через арабский язык, но которая не может быть его сочинением в его нынешнем виде, хотя некоторые предложения в ней (в частности, о "салиноне", солонке, и другие о кругах, вписанных в αρβηλος, нож сапожника) вполне могут быть архимедовского происхождения. Среди утраченных работ - *"Катоптрика"*, *"О построении сферы"* и исследования многогранников, в том числе тринадцати полуправильных твердых тел, открытие которых Папп приписывает Архимеду.

Если говорить в целом, то геометрические работы направлены на измерение криволинейных площадей и объемов; Архимед использует метод, который является развитием метода исчерпывания Евдокса. Евдокс, по-видимому, подходил к измеряемой фигуре только снизу, то есть с помощью последовательно вписанных в нее фигур. Архимед подходит к ней с двух сторон, последовательно вписывая фигуры и обводя другие, тем самым как бы сжимая их до тех пор, пока они не совпадут с измеряемой фигурой настолько, насколько нам будет угодно. Во многих случаях его процедура, когда аналитические эквиваленты приведены, оказывается равносильной реальному *интегрированию*; так было с его исследованием площадей параболического сегмента и спирали, поверхности и объема сферы, а также объемов любых сегментов коноидов и сфероидов.

Вновь открытый *метод* особенно интересен тем, что показывает, как Архимед первоначально получал свои результаты; это был хитрый механический метод (теоретически) *взвешивания* бесконечно малых элементов измеряемой фигуры по отношению к элементам другой фигуры, площадь или содержание которой (в зависимости от случая) известны; это равносильно *отказу от* интегрирования. Архимед, однако, признавал, что механический метод полезен только для нахождения результатов; он не считал их доказанными, пока они не были установлены геометрически.

В "*Измерении окружности*", доказав, что площадь круга равна площади прямоугольного треугольника с перпендикулярными сторонами, равными соответственно радиусу и окружности круга, Архимед путем вычислений находит верхний и нижний пределы отношения окружности круга к его диаметру (то, что мы называем π). Для этого он вписывает и обводит правильные многоугольники с 96 сторонами и приблизительно вычисляет их соответствующие периметры. Он начинает с того, что считает известными некоторые приблизительные значения $\sqrt{3}$, а именно $1351/780 > \sqrt{3} > 265/153$, а его вычисления связаны с приближением к квадратным корням из нескольких больших чисел (до семи цифр). В тексте приводятся только результаты, но очевидно, что извлечение квадратных корней не представляет никакой сложности, несмотря на сравнительное неудобство алфавитной системы счисления. Полученный результат хорошо известен, а именно $3-1/7 > \pi > 3-10/71$.

"*Равновесия на плоскости*" - первый научный трактат, посвященный первым принципам механики, которые устанавливаются с помощью чистой геометрии. Важнейшим результатом, установленным в первой книге, является принцип рычага. Он был известен Платону и Аристотелю, но у них не было реального доказательства. Аристотелевская *механика* просто "относит" рычаг "к окружности", утверждая, что сила, действующая на большем расстоянии от точки опоры, легче перемещает систему, поскольку описывает большую окружность. Архимед также находит центр тяжести параллелограмма, треугольника, трапеции и, наконец (во второй книге), параболического сегмента и его части, отсеченной прямой линией, параллельной основанию.

Сандреконер замечателен тем, что в нем разработана система выражения очень больших чисел с помощью *порядков* и *периодов*, основанных на силах мириад-мириад ($10\,000^2$). В нем также содержится важная ссылка на гелиоцентрическую теорию Вселенной, выдвинутую Аристархом Самосским в книге "Гипотезы", а также исторические подробности предыдущих попыток измерить размеры Земли и указать размеры и расстояния до Солнца и Луны.

Наконец, Архимед изобрел целую науку гидростатику. Начав трактат "*О плавающих телах*" с предположения о равномерном давлении в жидкости, он сначала доказывает, что поверхность жидкости, находящейся в состоянии покоя, представляет собой сферу с

центром в центре Земли. Другие предположения показывают, что если твердое тело плавает в жидкости, то его вес равен весу вытесненной жидкости, а если взвесить твердое тело тяжелее жидкости, то оно окажется легче своего истинного веса на вес вытесненной жидкости. Затем, после второго предположения, что тела, вынужденные подниматься вверх в жидкости, вынуждены подниматься вверх по перпендикулярам к поверхности, проходящим через их центры тяжести, Архимед рассматривает положение покоя и устойчивости сегмента сферы, плавающего в жидкости, основание которого находится полностью над или полностью под поверхностью. Книга II - это необыкновенный экскурс в будущее, где полностью исследуются все положения покоя и устойчивости правого сегмента параболоида, плавающего в жидкости, в зависимости (1) от соотношения между осью твердого тела и параметром порождающей параболы и (2) от удельного веса твердого тела по отношению к жидкости; термин "удельный вес" не используется, но идея полностью выражена другими словами.

Почти современником Архимеда был Эратосфен из Кириanei, которому Архимед посвятил *"Метод"*; предисловие к этой работе показывает, что Архимед высоко ценил его математические способности. Современники признавали его выдающимся человеком во всех областях знаний, хотя имена Бета и Пентатлос[4], применяемые к нему, указывают на то, что в каждом предмете он был ниже первого ранга. Птолемей Эвргет назначил его воспитателем своего сына (Филопатора), и он стал библиотекарем в Александрии; он признал свои обязательства перед Птолемеем, воздвигнув колонну с изящной эпитафией. В этой эпитафии он ссылаясь на более ранние решения проблемы дублирования куба или нахождения двух средних пропорциональных и отстаивал свое собственное, поскольку оно давало любое количество средств; на колонне было закреплено бронзовое изображение его прибора - рамы с прямоугольными треугольниками (или прямоугольниками), подвижными по двум параллельным пазам и друг над другом, вместе с сокращенным доказательством. В *"Платонике"* Эратосфена, очевидно, рассматривались фундаментальные понятия математики в связи с философией Платона, и, по-видимому, он начинался с рассказа о происхождении проблемы дублирования.

Самым известным достижением Эратосфена стало измерение Земли. Архимед цитирует более раннее измерение, согласно которому окружность Земли составляла 300 000 стадий. Эратосфен усовершенствовал его. Он заметил, что во время летнего солнцестояния в Сиене в полдень солнце не отбрасывает тени, в то время как в тот же момент вертикальный гномон в Александрии отбрасывает тень, соответствующую углу между гномоном и солнечными лучами в 1/50 часть от четырех прямых углов. Расстояние между Сиеной и Александрией, как известно, составляло 5 000 стадий, что давало для окружности Земли 250 000 стадий, которые Эратосфен, по-видимому, позже, по какой-то причине, изменил на 252 000 стадий. При наиболее вероятном предположении о длине используемого става, 252 000 ставов дают около 7 850 миль, что всего на 50 миль меньше истинного полярного диаметра.

В работе *"Об измерении Земли"* Эратосфен, как говорят, обсуждал и другие астрономические вопросы, расстояние между тропическими и полярными кругами, размеры и расстояния между Солнцем и Луной, полные и частичные затмения и т. д. Помимо других работ по астрономии и хронологии, Эратосфен написал *"Географику"* в трех книгах, в которой сначала изложил историю географии до наших дней, а затем перешел к математической географии, шарообразной форме Земли и т. д. и т. п.

Аполлоний Пергский был справедливо назван современниками "Великим геометром" благодаря своему великому трактату *"Коники"*. Он упоминается как знаменитый астроном

времен правления Птолемея Эвргета (247-222 гг. до н. э.); четвертую и последующие книги "Коник" он посвятил пергамскому царю Атталу I (241-197 гг. до н. э.).

"Коника", колоссальный труд, состоявший первоначально из восьми книг, сохранился в виде первых четырех книг на греческом языке и еще трех - на арабском, восьмая книга утрачена. По предисловиям Аполлония мы можем судить о связи его труда с "Коникой" Евклида, содержание которой отвечало первым трем книгам Аполлония. Хотя Евклид знал, что эллипс можно получить и другим способом, например, косым сечением правильного цилиндра, нет сомнений, что все три коники он получил из правильных конусов, как и его предшественники. Аполлоний, однако, получил их самым общим образом, разрезав любой косой конус, и его исходные оси отсчета, диаметр и касательная к его конечности, в общем случае являются косыми; фундаментальные свойства находятся относительно этих осей путем "приложения площадей", три разновидности которого - *применение* (παράβολη), *применение с избытком* (ὑπερβολή) и *применение с недостатком* (ἐλλείψις) - дают свойства трех кривых соответственно и объясняют названия *парабола*, *гипербола* и *эллипс*, которыми Аполлоний назвал их в первый раз. Главные оси появляются только как частный случай, после того как было показано, что кривые обладают подобным свойством при отнесении к любому другому диаметру и касательной на его конце, а не к тем, которые вытекают из первоначального построения. Первые четыре книги представляют собой то, что Аполлоний называет элементарным введением; остальные книги являются специализированными исследованиями, наиболее важными из которых являются книга V (о нормалях) и книга VII (в основном о сопряженных диаметрах). Нормали рассматриваются не в связи с касательными, а как *минимальные* или *максимальные* прямые, проведенные к кривым из различных точек или классов точек. Аполлоний обсуждает такие вопросы, как количество нормалей, которые можно провести из одной точки (в зависимости от ее положения), и построение всех таких нормалей. Некоторые предложения большой сложности позволяют нам легко вывести декартовы уравнения для *эволют* трех коник.

Несколько других работ Аполлония описаны Паппусом как часть "Сокровищницы анализа". Все они утрачены, за исключением "*Рациональной секты*" в двух книгах, которая сохранилась на арабском языке и была опубликована в латинском переводе Галлея в 1706 году. В нем рассматриваются все возможные случаи общей задачи "даны две прямые, параллельные или пересекающиеся, и фиксированная точка на каждой из них, провести через любую заданную точку прямую, которая отсечет перехваты от двух прямых (измеренные от фиксированных точек), находящихся в заданном отношении друг к другу". В утраченном трактате *Sectio Spatii* рассматривалась аналогичная задача, в которой отсекаемые точки должны были содержать заданный прямоугольник.

Другие трактаты, включенные в изложение Паппуса, - это (1) "*О детерминированном сечении*"; (2) "*Контакты или касательные*", вторая книга которого полностью посвящена задаче построения окружности, касающейся трех заданных окружностей (решение Аполлония может быть удовлетворительно восстановлено с помощью вспомогательных предложений Паппуса); (3) "*Плоские лоции*", т.е. (4) *Νευσεις, Inclinationes* (общая задача, называемая *νευσις*, состоит в том, чтобы вставить между двумя прямыми или кривыми линиями прямую линию заданной длины, *вершинную* к заданной точке, т. е. так, чтобы, будучи произведенной, она проходила через эту точку; Аполлоний ограничивался случаями, которые можно было решить "плоскими" методами, т. е. только с помощью прямой линии и окружности).

Считается, что Аполлоний также написал (5) "*Сравнение додекаэдра с икосаэдром* (вписанным в ту же сферу)", в котором он доказал, что их поверхности находятся в том же

соотношении, что и их объемы; (6) "О *кохлиасе* или цилиндрической спирали"; (7) "Общий трактат", в котором, очевидно, рассматривались фундаментальные предположения и т. д., элементарной геометрии; (8) сочинение о *неупорядоченных иррационалах*, т. е. иррационалах более сложной формы, чем те, о которых говорится в Евкл. книге X; (9) "О *горящем зеркале*", где рассматриваются сферические зеркала и, вероятно, зеркала параболического сечения; (10) *шкυτόκιον* ("быстрая доставка"). В последней из названных работ Аполлоний нашел приближение к π , более близкое, чем в "Измерении круга" Архимеда; возможно, в книге также содержалось изложение Аполлонием его обозначения больших чисел в соответствии с "тетрадами" (последовательные силы мириад).

Считается, что в астрономии Аполлоний проводил специальные исследования, касающиеся Луны, и был назван ϵ (Эпсилон), поскольку форма этой буквы ассоциируется с Луной. Он также владел теорией эпициклов и эксцентриков.

С Архимедом и Аполлонием греческая геометрия достигла своей кульминационной точки; действительно, без более эластичных обозначений и механизмов, таких как алгебра, геометрия практически исчерпала свои ресурсы. Однако еще некоторое время оставались способные геометры, которые продолжали традицию, дополняя детали, придумывая альтернативные решения задач или открывая новые кривые для использования или исследования.

Никомед, вероятно, промежуточный по дате между Эратосфеном и Аполлонием, был изобретателем *конхоиды* или *кохлоиды*, которых, согласно Паппусу, было три разновидности. Диокл (около конца II века до н. э.) известен как первооткрыватель *циссоиды*, который использовался для дублирования куба. Он также написал книгу *περί πυρσίων*, "О *горящих зеркалах*", в которой, вероятно, среди прочих форм зеркал обсуждались поверхности параболического или эллиптического сечения и использовались фокальные свойства двух коник; именно в этой работе Диокл дал независимое и умное решение (с помощью эллипса и прямоугольной гиперболы) задачи Архимеда о разрезании сферы на два сегмента в заданном соотношении. Дионисодор дал решение с помощью коники вспомогательного кубического уравнения, к которому Архимед свел эту задачу; он также нашел твердое содержимое *тора* или анкерного кольца.

Персей известен как первооткрыватель и исследователь *спиральных сечений*, то есть некоторых сечений *σπείρας*, одной из разновидностей которых является *тора*. *Спираль* образуется при вращении круга вокруг прямой линии в его плоскости, которая может быть либо внешней по отношению к кругу (в этом случае образуется фигура тора), либо пересекать или касаться круга.

Зенодор был автором трактата "Об *изометрических фигурах*", проблема которого заключалась в сравнении содержания различных фигур, плоских или твердых, имеющих одинаковые контуры или поверхности соответственно.

Гипсикл (вторая половина II века до н. э.) написал то, что стало известно как "Книга XIV" *Элементов*, содержащая дополнительные предложения о регулярных твердых телах (частично взятые из Аристия и Аполлония); кажется, он также писал о многоугольных числах. Приписываемая ему посредственная астрономическая работа (*Αναφορίκος*) является первой греческой книгой, в которой мы находим деление зодиакального круга на 360 частей или градусов.

Посидоний Стоик (около 135-51 гг. до н. э.) писал по географии и астрономии под названиями "Об океане" и *περί μετεώρων*. Он сделал новый, но ошибочный расчет

окружности Земли (240 000 стадий). *Напротив*, в отдельном трактате о размерах солнца (в опровержение эпикурейского мнения о том, что оно так велико, как *кажется*) он сделал предположения (отчасти догадки), которые дают для диаметра солнца цифру 3 000 000 стадий (в 39-1/4 раза больше диаметра земли), результат, гораздо более близкий к истине, чем те, что были получены Аристархом, Гиппархом и Птолемеем. В элементарной геометрии Посидоний дал несколько определений (в частности, параллели, основанной на идее равноудаленности).

Гемин Родосский, ученик Посидония, написал (около 70 г. до н. э.) энциклопедический труд о классификации и содержании математики, включая историю каждого предмета, из которого Прокл и другие сохранили примечательные выдержки. Ан-Наиризи (арабский комментатор Евклида) воспроизводит попытку некоего Аганиса, который, по-видимому, является Геминем, доказать постулат о параллели.

Но с этого времени изучение высшей геометрии (кроме сферической), по-видимому, заглохло, пока этот замечательный математик Папп (к концу III века н. э.) не возродил интерес к этому предмету. Из того, как в своем великом *"Сборнике"* Папп считает необходимым подробно описать содержание классических работ, входящих в *"Сокровищницу анализа"*, мы понимаем, что к его времени многие из них были утеряны или забыты, и что он стремился не к чему иному, как к восстановлению геометрии на прежнем уровне. Никто не мог быть более квалифицированным для выполнения этой задачи. Вероятно, тот интерес, который Паппус смог вызвать, вскоре угас; но его *"Сборник"* остается, после оригинальных работ великих математиков, самым полным и ценным из всех наших источников, являясь справочником или руководством по греческой геометрии и охватывая практически всю область. Среди оригинальных вещей в *"Сборнике"* Паппуса - изложение, которое является предвосхищением того, что известно как теорема Гульдина.

Остается сказать о трех предметах: тригонометрии (представленной Гиппархом, Менелаем и Птолемеем), мензурации (у Герона Александрийского) и алгебре (Диофант).

Хотя в некотором смысле начало тригонометрии восходит к Архимеду (*"Измерение окружности"*), Гиппарх был первым человеком, который, как можно доказать, систематически использовал тригонометрию. Гиппарх, величайший астроном древности, чьи наблюдения были сделаны между 161 и 126 годами до нашей эры, открыл прецессию равноденствия, Он открыл прецессию равноденствий, вычислил средний лунный месяц, равный 29 дням, 12 часам, 44 минутам, 2½ секундам (что меньше чем на секунду отличается от общепринятой цифры!), сделал более правильные оценки размеров и расстояний Солнца и Луны, внес значительные усовершенствования в инструменты, используемые для наблюдений, и составил каталог примерно 850 звезд; он, по-видимому, первым указал положение этих звезд в терминах широты и долготы (по отношению к эклиптике). Он написал трактат в двенадцати книгах *"О хордах в круге"*, эквивалентный таблице тригонометрических синусов. Для вычисления дуг в астрономии из других дуг, заданных с помощью таблиц, он использовал предложения сферической тригонометрии.

Сфаэрика Феодосия Вифинского (написанная, скажем, в 20 году до н. э.) не содержит тригонометрии. Иначе обстоит дело со *"Сфаэрикой"* Менелая (ок. 100 г. н. э.), сохранившейся на арабском языке; в первой книге этого труда содержатся предложения о сферических треугольниках, соответствующие основным предложениям Евклида о плоских треугольниках

(напр. В третьей книге содержится настоящая сферическая тригонометрия, состоящая из теоремы Менелая, относящейся к сфере, и выводов из нее.

Великий труд Птолемея "*Синтаксис*", написанный около 150 г. н. э. и первоначально называвшийся Μαθηματικὴ συνταξίς, стал известен как Μεγάλη συνταξίς; арабы составили из превосходной степени μεγιστος слово al-Majisti, которое стало *Альмагестом*.

В первой книге, содержащей необходимые предварительные сведения для изучения системы Птолемея, приводится таблица хорд в круге, подчинённом углам в центре в $\frac{1}{2}^\circ$, увеличивающимся на полградуса до 180° . Круг разделен на 360 μοίραι, частей или градусов, а диаметр - на 120 частей (τηρηματα); хорды даны в терминах последних с шестидесятеричными дробями (например, хорда, подчинённая углу в 120° , равна $103^\circ 53' 23''$). Таблица хорд эквивалентна таблице синусов половин углов в таблице, так как, если (кр. 2 α) представляет хорду, подчинённую углу в 2 α (кр. 2 α)/120 = $\sin \alpha$. Сначала Птолемей приводит минимальное количество геометрических предложений, необходимых для вычисления хорд. Первое из них (кр. 36°) и (кр. 72°) вытекает из геометрии вписанных пятиугольника и десятиугольника; второе ("теорема Птолемея" о четырехугольнике в круге) эквивалентно формуле для $\sin(\theta - \phi)$, третье - для $\sin \frac{1}{2} \theta$. Из (кр. 72°) и (кр. 60°) Птолемей, последовательно используя эти предложения, выводит (кр. $1\frac{1}{2}^\circ$) и (кр. $\frac{3}{4}^\circ$), из которых путем искусной интерполяции получает (кр. 1°). Для завершения таблицы ему нужно только четвертое предложение, которое эквивалентно формуле для $\cos(\theta + \phi)$.

Птолемей написал и другие незначительные астрономические работы, большинство из которых сохранилось на греческом или арабском языках, "*Оптику*" в пяти книгах (четыре книги почти полностью были переведены на латынь в XII веке) и попытку доказательства постулата о параллели, воспроизведенную Проклом.

Герон Александрийский (дата точно не установлена; возможно, он жил уже в третьем веке н. э.) был почти энциклопедическим писателем по математическим и физическим предметам. Он стремился скорее к практической пользе, чем к теоретической полноте; поэтому, кроме интересного сборника "*Определения*", который дошел до нас под его именем, и его комментария к Евклиду, который представлен только отрывками в Прокле и ан-Наиризи, его геометрия - это в основном мензурация в форме числовых примеров, разработанных. Поскольку их можно было бесконечно умножать, возникло искушение дополнить их и использовать имя Герона. Как бы ни были подлинны отдельные работы, отредактированные Хультшем (*Geometrica, Geodaesia, Stereometrica, Mensurae, Liber geëponicus*), мы должны теперь считать более авторитетной подлинную *Metrica*, обнаруженную в Константинополе в 1896 году и отредактированную Г. Шёне в 1903 году (Teubner). Книга I, посвященная измерению площадей, особенно интересна (1) изложением формулы, использованной Героном для нахождения приближений к поверхностям, (2) изящным геометрическим доказательством формулы площади треугольника $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, которая, как теперь известно, принадлежит Архимеду, (3) намеком на пределы значения π , найденные Архимедом и более точные, чем $3\frac{1}{7}$ и $3\frac{10}{71}$, полученные в "*Измерении окружности*".

В первой книге "*Метрики*" вычисляются площади треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников вплоть до додекагона (площади даже семиугольника, эннеагона и хендекагона вычисляются приблизительно), круга и его сегмента, эллипса, сегмента параболы, поверхностей цилиндра, правильного конуса, сферы и их сегмента. Книга II посвящена измерению твердых тел: цилиндра, призмы, пирамиды, конуса и его плоских частей, сферы и ее сегмента, анкерного кольца или тора, пяти правильных твердых тел и, наконец, двух особых твердых тел *метода* Архимеда; полностью использованы все

результаты Архимеда. Книга III посвящена делению фигур. Часть, посвященная плоскостям, во многом повторяет *"Деление фигур"* Евклида. Твердые тела, разделенные в заданных соотношениях, - это сфера, пирамида, конус и их фрустум. Кстати, Герон показывает, как он получил приближение к кубическому корню из некубического числа (100). Квадратные уравнения Герон решает по регулярному правилу, не похожему на наш метод, а *"Геометрика"* содержит две интересные неопределенные задачи.

Герон также написал *"Пневматику"* (в которой читатель найдет такие вещи, как сифоны, фонтан Герона, машины с копейками в прорезях, огненный двигатель, водяной орган и множество устройств, использующих силу пара), *"Автоматостроение"*, *"Белопоеику"* (о военных двигателях), *"Катоптрику"* и *"Механику"*. *Механика* была отредактирована с арабского; на греческом языке она (за исключением значительных фрагментов) утрачена. В ней рассматриваются загадка "колеса Аристотеля", параллелограмм скоростей, определения центра тяжести и задачи о нем, распределение тяжестей между несколькими опорами, пять механических сил, механика в повседневной жизни (вопросы и ответы). Паппус освещает ту же тему в VIII книге своего *"Собрания"*.

Наконец, мы переходим к алгебре. Задачи на простые уравнения встречаются в Папирусе Ринда, в уже упоминавшейся *Эпанфеме* Тимарида и в арифметических эпиграммах в Греческой антологии (Платон упоминает об этом классе задач в *Законах*, 819 В, С); в Антологии даже есть два случая неопределенных уравнений первой степени. Пифагорейцы дали общие решения в рациональных числах уравнений $x^2 + y^2 = z^2$ и $2x^2 - y^2 = \pm 1$, которые являются неопределенными уравнениями второй степени.

Первым, кто стал систематически использовать символы в алгебраической работе, был Диофант Александрийский (род. около 250 г. н. э.). Он использовал (1) знак для неизвестной величины, которую он называет $\alpha\rho\theta\rho\omicron\varsigma$, и сборники для ее мощностей до шестой; (2) знак (Λ) с эффектом нашего минуса. Последний знак, вероятно, представляет собой $\Lambda\iota$, сокращение корня слова $\lambda\epsilon\iota\pi\tau\epsilon\iota\nu$ (быть недостающим); знак для $\alpha\rho\theta\rho\omicron\varsigma$ ($\zeta\rho$), скорее всего, является сокращением для букв $\alpha\rho$; в сборниках для обозначения силы неизвестного - Δ^y для $\delta\upsilon\nu\alpha\rho\iota\varsigma$, квадрата, K^y для $\kappa\upsilon\beta\omicron\varsigma$, куба, и так далее. Диофант показывает, что он решал квадратные уравнения по правилу, как и Герон. Его *"Арифметика"*, от которой сохранилось только шесть книг (из тринадцати), содержит некоторое количество задач, приводящих к простым уравнениям, но в основном посвящена неопределенному или полуопределенному анализу, в основном второй степени. Сборник необычайно разнообразен, а приемы, к которым он прибегает, весьма изобретательны. Решаются такие задачи, как следующие (допускаются как дробные, так и целые решения): "Дано число, найти три других таких, что сумма этих трех или любой их пары вместе с данным числом является квадратом", "Найти четыре числа таких, что квадрат суммы *плюс* или *минус* любого из этих чисел является квадратом", "Найти три числа таких, что произведение любых двух *плюс* или *минус* суммы трех является квадратом". Диофант принимает как известные некоторые теоремы о числах, являющихся суммами двух и трех квадратов соответственно, и другие предложения в теории чисел. Он также написал книгу *"О многоугольных числах"*, от которой сохранился лишь фрагмент.

С Паппом и Диофантом список оригинальных авторов по математике заканчивается. После них появились комментаторы, имена которых можно упомянуть только здесь. Феон из Александрии, редактор Евклида, жил в конце четвертого века н. э. К пятому и шестому векам относятся Прокл, Симплиций и Евтихий, которым мы никогда не сможем быть достаточно благодарны за драгоценные фрагменты, которые они сохранили от работ, ныне утраченных, и особенно за *"Историю геометрии"* и *"Историю астрономии"* ученика Аристотеля Евдема.

Такова история греческой математической науки. Если что и может усилить ее изумление, так это соображение о краткости времени (около 350 лет), в течение которого греки, начиная с самого начала, довели геометрию до выполнения операций, эквивалентных интегральному исчислению, а в области астрономии фактически предвосхитили Коперника.

Т. Л. Хит.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Аристотель

Есть небольшое сочинение Гете, которое называется просто "*Натура*". Оно принадлежит к числу тех трактатов по естествознанию, в которых поэт и философ обращал свой беспокойный ум к проблемам света и цвета, листа и цветка, костяного черепа и родственных позвонков; и звучит оно как прозаическая поэма, благородный пайан, восхваляющий любовь и прославляющий изучение природы. За двадцать пять сотен лет до этого Анаксимандр написал книгу с таким же названием "*О природе*", περί φύσεως: но тема ее была не та же. Это был вариант старой традиционной космогонии. В ней рассказывалось о том, как вначале земля была без формы и пустоты. Она стремилась проследить все вещи до Бесконечного, то απείρου - до Того, что не знает границ пространства и времени, но есть прежде всех миров, и в чье лоно возвращаются все вещи, все миры. Для Гёте Природа означала красоту, всю, но чувственную красоту мира; для старшего философа - тайну Творческого Духа.

Для нас нет более знакомой темы, чем природа в гётевском понимании, о которой многие поэты рассказывают, а многие менее значительные поэты повторяют; но если где-нибудь в греческом языке и есть такое открытое восхваление и поклонение красоте природы, я не могу назвать его. Однако на латыни восхваляют *божественную славу* и поклоняются *природе*, как мы привыкли восхвалять и поклоняться им, ради их же сладости. Это один из способов, один из самых простых способов, с помощью которого римский мир кажется нам ближе, чем греческий: и не только кажется, но и является таковым. Ведь по сравнению с великими ранними цивилизациями Рим - это современность и Запад; в то время как Греция, как бы близко к сердцу мы ее ни принимали, несет с собой дыхание Востока и шепот далекой древности. Современный тосканский джентльмен, как и вчерашний римский джентльмен, в душе земледелец, как Катон; он *ruris amator*, как Гораций; он приобщает к своей маленькой ферме или винограднику (*O rus, quando te aspiciam!*), как Аттикус или младший Плиний. Как Бэкон хвалил свой сад, так и Плиний хвалит свою ферму с ее кукурузными полями и лугами, виноградниками и лесами, фруктовыми садами и пастбищами, пчелиными ульями и цветами. То, что Бог создал страну, а человек - город, было (задолго до Каупера) изречением Варро; но в греческом языке я не могу придумать подобной апофтегмы.

По словам Шиллера, греки смотрели на природу больше умом, чем сердцем, и никогда не прилеплялись к ней с откровенным восхищением и привязанностью. А Гумбольдт, утверждая (как и я), что изображение природы ради нее самой и во всем ее многообразии было чуждо греческой идее, заявляет, что пейзаж всегда является лишь фоном их картины, в то время как передний план заполнен делами, поступками и мыслями людей. Но при этом, как в какой-

нибудь старой итальянской картине Доменикино, Альбани или самого Леонардо, подчиненный фон прорисован тонко и изысканно красиво, и иногда мы в конце концов ценим его больше, чем всю остальную композицию.

Глубоко в любви к природе, чувственной или интеллектуальной, и в искусстве наблюдения, которое является ее результатом и первым выражением, лежат корни всей нашей естественной науки. Во всем мире они являются наследием всех людей, хотя это наследие богаче или беднее здесь и там: они проявляются в знаниях и мудрости охотника и рыбака, пастуха и земледельца, художника и поэта. Естественная история древних не запечатлена в Аристотеле и Плинии. Она пронизывает всю обширную литературу классической древности. При всей сдержанности, с которой греки провозглашают ее, она благородно приветствует нас у Гомера, поет нам у Анакреона, сицилийские пастухи настраивают под нее свои трубы у Феокрита, а вскоре у Вергилия мы мечтаем о ней под воркование голубей и трудолюбивый рокот пчел.

Не только от этих великих имен мы узнаем букву и дух древней естественной истории. Мы должны отправиться в странствия по литературным тропам. Мы должны выудить из научных трактатов Аристотеля и Плиния фрагменты, сохранившиеся от работ таких натуралистов, как Спевсипп или Александр Миндийский; добавить к знакомым историям Геродота индийские сказания Ктесия и Мегасфена; Посидеть за обеденным столом вместе с Афинеем и его друзьями, узнать от повара и эпикура, послушать, как веселая компания праздных джентльменов слагает стихи и прядет пряжу; прочитать трактат Ксенофонта "Об охоте", изучить дидактические поэмы, "Кинегетику" и "Галиэутику" Оппиана и Овидия. И снова мы можем вернуться в большой мир литературы, где поэт и ученый, от мелкого баснописца до великого драматурга, от величественного Гомера до остроумного Лукиана, разделяют любовь к природе и оживляют тонкий фон своего рассказа аллюзиями на зверей и птиц.

Такие аллюзии, сначала усовершенствованные искусством, а затем освященные привычной памятью, хранятся в сердцах людей и запечатлены в нашей благороднейшей литературе. Возьмем, к примеру, тот великий отрывок из *"Илиады"*, где греческое войско, высадившееся на равнинах Скамандра, уподобляется перелетной стае журавлей, или гусей, или длинношеих лебедей, гордо летящих над азиатскими лугами и с криком приземляющихся у потока Кайстера, - и Вергилий не раз повторяет знакомые строки. Журавль был хорошо известной птицей. Его возвышенный полет приводит его, опять же у Гомера, к самым вратам рая. Гесиод и Пиндар говорят о его далеком крике, доносящемся из-за облаков, а о том, что он "замечает время своего прихода", "умный из времен года", была пословица, старая во времена Гесиода, когда журавль сигнализировал о приближении зимы и когда он давал знать земледельцу о готовности к пахоте. По Феокриту, он следует за плугом так же настойчиво, как волк за ребенком, а крестьянин за своей возлюбленной. Дисциплина перелетных журавлей, стройный клин их рядов в полете, хороший порядок отдыхающей стаи - все это часто и причудливо описывается. Аристотель рассказывает, что у них есть назначенный вожак, который ночью несет вахту, а в полете подзывает отстающих; и всю эту старую историю Еврипид, самый натуралистичный из великих трагиков, переложил на стихи:

Упорядоченный сонм ливийских птиц избегает
Ветреной бури, повинуюсь зову
Их старого вожака, трубящего к своей стае.

Наконец, Мильтон собирает воедино дух и букву этих и многих других древних аллюзий на перелетных журавлей:

Часть свободно окрыляет край, часть более мудра,
В общем строю, в фигуре, клином прокладывают свой путь
Разбираясь во временах года, и отправляются
Свой аэрический караван, высоко над морями
Летит, и над землями; взаимным крылом
Облегчая свой полет; так направляет свой путь благоразумный журавль.

Но естественная история поэтов - это история без конца, и в нашей оценке древних знаний, какой бы краткой она ни была, есть другие вопросы, которые следует рассмотреть, и другие точки зрения, на которые мы должны встать.

Рассматривая науку греков, быстро полюбив ее и медленно осознавая, насколько она была велика, мы также видим, что она была ограничена по сравнению с нашей собственной, любопытно частичной или конкретной в своих ограничениях. Практические и "полезные" науки - химия, механика и инженерия, которые в нашем современном мире оттесняют остальные к стене, - отсутствуют вовсе или настолько скрыты, что мы забываем о них и проходим мимо. Математика возвышается над всеми, как и положено ей быть; и по неоспоримому праву она занимает свой трон век за веком, от Пифагора до Прокла, от разрозненных школ ранней эллинской цивилизации до взлета и падения великого Александрийского университета. Рядом с ней издревле восседает дочерняя наука астрономия; им поклонялись величайшие научные интеллекты греков. Но хотя мы не слышим и не читаем о них, мы ни на секунду не должны предполагать, что практические или технические науки отсутствовали в столь богатой и сложной цивилизации. Китай, этот самый славный из всех живых памятников античности, ничего не рассказывает нам о своей химии, но мы знаем, что она там есть. Загляните в китайский город, пройдитесь по его узким улочкам, многолюдным, но тихим, где нет ни грохота карет, ни стука колес, и вы увидите то, что ближе всего на земле к тому, что мы слышим о Сибарисе. На производство этих сияющих шелков, тонкого фарфора и изящных металлических изделий ушло огромное количество химических знаний, традиционных и эмпирических. Именно так было в Древней Греции; и Платон знал, что это так - что красильщик, парфюмер и аптекарь владели тонким искусством, тонкой наукой, которую не следует ни принижать, ни презирать. Мы можем то тут, то там путем кропотливых поисков переходить от предположений к уверенности; анализировать пигмент, сплав или шлак; обнаруживать в более древних, чем греческие, записях химический рецепт, с помощью которого египетская принцесса затемняла глаза, или изучать изображенные очаг, мехи, печь, тигли, с помощью которых последователи Тубал-Каина выплавляли свою руду. Иногда, но нечасто, мы встречаемся с древней химией даже в греческой литературе. В рассказе об аргонавтах есть любопытный отрывок (текст его ошибочен, а перевод труден), где Медея готовит волшебное варево. Она положила в него различные травы, дающие цветные соки, такие как сафлор и алканет, а также мыльнянку и блошник, чтобы придать щелоку консистенцию или "тело"; она положила квасцы и синий витриол (или сульфат меди), и она положила кровь. Волшебное варево было не более и не менее чем красителем, красным или пурпурным, и при его изготовлении было использовано огромное количество химии. Медь была там для получения "озера" или медной соли растительных алкалоидов, которые являются одними из самых ярких и самых стойких красителей; квасцы были там в качестве "протравы"; и даже кровь, несомненно, была включена туда по более веским причинам, чем суеверные, по всей вероятности, для осветления (с помощью свертывающегося альбумина) кипящего и мутного варева.

Орфическая" версия истории, в которой встречается этот отрывок, вероятно, является александрийской компиляцией, и были ли ингредиенты варева частью древней легенды или просто подсказаны поэту знаниями его времени, мы не можем сказать; в любом случае рецепт достаточно древний и, по крайней мере, предшествует византийскому на несколько веков. Но в таком виде он не одинок. Другие фрагменты древней химии, более или менее схожие с ней, были собраны вместе; в книге Галена *"О составлении простых лекарств"*, в Плинии, в Паулусе Эгинете и, если уж на то пошло, в некоторых египетских папирусах (особенно в очень известном, дошедшем до нас, о котором Климент Александрийский говорит как о тайной или "герметической" книге), мы можем проследить разбитые и разбросанные камни великого здания древней химии.

Тем не менее, вся эта масса химической учености скудно отражена в литературе и заметно отсутствует в нашем представлении о природном гении греков. У нас нет оснований полагать, что древняя химия или какая-либо ее часть когда-либо была специфически греческой или что эта наука была особым достоянием какого-либо народа; более того, это было ремесло или совокупность ремесел, секреты которых были слишком ценны, чтобы их раскрывать, и поэтому представляли собой не науку, а тайну. Так всегда было и с химией, самой космополитичной из наук, самым тайным из искусств. Тихо и незаметно она пробралась в мир; лудильщик принес ее с собой вместе с припоем и флюсом; африканские племена, первыми работавшие с железом, передали ее великим металлургам, которые ковали дамаскую и толедскую сталь.

Это "ремесло" - химия - никогда не было наукой для джентльмена, как философия и математика; а Платон, величайший из философов, был одним из величайших джентльменов. Много-много лет спустя Оксфорд сказал то же самое Роберту Бойлю - что химия не является подходящим занятием для джентльмена; но тот считал иначе, и "брат графа Корка" стал отцом научной химии.

Я полагаю, что в области биологии Аристотель сделал то же самое, что и Бойль, нарушив сходную традицию; и здесь кроется одна из величайших его заслуг. До его времени существовала богатая естественная история, но она принадлежала фермеру, егерю и рыбаку, а также, несомненно, школьнику, бездельнику и поэту. Но Аристотель превратил ее в науку и отвел ей место в философии. Он сделал для нее то же, что Пифагор сделал (как рассказывает Прокл) для математики в более раннюю эпоху, когда он разглядел философию, лежащую в основе старого эмпирического искусства "геометрии", и сделал ее основой "либерального образования".^[5]

Средиземноморский рыбак, как и китайский или японский, по-прежнему и всегда обладал обширными знаниями обо всем, что относится к его ремеслу и сопровождает его. Наши шотландские рыбаки имеют ограниченный словарный запас, который едва ли простирается дальше названий нескольких распространенных рыб, которыми снабжен рынок. Но в Марселе, Генуе или в Леванте они знают названия многих сотен видов рыб, ракообразных, каракатиц, червей и кораллинов, а также всевозможных плавающих и ползающих существ; они знают очень много о привычках своей жизни, иногда гораздо больше, чем мы, "ученые люди"; они натуралисты по традиции и по профессии. Не следует, кстати, забывать и о древних медицинских и анатомических познаниях великой гильдии эскулапов, и о еще более глубоких знаниях, которыми обладали различные жрецы (опять же, как и их современные собратья в Китае и Японии) о различных существах, священных рыбах, голубях, морских птицах, змеях, каракатицах и т. д., которых они разводили, ухаживали и почитали, не задумываясь.

Какие именно новые факты открыл Аристотель, точно сказать невозможно. Если бы когда-нибудь было доказано, что он открыл их много, или даже было бы доказано, что от своей руки он вообще ничего не открыл, это бы мало повлияло на нашу оценку его величия и восхищение его ученостью. Он был первым из греческих философов и джентльменов, кто увидел, что все эти вещи полезно знать и достойно быть рассказанными. Это было его великим открытием.

В другом месте я пытался показать, что Аристотель провел два года, возможно, самые счастливые годы в своей жизни - долгий медовый месяц на берегу моря на острове Митилена, после того как женился на маленькой принцессе и прежде чем приступил к тяжелой работе своей жизни: до того, как он учил Александра в Македонии, и задолго до того, как он произнес *urbi et orbi* в Ликее. Именно здесь он усвоил большую часть своей естественной истории, в которой, как бы широка и всеобъемлюща она ни была, морские обитатели от первого до последнего места занимают заметное место.

Я пытался проиллюстрировать в другом месте (как это делали многие другие авторы) разнообразие и глубину знаний Аристотеля о животных, выбирая то один, то другой пример, но черпая лишь немного воды из неисчерпаемого колодца.

Известный случай - "моллюски", где либо знания Аристотеля были исключительно незначительными, либо дошли до нас с необычайной полнотой.

Речь идет о каракатицах, которые теперь уступили свое аристотелевское название "моллюски" той большой группе, которая, как видно, включает их вместе с раковинообразными рыбами или "остракодермами" Аристотеля. Эти каракатицы - существа, которых мы редко видим, но в Средиземноморье они являются предметом питания, и многие виды известны рыбакам. Все или почти все из этих многочисленных видов были известны Аристотелю. Он описал их форму и анатомию, их повадки, их развитие - все с такой точностью, что то, что мы можем добавить сегодня, кажется второстепенным. Он начинает с методичного описания общей формы, рассказывает о теле и плавниках, о восьми руках с их рядами присосок, о ненормальном положении головы. Он указывает на две длинные руки *Sepia* и *calamaries* и их отсутствие у осьминога; и он говорит нам, что было подтверждено только в последнее время, что этими двумя длинными руками существо цепляется за скалу и раскачивается, как корабль на якорю. Он описывает огромные глаза, два больших зуба, образующих клюв; он описывает всю структуру кишечника с его длинным пищеводом, круглым жвалом, желудком и маленьким свернутым кишечным дивертикулом: он препарировал не один, а несколько видов и отметил различия, которые не были замечены до тех пор, пока Кювье не исследовал их заново. Он описывает воронку и ее связь с мантией-мешком, а также чернильный мешок, который, как он показывает, является самым большим у *Sepia* из всех остальных. И здесь, кстати, он, кажется, совершает одну из тех очевидных ошибок, которые, как оказывается, оправданы: Ибо он говорит нам, что у *Octopus*, в отличие от остальных, воронка находится на верхней стороне; дело в том, что когда существо лежит на земле, раскинув руки, воронка-трубка (вместо того, чтобы быть сплюсненной под распростертым телом существа) достаточно длинна, чтобы выступать вверх между руками и головой, и появляться на одной стороне или другой, в положении, очевидно обратном своему естественному. Он описывает характер каракатицы у *Sepia* и рогового пера, которое занимает ее место у различных каламарий, и отмечает отсутствие какой-либо подобной структуры у *Octopus*. Он препарирует половые органы обоих полов, отмечая все без исключения их существенные и сложные части; их он изобразил в своем утерянном томе анатомических диаграмм. Он описывает различные виды яиц и, с еще более удивительным знанием дела, показывает нам маленького эмбриона каракатицы, с его большим желточным

сиком, прикрепленным, в явном контрасте с птенцом, к развивающейся голове маленького существа.

Но есть еще одна замечательная особенность, о которой он знал за много лет до того, как она была открыта заново, почти в наше время. У некоторых самцов каракатиц в период размножения одна из рук превращается в длинный свернутый хлыст, и в процессе размножения может быть перенесена в мантийную полость самки. Сам Кювье ничего не знал ни о природе, ни о функциях этого разделенного плеча, и, если я не ошибаюсь, именно он принял его за паразитического червя. Но Аристотель подробно рассказывает о его использовании и временном развитии, а также о его строении, и его описание полностью совпадает с описаниями самых последних авторов.

Не менее подробный рассказ следует о "Malacostraca", или ракообразных, - омахах и крабах, креветках и креветках, а также других представителях их рода, - главе, которой Кювье посвятил знаменитый очерк. Есть много видов крабов - обычные, большие "бабушкины" крабы, маленькие крабы-наездники, которые резвятся на песке и по большей части пустые, то есть чьи дыхательные полости исключительно велики; есть и пресноводные крабы. Есть маленькие креветки и большие горбатые собратья, или креветки; есть "крангоны", или сквиллы; большие омары и раки, или "лангусты", их колючие кузены. Мы читаем об их глазах-бусинках, которые поворачиваются во все стороны; о больших грубых усиках и более мелких, гладких, расположенных между ними; о больших зубах, или мандибулах; о панцире с выступающим рострумом, о соединенном брюшке с хвостовыми плавниками на конце и о маленьких створках внизу, на которые самка сбрасывает икру. Более или менее подробно описываются все эти вещи и перечисляются многочисленные конечности одного вида за другим. Описания омара и лангуста особенно подробны, а сравнение или контраст между ними проведены с тщательной точностью. В первом случае, помимо других различий между самцом и самкой, говорится, что у самки "первая ступня" (или нога) раздвоена, в то время как у самца она не разделена. Это кажется пустяком, но это так; это настолько незначительный момент, что я долго искал, пока, наконец, не нашел упоминание о нем в немецкой монографии. Загадка в том, что так выделяется именно последняя, а не первая нога; но, в конце концов, это всего лишь наша традиция - считать конечности от начала и до конца. Чтобы осмотреть конечности омара, мы кладем его на спину (как это делал Аристотель) и видим, что ноги накладываются друг на друга, причем каждая задняя выше предыдущей; самая задняя - первая, которую мы видим, и именно ее мы должны сначала поднять, чтобы осмотреть остальные.

Рассказ Аристотеля о рыбах - это невероятная история привычек, пищи, миграций, способов ловли, времени и способов нереста, анатомических подробностей; но не здесь мы можем прояснить или даже проиллюстрировать эту удивительную ихтиологию. Ее не всегда легко понять - но препятствие часто кроется, как я полагаю, в нашем собственном невежестве. Идентификация видов не всегда проста, ведь здесь, как и везде, Аристотель не рассчитывал на время и место, где привычные слова греческого языка должны быть неизвестны или их домашнее значение забыто. Среди огромного количества названий рыб есть несколько, так или иначе относящихся к серой кефали, которые озадачивают и натуралиста, и лексикографа. На днях один молодой офицер рассказал мне, как он наблюдал за арабским рыбаком, вылавливающим серую кефаль на сирийском пляже, и араб дал четыре, а то и пять названий стольким разным видам, между которыми мой друг не видел никакой разницы. Если бы мой друг был ихтиологом, он, несомненно, заметил бы, что у одной из них есть веки, а у других нет; что у одной есть маленькие кисточки на губах, у другой - маленькая, но широко открытая щель под челюстью, у третьей - желтое пятно на жаберных крышках и так далее.

Кефали - сложная группа, но Аристотель, как и арабский рыбак, очевидно, признавал их тонкие различия и использовал соответствующие названия. Опять же, Аристотель говорит о некоей рыбе, строящей гнезда, "фицисе", в отношении которой Кювье впал в ошибку (в чем я когда-то ему следовал). Во времена Кювье была известна лишь одна рыба-гнездостроитель, которая, по-видимому, подходила для этого отрывка, а именно маленький черный бычок; но после Кювье гнездостроительные повадки "фицисов" стали известны натуралистам, как они, несомненно, были известны за много лет до этого рыбакам и Аристотелю.

Как и почти все другие мелкие моменты, которых мы случайно касаемся, этот можно сделать отправной точкой (вот тут-то и возникает восхитительная и увлекательная задача переводчика!) для других историй.

Спевсипп, преемник Платона в Академии, был одновременно философом и естествоиспытателем, и мы можем предположить, что его склонность к биологии и биологическое направление, которое в это время становилось все более заметным в афинской философии, не были не связаны с большим импульсом, который дал Аристотель. Как бы то ни было, Спевсипп написал книгу περὶ Ὀμοιων "О сходстве"; и эта книга, о которой мы располагаем лишь несколькими фрагментарными предложениями, должна была быть очень любопытной и интересной. Среди прочих подобных случаев он упоминает, что наша маленькая рыбка *фицис* имеет близкое внешнее сходство с морским окунем; и этого достаточно, чтобы доказать, что рыба, строившая гнезда у Аристотеля, была не бычком, а морским окунем. Вся цель книги Спевсиппа, похоже, заключалась в том, чтобы обсудить, как или почему при всем кажущемся бесконечном разнообразии природы некоторые животные имеют необычайно близкое сходство с другими, хотя они совершенно разные по виду. Эта проблема до сих пор не дает нам покоя, когда мы удивляемся и даже восхищаемся сходством между осой и парящей мухой, дербником и кукушкой. В некоторых крайних случаях мы называем это "мимикрией" и выдвигаем гипотезы, объясняющие это "миметическое" сходство; а те из нас, кто отвергает эти гипотезы, вынуждены искать убежище в других, столь же далеко идущих. По крайней мере, мы знаем, что Спевсипп ухватился за реальную проблему биологии, представляющую длительный интерес и даже имеющую фундаментальное значение.

Возвращаясь к Аристотелю и его рыбам, остановимся еще на одном маленьком моменте. Размножение угря - это древняя загадка, которая нашла свое полное решение только в наши дни. Если лосось, например, поднимается вверх по реке, размножается и снова уходит в море, то угорь спускается в океан на нерест, и старые угри уже не возвращаются, а погибают в больших водах. Икринка угря развивается в маленькую сплюснутую прозрачную рыбку, совершенно не похожую на угря, которая затем превращается в молодого угря или "эльвера"; профессор Грасси, которому принадлежит большая роль в выяснении этого вопроса, рассказывает нам любопытный факт, что сицилийские рыбаки были хорошо знакомы с маленькой прозрачной личинкой (*Leptocephalus* современных натуралистов), что они хорошо знали, что это такое, и что у них было название для нее - *Касентула*. Теперь Аристотель, в отрывке, который, как мне кажется, был неправильно понят (и который мы должны признать частично ошибочным), говорит нам, что угорь развивается из того, что он называет ὕψ ἐντὲρα, слово, которое мы переводим, буквально, "кишки земли", и которое комментаторы интерпретируют как "земляные черви"! Но в сицилийском дорическом языке ὕψ ἐντὲра сразу же превратилось бы в ὕας ἐντὲρα; а между "Гасентерой" и современной сицилийской "Касентулой" нет почти ни малейшей разницы. Поэтому можно предположить, что и здесь Аристотель был необычайно и точно информирован; и что он знал в лицо и по

имени маленькую личинку угря, открытие и идентификация которой - один из скромных триумфов последних исследований.

Многие страницы Аристотеля, посвященные рыбам, - восхитительное чтение. Анатомист может прочесть о таких необычных вещах, как *плацента вителлина* гладкой рыбы-собаки, благодаря которой живородящий эмбрион питается в утробе матери по аналогии с эмбриологией млекопитающих - явление, заново открытое Иоганном Мюллером и вызвавшее у него восторженное восхищение подробной и точной анатомией Аристотеля. Снова мы можем прочесть о периодической миграции туннелей, о большой сети или "мадраге", в которую их ловят, и о сторожах, θυνοσκοποι, "гудках" нашего древнего корнуэльского рыболовства, которые предупреждают с башни или мыса о приближении косяка. Студент может узнать, что это была за рыба (большой орел-луч), колючим плавником которой - самым примитивным из наконечников копий - был убит Улисс; и еще он может узнать немного о той *varκη*, или торпедке, с которой Мено сравнил своего учителя Сократа в несколько двусмысленном комплименте.

Аристотелю есть что рассказать о насекомых, и он оставил нам своего рода трактат по всей естественной истории пчелы. Он знал нескольких обитателей улья, хотя, как и другие люди его времени (за исключением, пожалуй, только Ксенофонта), и как Шекспир тоже, принимал пчелиную матку за короля. Он описывает строительство гребня, откладку яиц, обеспечение личинок пищей. Он обсуждает различные качества меда и цветы, из которых его получают. Он разбирается в болезнях и врагах пчел. Он рассказывает нам много любопытных вещей об экономике улья и искусстве пчеловода, некоторые из которых выглядят очень современно и привычно: например, использование сетки или экрана для защиты от трутней, причем сетка так хорошо придумана, что этих крепких парней просто не пускают, а более худых и стройных рабочих просто пропускают внутрь. Но рассказывать о познаниях Аристотеля в пчеловодстве и сравнивать их с тем, что, возможно, еще глубже познал мастер пчеловодства Вергилий, было бы долго, очень долго.

Тогда, имея полную свободу действий и следуя за пчелами по бескрайним полям античной литературы, мы могли бы прочесть о диких пчелах и их меде из скалы, а также об ульевых пчелах у Гомера; проследить их первый легендарный дом на Крите, где младенец Юпитер был вскормлен медом - к которому и по сей день прикасаются губы ребенка; Проследите их связь с Прозерпиной и ее матерью или их более тонкую связь с эфесской Дианой; найдите у поэтов, от Гесиода до поздней "Антологии", сотню милых упоминаний о пчелином дереве в дубраве, о цветущем холме Гиметтус. Может быть, наконец, мы даже наткнемся на место, где Ориген так странно предвосхищает Шекспира, говоря о короле пчел с его свитой придворных (своего рода офицеров), о колоннах рабочих (толпящихся бедных носильщиков-механиков), о наказании бездельников (где некоторые, подобно магистратам, исправляются дома), о войнах, побежденных и грабежах (которые они с веселым маршем приносят домой в шатер-рояль своего императора).

Вернитесь к Аристотелю, и мы снова сможем послушать его, когда он будет рассказывать о многих других родственных насекомых: о пчеле-скромнице и ей подобных, о пчеле-каменщике с его твердым круглым гнездом из глины, о пчелах-разбойниках, о различных осах и шершнях; или (что еще любопытнее и неожиданнее) об осе-охотнице, или "ихневмоне", и о том, как она убивает паука, несет его домой в свое гнездо и откладывает яйца в его бедное тело, чтобы потом выкормить маленьких ос-трубачей. Или о больших осах, которых он называет *Anthrenaе*, и о том, как они преследуют больших мух, отрезают им головы и улетают с остальными тушами - все это с точностью до буквы совпадает с тем, что Анри Фабр рассказывает нам о некой большой осе из Южной Европы, и как она ловит

больших "таонов" или мух-скакунов: 'Pour donner le coup de grâce à leurs Taons mal sacrifiés, et se débattants encore entre les pattes du ravisseur, j'ai vu des Bembex mâchonner la tête et le thorax des victimes.' Воистину, нет ничего нового под солнцем.

С метаморфозами различных насекомых Аристотель был хорошо знаком. Он знал, как домовая муха проходит свою раннюю стадию в навозном холме, как личинки больших конских мух и табанид живут в гнилой древесине; как некоторые маленькие мухи или мошки зарождаются (как он это называет) в слизи уксуса. Он с большой тщательностью и точностью описывает историю жизни обыкновенной мошки, начиная с ее водной личинки, маленького красного "кровавого червя" из наших бассейнов; он описывает их, извивающихся, как крошечные кусочки красной травы, в воде полупустого колодца; и, наконец, он объясняет, как они становятся жесткими, неподвижными и твердыми, пока шелуха не отрывается и на ней не появляется маленькая мошка; и время от времени солнечное тепло или дуновение ветра запускает ее, и она улетает.

Некоторые из этих историй действительно примечательны, поскольку события в них более или менее скрыты и неясны; и поэтому, имея под рукой все эти знания, не слишком странно, что Аристотель очень мало рассказал нам о гораздо более очевидных явлениях жизненной истории бабочки, а также о нескольких видах бабочек и мотыльков. Правда, он вкратце рассказывает, что бабочка происходит от гусеницы, которая живет на капустных листьях и прожорливо питается, затем превращается в куколку и больше не ест, да и рта у нее нет, чтобы есть; она твердая и как бы мертвая, но все же шевелится и извивается, когда ее трогаешь, а через некоторое время шелуха лопается и из нее выходит бабочка. Рассказ достаточно хорош, насколько это возможно, но, тем не менее, Аристотель не проявляет никакой привязанности к бабочке, не задерживается на ней, не рассказывает о ней никаких историй. Это полностью совпадает с остальной греческой литературой, и в частности с поэзией, где упоминания о бабочке скудны и редки. Я думаю, что греки находили нечто зловещее или жуткое, нечто, о чем нельзя говорить легкомысленно, в том полностью развоплощенном духе, который мы называем бабочкой, и называли его ψυχή, Душа. У них было любопытное название (νεκυδαλλος) для куколки. Оно звучит как "маленький труп" (νεκος); и как маленький труп в своем саване или гробу, куколка спит в своем коконе. Один из поздних поэтов описывает бабочку, "возвращающуюся из могилы к свету дня"; а некоторые отцы Церкви, в частности святой Василий, указывают на соответствующую мораль и проводят, несомненно, проверенную временем аллегория Воскресения и Жизни от куколки, которая не умерла, но спит, и бабочки, которая (как бы) воскресает во славе.

Об одном крупном мотыльке Аристотель рассказывает так, что для многих это стало загадкой. Она начинается как большой личинка или гусеница, с рожками, и, развиваясь легкими шагами, в конце концов сплетает кокон. Есть целый класс женщин, которые разматывают и сматывают коконы, а затем ткут из них ткань; изобретение этой ткани приписывают некой женщине из Коса. Это, на первый взгляд, простое и понятное описание шелкопряда; но мы знаем, что только спустя долгое время, почти тысячу лет после этого, в царствование Юстиниана, шелкопряд и тутовое дерево, которое является его пищей, были завезены с Востока в Византийскую Грецию. Кое-что об этом коанском шелкопряде мы узнаем от Плиния, который говорит нам, что он жил на ясене, дубе и кипарисе; а от Климента Александрийского и других отцов мы узнаем немного больше - например, что личинка была покрыта густыми волосками, а кокон состоял из рыхлого материала, похожего на паутину. Все это во всех деталях совпадает с данными о крупной моли (*Lasiocampa otus*), которая плетет грубый кокон, не похожий на кокон нашей императорской моли, и живет в юго-восточной Европе, питаясь кипарисами и дубами. Многие другие шелкопряды, кроме

настоящего или обычного, все еще используются, черви, которые дают шелк Туссоре в Индии и другие родственные шелка в Японии; так же пряли и ткали эту грубую шелковистую ткань в Элладе, пока со временем ее не превзошел и не вытеснил более тонкий продукт "серического червя", и старая индустрия угасла и была полностью забыта.

Прежде чем мы оставим тему насекомых, давайте на минуту задержимся на одном, которое греки любили, и любили больше всего. Когда мы, будучи школьниками, впервые начали читать Фукидида, то в самом начале встретили рассказ о том, как богатые афиняне носили в волосах золотых кузнечиков (как их называет школьный учитель). Эти золотые украшения были, конечно, не обычными кузнечиками, а маленькими цикадами, чей резкий стрекот казался грекам восхитительной музыкой. Она неприятна для нашего слуха, как нашел ее Браунинг; но у множества греческих поэтов, у Алкея, Анакреона и во всей "Антологии", мы слышим ее восхваление. Например, в "*Птицах*":

Хоть жаркое солнце сияет в небе
В глубоком цветущем лугу-траве я лежу:
Чтоб послушать пронзительный мелодичный звон
Сверчков, доведенных до экстаза в полдень.

Об этом знакомом и любимом насекомом Аристотель дает обширный рассказ. Он описывает два отдельных вида, которые мы до сих пор легко узнаем; один из них крупнее и лучше поет, другой меньше и первым приходит и последним уходит с наступлением летнего сезона. Он узнал любопытный голосовой орган, или вибрирующий барабан, на талии цикады, и увидел, что одни цикады им обладают, а другие - нет; и он знал, как знали и поэты, что поют самцы, а их жены слушают и молчат. Он рассказывает, что цикад нет в безлесных странах, как, например, в Киринее (и почему, интересно, он проделал весь путь до Кириней для иллюстрации?), их не слышно в глубоких и бессолнечных лесах; но в оливковых рощах их слышно лучше всего, потому что оливковая роща скудна и сквозь нее проникает солнце. Затем он кратко, но с удивительной точностью рассказывает нам историю жизни этого существа: как самка с помощью длинного яйцеклада откладывает яйца глубоко в мертвые, полые ветки, такие как тростники, на которых держатся лозы; как выводок, выйдя из яйца, зарывается под землю; как позже они выходят наружу, особенно в дождливую погоду, когда дожди размягчают почву; Как потом личинка переходит в другую форму, так называемую "нимфу", и как, наконец, с наступлением лета кожа нимфы лопается, и совершенное насекомое выходит наружу, меняет цвет и начинает петь. У Аристофана, у Феокрита, у Лукреция, у Вергилия, у Марциала и в "Антологии" мы можем собрать множество поэтических аллюзий на естественную историю, так просто воплощенную в жизнь.

Книгу о животных, так сказать, *Historia Animalium*, из которой я привел эти несколько примеров аристотелевского запаса информации, можно считать первой необходимой стадией научного исследования. Существует разновидность *ручной* философии (как называл ее старый лорд Монбоддо), которая исследует факты, ускользающие от вульгарного взгляда, и может быть названа *анекдотами* или *тайной историей* природы. В этом увлекательном занятии преуспели и Гилберт Уайт, и Джон Рэй, и многие другие - вся братия простых натуралистов. Но такое накопленное знание фактов - лишь фундамент философии, а "ничто не заслуживает названия философии, кроме того, что объясняет причины и принципы вещей". Аристотель мог бы сделать многое, если бы просто показал (как Гилберт Уайт показал деревенским джентльменам своего времени), что минутные наблюдения за природой стоят того, чтобы ими занимались ученые и джентльмены; но гораздо больше, чем это, он сделал науку из естественных знаний и раз и навсегда ввел ее в сферу философии. Он

поставил ее бок о бок с более древней наукой астрономией, которая на протяжении многих сотен лет в Египте и на Востоке, а также в течение нескольких столетий в Элладе занимала умы философов и внимание образованных людей. Я уже цитировал большое предложение, в котором он объясняет свою цель и оправдывает свою смелость. Слава небесных тел, несомненно, наполняет нас большим восторгом, чем созерцание этих ничтожных вещей; ведь солнце и звезды не рождаются, не разрушаются, но вечны и божественны. Но небеса высоки и далеки, и знания о небесных вещах, которые дают нам наши органы чувств, скудны и туманны. Живые существа, напротив, находятся у наших дверей, и если мы захотим, то сможем получить обширные и достоверные знания о каждом из них. Мы получаем удовольствие от красоты статуи, так разве живое не наполнит нас восторгом; тем более если в духе философии мы будем искать причины и распознавать признаки замысла. Тогда повсюду откроется цель природы и ее глубинные законы, которые в своей многообразной работе стремятся к той или иной форме Прекрасного".

Объемные труды Аристотеля дошли до нас через множество тяжелых испытаний. Самые великие из них, к счастью, сохранились или почти сохранились; но некоторые из них утрачены, а другие подверглись расстройству и порче. Работа, известная как "Части животных", открывается (как гласит наш текст) главой, которая, кажется, предназначена для общего экзордиума ко всей серии биологических трактатов; и я не знаю ни одной главы во всех книгах Аристотеля, которая бы лучше показывала (на более простом английском или более легком греческом) мастерство великого учителя и философа. Он начинает с того, что говорит нам (с тех пор это стало общим местом), что каждая наука, каждая отрасль знания допускает два вида мастерства - то, что можно правильно назвать научным знанием, и то, что находится в пределах досягаемости обычных образованных людей. Далее он обсуждает "метод" научного исследования: должны ли мы начинать с конкретного и переходить к общему, или же сначала мы должны заниматься общими или родовыми характеристиками, а потом уже специальными особенностями. Имеем ли мы право изучать животных, как это делается в математической астрономии, сначала рассматривая факты или явления, а затем переходя к выявлению и объяснению их причин? Это сразу же приводит к краткому обсуждению (развитому в другом месте) двух великих причин, или аспектов причины - конечной причины и "движущей" или эффективной причины - *причины, по которой* или с целью которой, и предшествующей причины, которая с *необходимостью* приводит вещь к тому, что она такова, какова она есть. Это один из важнейших вопросов философии, и то, что Аристотель склонился на сторону конечной причины, оказывало доминирующее влияние на умы людей на протяжении всей истории познания. Эмпедокл придерживался другой точки зрения: он считал, что дождь идет тогда, когда он идет, или "по необходимости"; что мы не имеем права полагать, что он идет для того, чтобы заставить кукурузу расти весной, так же как и для того, чтобы испортить осенние снопы; что зубы растут по какому-то естественному (или физическому) закону, и что их очевидная и несомненная пригодность для резки и шлифовки не целенаправленна, а случайна; что позвоночник делится на позвонки из-за предшествующих сил, или сгибаний, которые действуют на него в утробе матери. И Эмпедокл переходит к великому эволюционному выводу, ясному предвидению философии Дарвина, о том, что пригодные и непригодные существа возникают одинаково, но то, что пригодно для выживания, выживает, а то, что непригодно, погибает.

Эта история слишком длинна, а затронутая тема слишком серьезна и сложна, чтобы рассматривать ее здесь. Но я рискну предположить, что Аристотель склонялся к физическому и больше склонялся к конечной причине по той простой причине (какими бы ни были другие причины), что он был лучшим биологом, чем физиком: ему несколько не хватало математического склада ума, присущего более старым философским школам. К лучшему или

к худшему, курс, который он выбрал, имел неисчислимое значение и на протяжении веков мог направлять (осмелимся сказать, предвосхищать) преподавание в школах, прогресс в обучении и сокровенные убеждения людей.

В этой короткой, но емкой главе Аристотеля содержится гораздо больше, чем мы можем надеяться даже описать. Ему есть что сказать о "классификации", действительно важном вопросе, и он обсуждает его, как и положено великому логике, со всей строгостью. Многие комментаторы искали у Аристотеля "классификацию животных"; я, со своей стороны, никогда не находил ее, и, в нашем смысле этого слова, я уверен, что ее там нет.

Непреклонная, неизменная классификация животных была бы чужда всей его логике; все это очень хорошо, это становится практически необходимым, когда мы должны расставить наших животных на полках музея или на засушливых страницах "систематического" каталога; и это приобретает новый оттенок, когда или если мы можем достичь реальной или исторической классификации, следующей линиям фактического происхождения и основанной на доказанных фактах исторической эволюции. Но Аристотель (как мне кажется) не был привязан к музейному каталогу и не предавался представлениям ни о полной *scala naturae*, ни о гипотетической филогении. Он классифицировал животных так, как он их находил; и, как логик, он имел дихотомию для каждого различия, которое представлялось его уму. В одно время он делил животных на тех, у кого есть кровь, и тех, у кого ее нет, в другое - на воздушно- и вододышащих, на диких и прирученных, на общественных и одиноких, и так далее до бесконечности. В то же время он быстро различал большие природные группы, такие "роды" (как он их называл), как рыба или птица, насекомое или моллюск. Таким образом, получается, что, хотя он и не создал твердой и надежной схемы классификации и, несомненно (я считаю), счел бы напрасным делать это, нити его нескольких частичных или временных классификаций в конце концов сходятся вместе, хотя и в несколько туманном узоре, но в очень красивой и последовательной разноцветной паутине. И хотя его порядок не всегда совпадает с нашим порядком, все же некая изысканная упорядоченность составляет самую суть его мысли и стиля. Именно на эту характеристику обращает внимание Мольер в "*Сведущих женщинах*": "*Je m'attache pour l'ordre au péripatétisme*".

Прежде чем закончить большую главу, о которой мы начали говорить, он указывает, что существует не один, а несколько способов соотнесения или классификации наших фактов; например, может быть одинаково правильным и необходимым рассматривать сейчас животных и их различные части или свойства, а в другое время - части или свойства как таковые, объясняя и иллюстрируя их в свою очередь на примере нескольких животных, которые их демонстрируют или обладают ими. Таким образом, "Части животных" является следствием, необходимым следствием, более анекдотичной "*Истории животных*". И опять же, существует третья альтернатива - обсуждать великие функции, действия или потенциальные возможности организма, как бы сначала абстрактно, а затем соотносить их с частями, которые в том или ином существе предусмотрены и "предназначены" для их осуществления. Это предполагает разработку и написание отдельных физиологических трактатов на такие темы, как дыхание, локомоция, сон и бодрствование, и, наконец (и в некоторых отношениях самый амбициозный, самый эрудированный и самый поразительный из них), великий труд "Порождение животных".

Таким образом, весь диапазон, можно сказать, весь мыслимый диапазон, биологической науки набросан, и большая часть великого полотна написана. Но чтобы соприкоснуться с человеческой жизнью и оправдать свои притязания на высокие места в философии, мы должны пойти еще дальше и изучить саму Жизнь и то, что люди называют Душой. Так развивается великая концепция. Мы начинаем с банального анекдота, с того, что известно

рыбаку, егерю, крестьянину; на наших глазах формируются науки зоологии, анатомии, физиологии, и к вечеру мы смиренно сидим у ног великого учителя самой Жизни, историка Души. Не нам пытаться показать, что и здесь история не заканчивается, а начинаются самые высокие главы философии. Затем, когда мы вспомним, что это наше краткое повествование - лишь слабая иллюстрация одной стороны многогранной задачи и предприятия философа, мы начнем подниматься к пониманию высказывания Роджера Бэкона, что "хотя Аристотель и не пришел к концу знания, он привел в порядок все части философии". В том же духе современный критик заявляет: "Он не просто определил и сформировал все стороны науки; он еще и проследил связь и единство".

Аристотель, как и Шекспир, полон старых пил, бирок мудрости, драгоценностей длиной в пять слов. Вот одна из них, полезная как для учителя, так и для ученика - *Δεῖ πιστεῦειν τὸν μαθησάοντα*. Она говорит нам, что путь к обучению лежит через веру; и это означает, что для того, чтобы быть ученым, нужно иметь не только мозги, но и сердце.

Отчасти из-за посторонних интерполяций, но, несомненно, и из-за затянувшегося легковерия, от которого не застрахованы даже философы, мы находим у Аристотеля множество странных историй. Козы, дышащие ушами, стервятник, оплодотворяемый ветром, орел, умирающий от голода, олень, пойманный музыкой, саламандра, проходящая сквозь огонь, единорог, мантихора - вот лишь некоторые из "вульгарных ошибок" или "общепринятых положений" (по выражению сэра Томаса Брауна), которые увековечены, а не возникли в *Historia Animalium*. Некоторые из них пришли через Персию с Дальнего Востока, а другие (мы еще раз встречаем их у египетского жреца Гораполлона) являются всего лишь экзотерическим или аллегорическим выражением арканов древнеегипетской религии.

Так и получается, что на протяжении двух тысяч лет во всех землях люди приходили к Аристотелю и находили у него информацию и наставления - то, чего они желали. Араб и мавр, сириец и еврей хранили его книги, пока западный мир сидел во тьме; великие века схоластики висели на его словах; старейшие из наших университетов, Болонский, Парижский, Оксфордский, были основаны на его учении, да, собственно, и созданы для его изучения. Где бы он ни был, там, видимое или невидимое, его влияние остается; даже мавр и араб находят в нем, по сей день, учителя по своему сердцу: учителя вечных истин, рассказывающего о сне и сновидениях, о молодости и возрасте, о жизни и смерти, о поколении и разложении, о росте и упадке: проводника в книгу природы, открывателя Духа, пророка дел Божьих.

Цель этих небольших эссе, как мне сказали (хотя я уже наполовину забыл об этом), - помочь, хотя и в малой степени, защитить и оправдать изучение языка и обширной литературы Греции. Это задача, к которой я не приспособлен и не подготовлен. Когда Оливер Голдсмит предложил преподавать греческий язык в Лейдене, где, как ему "сказали, это было необходимо", директор этого знаменитого университета встретил его (как мы все знаем) весомыми возражениями. "Я никогда не учил греческий, - сказал директор, - и не нахожу, что мне его не хватало. У меня была докторская шапочка и мантия без греческого. Я получаю десять тысяч флоринов в год без греческого; и, короче говоря, - продолжал он, - поскольку я не знаю греческого, я не верю, что в нем есть хоть какая-то польза". Я слышал или читал эту историю снова и снова, ибо разве не написано в "*Викарии Уэйкфилда*"? Но я никогда не слышал, чтобы кто-то, кроме самого Голдсмита, пытался опровергнуть этот аргумент. Я по большей части согласен с директором и ясно вижу, что весь греческий, который знал Голдсмит, и весь греческий в мире, ничего бы для него не значил и не помог. Но есть и будет много других, кто находит в греческой мудрости и сладкой эллинской речи то, что ему

необходимо иметь, и без чего он был бы действительно беден: то, что является как посох в его руке, свет на его пути, фонарь для его ног.

В этом будничном мире мы все еще можем легко обладать собой, как, по словам Гиббона, подданные византийского престола, даже в самом низком рабстве и подавленности, все еще обладали "золотым ключом, который мог открыть сокровища античности, музыкальным и плодовитым языком, который дает душу предметам чувства, а тело - абстракциям философии".

Наша жизнь, кажется, продлевается благодаря воспоминаниям о древности; ведь, как говорит Цицерон, не зная, что происходило в прежние времена, значит оставаться всегда ребенком. Я заимствую эту цитату у д-ра Джонсона, который напоминает нам также высказывание самого Аристотеля о том, что, будучи студентами, мы должны сначала изучить и понять то, что было написано древними, а затем окинуть взглядом весь мир. И Джонсон предваряет обе цитаты еще одной:

Tibi res antiquae laudis et artis
ingredior, sanctos ausus recludere fontes.

Но теперь я, осмелившийся черпать свой крошечный черновик из великого колодца Аристотеля, похоже, все-таки ищу оправдания, ищу его в примере и наставлении. Наставления, по крайней мере, я знаю, что они бесполезны. Мой отец провел все дни своей жизни в изучении греческого языка; вы могли бы предположить, что это было сделано ради Мудрости, но мой отец был скромным человеком. Дело в том, что он делал это по более простой причине, очень любопытной, о которой лучше прошептать, чем рассказать: он делал это *ради любви*.

Около сорока лет назад я впервые вышел на восточные ветреные улицы одного тощего и голодного городка (тощего, я имею в виду, в смысле стипендии), где мне суждено было провести впоследствии много-много лет. И первое, что я там увидел, была надпись над очень скромным дверным проемом: "*Hic mecum habitant Dante, Cervantes, Molière*". Это был дом бедного школьного учителя, который в качестве преподавателя иностранных языков выкраивал скудные доходы своей школы. Меня ничуть не утешило это объявление. Так и бедный ученый, глядя на потрепанный полк своих немногочисленных книг, получает помощь, утешение, возвышение от размышлений: *Hic mecum habitant ... Гомер, Платон, Аристотель*. И если бы кто-нибудь по неосторожности спросил его, почему он занимается греческим, он, возможно, заикаясь (как доминик Сэмпсон), ответил бы почти невнятно; но, скорее всего, он потерял бы дар речи от безмерного возмущения просьбой, и причина его преданности была бы навсегда скрыта от вопрошающего".

Д'Арси Вентворт Томпсон.

БИОЛОГИЯ

До Аристотеля

Что такое наука? На этот вопрос нелегко ответить, а возможно, и вовсе невозможно. Ни одно из определений, кажется, не охватывает эту область точно; они либо слишком широки, либо слишком узки. Но мы видим науку в ее развитии и можем сказать, что, будучи процессом, она может существовать только как развитие. С чего начинается наука биология? Опять же, мы не можем сказать, но мы можем наблюдать за ее развитием и прогрессом. Точное наблюдение за живыми формами, которое является, по крайней мере, одной из основ биологической науки, появилось у греков очень давно. Слово "биология", употребляемое в нашем смысле, было бы, конечно, невозможным среди них, поскольку *bios* относится к жизни человека и не может быть применено, кроме как в натянутом или метафорическом смысле, к жизни других живых существ.^[6] Но *идеи*, которые мы связываем с этим словом, были четко разработаны в греческой философии, и основы биологии имеют большую древность.

У греческого народа было много корней, расовых, культурных и духовных, и от всех них он унаследовал различные способности и качества и почерпнул различные идеи и традиции. Наиболее интересным для нашей цели является источник минойской расы, которую греки разорили и чьи земли они захватили. Этот высокоодаренный народ на всех этапах своего развития демонстрировал удивительную способность графически изображать формы животных, известными примерами чего являются знаменитые критские фризмы, кубки Вафиро (рис. 5) и микенские львы. Трудно не поверить, что минойский элемент, вошедший в мозаику народов, которые мы называем греками, был, по крайней мере, частично ответственен за подобную графическую мощь, развитую в эллинском мире, хотя до сих пор не было продемонстрировано практически никаких контактов между минойским и архаическим греческим искусством.

О самых ранних биологических достижениях греческих народов мы вынуждены полагаться в основном на информацию, почерпнутую из художественных останков. Правда, мы располагаем несколькими фрагментами работ ионийских и итало-сицилийских философов, и в них мы читаем о теоретических рассуждениях о природе жизни и души, а также можем составить некоторое представление о первых попытках таких ученых, как Алкмеон Кротонский (ок. 500 г. до н. э.), обнажить строение животных путем препарирования.^[7] Фармакопейка некоторых из самых ранних трудов Гиппократов также свидетельствует о значительном знании как местных, так и иностранных растений.^[8] Кроме того, на страницах Геродота и других ранних писателей можно найти множество случайных сведений о животных и растениях, хотя эти сведения получены из вторых рук и дают нам мало информации о привычке к точному наблюдению, которая является необходимой основой науки.

Однако раннее греческое искусство открывает нам нечто большее. Мы располагаем целым рядом ваз седьмого и шестого веков до христианской эры, демонстрирующих пристальное наблюдение за формами животных, что говорит о народе, пробудившемся к изучению природы. Таким образом, перед нами предстает целый ряд животных - растения появляются редко или вообще не появляются, а среди наиболее хорошо переданных - дикие существа: мы видим антилоп, спокойно кормящихся или испуганных звуком, птиц, летающих или подбирающих червей с земли, ланей, прокладывающих себе путь через заросли, мирно пасущихся или несущихся галопом, кабанов, сталкивающихся с гончими, и собак, преследующих зайцев, дикий скот, образующий свой оборонительный круг, ястребов,

хватающих добычу. Многие из них демонстрируют точнейшую наблюдательность. Иногда тщательно проработано само направление волосков на шерсти животных, часто хорошо прорисованы мышцы. В некоторых случаях даже зубы были точно изображены, как, например, на ионической вазе VI века, где изображен лев - животное, которое в то время было очень редким на побережье Восточного Средиземноморья, но все еще было известно в Вавилонии, Сирии и Малой Азии. Детали работы показывают, что художник, должно быть, осматривал животное в неволе (рис. 1 и 2).



Рис. 1. Львица и молодой лев с ионийской вазы VI века до н. э., найденной в Каэре в Южной Этрурии (Лувр, Зал Е, № 298), из книги "Десин животных в Греции в свете ваз", Ж. Морен, Париж (Ренуар), 1911. Животное подтягивается, чтобы напасть на своих охотников. Скучная грива, форма лап, вымя и зубной ряд представлены сильно, но точно.

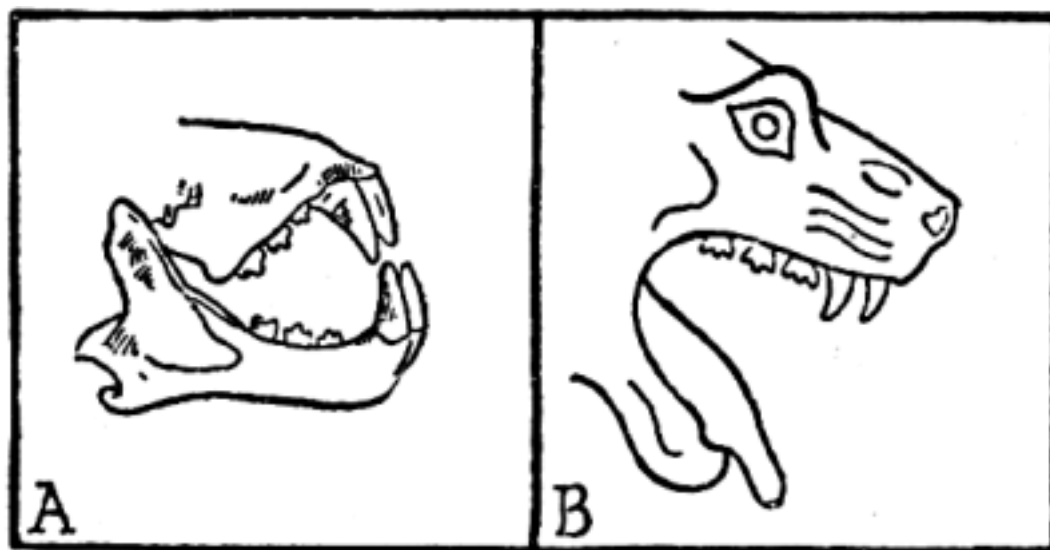


Рис. 2. А - челюстные кости льва; Б - голова львицы из вазы Каэре (рис. 1), по Морину. Обратите внимание на то, как тщательно художник отделил моляры от режущих зубов.

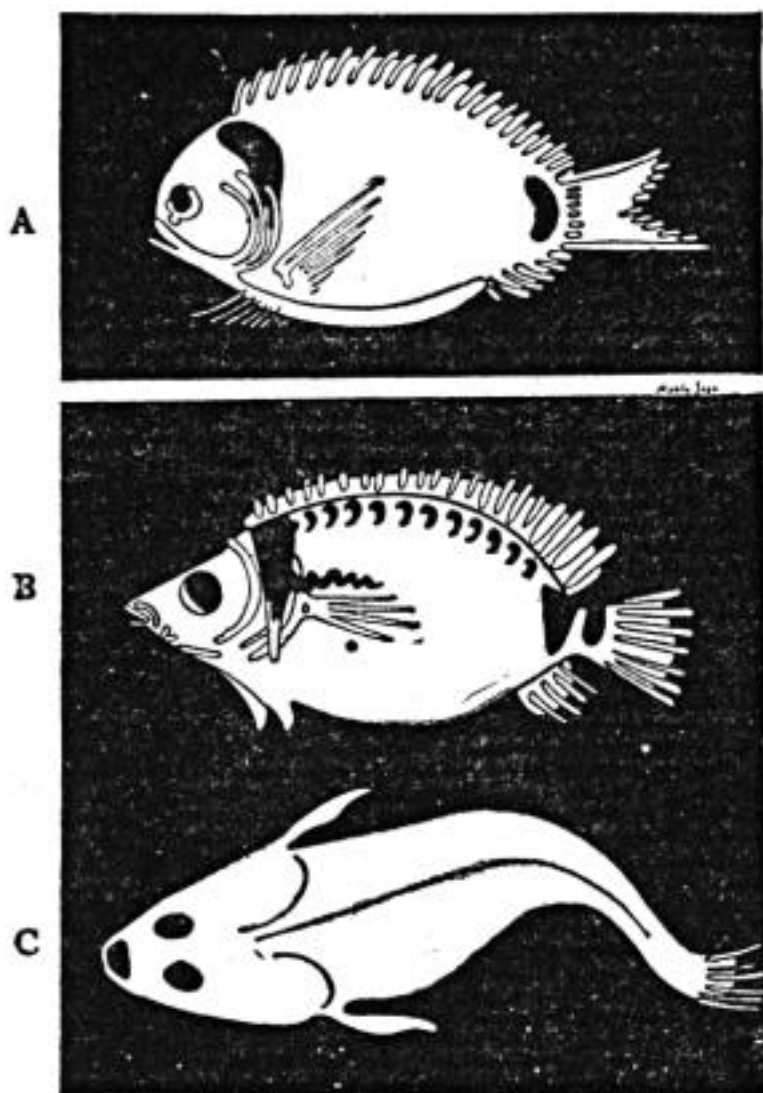


Рис. 3. Изображения рыб на тарелках. Итало-греческая работа IV века до н. э. Из Морина.

1. *Sargus vulgaris*.
2. *Crenilabrus mediterraneus*.
3. *Uranoscopus scaber*?

Картины животных этого порядка разбросаны по всему греческому миру с особыми центрами или школами в таких местах, как Кипр, Беотия или Халкис. Само название художника на греческом языке - *зоограф* - напоминает о внимании к живым формам. К пятому веку в живописи, как и в других областях искусства, утвердилось превосходство Атики, и существует множество прекрасных аттических ваз с изображениями животных, которые можно поставить рядом с великолепными головами лошадей Парфенона (рис. 6). В Атике также был рано разработан характерный и точный тип изображения морских форм, который получил широкое распространение в Южной Италии в четвертом веке. От последнего периода до нас дошел ряд блюд и ваз с большим разнообразием форм рыб, изображенных с точностью, которая интересна в связи с вниманием к морским существам в сохранившейся литературе аристотелевского происхождения (рис. 3).

Эти художественные произведения - нечто большее, чем простое отражение повседневной жизни людей. За повадками и положением животных наблюдает охотник, за формами и окраской рыб - рыбак; но методы охотника и рыболова не позволяют точно изобразить зубы

льва, правильно пронумеровать чешую рыбы или внимательно изучить расположение перьев на голове и подушечек на лапах хищной птицы (рис. 4). С подобными наблюдениями мы имеем дело с чем-то, достойным названия *биологии*. Хотя до нас дошло совсем немного литературы на эту тему ранее трудов Аристотеля, однако и характер его трудов, и такие картины и изображения, как эти, свидетельствуют о существовании сильного интереса и обширной литературы, биологической в современном смысле слова, еще до четвертого века.

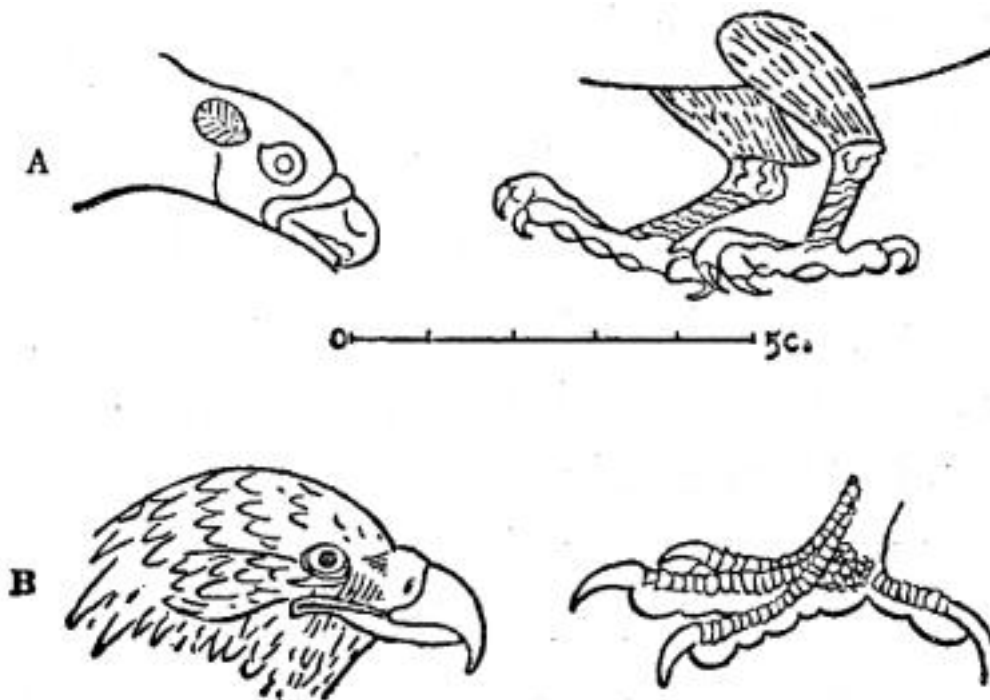


Рис. 4. Голова и когти морского орла, *Haliaeetus albicilla*:

1. С ионической вазы VI века до н. э.
2. Срисовано с предмета.

Из Морины.

Греческая наука, однако, на протяжении всей своей истории демонстрирует особенности, отличающие ее от современной научной точки зрения. Большая часть работы греческого ученого была сделана по отношению к человеку. Природа интересовала его в основном по отношению к нему самому. Греческий научный и философский мир был антропоцентричным, и это проявляется в подавляющей массе медицинских, а не биологических трудов, дошедших до нас. Таковы же настроения, выраженные поэтами в их описаниях животного мира:

Много есть чудес, но нет чудесней человека:

.....

Легкомысленных птиц воздушных, зверей болот и лесов

Он ловушки плетет, и выводок из моря.

Мастер хитрости он: и дикий бык, и заяц

Который свободно бродит по горам, укрощены его бесконечным искусством.

И лохматый грубый конь сломлен, чтобы нести узду".

Софокл, *Антигона*, стихи 342 и далее.

(Перевод Ф. Сторра).

Поэтому неудивительно, что первое систематическое упоминание о животных содержится в практическом медицинском труде - περὶ διαίτης, "*О диете*", из сборника Гиппократов. Этот весьма своеобразный трактат датируется поздней частью пятого века. Он находится под сильным влиянием Гераклита (ок. 540-475 гг.) и содержит много точек зрения, которые вновь появляются в более поздней философии. Все животные, согласно ей, образованы из огня и воды, ничто не рождается и ничто не умирает, но существует вечный и непрекращающийся круговорот вещей, так что изменение само по себе является единственной реальностью. Природа человека - лишь параллель универсальной природы, а искусства человека - лишь подражание или рефлекс природных искусств или, опять же, телесных функций. Душа, смесь воды и огня, поглощает себя в младенчестве и старости и возрастает во взрослой жизни. Здесь же мы встречаемся с необычной доктриной, не без влияния на ход последующей биологической мысли, о том, что в плоде все части формируются одновременно. От соотношения огня и воды в организме зависит все: пол, нрав, темперамент, интеллект. Подобные спекулятивные идеи отделяют эту книгу от трезвого метода более типичных медицинских работ Гиппократов, с которыми она действительно имеет мало общего.

Обсудив эти теоретические вопросы, автор обращается к практическим проблемам и в ходе изложения природы продуктов питания дает, по сути, грубую классификацию животных. Они разделены на группы, и из крупных групп отсутствуют только рептилии и насекомые. Этот список был описан, возможно, едва ли оправданно, как *классификационная система Коана*. Здесь, правда, нет *системы* в том смысле, в котором это слово сейчас применяется к животному царству, но мы все же имеем некое определенное расположение животных в соответствии с их предполагаемой природой. Орывок открывается млекопитающими, которые делятся на одомашненных и диких, причем последние упоминаются в порядке возрастания размеров; далее следуют наземные птицы, затем водоплавающие, а потом рыбы. Эти рыбы делятся на (1) обитателей берегов, (2) свободно плавающие формы, (3) хрящевые рыбы или Selachii, которые не имеют такого названия, но помещены вместе, (4) грязелюбивые формы и (5) пресноводные рыбы. И наконец, беспозвоночные, расположенные в определенном порядке в соответствии с их строением. Характерной чертой "классификации" является отделение рыб от остальных позвоночных и беспозвоночных от тех и других. Из пятидесяти названных животных не менее двадцати - рыбы, что составляет примерно пятую часть от числа изученных Аристотелем, но следует помнить, что здесь упоминаются только съедобные виды. Существование этого труда свидетельствует, по крайней мере, о том, что в V веке уже существовало тщательное и точное изучение форм животных, изучение, которое по праву можно назвать научным. Преобладание рыб и их более подробная классификация по сравнению с другими группами не является неожиданной особенностью. Средиземноморье особенно богато этими формами, греки были морским народом, и греческая литература полна образов, заимствованных из рыбацкого ремесла. От минойских до византийских времен разнообразие, красота и цвет рыбы производили глубокое впечатление на греческое сознание, что нашло отражение в их искусстве.

Однако гораздо важнее для последующего биологического развития, чем такие наблюдения за природой и повадками животных, те заслуги, которые врачи Гиппократов оказали анатомии и физиологии - отделам, в которых строение человека и одомашненных животных отделяется от строения остального животного царства. Именно природе и строению человека посвящено большинство сохранившихся ранних биологических трудов, и в этих отделах

отчетливо прослеживается тенденция к систематическому упорядочиванию материала. Так, мы имеем деление и описание тела на семерки от периферии до центра и от вершины до подошвы стопы,[9] или деление на четыре области или зоны.[10] Учение о четырех элементах и четырех гуморах также приобрело большое значение, и некоторые из них были позже приняты Аристотелем. Мы также встречаем многочисленные механические объяснения строения тела, сравнения анатомических условий, встречающихся у родственных животных, эксперименты над живыми существами,[11] систематическое инкубирование куриных яиц для изучения их развития, параллели между развитием растений, эмбрионов человека и животных, теории поколения, среди которых есть та, что впоследствии была названа "пангенезисом" - обсуждение выживания более сильного над более слабым - почти наше выживание приспособленцев - и теория наследования приобретенных качеств.[12] Все это свидетельствует не только об обширных знаниях, но и о попытке применить их к нуждам человека. Если мы подумаем о том, как даже в более поздние века биология была связана с медициной и насколько сильным и фундаментальным было влияние трудов Гиппократов не только на их непосредственных преемников в античности, но и на Средние века и вплоть до XIX века, мы поймем всю важность этих событий.



Рис. 5.

МИНОЙСКИЙ ЗОЛОТОЙ КУБОК. XVI ВЕК ДО Н. Э.

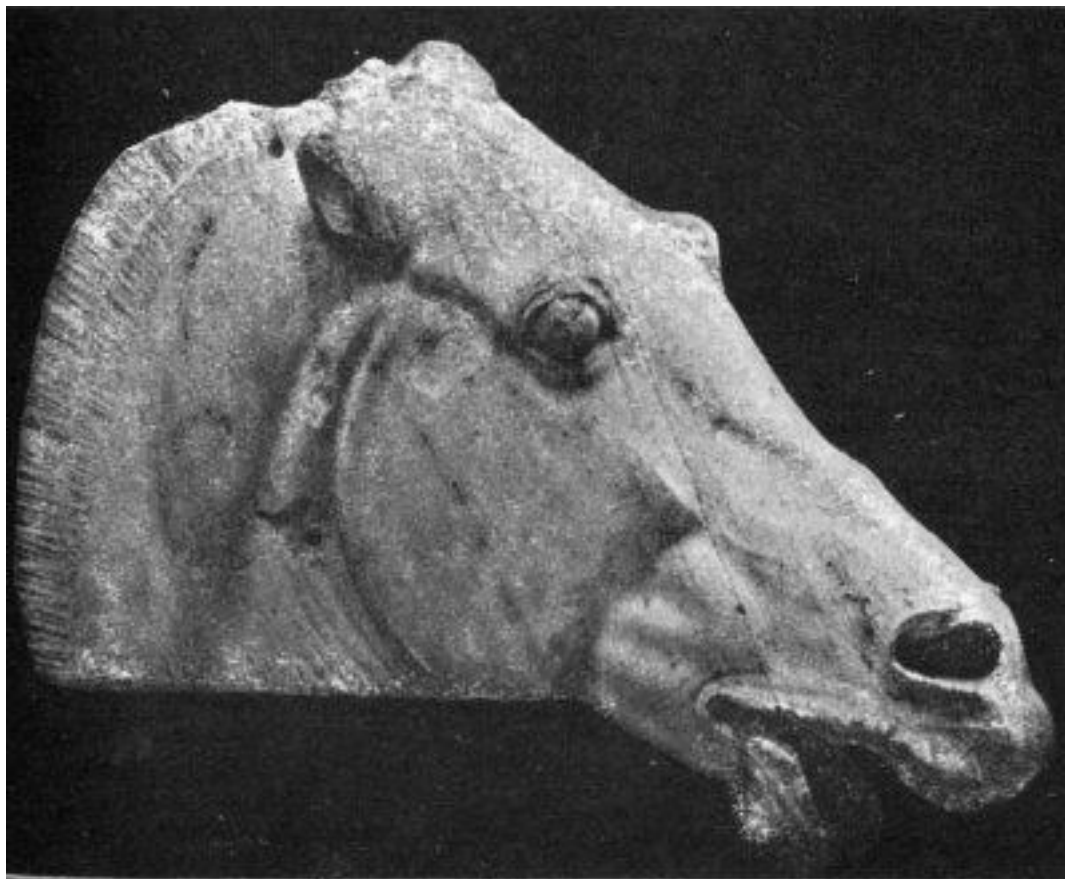


Рис. 6. ЛОШАДИНАЯ ГОЛОВА. ИЗ ПАРФЕНОНА. 440 Г. ДО Н. Э.

Таков был характер биологической мысли в V веке, и поколение, вдохновленное этим движением, создало несколько примечательных работ в последующий период. В трактате περὶ τροφῆς, "О питании", который можно датировать примерно 400 годом до н. э., мы впервые в греческой медицинской литературе узнаем о пульсе и читаем о физиологической системе, которая просуществовала до времен Гарвея, с артериями, вытекающими из сердца, и венами из печени. Примерно к той же дате относится сочинение περὶ καρδίας "О сердце", в котором описываются желудочки, а также крупные сосуды и их клапаны, и сравнивается сердце животных и человека.

Чуть позже, возможно, в 390 году до н. э., появился трактат περὶ σαρκῶν "О мышцах", который содержит гораздо больше, чем следует из его названия. В нем сохранилась старая система семерок, и, возможно, под влиянием философии Гераклита (ок. 540-475 гг.), сердце описывается как посылающее воздух, огонь и движение к различным частям тела через сосуды, которые сами находятся в постоянном движении. Считается, что младенец в чреве матери втягивает воздух и огонь через рот и питается *внутриутробно*. Действие воздуха на кровь сравнивается с его действием на огонь. В отличие от некоторых других трактатов Гиппократа центральная нервная система находится на втором плане, однако большое внимание уделяется особым органам чувств. Мозг звучит при прослушивании. Обонятельные нервы полые, ведут к мозгу и передают ему летучие вещества, которые заставляют его выделять слизь. Глаза также были исследованы, их оболочки и влаги грубо описаны; впервые в литературе, возможно, сделан намек на хрусталик, а глаза животных сравниваются с глазами человека. Есть свидетельства не только препарирования, но и экспериментов, а в

попытках сравнить устойчивость различных тканей к таким процессам, как кипячение, мы можем увидеть небольшие зачатки химической физиологии.

Более глубокая работа, чем любая из этих, но демонстрирующая меньшую силу наблюдения, - трактат περὶ γένεως, *О поведении*, который, возможно, датируется примерно 380 г. до н. э. [13] Он демонстрирует писателя большой философской силы, очень озабоченного физиологическими объяснениями, но затрудненного незнанием физики. В сущности, он обладает слабостями и в незначительной степени силой своего преемника Аристотеля, чей великий труд о поколениях он дает нам предвкушение. Он довольно подробно излагает учение о пангенезисе, не полностью отличающееся от учения Дарвина. Для объяснения явлений наследственности он предполагает, что сосуды достигают семени, неся с собой образцы из всех частей тела. Он считает, что каналы проходят от всех органов к мозгу, затем к спинному мозгу (или непосредственно к мозгу), далее к почкам и половым органам; он также полагает, что знает фактическое местоположение одного из таких каналов, поскольку ошибочно замечает, что разрез за ушами, прерывая проход, приводит к импотенции. В качестве следствия этой теории он готов принять наследование приобретенных качеств. Эмбрион развивается и дышит за счет материала, передаваемого от матери через пуповину. Здесь же мы встречаем очень подробное описание образца отшелушенной *слизистой оболочки матки*, которую наш автор принимает за эмбрион, но его замечания, по крайней мере, демонстрируют самое горячее любопытство. [14]

Таким образом, автор этой работы о поведении является "биологом" в современном смысле слова, и среди пассажей,ставляющих его в этом свете, - его сравнение человеческого эмбриона с цыпленком. Эмбрион находится в мембране, в центре которой находится пупок, через который он втягивает и выпускает дыхание, а мембраны происходят из пуповины..... Строение ребенка вы найдете от первого до последнего, как я уже описывал..... Если вы хотите, попробуйте провести такой эксперимент: возьмите двадцать или больше яиц и пусть их насиживают две или более курицы. Затем каждый день, начиная со второго и заканчивая днем вылупления, доставайте по яйцу, разбивайте его и рассматривайте. Вы обнаружите именно то, что я говорю, ибо природу птицы можно сравнить с природой человека. Перепонки [вы увидите] от пуповины, и все, что я говорил о младенце, вы найдете в птичьем яйце, и тот, кто сделал эти наблюдения, будет удивлен, обнаружив пуповину в птичьем яйце". [15]

Тот же интерес, который он проявляет к развитию человека и животных, он проявляет и к растениям.

Положенное в землю семя наполняется содержащимися в нем соками, ибо почва содержит в себе соки любой природы для питания растений. Наполненное соком семя расширяется и набухает, и таким образом сила (= факультет ἡ δύναμις), рассеянная в семени, сжимается пневмой и соком, и, лопнув, семя превращается в первые листья. Но наступает время, когда эти листья уже не могут получать питание от соков семени. Тогда семя и листья прорываются вниз, ибо, побуждаемое листьями, семя посылает вниз ту часть своей силы, которая еще сосредоточена в нем самом, и так появляются корни как продолжение листьев. Когда, наконец, растение укореняется внизу и получает питание из земли, тогда все зерно исчезает, будучи поглощенным, за исключением шелухи, которая является наиболее твердой частью; и даже она, разлагаясь в земле, в конечном итоге становится невидимой. Со временем некоторые из листьев пускают ветви. Растение, полученное таким образом из семени, остается мягким и влажным. Активно растущее как сверху, так и снизу, оно пока не может приносить плоды, поскольку не обладает качеством силы

и запаса (δυναμις ισχυρη και παρα), из которого может быть высажено семя. Но когда со временем растение становится крепче и лучше укореняется, у него развиваются жилки как проходы вверх и вниз, и оно черпает из почвы не только воду, но и более обильно вещества, которые плотнее и жирнее. Согретые солнцем, они также действуют как фермент на конечности и дают начало плодам своего вида. Таким образом, плод развивается из малого, ибо каждое растение черпает из земли силу, более обильную, чем та, с которой оно началось, и брожение происходит не в одном месте, а во многих".[16]

Наш автор также не стесняется проводить аналогию между растением и зародышем млекопитающего. "Точно так же младенец живет в чреве матери и в состоянии, соответствующем здоровью матери... и вы найдете полное сходство между продуктами почвы и продуктами чрева".

Ранняя греческая литература настолько скудна иллюстрациями, взятыми из ботанических исследований, что стоит рассмотреть замечательное сравнение получения растений из черенков и из семян в одной и той же работе.

"Что касается растений, полученных из черенков... та часть ветки, которая была отрезана от дерева, помещается в землю, и там пускаются корни. Вот как это происходит: Часть растения, находящаяся в земле, впитывает соки, набухает и развивает пневму (πνευμα ισχει), но не та часть, которая находится вне ее. Пневма и сок концентрируют силу растения внизу, так что оно становится плотнее. Затем нижний конец прорастает и дает нежные корни. Затем растение, беря снизу, вытягивает соки из корней и передает их той части, которая находится над почвой, которая таким образом также набухает и развивает пневму; таким образом, сила из рассеянной в растении становится концентрированной и, распускаясь, дает листья..... Черенки, таким образом, отличаются от семян. У семян сначала появляются листья, а затем корни; у черенков сначала образуются корни, а затем листья".[17]

Но с этими работами начала четвертого века первый этап греческой биологии достигает своего наивысшего развития. Более поздние трактаты Гиппократы, посвященные физиологическим темам, находятся на более низком уровне, и мы должны искать какую-то внешнюю причину неудачи. Далеко искать не приходится. В этот период возникло движение, оказавшее глубочайшее влияние на все направления мысли. Мы видим появление в греческом мире великого интеллектуального движения, в результате которого отдел философии, занимавшийся вопросами природы, отступил перед этикой. Местом этой интеллектуальной революции - возможно, величайшей из всех, которые видел мир, - были Афины, а главным героем - Сократ (470-399). Само движение и его характерные плоды нас не касаются. Но великий преемник и ученик своего основателя дает нам в "Тимее" картину того, до какой глубины может деградировать естественная наука в попытке придать конкретный телеологический смысл всем частям видимой Вселенной. Книга и картина, которую она рисует, мрачная и отталкивающая для ума, обученного современному научному методу, захватывала воображение значительной части человечества на протяжении почти двух тысяч лет. Органическая природа предстает в этом произведении Платона (427-347) как вырождение человека, которого Творец сделал самым совершенным. Школа, придерживавшаяся этих взглядов, в конце концов пришла в упадок из-за своей неспособности продвигать позитивные знания. С течением веков ее взгляды все больше и больше отрывались от явлений, а причудливые разработки позднего неоплатонизма и по сей день служат предостережением против любой системы, которая пренебрегает

исследованием природы. Но в своем упадке платонизм потянул науку вниз и уничтожил по небрежности почти весь ранний биологический материал. Математика, не будучи феноменальным исследованием, лучше соответствовала неоплатоническому настроению и продолжала развиваться, увлекая за собой астрономию - астрономию, которая влияла на жизнь человека и которая вскоре стала служанкой астрологии; медицина, которая определяла условия жизни человека, тоже лелеялась, хотя часто ошибочно, но чистая наука была обречена.

Но хотя этический взгляд на природу в конце концов одержал верх над наукой, появление могущественной фигуры Аристотеля (384-322) на некоторое время остановило течение. И все же автор греческой биологии остается в невыгодном положении по сравнению с историком греческой математики, греческой астрономии или греческой медицины из-за скудости материалов для представления отчета о развитии своих исследований до Аристотеля. Огромная форма этого великолепного натуралиста полностью заслоняет собой греческую, как и большую часть более поздней биологии.

Чарльз Зингер.

После Аристотеля

Все дошедшие до нас биологические труды Аристотеля относятся в основном к животному миру. Его работы о растениях утеряны или, скорее, дошли до нас в виде самых незначительных поврежденных фрагментов. Однако нам повезло, что в нашем распоряжении есть несколько полных работ его ученика и преемника Теофраста (372-287), которые не только отражают аристотелевское отношение к растительному миру, но и дают представление об общем состоянии биологической науки в поколении, сменившем мастера.

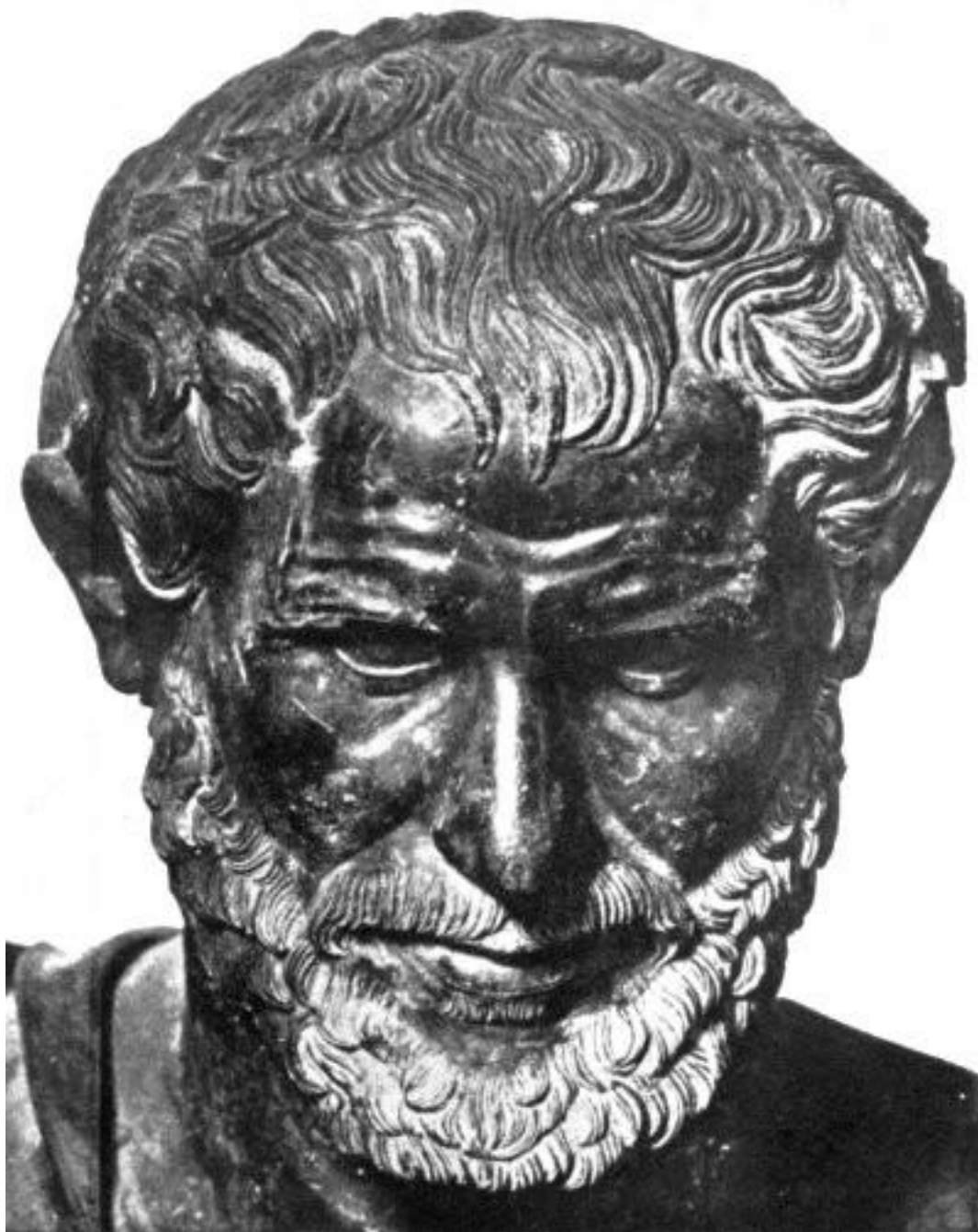


Рис. 7.

АРИСТОТЕЛЬ

Из Геркуланума

Вероятно, произведение четвертого века до нашей эры.

Эти трактаты Теофраста во многих отношениях являются наиболее полными и упорядоченными из всех древних биологических трудов, дошедших до нас. Они дают представление о том интересе, который мог проявить работающий ученый того времени, вдохновленный скорее гением великого учителя, чем силой собственной мысли. Теофраст - пешеход, в то время как Аристотель - существо крылатое, он находится в отношении к мастеру того же порядка, что морфологи второй половины девятнадцатого века к Дарвину. В течение нескольких поколений после появления "*Происхождения видов*" в 1859 году промышленность и способности натуралистов всего мира были заняты детальной разработкой структуры и образа жизни живых существ на основе эволюционной философии. Почти все работы по морфологии и физиологии, появившиеся со времен Теофраста, можно рассматривать как комментарии к трудам Дарвина. Эти тома Теофраста производят такое же

впечатление. Они представляют собой остатки - увы, почти единственные биологические остатки школы, работавшей под импульсом великой идеи и опирающейся на память о великом учителе. Как таковые, они представляют собой параллель со многими научными работами наших дней, выполненными людьми, не обладающими гениальностью, кроме той, что обеспечивается видением, надеждой и идеалом. О таких людях невозможно писать так же, как об Аристотеле. Их жизнь подытоживается их фактическими достижениями, а поскольку Теофраст - упорядоченный писатель, чьи работы дошли до нас в хорошем состоянии, он является очень подходящим примером фактического стандарта достижений античной биологии. Без видения люди погибают", и само дыхание жизни науки исходит и может исходить только от той небольшой группы пророков, которые время от времени, на протяжении веков, давали великие обобщения и великие идеалы. В этом свете рассмотрим работу Теофраста.

В отсутствие какой-либо адекватной системы классификации почти вся ботаника до семнадцатого века состояла в основном из описаний видов. Точное описание листа или корня на обычном языке часто занимало несколько страниц. Современные ботаники изобрели сложную терминологию, которая, как бы ни была отвратительна для глаз и ушей, имеет главное достоинство - она помогает сократить научную литературу. Ботанические писатели до XVII века были в значительной степени лишены этого особого способа выражения. Отчасти именно этому недостатку мы обязаны настойчивыми попытками на протяжении веков изобразить растения в гербариях, рукописных и печатных, и, таким образом, возможностью адекватной истории растительной иллюстрации.

Теофраст, по-видимому, остро ощущал потребность в ботанических терминах, и есть случаи, когда он стремится придать специальное техническое значение словам, используемым в настоящее время в большей или меньшей степени. Среди таких слов - *carpos* = плод, *pericarpion* = семенной сосуд = околоплодник, и *metra* - слово, используемое им для обозначения центральной сердцевины любого стебля, будь он из древесины, сердцевины или другого вещества. Именно от Теофраста до нас дошло точное определение плода и околоплодника.[18] Мы также можем легко понять, с какой целью он вводит в ботанику термин *metra*, слово, означающее в первую очередь *матку*, и вакансию в греческом языке, которую оно должно было заполнить. "*Метра*, - говорит он, - это то, что находится в середине дерева, третье по порядку от коры и [таким образом] похоже на костный мозг в костях. Одни называют ее *сердцем* (καρδίαν), другие - *внутренностью* (εντερῶντην), третьи - *сердцем* только самую внутреннюю часть метры, а четвертые - *костным мозгом*".[19] Таким образом, он придумывает слово для обозначения всех различных видов сердцевины, заимствуя его из другого исследования. Таков метод современной научной номенклатуры, который едва ли существовал для ботаников даже в шестнадцатом веке нашей эры. Настоящие основы современной номенклатуры были заложены в конце XVI и в XVII веке Чезальпино и Иоахимом Юнгом.

Теофраст понимал ценность изучения развития, и эта концепция была заимствована у его учителя. "Растение, - говорит он, - обладает способностью прорасти во всех своих частях, ибо во всех них есть жизнь, поэтому мы должны рассматривать их не как то, что они есть, а как то, чем они становятся".[20] Различные способы размножения растений правильно разграничены, что превосходит единственный сохранившийся ранний трактат, в котором подробно рассматривается эта тема, - работу Гиппократов "О порождении". "Деревья и растения размножаются следующим образом: самопроизвольно, из семени, из корня, из оторванного куса, из ветки или прутика, из самого ствола или из маленьких кусочков дерева".[21] Чудо прорастания должно было вызывать восхищение с самого раннего

времени. Мы уже видели, как оно занимало более древнего автора, а также было одним из главных предметов заботы Аристотеля. Поэтому нет ничего удивительного в том, что этот процесс произвел впечатление на Теофраста, который оставил запись своих взглядов на формирование растения из семени.

Некоторые прорастают, корень и листья, из одной и той же точки, некоторые по отдельности с обоих концов семени. Так, пшеница, ячмень, полба и все подобные злаки [прорастают] с обоих концов, соответствующих положению [семени] в колосе: корень - из крепкой нижней части, побег - из верхней; но оба они, корень и стебель, образуют одно непрерывное целое". Фасоль и другие бобовые растения не таковы, но у них корень и стебель исходят из одной и той же точки, а именно из места их прикрепления к стручку, где, как очевидно, они и берут свое начало. В некоторых случаях, как у фасоли, гороха и особенно люпина, происходит процесс, в результате которого корень растет вниз, а лист и стебель - вверх..... У некоторых деревьев почка сначала прорастает внутри семени, и, по мере того как она увеличивается в размерах, семена раздваиваются - все такие семена состоят как бы из двух половинок; опять же, у всех бобовых растений явно две доли и они двойные, и затем корень сразу же прорастает наружу. Но у злаков, семена которых цельные, этого не происходит, а корень вырастает немного раньше [побега].

Ячмень и пшеница - монофильные, а горох, фасоль и горох - полифильные. Все бобовые растения имеют один одревесневший корень, из которого вырастают стройные боковые корни... но пшеница, ячмень и другие злаки имеют множество стройных корней, которыми они переплетены вместе..... Между этими двумя видами существует контраст: у бобовых растений один корень и множество боковых отростков, растущих вверх от [единственного] стебля... тогда как у злаков много корней и много побегов, но у них нет боковых отростков".[22]

Нет сомнений, что здесь приводится подробное наблюдение за поведением прорастающих семян. Различие между двудольными и однодольными точно изложено, хотя акцент делается не столько на котиledonном характере семени, сколько на соотношении корня и побега. У двудольных корень и побег представлены как происходящие из одной и той же точки, а у однодольных - из противоположных полюсов семени.

До изобретения микроскопа больше не проводилось эффективных работ по изучению прорастающего семени, а после середины XVII века появились работы Хаймора (1613-85),[23] и гораздо более глубокие исследования Мальпиги (1628-94)[24] и Грю (1641-1712)[25]. Наблюдения Теофраста, однако, настолько точны, ясны и полны, что их вполне можно использовать в качестве легенд для табличек этих писателей через две тысячи лет после него.

О знаниях древних о половой принадлежности растений написано немало. Можно сказать, что о половых элементах цветка ни один древний писатель не имел четкого представления. Тем не менее, секс часто приписывается растениям, а в произведениях поэтов встречается аналогия с *"Любовью растений"*. Растения часто описываются как мужские и женские в древних биологических трудах, а Плиний заходит так далеко, что некоторые студенты считали, что все травы и деревья имеют половые признаки.[26] Однако при проверке таких отрывков выясняется, что эти так называемые самцы и самки обычно принадлежат к разным видам. В немногих случаях бесплодная разновидность описывается как мужская, а плодовая - как женская. В небольшом остатке случаев двуполые растения или цветы рассматриваются как мужские и женские, но без реального понимания половой природы

цветов. Остаются пальмы, в которых знания о половой принадлежности растений продвинулись немного дальше. У фиников, - говорит Теофраст, - самцов следует приводить к самкам, ибо самцы заставляют плоды сохраняться и созревать, и это некоторые называют по аналогии с *дикой смоковницей* (ολυνθαζειν). [27] Процесс происходит следующим образом: когда самец находится в цветке, он сразу же срезает лопаточку с цветком и вытряхивает цветок вместе с пылью на плод самки, и, если его обработать таким образом, он сохраняет плод и не сбрасывает его". [28] Оплодотворяющий характер корешков мужской финиковой пальмы был известен в Вавилоне с очень раннего времени. Об этом пишет Геродот [29], и этот символ часто встречается на ассирийских памятниках.

Сравнение оплодотворения финиковой пальмы с использованием дикой смоковницы относится к практике капрификации. Теофраст рассказывает, что некоторые деревья, в том числе и смоковница, склонны к преждевременному сбросу плодов. Для устранения этой проблемы используется метод капрификации. Из диких фиг, которые там висят, выходят желчные насекомые, поедают верхушки культурных фиг и таким образом заставляют их разбухать". [30] Эти галловые насекомые "зарождаются из семян". [31] Теофраст различал этот процесс применительно к смоковнице и финику, отмечая, что "в обеих [смоковницах и финиках] самец помогает самке - ведь плодоносящую [пальму] они называют *самкой*, - но если в одной из них существует союз двух полов, то в другой все иначе". [32]

Теофраст не очень преуспел в определении природы первичных элементов растений, хотя ему удалось разделить корень, стебель, лист, стебель и цветок по морфологическим и, в некоторой степени, по физиологическим признакам. Для корня он принимает привычное определение, единственно возможное до появления химии, что это "то, чем растение черпает питание", [33] описание, которое применимо к рассказу, данному доаристотелевским автором работы περὶ ὕλης, *О порождении*. Но Теофраст на многих примерах показывает, что он способен отслеживать морфологические гомологии. Так, он знает, что плющ регулярно пускает корни из побегов между листьями, с помощью которых он цепляется за деревья и стены, [34] что омела не прорастает иначе как на коре живых деревьев, в которые она вонзает свои корни, и что весьма своеобразное формирование мангрового дерева объясняется тем, что "это растение пускает корни из побегов, пока не уцепится за землю и не укоренится снова: и таким образом вокруг дерева образуется непрерывный круг корней, не связанных с главным стеблем, но находящихся на расстоянии от него". [35] Однако ему не удастся определить истинную природу таких структур, как луковицы, корневища и клубни, и все они рассматриваются как корни. Не более успешно он рассуждает и о природе стеблей. Что касается листьев, то здесь он более определен и удовлетворителен, хотя совершенно не понимает их функции; он совершенно ясно говорит, что перистый лист рябины, например, является листом, а не ветвью.

Несмотря на отсутствие понимания природы пола у цветов, он достигает примерно правильного представления о соотношении цветка и плода. Некоторые растения, говорит он, "имеют [цветок] вокруг плода, как виноградная лоза и олива; [цветы] последней, когда опадают, выглядят так, как будто в них есть отверстие, и это считается признаком того, что растение хорошо расцвело; ведь если [цветок] сгорает или намокает, плод падает вместе с ним, и поэтому он не прокалывается. У большинства цветов плод находится в середине, или же цветок может быть на верхушке околоплодника, как у граната, яблони, груши, сливы и мирта... ибо у них семена находятся под цветком..... В некоторых случаях цветок снова находится на вершине семян, как у ... всех чертополохоподобных растений". [36] Таким образом, Теофраст сумел провести различие между гипогиническим, перигиническим и

эпигиническим типами цветка и почти пришел к тому, чтобы рассматривать его отношение к плоду как существенный цветочный элемент.

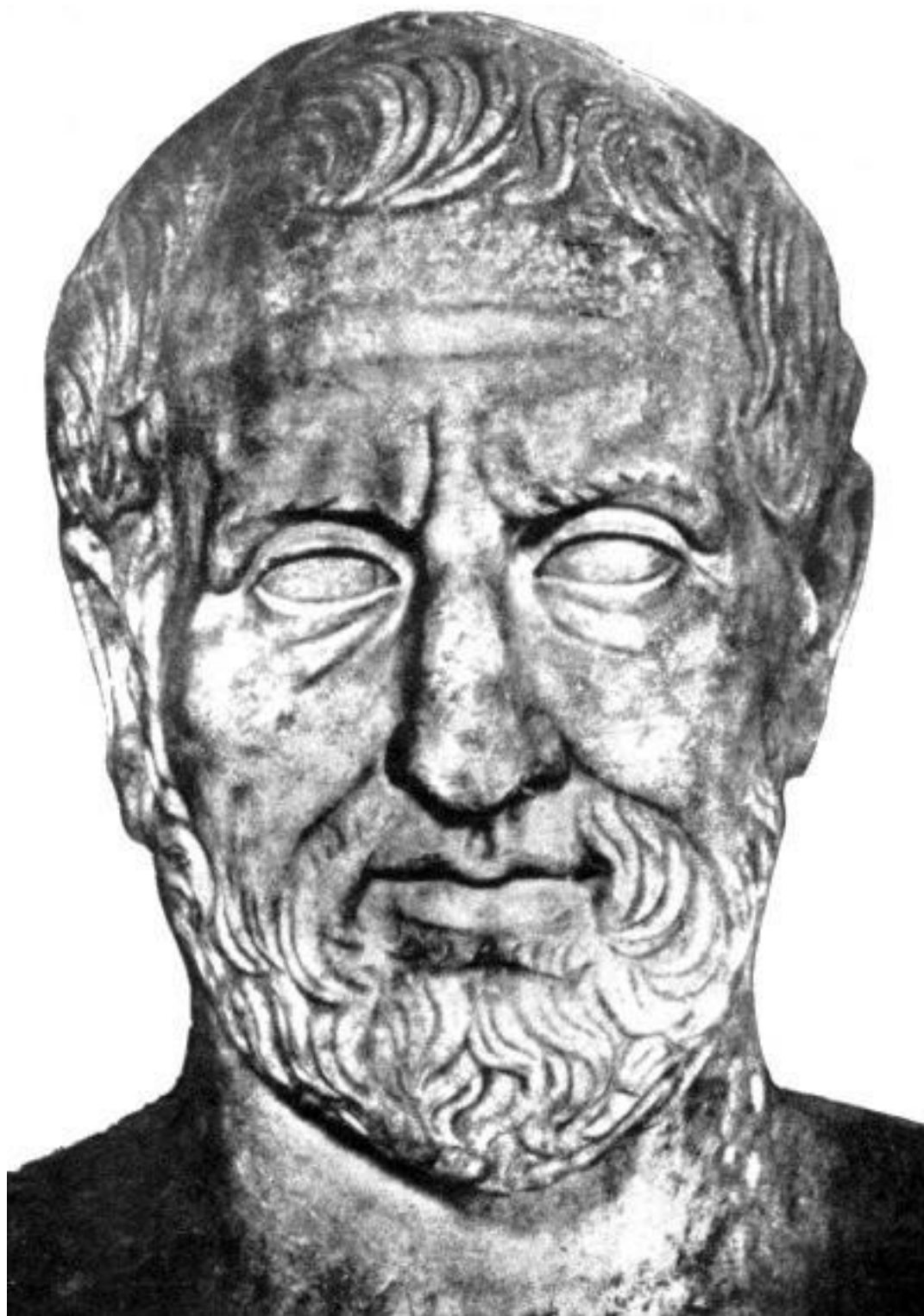


Рис. 8.

THEOPHRASTUS

Из VILLA ALBANI

Копия (II век н. э.) более ранней работы

Теофраст совершенно ясно представляет себе распределение растений в зависимости от почвы и климата, и временами кажется, что он переходит от утверждения о климатическом

распределении к утверждению о реальных географических регионах. Общий вопрос о распространении растений долгое время оставался в том положении, в котором он его оставил, если не отступал от него. Полезность рукописных и ранних печатных травников на Западе в течение столетий была омрачена сохранением описаний растений, подготовленных для греческого Востока и латинского Юга, и эти работы были спасены от полной неэффективности только случайным обращением к природе.

Со смертью Теофраста около 287 года до н. э. чистая биологическая наука в значительной степени исчезает из греческого мира, и мы получаем тот же тип деградации, который позже встречается в других научных отделах. Наука перестает быть мотивом стремления к познанию и становится прикладным исследованием, подчиненным практическим искусствам. Это отношение, от которого в конечном итоге должна страдать и сама прикладная наука. Тем не менее, последующие столетия не обошлись без авторов-биологов очень больших способностей. В медицинской школе Александрии анатомия и физиология были поставлены на прочную основу примерно в 300 году до н. э., но всегда в подчиненном положении по отношению к медицине, которое они занимают с тех пор. Два великих представителя этой школы, Герофил и Эрасистрат, мы должны рассмотреть в другом месте.^[37] Их труды исчезли, и мы располагаем лишь самыми незначительными их фрагментами. Однако в последние дохристианские и первые два послехристианских века существовало несколько писателей, часть работ которых сохранилась и имеет большое биологическое значение. К ним мы относим Кратеуса, ботанического писателя и иллюстратора, который значительно развил, если не ввел, метод систематического изображения растений с помощью иллюстраций, а не описаний. Этот метод, важный до сих пор, был еще более важен, когда не существовало надлежащей системы ботанической номенклатуры. Кратеус своими рисунками растений, копии которых, не исключено, дошли до наших дней, положил начало традиции, которая, закрепившись примерно в пятом веке, оставалась почти неизменной вплоть до переоткрытия природы в шестнадцатом. Он был врачом Митридата VI Евпатора (120-63 гг. до н. э.), но его работы были хорошо известны и оценены в Риме, который стал местом прибежища греческих талантов.^[38]

Цельс, процветавший около 20 года до н. э., написал превосходный труд по медицине, но слишком мало внимания уделяет анатомии и физиологии. Руф из Эфеса, однако, в следующем веке практиковал препарирование обезьян и других животных. Он описал декуссию зрительных нервов и капсулу хрусталика и дал первое дошедшее до нас четкое описание строения глаза. Он рассматривал нервы как происходящие из мозга и различал нервы движения и ощущения. Он описал яйцевод овцы и справедливо полагал, что жизнь возможна без селезенки.

Второй христианский век приносит нам двух писателей, которые, хотя и были незначительными в научном отношении, выступили в качестве основных носителей той традиции греческой биологии, которая дошла до Средних веков, - Плиний и Диоскорида. Плиний (23-79 гг. н. э.), хотя и был латинянином, почти всем ценным в своей энциклопедии обязан греческим трудам. В его *"Естественной истории"* мы имеем собрание современных взглядов на природу, происхождение и применение растений и животных, чего можно было ожидать от умного, трудолюбивого и честного представителя землевладельческого класса, лишенного критических или специальных научных навыков. С научной точки зрения эта работа презренна, но она требует упоминания в любом исследовании наследия Греции, поскольку на протяжении веков была основным проводником древних учений и наблюдений по естественной истории. Читаемая на протяжении веков, как в самые темные, так и в более просвещенные периоды, переписываемая и перепечатываемая, переводимая,

комментируемая, извлекаемая и сокращаемая, значительная часть труда Плиния постепенно перешла в народный обиход, так что благодаря ей цыганская гадалка и сегодня произносит искаженные версии формул Аристотеля и Гиппократов двух с половиной тысячелетней давности.

Судьба Diosкорида (расцвет - 60 г. н.э.) была не менее печальной. Его труд *"Медицинская материя"* состоит из серии кратких описаний растений, расположенных почти без ссылки на природу самих растений, но совершенно бесценных благодаря своим кратким и ярким описаниям, которые часто включают в себя привычки и места обитания. История создания этого труда свидетельствует о том, что он является одним из самых влиятельных ботанических трактатов, когда-либо написанных. В нем содержится большая часть тех скудных ботанических знаний, которые дошли до Средних веков. Он послужил главным стимулом для ботанических исследований в эпоху Возрождения. Она определила общую форму каждой современной фармакопеи. Она практически определила современную номенклатуру растений, как популярную, так и научную.

Переведенный почти на все языки - от англосаксонского и богемского до арабского и иврита, представленный в сокращенном и полном виде в бесчисленных прекрасно иллюминированных рукописях, некоторые из которых до сих пор находятся среди самых ценных сокровищ великих национальных библиотек, Diosкорид, торговец лекарствами, на протяжении веков привлекал схоластические умы. Частота, с которой его фрагменты встречаются в папирусах, показывает, насколько популярны были его работы в Египте в третьем и четвертом веках. Один из самых ранних датированных греческих кодексов - великолепный том Diosкорида, написанный заглавными буквами, [39], который считался достойным свадебным подарком для дамы, которая была дочерью одного римского императора и помолвленной второму. [40] Иллюстрации этого манускрипта V века являются ценнейшим памятником истории искусства и главным украшением того, что когда-то было Королевской библиотекой в Вене [41] (рис. 9-10). Иллюстрированные латинские переводы Diosкорида были в ходу во времена Кассиодора (490-585). Труд, основанный на нем, аналогично иллюстрированный, но носящий имя Апулея, является одним из самых частых средневековых ботанических документов, а самый ранний из сохранившихся экземпляров относится к времени самого Кассиодора. [42] После возрождения учености Diosкорид продолжал привлекать огромное количество филологических и ботанических способностей, и десятки изданий его работ, многие из которых были великолепно иллюстрированы, вышли из-под пера в XVI и XVII веках.

Рисунки V века из JULIANA ANICIA M.S., скопированные с оригиналов I века до н. э. (?)



Рис. 9

ΣΟΓΚΟΣ ΤΡΥΦΕΡΟΣ = *Crepis paludosa*, Moen.

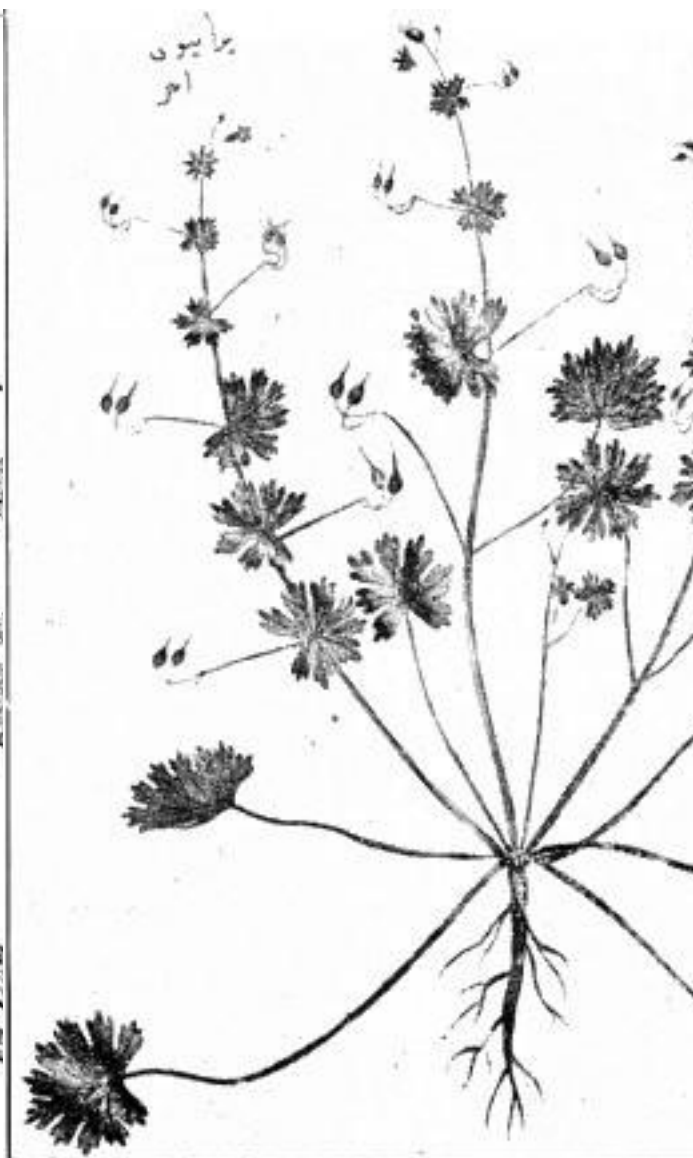


Рис. 10

ΓΕΡΑΝΙΟΝ = *Geranium pyrenaicum*, L.

Но величайшим биологом позднегреческого периода, да и вообще одним из величайших биологов всех времен, был Клавдий Гален из Пергама (131-201 гг. н. э.). Гален с ранних лет посвятил себя медицине, а на двадцать первом году жизни мы слышим о том, что он изучал анатомию в Смирне под руководством Пелопса. С целью расширить свои знания о лекарствах он рано совершил длительное путешествие в Малую Азию. Позже он отправился в Александрию, где усовершенствовал свое анатомическое оборудование и здесь, по его словам, исследовал человеческий скелет. Действительно, вполне вероятно, что его непосредственное практическое знакомство с анатомией человека ограничивалось скелетом и что в Александрии в его время уже не проводилось препарирование человеческого тела. Таким образом, его физиология и анатомия должны были быть получены в основном из животных источников. Он является самым объемным из всех древних научных писателей и одним из самых объемных писателей древности в любой области. Нас здесь интересует не медицинский материал, который в основном заполняет эти огромные тома, а только физиологические взгляды, которые не только преобладали в медицине до Гарвея и после него, но и управляли в течение пятнадцатисот лет как научными, так и популярными представлениями о природе и работе животного тела, и на протяжении веков были внедрены

в нашу речь. Знание этих физиологических взглядов Галена необходимо для любого понимания истории биологии и освещает многие литературные аллюзии Средневековья и Ренессанса.

Между основанием александрийской школы и временем Галена медицина была разделена между множеством сект. Гален был эклектиком и заимствовал части своего учения из многих этих школ, но он также был натуралистом больших способностей и промышленности, и хорошо знал ценность экспериментального пути. Тем не менее он был несколько ветреным философом и, гордясь своими философскими способностями, без колебаний делал выводы из доказательств, которые далеко не всегда были адекватными. Физиологическую систему, которую ему удалось таким образом построить, мы можем теперь кратко рассмотреть (рис. 11).

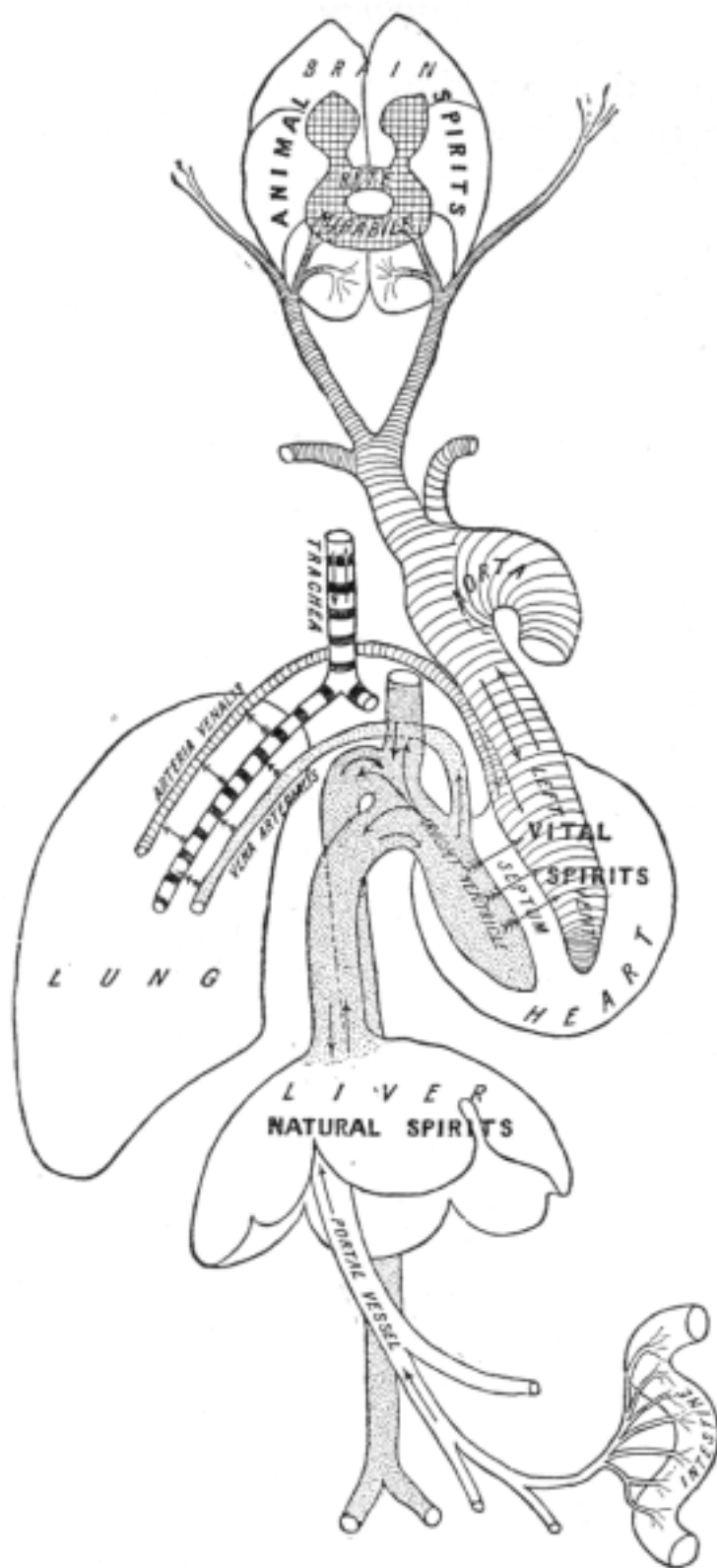


Рис. 11. Иллюстрация

физиологического учения Галена.

Основным принципом жизни в галеновской физиологии является дух, анима или пневма, который извлекается из общего мира-души в процессе дыхания. Он входит в тело через *грубую артерию* (трахея артерия, *arteria aspera* средневековой нотации), орган, известный в нашей номенклатуре как трахея. Из трахеи пневма переходит в легкое, а затем, через *венозную артерию* (артерия флѐβωδης, *arteria venalis* средневековых писателей, легочная

вена нашей номенклатуры), в левый желудочек. Здесь лучше оставить его на время и проследить сосудистую систему по другому маршруту.

Проглоченная пища, проходя по пищеварительному тракту, всасывалась в кишечнике в виде хилеса, собиралась порталным сосудом и доставлялась им в печень. Этот орган, место врожденного тепла, по мнению Галена, обладал способностью превращать хилез в венозную кровь и наделять ее духом или пневмой, которая присуща всему живому, пока оно остается живым, - *естественным духом* (πνεῦμα φυσικόν, *spiritus naturalis* средневековья). Заряженная этим, а также питательными веществами, полученными из пищи, венозная кровь распределяется печенью по венам, которые отходят от нее так же, как артерии от сердца. Эти вены несут питание и *природные духи* ко всем частям тела. *Iecur fons venarum* - печень как источник вен - на протяжении веков оставалась главным аргументом галеновской физиологии. Считалось, что в течение всей жизни кровь непрерывно течет по венам.

От печени отходит один большой сосуд, печеночная вена, от которой отходят остальные ветви. Из этих ветвей одна, наша *общая полая вена*, впадала в правую часть сердца. У крови, которую она доставляла к сердцу, было две судьбы. Большая часть оставалась надолго в желудочке, расставаясь со своими примесями и парами, выделениями органов, которые по *артериоподобной вене* (φλέψ αρτηριώδης, средневековая *vena arterialis*, наша легочная артерия) уносились в легкие и затем выдыхались в наружный воздух. Эти примеси и пары придавали дыханию ядовитый и удушающий характер. Расставшись таким образом со своими нечистотами, венозная кровь оттекает из правого желудочка обратно в венозную систему. Но для небольшой части венозной крови, попавшей в правый желудочек, была уготована другая судьба. Эта небольшая часть венозной крови, заряженная еще *естественным спиртом*, полученным из печени, проходила через мельчайшие каналы в перегородке между желудочками и попадала в левую камеру. Там она сталкивалась с внешней пневмой и превращалась в высшую форму духа, *жизненный дух* (πνεῦμα ζωτικόν, *spiritus vitalis*), который вместе с кровью распределяется по артериальной системе в различные части тела. В артериальной системе она также прилиwała и отлиwała, и можно было видеть и чувствовать, как она там пульсирует.

Но среди крупных артериальных сосудов, по которым текла артериальная кровь, заряженная жизненными духами, были и такие, которые поднимались к мозгу. Прежде чем достичь этого органа, они разделялись на мельчайшие каналы, *rete mirabile* (πλέγμα μεγίστων θαύμα), и, проходя в мозг, превращались под действием этого органа в еще более высокий тип духов, *животных духов* (πνεῦμα ψυχικόν, *spiritus animalis*), бесплотную субстанцию, распространяемую в различные части тела структурами, известными сегодня как нервы, но в то время считавшимися полыми каналами. Три фундаментальные способности διναμεις), *природная, витальная и животная*, которые приводят в действие соответствующие функции тела, возникли, таким образом, как выражение первобытной силы или пневмы.

Эта физиология, как мы можем подчеркнуть, не вытекает из исследования анатомии человека. В человеческом мозге нет *rete mirabile*, хотя такой орган есть у телят. В печени человека нет *печеночной вены*, хотя такой орган есть у собаки. Собаки, телята, свиньи, медведи и, прежде всего, барбарийские обезьяны свободно препарировались Галеном и были теми существами, из которых он черпал свои физиологические идеи. Многие анатомические и физиологические ошибки Галена связаны с тем, что он приписывал одним существам структуры, встречающиеся у других, - факт, который лишь очень постепенно дошел до анатомов эпохи Возрождения.

Все знания, которыми обладал мир в области физиологии с третьего по семнадцатый век, почти все биологические концепции до тринадцатого, большая часть анатомии и значительная часть ботаники до шестнадцатого века, все представления о физическом строении живых существ на протяжении всего средневековья, содержались в небольшом количестве этих работ Галена. Биологические труды Аристотеля и Теофраста шатко держались в нескольких редких рукописях в монастырях Востока; общая продукция сотен лет александрийской и пергамской деятельности была полностью уничтожена; ионийские биологические труды, из которых чудом сохранился образец, были забыты; но эти огромные, ветреные, плохо упорядоченные трактаты Галена продолжали существовать. Переведенные на латынь, сирийский, арабский и иврит, они пропитали интеллектуальный мир Средневековья. Прокомментированные более поздними греческими писателями, которые, в свою очередь, были переведены на тот же список языков, они снова стали подаваться под именами таких греческих авторов, как Орибасий, Павел Эгинский или Александр Тралльский.

В чем же секрет живучести этих галенских биологических концепций? Ответ можно дать в четырех словах. *Гален - телеолог*, причем телеолог такого рода, чьи взгляды вписывались в преобладающую теологическую позицию средневековья, будь то христианство, мусульманство или иудаизм. По его мнению, все, что существует и проявляет активность в человеческом теле, зарождается и формируется разумным существом и по разумному плану, так что орган по своей структуре и функции является результатом этого плана. Безграничная мудрость Творца выбрала наилучшие средства для достижения Его благодетельных целей, и доказательством Его всемогущества является то, что Он создал каждую хорошую вещь в соответствии со Своим замыслом и тем самым исполнил Свою волю". [43]

После Галена наступает тысячелетняя тьма, и биология перестает иметь историю. Ум Темных веков обратился к теологии, и те остатки неоплатонической философии, которые были впитаны в религиозную систему, вряд ли могли помочь научному мировоззрению. Один отдел позитивного знания, конечно, должен был сохраниться. Люди по-прежнему страдали от недугов плоти и по-прежнему искали от них избавления. Но книги, к которым обращались за советом, не имели ничего общего ни с общими принципами, ни со знанием как таковым. Это были самые жалкие из трактатов, которые все еще маскировались под именами Гиппократ и Галена, в основном просто формуляры, антидотарии или, в лучшем случае, списки симптомов. И когда депрессия западного интеллекта прошла, биологического материала, на котором он мог бы питаться, все еще не было.

Преобладающим интересом варварского мира, наконец-то начавшего осваивать наследие античности, была логика. От Аристотеля на латинском языке сохранились только "*Kameropuu*" и "*De interpretatione*", милосердное наследие Боэция, последнего из философов. Если бы сохранился перевод аристотелевских *Historia animalium* или *De generatione animalium*, если бы латинская версия работы Гиппократ "*О поколениях*" или трактатов Теофраста "*О растениях*" дошла до раннего Средневековья, вся ментальная история Европы могла бы быть иной, а переоткрытие природы могло бы опередить века. Но это было изменение души, которого миру пришлось долго ждать; гораздо меньшим был самый ранний биологический дар Греции. Этот дар, когда он появился, проявился в двух формах, одна из которых не получила должного признания, но обе в равной степени являются ее наследием. Эти две формы - во-первых, хорошо известная работа ранних переводчиков и, во-вторых, запоздало признанная работа некоторых школ малого искусства.

Самые ранние биологические трактаты, ставшие доступными на Западе, были переведены не с греческого, а с арабского. [44] Первым из них, возможно, был трактат περὶ μωσῶν

κίνησις, "О движении мышц" Галена, работа, которая содержит больше, чем предполагает ее название, и действительно излагает большую часть галеновской физиологической системы. Она была переведена на латынь с арабского языка Иоаннитом (Хунайн ибн Исхак, 809-73), вероятно, около 1200 года, неким Марком из Толедо. Она привлекла мало внимания, но вскоре после этого стали доступны биологические труды Аристотеля. Первым, вероятно, был фрагмент "О растениях". Греческий оригинал этого сочинения утерян, и, кроме латинского, сейчас известна только арабская версия прежнего арабского перевода сирийского перевода греческого комментария! Такая работа появилась под рукой переводчика, известного как Альфред Англичанин, около 1220 года или чуть позже. Ни это, ни другое произведение того же переводчика, "О движении сердца", в котором предпринималась попытка утвердить первенство этого органа на аристотелевских основаниях, нельзя назвать проникнутыми духом мастера.[45]

Немного лучше этих работ труды чародея Михаила Шотландского (1175?-1234?). Роджер Бэкон рассказывает, что Михаил в 1230 году "появился [в Оксфорде], принес с собой труды Аристотеля по естественной истории и математике, с мудрыми толкователями, так что философия Аристотеля была превознесена среди латинян".[46] Примерно в это же время Скотт создал свой труд "De animalibus", включив в него три великих биологических труда Аристотеля, переведенных с некачественной арабской версии.[47] Альбертус Магнус (1206-80 гг.) еще не имел прямого перевода с греческого для своего большого комментария к "Истории животных", но он полагался на Скотта. Биологические труды Аристотеля были переведены на латынь непосредственно с греческого в 1260 году, вероятно, Вильгельмом Моербекским.[48] Такие переводы, появившиеся в эпоху полной схоластики, когда все было направлено против непосредственного наблюдения, нельзя назвать благодатной почвой. Они представляли собой упорядоченное изложение природы и хороший метод исследования, но это были подарки обществу, которое мало что понимало в их реальной ценности.[49]

Тем не менее появление этих текстов совпало с возвращением желания наблюдать за природой. Альберт, при всем своем схоластицизме, не был презренным натуралистом. Можно сказать, что он положил начало изучению растений из первых рук в современную эпоху, если судить по литературным источникам. Его книга *De vegetabilibus* содержит прекрасные наблюдения, и он достоин включения в число отцов ботаники. В своем обширном трактате "О животных" (*De animalibus*), затрудненном его образованностью и многословием, он показывает себя истинным наблюдателем, впитавшим в себя дух великих натуралистов, чьим трудам он посвятил всю жизнь и которые, как он утверждает, комментирует. Мы ясно видим, как действует закваска аристотелевского духа, хотя Альберт все еще школьник. Мы можем процитировать отрывок о порождении рыб - предмет, по которому некоторые из самых замечательных описаний Аристотеля остались неподтвержденными до наших дней. Эти описания произвели на Альберта такое же впечатление, как и на современного натуралиста. Для тех, кто ничего не знает о стимулирующей силе аристотелевских биологических трудов, описание Альбертом эмбрионов рыб и его точное отличие способа их развития от птичьего - отсутствие аллантоиновой мембраны у одних и ее наличие у других, - несомненно, должно быть поразительным. Альберт опирается на Аристотеля - на версию Аристотеля из третьих рук, - но не рабски следует за ним.

"Между способом развития (*anathomiam generationis*) птичьих и рыбьих яиц есть следующее различие: во время развития рыбы вторая из двух вен, идущих от сердца [как описано Аристотелем у птиц], не существует. Ибо мы не находим в яйцах птиц вены, простирающейся

до внешней оболочки, которую некоторые ошибочно называют пупком, поскольку она несет кровь к внешним частям; но мы находим вену, соответствующую желточной вене птиц, ибо эта вена впитывает питание, благодаря которому конечности увеличиваются..... У рыб, как и у птиц, каналы тянутся от сердца сначала к голове и глазам, и в них сначала появляются большие верхние части. По мере роста молодой рыбы белок уменьшается, встраиваясь в ее члены, и полностью исчезает, когда развитие и формирование завершены. Биеение сердца ... передается в нижнюю часть брюшка, неся пульс и жизнь низшим членам".

Пока молодые [рыбы] малы и еще не полностью развиты, у них есть вены большой длины, которые занимают место пупочной струны, но по мере роста и развития они укорачиваются и сжимаются в теле по направлению к сердцу, как мы уже говорили о птицах. Молодь рыб и икринки заключены в оболочку, как и яйца и молодь птиц. Эта оболочка напоминает твердую мозговую оболочку [мозга], а под ней находится другая [соответствующая, таким образом, pia mater мозга], которая содержит молодое животное и ничего больше".[50]

В следующем веке Конрад фон Мегенберг (1309-98 гг.) создал свою *"Книгу природы"*, полный труд по естественной истории, первый в своем роде на просторечии, основанный на латинских версиях, теперь уже переведенных с греческого, аристотелевских и галеновских биологических трудов. Она хорошо упорядочена и открывается систематическим рассказом о строении и физиологии человека как типа животного творения, который затем систематически описывается, а за ним следует рассказ о растениях. Конрад, хотя и руководствуется Аристотелем, использует собственные глаза и уши, и с ним и Альбертом началась эра непосредственного наблюдения.[51]

Но был еще один отдел, в котором наследие Греции нашло еще более раннее признание. На протяжении веков иллюстрации к гербариям и бестиариям копировались из рук в руки, продолжая традицию, зародившуюся греческих художников первого века до н. э. Но их работы, копируемые на каждом этапе без привязки к объекту, постоянно отдалялись от сходства с оригиналом. В конце концов иллюстрации стали лишь формальными образцами, в таком состоянии они оставались в некоторых поздних копиях, подготовленных уже в XVI веке. Но в определенный период наступает перелом, и художник, не желая больше полагаться на традиции, обращается, наконец, к природе. Это новое волнение в искусстве соответствует новому волнению в литературе, арабскому возрождению - наследию Греции, хотя и сильно ухудшившемуся в пути, - которое породило схоластику. В большинстве прекрасных резных и скульптурных работ французских соборов новое движение проявляется в начале тринадцатого века. В таком месте, как Шартр, мы видим попытку достоверно изобразить растения и животных в камне уже в 1240 году или раньше. В более легком материале - пергаменте - та же тенденция проявляется еще раньше. Начавшись однажды, этот процесс продвигается медленно до великого восстановления греческих текстов в пятнадцатом веке, когда он снова ускоряется.

В XVI веке энергия ботаников и зоологов была направлена в основном на создание тщательно аннотированных и иллюстрированных изданий Диоскорида и Теофраста, а также описаний животных, их повадок и строения, которые должны были проиллюстрировать труды Аристотеля, в то время как анатомы исследовали тела людей и зверей, чтобы подтвердить или опровергнуть Галена. Большие монографии о птицах, рыбах и растениях этого периода, которые, казалось бы, являются лишь комментариями к Плинию, Аристотелю и Диоскороду, на самом деле представляют собой первые важные попытки современной естественной истории. Они естественным образом переходят в энциклопедии конца шестнадцатого века, а те - в физиологические труды семнадцатого. Аристотель никогда не

был мертвой рукой в биологии, как он был в физике, и это по той причине, что он был великим биологом, но не был великим физиком.

С наступлением XVI века труды Аристотеля и в меньшей степени Диоскорида и Галена стали большим стимулом для основания новой биологической науки. Маттиоли (1520-77) в своем комментарии к Диоскороду (первое издание 1544 года), который был одной из первых работ такого рода, появившихся на просторечии, сделал ряд наблюдений из первых рук о повадках и строении растений, которые поражают даже современного ботаника. Примерно в то же время галеновская физиология, изложенная также в многочисленных трудах на вульгарном языке и вызвавшая любопытство медиков, стала несомненным родителем современной физиологии и сравнительной анатомии. Но, прежде всего, аристотелевские биологические труды были удобением для ума. Очень интересно наблюдать, как такой тонкий наблюдатель, как Фабрициус аб Аквапенденте (1537-1619), закладывает основы современной эмбриологии в великолепной серии наблюдений из первых рук, рассматривая свои собственные великие исследования почти как комментарий к Аристотелю. Какой впечатляющий контраст с сухой физикой того времени, также основанной на Аристотеле! "Моя цель, - говорит Фабриций, - состоит в том, чтобы рассказать о формировании зародыша у каждого животного, начиная с того, которое происходит из яйца, ибо это должно иметь приоритет перед всеми другими рассуждениями на эту тему, как потому, что нетрудно изложить взгляд Аристотеля на этот вопрос, так и потому, что его трактат о формировании зародыша из яйца является самым полным, а тема - самой обширной и трудной".[\[52\]](#)

Трудолюбивый и осторожный Фабриций, обладавший удивительным талантом к наблюдению, освещенный не своим собственным светом, а светом Аристотеля, находится в отношениях с мастером, подобно тому, как это делал ученик Аристотеля во плоти Теофраст. Работы этих двух людей, Фабриция и Теофраста, действительно похожи друг на друга. Оба опираются на одну и ту же группу общих идей, оба одинаково спокойно продвигаются от наблюдения к наблюдению, у обоих есть вдохновение, которое эффективно и стимулирует, но ниже самого высокого уровня, оба полны энтузиазма и эффективны как исследователи фактов, но робки и неэффективны в формулировании выводов.

Но Фабриций был более счастлив в своих учениках, чем Теофраст, поскольку мы можем наблюдать, как те же самые аристотелевские идеи бродили в голове преемника Фабриция, величайшего биолога со времен самого Аристотеля, Уильяма Гарвея (1578-1657).[\[53\]](#) Работа этого автора "*О поколении*" - тщательный комментарий к работе Аристотеля на ту же тему, но это комментарий не в старом смысле, а в духе самого Аристотеля. Каждое утверждение взвешивается и проверяется в свете опыта, и молодой естествоиспытатель, при всем своем почтении к Аристотелю, не стесняется критиковать его выводы. Он демонстрирует независимость мышления, изобретательность в экспериментах и способность к дедукции, что ставит его трактат на среднее место среди трех великих работ по эмбриологии, в число которых входят труды Аристотеля и Карла Эрнста фон Бэра (1796-1876).[\[54\]](#)

Со второй половины XVII века и на протяжении большей части XVIII биологические труды Аристотеля привлекали все меньше внимания. Битва против аристотелевской физики была проведена и выиграна, но вместе с ней биологические труды Аристотеля незаслуженно отошли в тень, нависшую над всеми идолами средневековья.

Повторное открытие аристотелевской биологии - дело современное. Сбор огромного богатства живых форм поглощал энергию поколений натуралистов от Рея (1627-1705) и Уиллоуби (1635-72) до Реомюра (1683-1757) и Линнея (1707-1778) и далее до XIX века.

Масштаб и увлекательность работы, кажется, почти исключали общие идеи. С окончанием этого периода и появлением более философского типа натуралистов, , таких как Кювье (1769-1832) и члены семьи Сент-Илер, Аристотель снова стал своим. С начала девятнадцатого века, когда натуралисты получили возможность проверить работы Аристотеля, его репутация как натуралиста постоянно росла. Иоганн Мюллер (1801-58), Ричард Оуэн (1804-92), Джордж Генри Льюс (1817-78), Уильям Огл (1827-1912) - вот лишь некоторые из тех, кто черпал непосредственное вдохновение в его биологических работах. С улучшением современных методов исследования проблемы поколения поглотили большое количество биологического внимания, и интерес стал особенно сосредоточен на работе Аристотеля по этой теме, которая, возможно, в настоящее время читается более широко, чем любой биологический трактат, древний или современный, за исключением работ Дарвина. Этот великий натуралист писал Оглу в 1882 году: "Из цитат, которые я видел, я имел высокое представление о достоинствах Аристотеля, но я не имел и отдаленного представления о том, каким замечательным человеком он был. Линней и Кювье были двумя моими богами, хотя и в очень разных отношениях, но они были просто школьниками по сравнению со старым Аристотелем".

Чарльз Зингер.

МЕДИЦИНА

Ἡροφίλος δὲ ἐν τῷ Διαίτητικῷ καὶ σοφίαν φησὶν ἀνεπίδεικτον καὶ τέχνην ἀθλὸν καὶ ἰσχύιν ἀναγώνιστον καὶ πλούτον ἀχρεῖον καὶ λόγον ἀδύνατον, ὑγίειας ἀπουσίᾳ.

{Hêrophilos de en tō Diatêtikō kai sophian phêsin anepideikton kai technên adêlon kai ischyn anagôniston kai plouton achreion kai logon adynaton, hygieias apousês}.

Герофилос, греческий философ и врач (ок. 300 г. до н. э.), справедливо писал, что "науке и искусству одинаково нечего показать, что сила неспособна к усилиям, богатство бесполезно, а красноречие бессильно, если нет здоровья".[55] Поэтому у всех народов были свои методы лечения тех отклонений от здоровья, которые мы называем болезнями, а у народов более высокой культуры эти методы в большинстве случаев были сведены к чему-то, напоминающему систему. В древности, как и сейчас, существовало множество таких систем, а народы, которые с ранних времен практиковали искусство письма, оставили значительные записи о своих медицинских методах и доктринах. Таким образом, мы можем составить достаточно полное представление о медицинских принципах месопотамской, египетской, иранской, индийской и китайской цивилизаций. Многие в этих системах, как и в медицине более примитивных племен, основывалось на определенной теории болезней, которая вписывалась в более широкую теорию о природе зла. Самой распространенной из этих теорий была и остается демоническая - взгляд, рассматривающий отклонения от нормального состояния здоровья как следствие либо нападения сверхъестественных существ, либо их фактического проникновения в тело страдальца. Медицинская система, основанная на таком взгляде, способна к большой разработке в более высокой цивилизации, но, не будучи основанной на наблюдении, вряд ли способна к бесконечному развитию, поскольку в конце концов должен быть достигнут момент, когда разум отшатнется от сложных выводов, далеких от наблюдаемых явлений. Например, медицина древней и оседлой цивилизации такого народа, как ассииро-вавилоняне, от которой сохранились значительные следы, вряд ли является более эффективной, если вообще является таковой,

хотя и гораздо более систематизированной, чем медицина многих диких и неграмотных племен, которые можно наблюдать в наши дни. О такой медицине мы можем рассказать, но вряд ли сможем написать *историю*. Мы не можем установить те элементы преемственности и развития, из которых только и может быть построена история.

Среди народов древности только греки отличались тем, что практиковали систему медицины, основанную не на теории, а на наблюдениях, систематически накапливаемых с течением времени. В отношении греков можно утверждать, что, по крайней мере, некоторые из них не были отклонены никакой теорией, не были обмануты никакой теургией, не были затруднены никакой традицией в поисках фактов болезни и в попытках интерпретации ее явлений. Только греки среди древних могли смотреть на своих целителей как на *врачей* (= натуралистов, *φύσις* = природа), и само это слово стоит как вечное напоминание об их достижении.[56]

На определенном этапе истории западного мира - точный момент времени может оспариваться, но событие признается всеми - люди обратились к исследованию сокровищ древней мудрости, и вся масса греческой медицинской учености постепенно предстала перед студентом. В этой массе было много отбросов, материалов, сохранившихся с ранних позднегреческих времен, которые едва ли превосходили, если вообще превосходили, дебильные сочинения, распространявшиеся под именем медицины в средние века. Но найденные греческие медицинские труды также содержали некоторые материалы самого чистого и научного типа, и эти материалы и дух, в котором они были написаны, составляют долг современной медицины перед античностью.

Это долг, значение которого невозможно преувеличить. Врачи эпохи возрождения знаний и долгое время после нее, несомненно, слишком сильно привязывали свою веру к письменному слову своих греческих предшественников и стремились заключить свободный дух Гиппократов и Галена в жесткие стены своих собственных переоткрытых текстов. Великие пионеры медицины несколько более поздней эпохи, разгневанные этой попыткой, реальная природа которой была в значительной степени скрыта от них, нередко восставали и справедливо восставали против рабства грекам, в котором они были воспитаны. И все же несомненно, что эти современные первооткрыватели были истинными наследниками греков. Без Герофила у нас не было бы Гарвея, и становление физиологии могло бы задержаться на века; если бы не сохранились труды Галена, Везалий никогда бы не восстановил анатомию, и хирургия тоже могла бы остаться позади вместе со своей отсталой сестрой - медициной; коллекция Гиппократов была необходимой и признанной основой для работы величайшего из современных клинических наблюдателей, Томаса Сайденхема, а учение Гиппократов и его школы - существенная основа обучения в палатах современной больницы. Поэтому на последующих страницах мы предлагаем рассмотреть общий характер медицинских знаний в лучший греческий период и кратко рассмотреть, как много из этого великого наследия осталось доступным для ранних современных врачей. Таким образом, читатель сможет составить некоторое представление о том, в какой степени это наследие дошло до наших дней.

Очевидно, что среди такой группы народов, как греки, различающихся по уровню цивилизации, умственным способностям, географическому и экономическому положению и общему мировоззрению, медицинская практика отнюдь не могла быть единообразной. Без какого-либо метода централизации медицинского образования и стандартизации обучения среди них существовало большое разнообразие доктрин и практик, и большая часть из них находилась на низком уровне народных обычаев. Подобный материал низшего уровня греческого происхождения дошел до нас в изобилии, хотя большая его часть, как ни

странно, относится к более позднему времени. Но подавляющая масса ранней греческой медицинской литературы представляет нам чисто научную попытку наблюдать и классифицировать болезни, делать обобщения на основе тщательно собранных данных, объяснять происхождение болезней на рациональных основаниях и применять средства лечения, когда это возможно, на обоснованной основе. Таким образом, мы можем быть уверены, что, несмотря на серьезные и невосполнимые потери, мы все еще владеем некоторыми из самых лучших продуктов греческого медицинского интеллекта.

Существует множество свидетельств того, что греки, как и многие другие народы средиземноморского и азиатского происхождения, унаследовали от более далеких предков целую систему магической или, по крайней мере, нерациональной фармации и медицины. Можно провести поразительные параллели между этими народными элементами у греков и медицинскими системами ранних римлян, а также с медициной индийских Вед, древних египтян и самых ранних европейских варварских писаний. Поэтому разумно предположить, что эти элементы, когда они появляются в поздних греческих сочинениях, представляют собой более примитивные народные элементы, проникающие под влиянием социальной дезинтеграции и последующей умственной деградации через верхние слои грамотного греческого мира. Но эти элементы, представляющие огромный интерес для антрополога, психолога, этнолога и историка религии, нас здесь не очень интересуют. Как бы ни были они важны, они не являются частью особых притязаний греческого народа на отличие, а скорее помогают нам объединить греческий менталитет с менталитетом других родственных народов. Здесь мы скорее обсудим ход развития собственно греческой научной медицины, тип медицинской доктрины и практики, способный к развитию в собственном смысле этого слова, который лежит в основе нашей современной системы. Мы имеем дело, по сути, с самой ранней эволюционной медициной.

Нам нет необходимости обсуждать первые истоки греческой медицины. Материал скуден, а выводы несколько сомнительны и, возможно, преждевременны, так как обнаружение значительного фрагмента исторического труда Менона, ученика Аристотеля, содержащего описание взглядов некоторых предшественников школы Гиппократов, возрождает надежду, что более широкое исследование может дать дальнейшую информацию об источниках и природе самых ранних греческих медицинских трудов.^[57] Изучение месопотамских звездных легенд позволило связать их с ранней греческой астрономической наукой. Однако усилия исследователей клинописи не были столь же успешными для медицины, и в целом общая тенденция современных исследований состоит в том, чтобы придать меньший вес месопотамским и больший египетским источникам, чем это признавалось ранее; так, совсем недавно был описан египетский медицинский папирус 1700 года до н. э., который имеет явное сходство с некоторыми трактатами Гиппократов.^[58] Ряд лекарств, обычно используемых греками, таких как *андропогон*, *кардамон* и *восточный кунжут*, также имеют индийское происхождение. Также следует учитывать минойскую культуру, и хотя наши знания еще недостаточны, чтобы говорить о том, какое наследие греческая медицина могла или не могла получить из этого источника, представляется неправдоподобным, что греческая гигиена может быть обязана ему.^[59] Опустив, таким образом, эту раннюю эпоху, мы переходим непосредственно к более позднему периоду, между шестым и четвертым веками, от которого до нас дошли документы.

Самая ранняя медицинская школа, о которой мы имеем точные сведения, находится в Книде, лакедемонской колонии в азиатском Дорисе. Ее происхождение, возможно, восходит к седьмому веку до н. э. Мы располагаем фактическими данными о том, что учителя Книда имели обыкновение систематически собирать явления болезни, для которых они создали

очень сложную классификацию, и, вероятно, мы также располагаем несколькими из их реальных работ. Врачи Коса, единственные их современные критики, чьи труды сохранились, считали, что врачи Книда уделяли слишком много внимания фактическим ощущениям пациента и физическим признакам болезни. Наиболее важные из доктрин книдийцев были изложены в серии *сентенций* или афоризмов, которые, судя по всему, прививали египтянам принцип лечения по симптомам или, в крайнем случае, по болезни, а не по пациенту, что подтверждается содержанием гинекологических работ вероятного книдийского происхождения, включенных в так называемую "коллекцию Гиппократов". Кроме того, до нас дошло несколько имен книдийских врачей с названиями их работ и более поздним утверждением, что они занимались анатомией. Не приходится сомневаться и в том, что книдийская школа опиралась также на персидскую и индийскую медицину.

Школа соседнего острова Кос возникла немного позже, чем школа Книда, и, вероятно, датируется шестым веком до н. э. О коанской школе или, по крайней мере, об общих тенденциях, которые она представляла, мы имеем великолепный и богатый литературный памятник в *Corpus Hippocraticum*, коллекции, которая, вероятно, была собрана в начале третьего века до н. э. комиссией александрийских ученых по приказу книголюба Птолемея Сотера (правил в 323-285 гг. до н. э.). Элементы, из которых состоит этот сборник, относятся к разным периодам с VI по IV век до н. э., имеют разную ценность и происхождение, но в основном они представляют точку зрения врачей восточной части греческого мира в V и IV веках.

Наиболее очевидная черта, выдающийся элемент, который сразу же бросается в глаза современному наблюдателю в этих "коановских" трудах, - это огромный акцент, сделанный на фактическом течении болезни. "По-моему, это превосходнейшая вещь, - так открывается одна из величайших работ Гиппократов, - чтобы врач культивировал *проною*."^[60] Предвидя и предсказывая в присутствии больных прошлое, настоящее и будущее (их симптомы) и объясняя все, что пациенты игнорируют, он, как полагают, понимает их состояние, так что люди будут с уверенностью верить себя его заботе..... Таким образом, он завоевывает справедливое уважение и станет хорошим врачом. Заранее спрогнозировав каждый случай, он сможет правильно ухаживать за теми, у кого есть шанс выжить, и, предвидя и указывая, кто умрет, а кто выживет, он избежит вины...."^[61]

Подобно тому, как книдийцы, разделяя болезни по симптомам, придавали большое значение диагностике и чрезмерно усердствовали в лечении, так и коанцы придавали большое значение прогнозу и поэтому приняли в основном ожидающее отношение к болезням. И книдийские, и коанские врачи были объединены общей связью, которая исторически, если не фактически, была связана с храмовым поклонением. Врачи, объединившиеся во имя бога, как Асклеиады, могли избежать, и они избежали, низменных теургических элементов храмовой медицины. Они были так же лишены их, как современный католический врач, как можно ожидать, будет свободен от абсурда Лурда. Но крайний культ прогноза у коанов, возможно, восходит к медицинским преданиям храмовых прорицателей, чьи божественные предзнаменования были заменены признаками физической природы самого пациента.^[62] Мы также склонны связать его с процессом астрономического и астрологического прогнозирования, практиковавшимся в месопотамских цивилизациях, которым Иония подражала и от которых так много почерпнула. Таким образом, религия имела такое же отношение к медицине, какое она имеет к современному "религиозному" медику, как мотив и общее направление его практики, хотя и без влияния на детали и метод.

Во время развития коанской медицинской школы по этим направлениям в шестом и пятом веках происходило замечательное движение в совершенно другой части греческого мира. Мы не будем вдаваться в курс и общее значение сицилийской философии, но это необычное движение не могло не отразиться на медицинской теории и практике. Очень важным в этом направлении был Эмпедокл из Агригентума (ок. 500-430 гг. до н. э.). Свое мнение о том, что кровь является местом "врожденного тепла", εμψυτον θερμον, он взял из народного поверья - "кровь - это жизнь" - и это врожденное тепло он тесно отождествлял с душой. Более полезным было его учение о том, что дыхание происходит не только через то, что сейчас известно как дыхательные пути, но и через поры кожи. Его учение привело к убеждению, что сердце является центром сосудистой системы и главным органом "пневмы", которая распространяется по кровеносным сосудам. Эта пневма была эквивалентна душе и жизни, но это было нечто большее. Она отождествлялась с воздухом и дыханием, и можно было видеть, как пневма поднимается в виде мерцающего пара из пролитой крови жертвенной жертвы - ведь разве кровь не была ее естественным домом? Существовала также пневма, которая пронизывала окружающую нас вселенную и придавала ей те жизненные качества, которыми, как считалось, она обладала. Анаксимен (ок. 610-545 гг. до н. э.), ионийский предшественник Эмпедокла, можно сказать, определил для нас эти функции пневмы; ὅιον ἡ ψυχὴ ἡ ἡμέτερα ἀὴρ οὐσα συνκράτει ἡμᾶς, ὅλον τὸν κόσμον πνεῦμα καὶ ἀὴρ περιέχει {hoion hê psychê hê hê hêmetera aêr ousa synkratei hêmas, holon ton kosmon pneuma kai aêr periechei}, "Как наша душа, будучи воздухом, поддерживает нас, так пневма и воздух пронизывают всю вселенную";[63] Но именно рассуждения самого Эмпедокла стали считаться основой пневматической школы в медицине, которая впоследствии получила очень важное развитие.

Другим ранним представителем западной школы, внесшим важный вклад в медицинскую доктрину, и только в этом отношении мы должны рассматривать его, был Пифагор Самосский (ок. 580-490 гг. до н. э.). Для него число, как чистейшее понятие, составляло основу философии. Единство было символом совершенства и соответствовало самому Богу. Материальная вселенная обозначалась цифрой 2 и делилась на число 12, откуда мы имеем 3 мира и 4 сферы. Они, в свою очередь, согласно, по крайней мере, поздним пифагорейцам, дают начало четырем стихиям - земле, воздуху, огню и воде - основному учению медицины и науки, заимствованному, возможно, из Древнего Египта и просуществовавшему более двух тысячелетий. Пифагорейцы также учили о существовании животной души, эманации души вселенной. Во всем этом можно различить зародыш того учения о соотношении человека и Вселенной, микрокосма и макрокосма, которое, подавленное как неактуальное в трудах Гиппократов, вновь появляется в платонических и особенно в неоплатонических сочинениях и составляет очень важную догму в позднейшей медицине.

Учеником Пифагора и старшим современником Эмпедокла был Алкмеон из Кротона (ок. 500 г. до н. э.), который начал создавать позитивную основу для медицинской науки, практикуя препарирование животных, и открыл зрительные нервы и евстахиевы трубы. Он даже распространил свои исследования на эмбриологию, описав голову плода как первую развивающуюся часть - оправданный вывод из внешнего вида. Алкмеон также ввел доктрину, согласно которой здоровье зависит от гармонии, а болезнь - от разлада элементов внутри организма. Любопытство к распределению сосудов было возбуждено Эмпедоклом и Алкмеоном и привело к дальнейшему препарированию, а ученики Алкмеона Акрон (ок. 480 г. до н. э.) и Павсаний (ок. 480 г. до н. э.), а также более поздний Филистион Локрийский,[64] современник Платона, провели анатомические исследования.

Взгляды Эмпедокла, особенно его доктрина, считавшая сердце главным местом пребывания пневмы, хотя и были отвергнуты коанской школой в целом, не остались без влияния на Ионию. Диоген Аполлонийский, философ пневматизма, писатель конца V века, который, должно быть,

был современником Гиппократ Великого, сам провел исследование кровеносных сосудов; влияние той же школы можно проследить в небольшой работе περὶ καρδίας, "*О сердце*", которая является лучшим анатомическим трактатом из собрания Гиппократ. В этом труде описываются аорта и легочная артерия, а также три клапана в корне каждого из больших сосудов, и говорится об экспериментах для проверки их действия. В ней говорится о перикарде и перикардальной жидкости, а также, возможно, о *musculi papillares*, и противопоставляется толщина стенок правого и левого желудочков. Автор считает, что левый желудочек пуст от крови, как и после смерти, и является источником врожденного тепла и абсолютного интеллекта. Эти взгляды согласуются с доктринами Эмпедокла, так что мы, возможно, даже рискуем рассматривать эту работу как сохранившийся документ сицилийской школы. Интересно отметить, что здесь мы имеем первый намек на препарирование человека, поскольку автор говорит нам, что сердца животных можно сравнить с человеческим. Однако право первым написать об анатомии человека как таковой принадлежит, вероятно, более позднему автору, Диоклу, сыну Архидама Карийского, который жил в четвертом веке до нашей эры.[65]

Теперь мы можем обратиться к Гиппократову корпусу в целом. Это собрание состоит примерно из 60 или 70 отдельных работ, написанных в разные периоды и в разной степени сохранности. В лучшем случае лишь очень небольшая часть из них может быть приписана Гиппократу, но обсуждение общего вопроса о "подлинности" работ теперь признано бесполезным, поскольку мы точно не имеем никаких критериев, позволяющих определить, принадлежит ли та или иная работа перу отца медицины, и самое большее, что мы можем сказать о таком трактате, - это то, что он, похоже, принадлежит к его школе и написан в его духе. И все же среди великих даров этого сборника нашему времени и всем временам есть два, которые выделяются на фоне остальных: изображение человека и изображение метода.

Человек - это сам Гиппократ. О фактических подробностях его жизни мы почти ничего не знаем. Период его наибольшей активности приходится примерно на 400 год до н. э. Похоже, он вел бродячую жизнь. Родом из длинного рода врачей с острова Кос, он вел свою деятельность во Фракии, Абдерах, Делосе, Пропонтиде (Кизике), Тасосе, Фессалии (в частности, в Лариссе и Мелибое), Афинах и других местах, умер в Лариссе в глубокой старости около 377 года до нашей эры. У него было много учеников, среди которых были два его сына - Фессал и Дракон, которые также совершали путешествия, его зять Полибий, фрагмент сочинений которого сохранил для нас Аристотель,[66] вместе с тремя другими коанами, носившими имена Аполлоний, Дексипп и Праксагор. Этот - практически все, что мы знаем о нем с уверенностью. Но хотя этот взгляд очень туманен и далек, мы не можем преувеличить влияние на развитие медицины и значение для врачей всех времен традиционного представления о нем, которое сложилось в ранние времена и которое, действительно, можно вновь составить на основе работ, носящих его имя. По красоте и достоинству эта фигура выше всяких похвал. Возможно, приобретая в статности то, что он теряет в ясности, Гиппократ навсегда останется типом идеального врача. Ученый, наблюдательный, гуманный, с глубоким почтением относящийся к требованиям своих пациентов, но с непреодолимым желанием, чтобы его опыт принес пользу другим, упорядоченный и спокойный, нарушаемый лишь стремлением записать свои знания для использования своими братьями-врачами и для облегчения страданий, серьезный, задумчивый и сдержанный, чистый духом и владеющий своими страстями, - это не перерисованное изображение отца медицины, каким он предстал перед своими современниками и преемниками. Это образ характера и добродетели, который имел этическое значение для медиков всех веков, сравнимое только с влиянием, которое оказывали на своих последователей основатели великих религий. Если бы требовалось изречение, которое можно было бы поместить на статую Гиппократ, то лучше этого изречения из книги Παραγγέλαι, "*Наставления*", не найти:

ην γὰρ παρῇ φιλάνθρωπι παρῇσι καὶ φιλοτεχνίῃ

"Где любовь к человеку, там и любовь к искусству".[67]

Многочисленные его бюсты, дошедшие до нас, не являются портретами. Но лучшие из них представляют собой нечто гораздо лучшее и более полезное для нас, чем любой портрет. Они представляют собой идеализированные изображения того, каким должен быть врач, и каким он был в глазах лучших и мудрейших греков.[68]

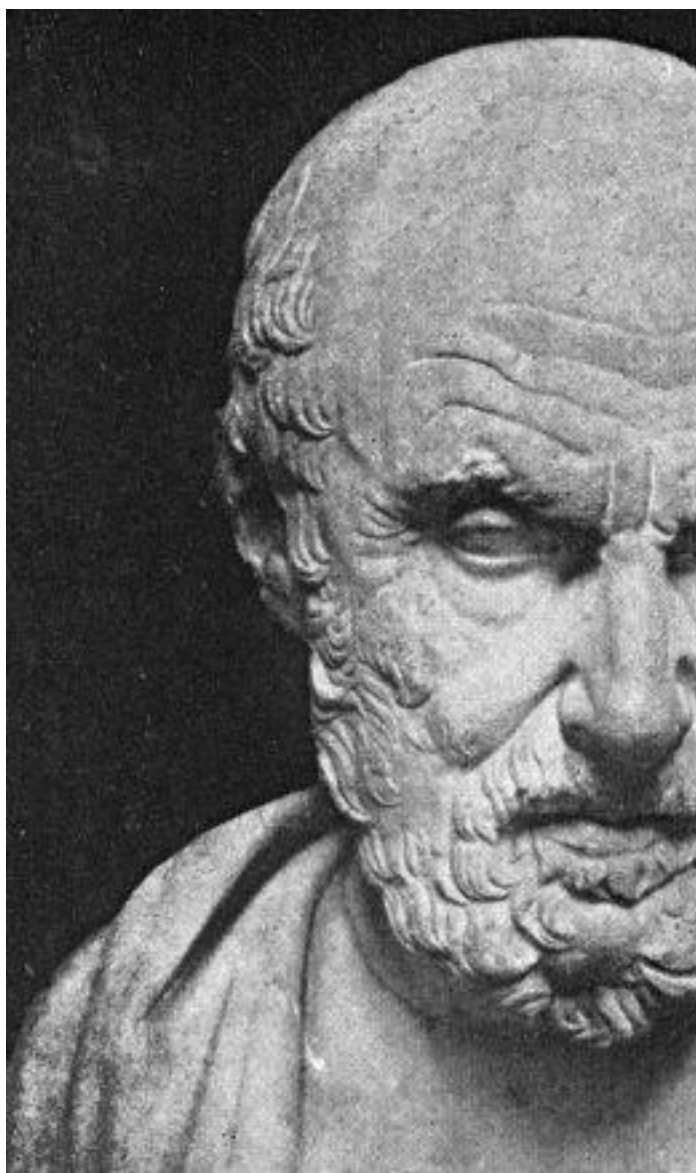


Рис. 1. ГИППОКРАТ

Британский музей, второй или третий век до нашей эры.

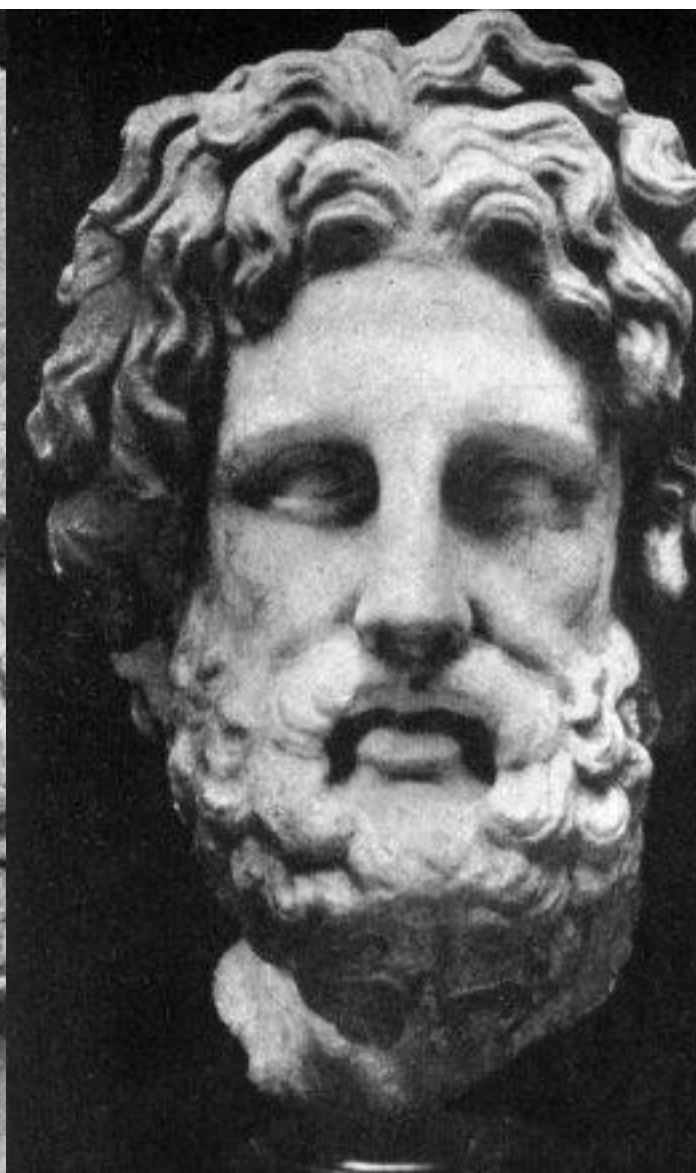


Рис. 2. АСКЛЕПИЙ

Британский музей, четвертый век до нашей эры.

Метод Гиппократ - это метод, известный сегодня как "индуктивный". Не имея огромного научного наследия, которое находится в наших руках, располагая лишь сравнительно небольшим количеством наблюдений, почерпнутых из коанской и соседних школ, окруженные всевозможными причудливыми восточными религиями, в которых не признавалась адекватная связь причины и следствия, и прежде всего постоянно подталкиваемые буйным гением к спекуляциям того греческого народа, среди которого они жили и интеллектуальные соблазны

которого разделяли, они, тем не менее, в большинстве своем остаются терпеливыми наблюдателями фактов, скептически относящимися к чудесному и непроверяемому, не решающимися теоретизировать вне данных, но стремящимися всегда обобщать на основе фактического опыта; спокойные, верные, эффективные слуги больных. Нет почти ни одного известного нам вида психической деятельности, который не был бы продемонстрирован греками и не был бы заимствован из их трудов; но тщательный и постоянный возврат к проверке на опыте, выраженный в записи фактических наблюдений - привычный метод, принятый в современных научных отделах, - редко встречается среди них, за исключением этих ранних медицинских авторов.

Дух их практики нельзя проиллюстрировать лучше, чем словами так называемой "клятвы Гиппократов". Этот документ, хотя и поздний в своей нынешней форме, проливает свет на этику греческой медицины.

Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панацеей, призывая в свидетели всех богов и богинь, что я исполню эту клятву и этот письменный договор в меру своих сил и разума.

Я буду смотреть на того, кто научит меня этому искусству, как на своих собственных родителей; я буду делиться с ним своим имуществом и снабжать его всем необходимым, если он будет нуждаться; я буду считать его потомство своими братьями и буду обучать их этому искусству, если они захотят научиться ему, без платы и уговоров. Я буду передавать его в виде наставлений, лекций и всех других способов обучения не только своим сыновьям, но и сыновьям того, кто учил меня, и ученикам, связанным договором и клятвой по закону врачей, но никому другому.

Принятая мною схема лечения должна быть направлена на благо пациентов в меру моих сил и разума, а не во вред им или с какой-либо противозаконной целью. Я не дам никому смертельного лекарства, даже если меня об этом попросят, и не стану руководить таким советом; точно так же я не дам женщине пессарий, чтобы сделать аборт. Но я буду хранить свою жизнь и свое искусство в чистоте и святости. В какой бы дом я ни вошел, я буду входить туда для пользы больных, воздерживаясь от всякого добровольного проступка и разврата, особенно от соращения мужчин или женщин, как связанных, так и свободных. Все, что я увижу или услышу о жизни людей, во время моего посещения больных или даже помимо моего посещения, о чем не следует разглашать за границей, я буду молчать об этом, считая такие вещи религиозной тайной.

Если я исполню эту клятву и не нарушу ее, да будет мне дано наслаждаться и жизнью, и искусством, и доброй славой среди всех людей во все времена; но да постигнет меня обратное, если я преступаю и нарушаю свою клятву".^[69]

Клятва, которую одинаково уважали во все века арабы, иудеи и христиане, остается залогом профессии врача.^[70] Этическая ценность такой декларации не могла ускользнуть от внимания даже византийского формалиста, и интересно отметить, что в нашей старейшей греческой рукописи текста Гиппократов, датируемой X веком, этот великолепный отрывок возглавляется словами "из клятвы Гиппократов, как она может быть дана христианином".^[71]

При более внимательном изучении корпуса Гиппократов мы обнаруживаем, что трактаты не только написаны многими руками, но в них даже нет единого мнения и доктрины. Это хорошо видно на примере некоторых наиболее известных фраз из этого замечательного сборника. Так, известный отрывок из *"Воздухов, вод и мест"* повествует о том, что скифы приписывают определенный физический недостаток богу, "но мне кажется, - говорит автор, - что эти болезни столь же божественны, как и все остальные, и что ни одна болезнь не является более божественной или

более человеческой, чем другая, но что все они одинаково божественны, ибо каждая из них имеет свою собственную природу, и ни одна из них не возникает без естественной причины". Но, с другой стороны, автор великого труда *"Прогностика"* советует нам, чтобы врач, когда его вызывают, стремился выяснить природу болезней, которые он лечит, и особенно "если в болезни есть что-то божественное, и научиться предвидению этого также".[72] Мы также можем отметить, что это предложение почти сразу же предшествует, пожалуй, самому известному из всех предложений Гиппократов - описанию того, что с тех пор получило название *Hippocratic facies*. Это замечательное описание признаков смерти можно привести в качестве иллюстрации привычного отношения школы Гиппократов к прогнозу и той тщательности, с которой они отмечали детали:

"При острых заболеваниях он [врач] должен наблюдать так: во-первых, лицо больного, если оно похоже на здоровых, *и особенно если оно похоже на себя, ибо это лучше всего*; но чем более оно не похоже на это, тем хуже; таковы: *острый нос, впалые глаза, впалые виски; уши холодные, сжатые, мочки их вывернуты; кожа на лбу грубая, втянутая и пересохшая; цвет всего лица зеленоватый или сумрачный*. Если лицо такое в начале болезни, и если это не может быть объяснено другими симптомами, следует выяснить, прошла ли бессонная ночь, был ли кишечник очень рыхлым, страдает ли он от голода; если признать хотя бы одно из них, опасность может считаться меньшей; и в течение дня и ночи можно судить, исходит ли внешний вид лица из этих причин. Но если ничего из этого нет, а симптомы не проходят за это время, то знайте, что смерть близка".[73]

И снова в работе *"О врачебном искусстве"* мы читаем: "Я считаю врачебным воздерживаться от лечения тех, кого одолевает болезнь".[74] - благоразумная, хотя и бесчеловечная процедура среди людей, которые могли бы рассматривать способности врача как причастность к магии, и, возможно, мудрый курс, которому следует в наши дни в некоторых местах, не очень далеких от Коса. Однако в книге *"О болезнях"* нам советуют даже при наличии неизлечимой болезни "давать облегчение таким лечением, какое возможно".[75]

Более того, работы авторов школы Гиппократов иногда находятся в состоянии прямой полемики друг с другом. Так, в трактате *"О сердце"* приводится эксперимент, доказывающий, что по крайней мере часть выпитой жидкости попадает в полость легкого и далее по частям тела - популярное в древности заблуждение, которое повторяется в *"Тимее"* Платона. Однако автор сочинения *"О болезнях"* считает эту точку зрения ошибочной и поддерживает ее в полемическом разделе сохранившегося фрагмента "Менона".

Подобные фрагменты убеждают всех исследователей в том, что в этом сборнике мы имеем дело с множеством работ, написанных в разные даты разными авторами и в разных условиях, что можно хорошо понять, если вспомнить, что среди греков медицина была прогрессивной наукой в течение гораздо более длительного периода времени, чем в западном мире. Поэтому описание такой коллекции может быть дано только в самом общем виде. Система или системы медицины, которые мы попытаемся описать, были в моде вплоть до александрийского периода, то есть до начала третьего века до нашей эры.

Анатомия и физиология, составляющие основу нашей современной системы, были еще очень слабым местом в знаниях доалександрійцев. Поверхностная форма тела была тщательно изучена, особенно в связи с переломами, но в литературе того периода нет никаких свидетельств более близкого знакомства с анатомическим строением человека.[76] Тот же факт хорошо подтверждается греческим искусством, поскольку в его самый благородный период художник не обнаруживает никаких признаков помощи, полученной от анатомирования. Такие свидетельства не встречаются до тех пор, пока мы не переходим к скульптуре александрийского периода, когда

несколько напряженные позы и преувеличенная мускулатура некоторых работ Пергамской школы наводят на мысль, что художник черпал если не прямую информацию, то хотя бы намеки от анатомов, которые, как мы знаем, активно работали в то время. Однако не исключено, что отдельные кости, а то и целые скелеты, обычно изучались и раньше, ведь хирургические работы из коллекции Гиппократов, особенно посвященные переломам и вывихам, свидетельствуют о знании отношений костей друг к другу и их естественного положения в теле, которое невозможно было получить или получалось с большим трудом без этой помощи.

В трудах Гиппократов есть некоторое количество сравнений между строением человека и животных, которые стали возможны благодаря хирургическим операциям и случайным происшествиям. Выдвигалось мнение, что некоторые анатомические знания были получены благодаря практике предсказаний по внутренностям жертвенных животных. Однако представляется маловероятным, что столь научная и мало связанная с храмовой практикой система могла многое почерпнуть из этих источников, и, кроме того, поскольку мы знаем, что животных действительно препарировали уже во времена Алкмеона, нет необходимости прибегать к помощи жрецов. Незвестный автор περί τῶν τῶν κατὰ ἀνθρώπων, "*О местах [болезней] у человека*", работы, написанной около 400 года до н. э., действительно заявляет, что "физическое строение - основа медицины", но официальные трактаты по анатомии, которыми мы располагаем со времен Гиппократов, дают общий анатомический стандарт корпуса, и он весьма неутешителен. Трактат "*Анатомия*", хотя, вероятно, и гораздо более поздний (возможно, около 330 г. до н. э.), уступает даже трактату "*О сердце*" (возможно, около 400 г. до н. э.).

Физиология и патология в сборнике Гиппократов находятся почти на таком же заднем плане, как и анатомия. Как формальная дисциплина и часть медицинского образования мы не находим следов этих исследований у доалександрийских врачей. Но скудость количества установленных фактов не мешала спекуляциям людей, жаждавших найти причины происходящего. Об этих рассуждениях мы многое узнаем из фрагментов современных медицинских писателей и философов, из медицинских трудов александрийского периода и, в некоторой степени, из трудов самого Гиппократов. Но более мудрые и трезвые из авторов Гиппократова корпуса были заняты чем-то другим, а не причинами вещей. Их в первую очередь интересовал страдающий пациент, и поэтому лучшие из них исключали - и, как мы можем предположить, сознательно - все, кроме самых редких упоминаний о подобных спекуляциях.

Гиппократисты считали, что общее состояние здоровья организма зависит от распределения четырех элементов - земли, воздуха, огня и воды, смесь которых (*crasis*) и кардинальные свойства - сухость, тепло, холод и влажность - образуют тело и его составные части. Им соответствуют основные жидкости: кровь, мокрота, желтая желчь и черная желчь. Основопологающим условием жизни является *врожденный жар*, отказ от которого приводит к смерти. Это врожденное тепло наиболее сильно в молодости, когда требуется больше всего топлива, но постепенно снижается с возрастом. Другая необходимость для поддержания жизни - *пневма*, циркулирующая в сосудах. Все это может показаться достаточно причудливым, но мы должны помнить, что первая половина XIX века ушла в прошлое, прежде чем устарела доктрина о гуморах, которая просуществовала по меньшей мере двадцать два столетия, и, возможно, она все еще сохранилась в некоторых современных научных разработках. Более того, самые лучшие и характерные работы Гиппократов либо не упоминают, либо упоминают вскользь об этих теориях, которые не являются существенными для их основной задачи. Их задача - наблюдение за симптомами, выделение главного из случайностей болезни и обобщение опыта - могла продолжаться без влияния каких-либо взглядов на природу человека и мира. Даже лечение, которое почти с необходимостью должно основываться на *некоторой* теории причинности, мало отклонялось взглядом на элементы и гумусы, на которые невозможно воздействовать напрямую, а терапия была еще более

защищена от такого влияния учением *о природе как целительнице болезней*, νοσων φυσικῆς ἰατροῦ, *vis medicatrix naturae* поздних латинских писателей и наших дней.

Болезни, по мнению Гиппократов, следует лечить, восстанавливая нарушенную гармонию в соотношении элементов и гуморов. На самом деле они естественным образом стремятся к равновесию и в большинстве случаев, если их предоставить самим себе, будут приведены в это состояние естественной тенденцией к выздоровлению. Этот процесс известен как *perpsis* или, если перевести его на латынь, *coctio*, а поворотный пункт, в котором проявляются последствия этого процесса, - *кризис*, термин, который, вместе с некоторым его первоначальным содержанием, все еще имеет место в медицине. Такой переломный момент действительно происходит при многих заболеваниях, особенно зимогенного характера, в определенные дни, хотя греческие врачи придавали чрезмерное значение точному числовому характеру этого события. Не менее важной обязанностью врача было помогать природе, применяя свои средства в критические моменты. Если кризис не наступил или средства были применены в неподходящий момент, болезнь может стать неизлечимой. Но болезни были вызваны только непосредственными или приблизительными нарушениями баланса или гармонии гуморов. Это была всего лишь гипотеза, как хорошо знали сами гиппократисты. Существовали и другие, более отдаленные причины, которые попадали в реальную сферу компетенции врача, условия, которые он мог изучать и изучал. К ним относились, например, неправильный образ жизни, подверженность климатическим изменениям, преклонный возраст и тому подобное. Многие из них можно было напрямую исправить. Но для тех, кто не поддавался, существовали различные терапевтические меры.

То, что человеческие тела находятся и обычно остаются в состоянии здоровья и что в целом они имеют тенденцию к восстановлению после болезней, - это настолько знакомая нам позиция, что мы едва ли нуждаемся в напоминании о ней. Мы живем примерно на двадцать три века позже Гиппократов; примерно шестнадцать из этих столетий цивилизованный мир считал, что для сохранения здоровья необходимы периодические кровопускания и снадобья; последнее столетие или два мы постепенно возвращаемся на позиции Гиппократов!

Главной славой сборника Гиппократов с клинической точки зрения является, пожалуй, фактическое описание случаев. Их сохранилось несколько - всего сорок два.^[77] Они не только уникальны как коллекция за почти 2000 лет, но и по сей день являются образцами того, какими должны быть краткие клинические записи, ясные и короткие, без лишних слов, но со всем самым необходимым, и демонстрирующие лишь желание записать самые важные факты без малейшей попытки предвзятого отношения к делу. Они в полной мере иллюстрируют греческий гений выхватывать главное. Писатель не проявляет ни малейшего желания возвеличить собственное мастерство. Он просто стремится представить читателю данные, чтобы тот мог руководствоваться ими в подобных обстоятельствах. Дух полной честности, в котором жили и работали эти люди, свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве случаев они умерли. Приведем два случая из этой замечательной небольшой коллекции:

"Женщина, больная хандрой, которая поселилась у Аристиона: ее жалобы начались с языка; голос невнятный, язык красный и пересохший. *Первый день* - дрожь, затем жар. *На третий день* - ошпаривание, острая лихорадка; красноватые и твердые припухлости на обеих сторонах шеи и груди; конечности холодные и синюшные; дыхание учащенное; питье поступает через нос; она не может глотать; подавлены алвинные и мочевые выделения. *На четвертый день* все симптомы усугубились. *На пятый день* она умерла".

Вероятно, здесь мы имеем дело со случаем дифтерии. Хвоя, паралич нёба, приводящий к возврату пищи через нос, затруднения с речью и глотанием - типичные результаты этого

заболевания, которое в данном случае осложнилось распространением септических процессов на шею и грудь, что является нередким последствием этой болезни. Быстрое начало заболевания довольно необычно, но может быть объяснено, если рассматривать этот случай как легкую и незамеченную дифтерию, впоследствии осложнившуюся параличом и вторичной септической инфекцией, по причине которых она и попала под наблюдение.

На Тасосе жена Делеарса, жившая на равнине, от горя заболела острой и дрожащей лихорадкой. С первого до последнего дня она постоянно куталась в постельное белье; молчала, возилась, ковырялась, скучала и собирала волосы [с одежды]; слезы и снова смех; сна не было; кишечник раздражен, но ничего не проходило; при позывах пила немного; моча тонкая и скудная; на ощупь жар был слабый; холод в конечностях.

Девятый день, много бессвязно говорил и снова погрузился в молчание.

Четырнадцатый день, дыхание редкое, крупное и интервальное, и снова учащенное.

Семнадцатый день, после стимуляции кишечника прошла даже выпивка, не могла ничего удержать; совершенно бесчувственная; кожа пересохшая и напряженная.

Двадцатый день, много говорила, и снова стала слитным, затем безголосым; дыхание учащенное. *На двадцать первый день* умерла. Дыхание было редким и частым; она была совершенно бесчувственна; всегда закутана в постельное белье; на протяжении всего времени либо много говорила, либо полностью молчала".

Этот второй случай отчасти является описанием слабого бормочущего бреда, обычного завершения продолжительных лихорадок, таких как, например, брюшной тиф. Описание очень напоминает состояние, известное сейчас в медицине как "тифозное состояние". Кстати, в этом деле есть упоминание о типе дыхания, распространенном среди умирающих. Дыхание становится глубоким и медленным, постепенно погружаясь в тишину, и становится все реже и реже, пока, кажется, не прекращается совсем, а затем постепенно становится более быстрым, и так поочередно. Этот тип дыхания известен врачам как "дыхание Чейна-Стокса" в память о двух выдающихся ирландских врачах прошлого века, которые обратили на него внимание медиков.^[78] Недавно оно получило частичное физиологическое объяснение. Отметим, что в коллекции Гиппократов есть и другой, еще более удачный рисунок дыхания Чейна-Стокса. Это знаменитый случай "Филескоса, который жил у стены и лег в постель в первый день острой лихорадки". Примерно в середине шестого дня он умер, и врач отмечает, что "дыхание в течение всего времени было *похоже на дыхание человека, вспоминающего себя*, и было большим и редким". Дыхание Чейна-Стокса восхитительно описано как "дыхание человека, вспоминающего себя".

Подобные записи можно сравнить с некоторыми другими, дошедшими до нас из греческой древности. В качестве примера можно привести две стелы, обнаруженные в Эпидавре в 1885 году, на которых написано о сорока четырех исцелениях в храмах. Следующие две являются яркими примерами описанных там исцелений:

"Аристагора из Тройзена. У нее был ленточный червь, и когда она спала в храме Асклепия в Тройзене, ей было видение. Ей показалось, что, поскольку бог не присутствовал при этом, а находился в Эпидавре, его сыновья отрубили ей голову, но не смогли вставить ее обратно. Тогда они послали гонца к Асклепию с просьбой прийти в Тройзен. Тем временем наступил день, и жрец действительно увидел ее голову, отрезанную от тела. На следующую ночь Аристагоре приснился сон. Ей показалось, что бог пришел из Эпидавра и прикрепил ее голову к своей шее. Затем он разрезал ей живот и снова зашил его. Так она исцелилась".

У одного человека был абсцесс в животе. Ему было видение, и он подумал, что бог приказал рабам, сопровождавшим его, поднять его и держать, чтобы можно было

вскрыть ему живот. Мужчина попытался вырваться, но рабы поймали его и связали. Тогда Асклепий вскрыл ему живот, избавил от нарыва, а затем снова зашил его, освободив от уз. Тотчас же он ушел исцеленным, а пол Абатона был залит кровью".[79]

В записях о почти всех храмовых исцелениях, огромное количество которых сохранилось в самых разных документах, существенным элементом является процесс *εὐκοιτίσις*, *инкубации* или храмового сна, обычно в специальном спальном месте или абатоне. Этот процесс имеет близкие параллели в некоторых современных греческих церквях и в местах поклонения гораздо дальше на Западе; есть даже следы его на этих островах, и более чем вероятно, что христианская практика произошла по прямой преемственности от языческой.[80] Весь характер храмового лечения заключался - и заключается - в том, чтобы внушить пациенту, что ему должен присниться бог, и это событие обычно происходит. Такое лечение внушением применимо только к определенным классам болезней и всегда может попасть в руки фанатиков и самозванцев. Трудность, с которой сталкивается честный врач, заключается в том, что страдальца, по природе дела, трудно заставить поверить в то, что его недуг - это то, чем он на самом деле является, - поражение разума. Именно это дает чудотворцу шанс.

Рассмотрим на мгновение два случая из Эпидавра, которые весьма характерны для этой серии. Мы видим, что первый случай описывается просто как случай "ленточного червя" без какого-либо обоснования диагноза. В наши дни нередко худые и тревожные пациенты заявляют, так же безосновательно, что они страдают от этого заболевания. Они приписывают этой причине некоторые обычные желудочные переживания, о которых, возможно, узнали из сенсационной рекламы, а затем просят вылечить их от заболевания, которое они сами диагностировали, но которое на самом деле не существует. Такой случай часто правильно лечить с помощью внушения. Хотя изощренность внушения в храмовом исцелении немного поражает, ее легко можно проследить на примере легенд о христианских святых. Кроме того, мы должны помнить, что здесь мы имеем дело не с рассказом самой пациентки, а с надписью, сделанной служителями храма.

Во второй надписи, о человеке с абсцессом брюшной полости, ситуация гораздо проще. Очевидно, что операцию действительно проводил жрец, маскирующийся под Асклепия, а пациента удерживали рабы. Его уверяют, что все это сон, и он уходит исцеленным с характерным комментарием "и пол Абатона был залит кровью".

Подобные случаи можно множить до бесконечности без особой пользы для нашей конкретной темы, ведь в таких делах нет ни развития, ни эволюции, ни истории. Нет сомнений, что значительная часть греческой практики находилась на этом уровне, как и небольшая часть современной медицины, но это не тот уровень, с которым мы имеем дело, и поэтому мы обойдем его стороной. Однако следует добавить одно слово предостережения. Такое храмовое поклонение сравнивают с современным психоанализом. Этот метод, как и все методы, несомненно, иногда подвергался злоупотреблениям; но по сути, в отличие от храмовой системы, это чисто научный процесс, в ходе которого обнажается и демонстрируется конечная основа заблуждений пациента.

Есть и другая сторона этих асклепиевских храмов. Они постепенно развивались по типу наших санаториев и приобрели многие из тех качеств - приятных и не очень - которые мы связываем с некоторыми континентальными водоемами. С плохой стороны, они становились центрами сплетен или даже чем-то немногим лучше борделей, как мы можем судить по *мимам* Херондаса. С другой стороны, они представляли собой тихое убежище среди красивой и интересной природы, где больные, истощенные и выздоравливающие могли получить пользу от чистого воздуха, прекрасных пейзажей и регулярного и упорядоченного образа жизни. Более чем

вероятно, что открытый воздух и образ жизни способствовали многим случаям зарождающегося фтизиса.

Возвращаясь к коллекции Гиппократов, можно отметить, что чисто хирургические трактаты не менее примечательны, чем клинические. Очень способный хирург Фрэнсис Адамс (1796-1861), выдающийся ученый-грековед, в середине XIX века высказал мнение, что ни один систематический автор по хирургии до его времени не дал столь хорошего и полного описания некоторых вывихов, в частности тазобедренного сустава, как это можно найти в коллекции Гиппократов. Некоторые виды повреждений тазобедренного сустава, описанные в трудах Гиппократов, были, конечно, недостаточно известны до тех пор, пока их не описал сэр Астли Купер (1768-1841), сам обладающий специфически гиппократовским характером.^[81] Вердикт Адамса был, вероятно, справедливым, хотя с его времен хирургия вывихов, особенно с помощью рентгеновских лучей, получила возможность очень определенно выйти за рамки гиппократовской позиции. Восхитительно также описание Гиппократом вывиха плеча и челюсти. При вывихе бедра, плеча или челюсти, как и при большинстве подобных повреждений, происходит значительная деформация. Природа и значение этой деформации с удивительной точностью описаны Гиппократом, который также излагает последствия инвалидности. Принципы и сами детали лечения в этих случаях, за исключением использования анестетика, практически идентичны современным. К сожалению, эти процессы не подходят для подробного цитирования и описания здесь, но они представляют особый интерес, поскольку до нас дошла их графическая запись. В Лаврентьевской библиотеке во Флоренции хранится греческий хирургический манускрипт IX века, содержащий изображения хирургов, вправляющих вывихи. Есть все основания предполагать, что эти миниатюры скопированы с рисунков, впервые подготовленных в дохристианские времена за много веков до этого, и мы можем увидеть здесь реальные процессы вправления таких переломов, как их проводил хирург прямой традиции Гиппократов^[82] (см. рис. 3, 4).

Из MS. APOLLONIUS OF KITIUM, девятый век Скопировано с дохристианского оригинала



Рис. 3

ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХНУТОГО ПЛЕЧА



Рис. 4

ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХНУТОЙ ЧЕЛЮСТИ

Со всем этим согласуется большая часть хирургических работ коллекции. Мы почти поражаемся современному звучанию всей процедуры, когда пробегаемся по грубому блокноту κατ' ἡτρείον, "О хирургии", или более тщательному трактату περὶ ἡτροῦ, "О враче", где мы можем прочитать подробные указания по подготовке операционной, и по таким пунктам, как управление светом, как искусственным, так и естественным, скрупулезная чистота рук, уход и использование

инструментов, с особыми предосторожностями, необходимыми, когда они железные, приличия, которые следует соблюдать во время операции, общий метод перевязки, размещение пациента, использование и злоупотребление шинами, а также необходимость опрятности, порядка и чистоты. Многие из этих указаний дополнены в других хирургических работах сборника, среди которых мы находим особенно полные инструкции по наложению повязок, диагностике и лечению переломов и вывихов. Очень достоверное изображение такой операции, как описано в этих работах, можно найти на вазе аттического происхождения, относящейся к началу пятого века, а значит, за поколение до Гиппократ (см. рис. 5). Есть также несколько прекрасных изображений на вазах, изображающих реальные процессы наложения повязок (рис. 6).



Рис. 5.

Греческая клиника около 480-470 гг. до н. э. С вазовой картины.

В центре сидит врач с ланцетом в руках и берет кровь у пациента из средней вены на сгибе правого локтя в большой открытый таз. Над врачом и позади него подвешены три сосуда для купелирования. Справа сидит другой пациент, ожидающий своей очереди; его левая рука перевязана в области бицепса. Фигура за его спиной нюхает цветок, возможно, в качестве предохранения от инфекции. Позади лекаря стоит человек, опирающийся на посох; он ранен в левую ногу, которая перевязана. Рядом с ним стоит карликовая фигура с непропорционально большой головой, на теле которой видны уродства, характерные для болезни развития, известной сейчас как *ахондроплазия*; в дополнение к этим уродствам мы отмечаем, что его тело волосато, а переносица впалая; на спине он несет зайца, который почти такого же роста, как и он сам. С карликом разговаривает человек, опирающийся на длинный посох, на груди у него остатки повязки.

См. E. Pottier, "Une Clinique grecque au Ve siècle (vase antique du collection Peztel)", *Fondation Eugène Piot, Monuments et Mémoires*, xiii. 149, Paris, 1906. (Некоторые наши интерпретации отличаются от интерпретаций М. Потье).



Рис. 6. Киликса из Берлинского музея, датируемая примерно 490 г. до н. э. На ней имеется надпись ΣΟΣΙΑΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ, Sosias made (me), и изображен Ахилл, перевязывающий Патрокла; имена двух героев написаны по краям. Художник - Евфроний, и работа считается шедевром этого великого художника. Левая рука Патрокла ранена, и Ахилл перевязывает ее двухрукавной повязкой, которую он пытается спустить вниз, чтобы перекинуть через локоть. Обработка рук, в которой Эфроний преуспел, особенно прекрасна. Ахилл не был опытным хирургом, и по положению двух хвостов повязки можно заметить, что ему придется нелегко, когда дело дойдет до ее окончательного закрепления!

Среди хирургических процедур, описание которых можно найти в трудах Гиппократов, - вскрытие грудной клетки при состоянии, известном как *эмпиема* (скопление гноя в плевре, часто возникающее после пневмонии), и трепанация черепа в случаях перелома этой части - две основополагающие операции современной хирургии. В наше время хирургическое искусство сильно продвинулось вперед, однако из одних только этих хирургических работ можно было бы составить учебник, содержащий много полезного для сегодняшнего дня.

Когда мы переходим к работам по медицине, в ограниченном смысле этого слова, мы вступаем в область более сложную и, возможно, даже более увлекательную. Мы имеем дело уже не с простыми повреждениями известного происхождения, а с последствиями болезни и дегенерации, о существенном характере которых гиппократовские писатели могли знать очень мало. Строго охраняя себя от любых попыток объяснить болезнь более непосредственными и гипотетическими

причинами и тем самым отвлесть энергию читателя в бесполезное с медицинской точки зрения русло туманных спекуляций - распространенного умственного порока греков - лучшие из этих врачей довольствуются тем, что могут выдвинуть обобщенные выводы из реально наблюдаемых случаев. Многие из их мыслей сегодня стали привычными словами, и они стали таковыми во многом благодаря прямому наследию этих древних врачей. Но следует помнить, что столь привычные для нас идеи были для них результатом долгого и тщательно фиксируемого опыта и не похожи ни на что, что мы встречаем в медицине других древних народов. Подобные выводы лучше всего изложены, пожалуй, в замечательной книге "*Афоризмы*", из которой мы можем позволить себе несколько цитат:

Жизнь коротка, а искусство длинно; возможности мимолетны; экспериментировать опасно, а судить трудно. И все же мы должны быть готовы не только сами выполнить свой долг, но и терпение, помощники и внешние обстоятельства должны сотрудничать".[83]

В этом памятном абзаце, настолько сжатом в оригинале, что почти не поддается переводу, тот, кто "впервые отделил медицину от философии", сразу же отбрасывает все умозрительные интересы, находясь в реальном присутствии больного. Вся его энергия сосредоточена на конкретном случае с тем особым отношением, одновременно безличным и сугубо личным, которое с тех пор является отличительной чертой врача и которое сделало медицину одновременно наукой и искусством.

"Для крайних болезней - крайние методы лечения".[84]

"Легче всего переносят пост пожилые люди, затем взрослые, затем молодые, и меньше всего дети, и особенно те, которые наиболее живые".

Растущие тела обладают наибольшим количеством врожденного тепла; поэтому они требуют наибольшего питания, и если они его не получают, то истощаются. У пожилых людей тепла мало, и поэтому они требуют мало топлива, так как много его угасит. Точно так же лихорадки у пожилых людей не такие острые, потому что их тела холодные".

"В болезнях сон, который является трудоемким, - смертельный симптом; но если сон облегчает, он не смертелен".

Сон, который прекращает бред, - хороший симптом".

Если выздоравливающий хорошо ест, но не набирает плоть, это плохой симптом".

"Пища или питье, которые немного менее хороши, но более вкусны, должны быть предпочтительнее тех, которые лучше, но менее вкусны".

У стариков, как правило, меньше жалоб, чем у молодых; но те хронические заболевания, которые их постигают, обычно никогда их не покидают".

Перед нами группа наблюдений, некоторые из которых стали буквально обиходными словами, и нетрудно понять, как такие изречения перешли из профессионального обихода в светский. Эта великолепная книга *афоризмов* была очень рано переведена на латынь, вероятно, до и уж точно не позднее шестого века христианской эры, и таким образом стала доступной на всем Западе. Рукописи этой латинской версии, датируемые девятым и десятым веками нашей эры, сохранились в тех местах, где они были написаны, в Монте-Кассино в Южной Италии и в Айнзидельне в Швейцарии, а в 991 году книга *Афоризмов* была хорошо известна и внимательно изучалась в кафедральной школе Шартра. Из Франции "*Афоризмы*" попали в Англию, и они упоминаются в документах десятого или одиннадцатого века. К этому времени книга была переведена на сирийский, а затем на арабский и иврит, так что в эпоху подлинного Средневековья она была

известна как на Востоке, так и на Западе, причем как на жаргонных, так и на классических языках. С восточных диалектов было сделано еще несколько переводов на латынь. Сохранилось огромное количество рукописей этого произведения почти на всех западных диалектах, и в целом они показывают, что текст удивительно мало подвергался изменениям. В середине XIII века некоторые из наиболее известных афоризмов были включены в очень популярную латинскую поэму, которая вышла в свет от имени медицинской школы Салерно, хотя и с ложной припиской к еще более ранней дате. Салернская поэма, переведенная на все европейские языки, помогла Гиппократу войти в каждый дом.

Но далеко не все афоризмы относятся к тому типу, который вполне мог бы стать частью народной медицины. Такая участь может постигнуть лишь те из них, которые касаются часто повторяющихся состояний. В книге также есть ряд заметок о редких состояниях, которые редко встречаются или отмечаются только медиками. К ним относятся следующие очень острые наблюдения:

"Спазм, наступающий после ранения, смертелен".

"Заболевшие столбняком умирают в течение четырех дней, а если выживают, то выздоравливают".

"Судороги или икота, возникающие после обильного выделения крови, вредны".

Если после тяжелых и серьезных ран не появляется припухлость, это очень серьезно".

Все эти четыре предложения касаются ран. Первые два относятся к заболеванию *столбняком*, которое может возникнуть на ранах, загрязненных землей, особенно в жаркой и влажной местности. Болезнь характеризуется серией болезненных мышечных сокращений, которые в более тяжелой и смертельной форме могут превратиться в непрерывный спазм, о котором говорится в первом предложении. При столбняке верно то, что чем позже начинается заболевание после получения раны, тем больше шансов на выздоровление. Об этом говорится во втором предложении. В третьем и четвертом предложениях описываются нежелательные симптомы после тяжелой раны, которые теперь хорошо известны и за которыми следит каждый хирург. Разумеется, во время войны было бесчисленное множество иллюстраций истинности этих афоризмов при обширных ранениях, особенно с раздробленными конечностями.

Фтизис чаще всего возникает между восемнадцатью и тридцатью пятью годами".

Диарея, сопровождающая фтизис, смертельна".

Период, указанный в *афоризмах* для максимальной частоты начала заболевания, полностью подтверждается современными наблюдениями. Второй афоризм не менее достоверен: продолжающаяся диарея - очень частый предшественник смертельного исхода при хроническом фтизиатрии, а вскрытие показало, что вторичное поражение кишечника - чрезвычайно распространенное состояние при этом заболевании.

Не менее примечательно следующее высказывание: "При желтухе серьезное дело, если печень становится индуративной". Желтуха - распространенный и сравнительно тривиальный симптом, сопровождающий множество заболеваний. Сама по себе она не имеет большого значения и почти всегда исчезает спонтанно. Однако существует небольшая группа патологических состояний, при которых это не так. Наиболее распространенными и важными из них являются смертельные поражения печени - цирроз и рак, при которых этот орган может ощущаться как увеличенный и затвердевший. Поэтому если печень можно так прощупать в случае желтухи, то это, как гласит афоризм, имеет самое серьезное значение. Изображения таких случаев действительно дошли до нас из греческих времен. Так, на памятнике, воздвигнутом в Афинах в память о враче, умершем во втором веке христианской эры, мы можем видеть процесс клинического обследования (рис. 7).

Врач пальпирует печень карликовой фигуры, чей раздутый живот, истощенные конечности и озабоченный взгляд говорят о состоянии, подобном описанному в афоризме. Гребень, вызванный увеличением печени, можно обнаружить даже на статуе.



Рис. 7. АФИНСКИЙ

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК

Второй век н. э. Британский музей

Надпись гласит: "Ясон, также называемый Декмос, ахарнянин, врач", далее следует его генеалогия. Рядом с пациентом стоит сосуд для питья.

"Мы должны обращать внимание на то, как выглядят глаза во сне, как они выглядят снизу; ибо если между закрывающимися веками видна часть белого цвета, и если это не связано с диареей или сильным очищением, то это очень плохой и смертельный симптом". В этом, последнем

афоризме, который мы процитируем, мы видим, как врач Гиппократ фактически делает свои наблюдения. Так, во время сна глазное яблоко повернуто кверху, так что если открыть глаз и осмотреть его, то можно увидеть только белый цвет. На поздних стадиях всех истощающих и хронических заболеваний веки, как правило, не закрываются во время сна. Такие пациенты, как известно, часто умирают с открытыми глазами, в которых иногда видны только белки.

Но врач Гиппократа не ограничивался пассивным наблюдением, он принимал активные меры для выявления "физических признаков". В наше время важной, а может быть, и главной задачей студента-медика является приобретение знаний об этих так называемых физических признаках болезни, традиция которых постепенно восстанавливалась в течение последних трех столетий. Среди наиболее важных мер, в которых он учится разбираться, - аускультация. Этот полезный процесс особенно вошел в моду после изобретения стетоскопа в 1819 году Лаэннеком, который почерпнул ценные указания для него из трудов Гиппократа. Аускультация несколько раз упоминается и описывается врачами Гиппократа, которые использовали прямой метод выслушивания, а не опосредованный метод, разработанный Лаэннеком. Однако в некоторых случаях современный врач все же считает более древний неинструментальный метод Гиппократа более предпочтительным. В труде Гиппократа *περί νοσων*, "О болезнях", мы читаем о случае с жидкостью в плевре, что "вы положите пациента на сиденье, которое не двигается, помощник будет держать его за плечи, а вы будете трясти его, прикладывая ухо к груди, чтобы узнать, с какой стороны возникает знак". Этот знак до сих пор используется врачами и известен как *сухкуссия Гиппократа*. В другом отрывке из той же работы описываются симптомы плеврита и "слышен скрип, похожий на скрип кожи". Это хорошо известное *плевритическое трение*, которое врач привык искать в таких случаях, и которое отлично передает скрип кожи.

Подобные цитаты дают представление об общем методе и отношении Гиппократа. О таком искусстве, как медицина, за которым даже в те времена стояла долгая и рациональная традиция, в таком обзоре, как этот, невозможно дать лишь самое краткое представление. Реальная практика слишком сложна, чтобы изложить ее вкратце. Особенно это касается древнего учения об эпидемических заболеваниях, на которое мы должны бегло взглянуть. Врачи Гиппократа, да и всей античности, еще не знали о природе и лишь смутно осознавали существование инфекции. [85] Для них острая болезнь была чем-то, навязанным пациенту извне, но как она попадает к нему извне и что именно попадает к нему, они, по общему признанию, не знали. В этой дилемме они обратились к длительным наблюдениям и в результате многократного опыта заметили, что эпидемические заболевания в их мире имеют характерное сезонное и региональное распределение. Одна страна не была похожа на другую, как и один сезон на другой, и даже один год на другой. Путем серии тщательно собранных наблюдений за тем, как регионы, сезоны и годы отличаются друг от друга, им удалось заложить основу рационального изучения эпидемиологии, что привело к появлению понятия "эпидемическая конституция" разных лет, концепции, которая была очень плодотворной и стимулирующей для великих клиницистов XVII и XVIII веков и отнюдь не лишена ценности даже для современного эпидемиолога. Работа современных отцов эпидемиологии была сознательно основана на Гиппократе.

Прежде чем расстаться с гиппократовским врачом, необходимо сказать несколько слов о его терапевтических средствах. Его общий арсенал можно охарактеризовать как сходный с арсеналом современного врача примерно двух поколений назад. За эти два поколения мы, правда, дополнили список эффективных средств, но, с другой стороны, по общему согласию, произошло возвращение к гиппократовской простоте лечения. После отдыха и покоя центральным фактором в лечении стала диетология. Эта наука учитывала возраст - "Старики употребляют меньше питательных веществ, чем молодые"; время года - "Зимой полезно обильное питание, летом - более экономное"; состояние организма - "Худые люди должны принимать мало пищи, но эта

малость должна быть жирной, тучные люди, напротив, должны принимать много пищи, но она должна быть тощей". Также обращалось внимание на усвояемость различных продуктов - "белое мясо усваивается легче, чем темное" - и на их приготовление. В качестве напитков рекомендовались вода, ячменная вода и известковая вода. Диетические принципы Гиппократы, особенно в связи с лихорадкой, в значительной степени соответствуют современным, и можно сказать, что общая медицинская тенденция последнего поколения в этих вопросах была еще ближе к Гиппократу. Чем больше мы питаем нездоровые тела, тем больше мы им вредим"; "Больные, на которых лихорадка захватывает с наибольшей серьезностью с самого начала, должны сразу же подвергать себя жесткой диеты"; "Полное воздержание часто действует хорошо, если сила пациента может в любом случае поддерживать его"; но "Мы должны исследовать силу больных, чтобы увидеть, если они будут в состоянии поддерживать эту запасную диету до кризиса болезни". При применении этих правил мы должны всегда помнить о силе пациента и течение каждой конкретной болезни, а также конституции и обычного образа жизни в каждой болезни.

Помимо диеты в распоряжении врача Гиппократы было множество других средств. Среди них - ванны, отвары, клистиры, теплые и холодные примочки, массаж и гимнастика, а также более щадящие упражнения. Вероятно, он довольно свободно использовал кукувание и кровопускание, и у нас есть несколько изображений инструментов, используемых для этих операций (рис. 8). Он не был большим потребителем лекарств и редко называл их, за исключением, заметим, работ по лечению женщин, которые, вероятно, имеют египетское происхождение и откуда взята большая часть из 300 составляющих фармакопеи Гиппократы. Таким образом, его список лекарств невелик, но некоторые известные ему препараты до сих пор используются нами.

Работа этих людей может быть подытожена тем, что без препарирования, без экспериментальной физиологии или патологии и без какой-либо инструментальной помощи они продвинули знания о течении и происхождении болезней настолько далеко, насколько это вообще возможно для людей в подобных обстоятельствах. Это было сделано как процесс чистой научной индукции. Их хирургия, хотя и с трудом опиралась на анатомию, была основана на самом тщательно зафиксированном опыте. В терапии они не позволяли себе ни обманываться ложными надеждами, ни уводить в сторону тщетными традициями. И все же во многих областях диагностики, прогнозирования, хирургии и терапии они оставались непревзойденными вплоть до XIX века, а к некоторым из их методов мы вернулись в XX. Сохраняясь на протяжении веков в виде более или менее определенной традиции, которая приобрела более четкую форму в XVI веке и после него, методы Гиппократы легли в основу всех отделов современной передовой медицины.

Но история греческой медицины не закончилась на сборнике Гиппократы; во многих отношениях она, действительно, может считаться только начавшейся; однако мы никогда больше не получим представления о столь высоких этических и профессиональных стандартах, как те, которые передают эти работы. Начиная с александрийских времен, история греческой медицины становится в значительной степени историей различных школ медицинской мысли, каждая из которых имеет лишь частичное представление о ходе и природе медицинского знания. Разгадка курса и учения этих сект давно занимает историков медицины, но широкого читателя вряд ли могут заинтересовать разногласия между догматиками, эмпириками и методистами, чьи доктрины мертвы, как и они сами. В более поздний александрийский и эллинистический век греческий интеллект не менее активен, чем раньше, но меняется вкус материала. Общий упадок духа отражается в медицинской, как и в литературной продукции того времени, и мы больше никогда не ощущаем того возвышения прекрасного и спокойно-праведного присутствия, которым дышит сборник Гиппократы и который придает ему особый аромат.

Общий ход развития позднейшей греческой медицины мы проследим с большой быстротой. Определенная медицинская школа была основана в Александрии, другие, возможно, в Пергаме и

других местах. Афины, после смерти Аристотеля и его учеников, полностью уходят на задний план и не имеют никакого значения для медицины. В Александрии, где была собрана большая медицинская библиотека, начали изучать анатомию, и два человека, чьи открытия имеют первостепенное значение для истории этого предмета, Эрасистрат и Герофил, рано стали практиковать там. С анатомией в качестве основы медицинское образование могло стать гораздо более систематическим. К большому несчастью, труды этих двух выдающихся людей исчезли. О Герофиле сохранились фрагменты, вкрапленные в труды Галена (130-201 гг. н. э.), Целия Аврелиана (V век) и других. Эти фрагменты стали предметом одной из самых ранних, самых трудоемких и самых успешных попыток, предпринятых в наше время, восстановить утраченное произведение древнего автора.[86] Для Эрасистрата главным источником информации являются два полемических трактата, направленных против него Галеном. Недавно из папируса Менона стало известно еще немного информации о работах обоих авторов.

С большой долей вероятности удалось реконструировать трактат по анатомии Герофила. В начале трактата он дал общие указания по процессу препарирования, а затем подробно описал различные системы: нервную, сосудистую, железистую, пищеварительную, генеративную и костную. Отдельный раздел был посвящен печени, небольшая часть которого сохранилась. Именно о его описании нервной системы мы имеем, пожалуй, лучшие сведения: , и очевидно, что он далеко продвинулся от позиции Гиппократов. В мозговой оболочке он видел оболочки, покрывающие мозг, и различал головной мозг и мозжечок. Он достиг определенных знаний о желудочках мозга, черепных и спинномозговых нервах, нервах сердца и оболочках глаза. Он выделил кровеносные синусы черепа, а описанная им *торкулярная* пазуха *Герофила* (винный жом Герофила) сохранила свое имя в современной анатомической номенклатуре. Он выделял даже более мелкие структуры, такие как небольшое углубление в четвертом желудочке мозга, известное современным анатомам как *calamus scriptorius*, которое до сих пор носит название, которое он ему дал (καλαμος ὡ γραφομεν), поскольку оно, как рассказывает Гален, показалось ему похожим на ручки, которые тогда использовались в Александрии.[87] Мы также до сих пор используем его термин *duodenum* (δωδεκαδακτυλος εκφυσις = двенадцатипалое продолжение), поскольку, как уверяет Гален, Герофил "так назвал первую часть кишечника, прежде чем она свернется в складки".[88] Двенадцатиперстная кишка - это U-образный отдел кишечника, следующий сразу за желудком. Будучи закрепленной за брюшной полостью, она не может быть дальше свернута, и это объясняет ее описание Галеном. У животных, которых препарировал Герофил, он имеет длину около двенадцати пальцев.

Эрасистрату, чуть более молодому александрийскому современнику Герофила, принадлежат заслуги в дальнейших анатомических открытиях. Он правильно описал действие надгортанника, препятствующего попаданию пищи и напитков в дыхательное горло во время глотания, увидел молочные сосуды в брыжейке и продолжил изучение анатомии мозга. Он усовершенствовал анатомию сердца, описал ушно-желудочковые клапаны и способ их закрытия. Он четко разграничил двигательные и чувствительные нервы. Похоже, что он придерживался определенно экспериментальных взглядов, что было очень редко среди древних врачей, и недавно было найдено описание одного из его экспериментов. "Если, - говорит он, - взять животное, например птицу, и держать его некоторое время в банке, не давая ему пищи, а затем взвесить его вместе с экскрементами, то можно обнаружить значительную потерю веса".[89] Эксперимент прост, но прошло около девятнадцатисот лет, прежде чем современный профессор Санкторио Санторио (1561-1636) додумался его повторить.[90]

Анатомические достижения александрийской школы естественным образом отразились на эффективности хирургии. Об улучшениях, которые были достигнуты, можно судить, например, по описанию анатомических взаимоотношений в некоторых случаях вывиха бедра, которое дал

александрийский хирург Гегетор, живший около 100 года до н. э. В своей книге *περί αἰτίων, ὁ* *причинах [болезней]*, он спрашивает, "почему (некоторые хирурги) не ищут другой способ вправления вывиха бедра..... Если суставы челюсти, плеча, локтя, колена, пальца и т. д. можно заменить, то же самое, по их мнению, должно быть верно для всех частей, и они не могут объяснить, почему бедренная кость не может быть возвращена на свое место..... Однако они могли бы знать, что от головки бедренной кости отходит связка, которая вставляется во впадину тазобедренной кости... и если эта связка однажды разрывается, то бедренную кость невозможно удержать на месте".^[91] В этом отрывке содержится первое описание структуры, известной современным анатомам как *ligamentum teres*, - прочной волокнистой ленты, соединяющей головку бедренной кости с впадиной, в которую она вставляется в тазобедренной кости, подобно веревке, связывающей чашку и шарик детской игрушки. Эта связка разрывается в некоторых тяжелых случаях вывиха бедра.

После основания школы в Александрии медицинское обучение быстро стало организованным, но на протяжении всей античности оно страдало от отсутствия чего-либо, похожего на государственный диплом. Практиковать мог любой желающий, в результате чего в рядах практикующих врачей, которые часто были или были рабами, можно было встретить множество шарлатанов, чудаков и фанатиков. Однако великая александрийская школа сделала многое, чтобы сохранить некий профессиональный стандарт, и прежде всего этому способствовала ее анатомическая дисциплина.

В период между основанием александрийской школы и Галеном мы не богаты медицинскими трудами. За исключением фрагментов и незначительных произведений, от этого более чем четырехсотлетнего периода сохранились работы только пяти авторов: Цельса, Диоскорида, Аретея Каппадокийского и двух эфесских авторов, носивших имена Руф и Соран.

Труд Цельса конца I века до н. э. представляет собой латинский трактат, вероятно, переведенный с греческого, и является сохранившимся медицинским томом полной энциклопедии знаний. Несмотря на бесперспективное происхождение, это превосходный компендиум по своему предмету и во многих отношениях демонстрирует значительный прогресс по сравнению с позицией Гиппократов. Нравственный тон тоже очень высок, хотя и лишен возвышенной и отрешенной красоты Гиппократов. Анатомия значительно улучшилась, а вместе с ней и хирургические процедуры, и работа, вероятно, является представителем лучшей александрийской практики. Фармакопея стала более обширной, но еще не стала обременительной. Общая линия лечения разумна и гуманна, а язык краток и ясен. Среди прочего он описывает стоматологическую практику с указанием показаний и методов удаления зубов, проволоки для зубов и, возможно, стоматологического зеркала. Здесь есть прекрасный рассказ о том, что можно считать современной операцией по удалению миндалин. В современной медицине в память о Цельсе осталась *область Celsi*, не редко встречающееся заболевание кожи. *De re medica* - один из лучших медицинских учебников, дошедших до нас из античности. У него была романтическая история. Забытый в Средние века, он был обнаружен классическим ученым Гуарино из Вероны (1374-1460) в 1426 году, а его друг Ламола в 1427 году нашел лучшую копию. Еще одна копия была найдена Томасом Парентучелли (1397-1455), впоследствии папой Николаем V, в 1443 году, а позже текст изучал Полициан (1454-94). Хотя этот текст был обнаружен одним из самых поздних классических медицинских текстов, он был напечатан одним из первых (Флоренция, 1478), выдержал множество ранних изданий и оказал большое влияние на медицинский ренессанс.



Рис. 8. Вотивная

табличка с изображением инструментов для выжимания и кровопускания из храма Асклепия в Афинах. В центре изображен складной футляр, содержащий скальпели различных форм. По обеим сторонам - сосуды для кукования.

После Цельса в I веке н. э. появляется Диоскорид. Он был греческим военным хирургом киликийского происхождения, служившим при Нероне, и в нем явно начинает проявляться греческий интеллект. Его работы имеют огромное значение для истории ботаники, но для рациональной медицины он почти ничтожен. Он начинает не с того конца, приводя либо списки лекарств с симптомами, которые они, как утверждается, лечат или снимают, либо списки симптомов с рядом названных лекарств. Клинические наблюдения и записи полностью отсутствуют, и дух Гиппократов покинул эту тщательно разработанную фармакопею.

Со вторым веком христианской эры заканчивается творческий период греческой медицины. Мы располагаем трудами четырех важных писателей этого века, из которых трое, Руф из Эфеса, Соран из Эфеса и Аретей из Каппадокии, хотя и представляют ценность для формирования картины состояния медицины в их время, не оказали существенного влияния на ход развития медицины в последующие века.

Руф Эфесский, немного младше Диоскорида, оставил нам первый официальный труд по анатомии человека и имеет определенное значение в истории сравнительной анатомии. В медицине он запомнился тем, что первым описал бубонную чуму, а в хирургии - описанием методов остановки кровотечения и знанием анатомии глаза. Его труд *"О подагре"* был переведен на латынь в шестом веке, но остался неизвестным до наших дней.

Соран Эфесский (ок. 90-150 гг. н. э.), тонкий знаток гинекологии, оставил книгу, которая хорошо иллюстрирует анатомию его времени. Она оказала влияние на многие последующие века, а латинский конспект, подготовленный около VI века неким Мосхионом, дошел до нас в

почти современной рукописи.[92] Она интересна тем, что опровергает теорию Гиппократ, согласно которой мужской зародыш зарождается в правой, а женский - в левой половине матки, - заблуждение, восходящее к Эмпедоклу и Пармениду, но сохранившееся в латинских переводах трактатов Гиппократ вплоть до XVII века. Его работа была украшена рисунками, и некоторые из них, естественно, сильно измененные переписчиками, но все же не бесконечно удаленные от фактов, сохранились в рукописи девятого века и дают нам отдаленное представление о внешнем виде древних анатомических рисунков.[93] Мы можем еще немного помочь нашему воображению, чтобы сформировать представление о том, какими были такие диаграммы, с помощью некоторых других средневековых рисунков, представляющих форму и распределение различных анатомических "систем", вен, артерий, нервов, костей и мышц, которые, вероятно, имеют александрийское происхождение.[94]

Аретей из Каппадокии, вероятно, был современником Галена (вторая половина II века н. э.). Его репутация как автора клинических работ высока, возможно, даже слишком высока: особое внимание привлекли его описания пневмонии, эмпиемы, диабета и слоновости. В лечении он использует простые средства, не страдает от полифармации и предлагает множество гениальных механических приспособлений. Похоже, что Аретей - не самостоятельный автор, а в основном компилятор. Он во многом опирается на Архигена, выдающегося врача, современника Ювенала, чьи труды исчезли, кроме фрагментов, сохраненных таким образом Аретеем и Аэцием. Аретей был очень популярным писателем среди греков во все века, но его не переводили на латынь, и он был неизвестен на Западе до середины XVI века.[95] Филологически он интересен тем, что до сих пор использует ионический диалект.

Остается огромная омрачающая фигура Галена. Огромная масса сохранившихся работ этого человека, диктатора медицины до возрождения обучения и после него, как правило, отбрасывает перспективу всей греческой медицинской документации. Работы одного только Галена составляют около половины всей массы сохранившихся греческих медицинских трудов и занимают, в стандартном издании, двадцать два толстых, плотно напечатанных тома. Они охватывают все разделы медицины: анатомию, физиологию, патологию, медицинскую теорию, терапию, а также клиническую медицину и хирургию. По стилю они многословны, тяжеловесны и очень часто полемичны. Они насыщены телеологией, которая порой становится чрезмерно утомительной. В анатомических работах масса телеологических объяснений разбавляет изложение зачастую несовершенно описанных структур. И все же именно этому элементу мы обязаны сохранением массы работ Галена, поскольку его ярко выраженная телеологическая точка зрения отвечала телеологическим предрассудкам как западного христианства, так и восточного ислама. Невыносимые как литература, его труды являются ценной сокровищницей медицинских знаний и опыта, обычаев, традиций и истории.

Как и в случае с корпусом Гиппократ, так и в случае с корпусом Галена мы имеем дело в определенной степени с материалом из различных источников. В случае с Галеном, однако, у нас есть хороший стандарт подлинности, поскольку он оставил нам список своих книг, который можно сверить с теми, которыми мы действительно располагаем. Общая позиция Галена не отличается от позиции Гиппократ, но благородное видение высокодуховного, чистого душой врача полностью исчезло. На его месте мы имеем острого, честного, очень спорного человека, кипящего энергией и обладающего огромной работоспособностью, незлобивого, но любящего раздоры, с очень "агрессивным" характером. Он любит истину, но не меньше он любит и споры. Ценность его философских трудов, некоторые из которых сохранились, здесь не обсуждается, но очевидно, что он часто довольствовался чисто

словесными объяснениями. Гениальный физиолог, прирожденный экспериментатор, превосходный анатом, стремящийся к совершенствованию, обладающий хорошим знанием человеческого скелета и точным знакомством с внутренностями, насколько это можно извлечь из усердного увлечения препарированием животных, оснащенный всеми знаниями школ Пергама, Смирны и Александрии и богатый опытом обширной практики в Риме, Гален по существу является "эффективным" человеком. У него хватает благородства постоянно и многократно признавать свой долг перед трудами Гиппократов. Таков был человек, чьи останки, наряду со сборником Гиппократов, составили главное медицинское наследие Греции для западного мира.

Некоторые из работ Галена представляют собой просто списки лекарств, мало чем превосходящие труды Диоскорида;^[96] в условиях депрессии интеллекта, наступившей после распада Римской империи, именно они были в первую очередь расхвачены и распространены на Западе. Привлекательными для развращенного интеллекта позднеримского мира были и некоторые поддельные, суеверные и астрологические труды, распространявшиеся от имени Галена и Гиппократов.^[97] Греческие медицинские писатели после Галена были лишь его подражателями и абстракционистами, но через некоторых из них труды Галена попали на Запад в очень ранний период Средневековья. Такими абстракторами, рано переведенными на латынь, были Орибасий (325-403), Павел Эгинский (625-690) и Александр Тралльский (525-605). О лучших и наиболее научных работах Галена Средневековье практически ничего не знало.

Позже Гален и Гиппократ стали немного доступнее, но не благодаря переводу с греческого, а благодаря переводу с арабского сирийской версии. Первым произведением, переведенным таким образом, стала версия *афоризмов* Гиппократов, которые, однако, как мы видели, уже были доступны в латинском варианте, вместе с *Режимом Гиппократов при острых заболеваниях* и некоторыми работами Галена в искаженном переводе Исаака Иудея. Их перевел с арабского на латынь Константин, африканский авантюрист, ставший монахом в Монте-Кассино и умерший там в 1087 году. Константин был жалким ремесленником с несовершенным знанием арабского и латыни. Более эффективным был великий переводчик с арабского языка XII века Герард Кремонский (умер в 1185 году), который перевел на латынь с арабского множество медицинских трудов, а за ним последовал целый ряд подражателей. Однако еще большее значение для развития медицины имело возрождение науки в XIII веке. В основном это возрождение было основано на переводах с арабского, но некоторое количество работ было переведено и непосредственно с греческого. В тринадцатом веке таким образом начали переводить научные труды Аристотеля, но более важными для развития медицины были труды Галена, и им пришлось подождать до следующего столетия. Длинный трактат Галена, περὶ χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπῳ σωματικῶν, *"О применении частей тела в человеке"*, был переведен с греческого на латынь Николаем из Реджио в начале XIV века. Эта работа, при всех ее недостатках, была, безусловно, лучшим из доступных на тот момент описаний человеческого тела. Сохранилось множество рукописей латинской версии, она была переведена на несколько языков, включая английский, и оказала глубокое влияние на хирургию. Перевод этого трактата на латынь и его широкое распространение можно считать отправной точкой современной научной медицины. Кроме того, его появление - часть феномена возрождения интереса к препарированию, которое начало практиковаться в университетах в тринадцатом веке,^[98] и стало общепринятой дисциплиной в четырнадцатом и пятнадцатом.^[99]

До конца пятнадцатого века прогресс в анатомии был почти незаметен. В течение пятнадцатого века было восстановлено больше галеновских и гиппократовских текстов,

которые постепенно переводились на латынь, но все еще не оказывали существенного влияния на курс анатомии. Собственно печатание сборников Гиппократ и Галена началось довольно поздно, поскольку развращенный вкус врачей эпохи Возрождения продолжал отдавать предпочтение Диоскориду и арабам, многочисленные издания которых появлялись, так что медицина не продвигалась вперед в соответствии с прогрессом науки. Труды Гиппократ были впервые напечатаны в 1525 году, а единичное издание неполноценного Галена - в 1490 году, но настоящий прогресс в медицине был достигнут не благодаря непосредственному изучению этих трудов. До тех пор, пока они рассматривались в старом схоластическом духе, эти работы имели не большую ценность, чем труды арабистов или другие, унаследованные от Средних веков. Даже Гиппократ может быть испорчен комментарием, и только когда исследователь начал реально сравнивать свои собственные наблюдения с наблюдениями Гиппократ и Галена, реальная ценность этих работ стала очевидной. Отделом, в котором это произошло в первую очередь, была анатомия, и такие революционеры, как Леонардо да Винчи (1452-1518), который никогда не публиковал, и Везалий (1514-1564), чей великий труд появился в 1543 году, действительно основывали свои работы на Галене, хотя они были очень заняты доказательством ошибок Галена. Антонио Бенивени (умер в 1502 году), пророк нового духа, возродил традицию Гиппократ, собрав записи нескольких случаев с сопутствующими записями о смерти и посмертных заключениях, среди которых интересно отметить случай аппендицита.^[100] Его примеру иногда следовали в XVI веке, как, например, португальский еврейский врач Аматус Лузитанус (1511-1562), который напечатал не менее семисот случаев; но настоящее возрождение традиции Гиппократ произошло в следующем веке благодаря Сиденхаму (1624-1689) и Бурхааве (1668-1738), которые сознательно работали на гиппократовской основе и стремились расширить гиппократовский опыт.

Наконец, возрождение хирургии принесло свои плоды. Величайший из хирургов XVI века, любящий и любимый Амбруаз Паре (1510-1590), хотя и был, по его собственному скромному признанию, невежественным человеком, не знавшим ни латыни, ни греческого, может похвастаться тем, что многое почерпнул из трудов античности, которые в его время циркулировали в переводах и таким образом доходили до неучей.

Тексты Гиппократ и Галена составляли неотъемлемую часть медицинского образования в университетах с самого начала их существования в XIII веке. Первый греческий текст "Афоризмов Гиппократ" появился в 1532 году под редакцией не менее известного автора, чем Франсуа Рабле. С дальнейшим восстановлением греческих текстов и подготовкой лучших переводов они стали почти единственным способом обучения в течение пятнадцатого и шестнадцатого веков. Переводчиков стало много, и их компетенция варьировалась. Один высококвалифицированный переводчик, однако, представляет особый интерес для английских читателей. Томас Линакр (1460?-1524), врач Генриха VIII, воспитатель принцессы Марии, основатель и первый президент Колледжа врачей, благотворитель обоих древних университетов и один из самых ранних, самых способных, самых типичных и самых раздражающих английских гуманистов, потратил много сил на перевод, для которого его способности особенно подходили. Он был ответственен не менее чем за шесть важных работ Галена, одна из которых, "*De temperamentis et de inaequali intemperie*", напечатанная в Кембридже в 1521 году, была одной из самых ранних книг, отпечатанных в этом городе, и, как говорят, первой напечатанной в Англии, для которой были использованы греческие шрифты. В наши дни она удостоилась чести быть воспроизведенной в факсимиле. Подобные работы, чисто литературные, пользовались большой популярностью в течение столетия и более, и были широко распространены в университетах. Эти гуманистические продукты иногда вызывали у сторонников нового

научного метода такую ярость, с которой могли соперничать только некоторые гуманисты по отношению к переводчикам с арабского. Но теперь эти костры потухли. По мере того как клинические и научные методы обучения завоевывали позиции, текстовые исследования отступали в медицинском образовании, как того хотели бы сами Гиппократ и Гален.

Тексты Гиппократа и Галена сегодня уже не занимают места ни в одной медицинской учебной программе. Однако все, кто знаком с этими трудами, знают не только то, что их дух все еще с нами, но и то, что сами труды составляют основу современной практики, а их фразеология все еще используется у постели больного. Современную медицину действительно можно назвать творением греков. Чтобы понять природу нашей медицинской системы, необходимо знать ее греческие источники. Для медицины будет очень плохо, если этот долг перед греками когда-нибудь забудется, и потеря будет не только этической, но и интеллектуальной. Но, к счастью, этого можно не опасаться, поскольку фигура и дух Гиппократа сегодня более реальны и живы, чем со времен великого краха греческого научного интеллекта в третьем и четвертом веках христианской эры.

Чарльз Зингер.

Автор благодарит мистера Р. У. Ливингстона, доктора Э. Т. Витингтона, профессора А. Платта и мистера Дж. Д. Бизли за исправления и предложения.

ЛИТЕРАТУРА

Человек, идущий по Шафтсбери-авеню от Пикадилли к Чаринг-Кросс-роуд, проходит мимо *Лирического театра*. Если это вечер, то внутри, скорее всего, идет *драматическое* представление. Это может быть *трагедия* или *комедия*. Если это *музыкальная комедия* и он войдет, то увидит тщательно продуманные *декорации* и пьесу, которая может открываться *прологом* и частично состоит из *диалогов* между различными *персонажами*, частично из песен в разных *метрах*, исполняемых *хором* под аккомпанемент *оркестра*. Как следует из слов, выделенных курсивом, наш воображаемый прохожий увидел, хотя, возможно, и не подозревал об этом, символ неизгладимого следа, который греки оставили в эстетической и интеллектуальной жизни Европы, и живого присутствия Греции в двадцатом веке. Древний афинянин мог бы удивиться при виде музыкальной комедии и ее хора, но перед ним было бы его собственное дитя, потомок, пусть далекий, вырождающийся и трудно узнаваемый, того хора, который с танцами и песнями двигался вокруг алтаря Диониса в театре его дома.

Тот же отпечаток, ясный или слабый, лежит на всех наших литературных формах, за исключением, пожалуй, одной. Эпос, лирика, элегия, драма, дидактика, поэзия, история, биография, риторика и ораторское искусство, эпиграмма, эссе, проповедь, роман, письмо и литературная критика - все они греческого происхождения, и почти в каждом случае их название выдает их источник. Рим предъявляет сомнительные претензии к сатире, но суть сатиры присутствует в "Старой комедии", а форма, похоже, существовала в писаниях, ныне утраченных. Есть даже один или два *жанра*, такие как воображаемая речь, которые придумала Греция и которые, к счастью, не встречаются в современной литературе. Когда занавес поднялся над Гомером, европейской литературы еще не существовало: задолго до того, как он опустился на поздних византийцев, были заложены линии, по которым она движется до наших дней. Это целиком работа одного народа, политически слабого, численно малого, материально бедного - в соответствии с экономикой природы, которая в

вещах, связанных с разумом и духом, дает прорастающую силу немногим. Греки справедливо восхищаются отдельными поэмами, пьесами и произведениями; но еще большее значение имело то, что они так далеко исследовали возможности литературы, что потомство, развив греческие жанры, до сих пор не смогло их дополнить. Это одна часть греческого наследия в литературе.

Другая часть - это сами произведения. О литературе можно судить, только прочитав ее, и, конечно, ее нельзя охарактеризовать в нескольких страницах. Но человек, не знающий греческого языка и желающий оценить ее ценность, может составить некоторое представление, поинтересовавшись мнением квалифицированных судей. Он обнаружит, что они единодушны: я полагаю, это правда, что ни один выдающийся человек, имеющий право говорить, никогда не высказывался о греческой литературе в каком-либо тоне, кроме одного. Первое свидетельство - это свидетельство римлян. Его несет их литература, начинающаяся с переводов с греческого, перенимающая один за другим их жанры, пронизанная насквозь (и больше всего у величайших писателей) подражаниями, реминисценциями, влияниями греческого, исповедующая и превозносящая свой долг. "В обучении, - говорит Цицерон, - и в каждой отрасли литературы греки - наши мастера".^[101] Квинтилиан считал, что римский мальчик должен начинать свое обучение с греческого, "потому что латинское образование происходит от греческого".^[102] Та же нота звучит в литературе эпохи Возрождения, и ее повторяют самые разные голоса нашего века.

Хотя один из греческих трагиков может казаться более великим и совершенным, чем другой, их произведения в целом обладают одним всепроникающим качеством. Оно отмечено величием, совершенством, здравомыслием, полной человечностью, высокой философией жизни, возвышенным образом мышления, мощной интуицией (*Anschauung*). Мы находим эти качества в их сохранившейся лирической и эпической поэзии, а также в драме: мы находим их в их философах, ораторах и историках и, в столь же высокой степени, в их сохранившейся скульптуре".^[103]

"После великих аттических поэтов, таких как Эсхил и Софокл, я абсолютно ничтожен".^[104]

Он с большим воодушевлением говорил о пользе изучения классики, особенно греческого языка. "Где, - говорил он, - искать более великого оратора, чем Демосфен; или более прекрасную драматическую поэзию, рядом с Шекспиром, чем у Эсхила или Софокла, не говоря уже о Еврипиде". Геродота он считал "самой интересной и поучительной книгой, после Библии, которая когда-либо была написана".^[105]

Период, прошедший между рождением Перикла и смертью Аристотеля, несомненно, - как сам по себе, так и с учетом влияния, которое он оказал на последующие судьбы цивилизованного человека, - является самым памятным в истории мира..... Обломки и фрагменты этих тонких и глубоких умов, подобно развалинам прекрасной статуи, неясно указывают нам на величие и совершенство целого. Сам их язык... по разнообразию, по простоте, по гибкости и по изобилию превосходит все остальные языки западного мира". Затем, после нескольких слов об их скульптуре, он добавляет: "Их поэзия, кажется, сохраняет очень высокий, хотя и не такой уж непропорциональный ранг, в сравнении" (с другими литературами).^[106]

Греки - самый замечательный народ, который до сих пор существовал..... Они были родоначальниками почти всего, за исключением христианства, чем может похвастаться современный мир. Они были первым народом, у которого была историческая литература; такая же совершенная в своем роде (хотя и не самая высокая), как их ораторское искусство, их скульптура и их архитектура. Они были основателями математики, физики, индуктивного

изучения политики, философии человеческой природы и жизни. В каждом из них они сделали необходимые первые шаги, которые являются фундаментом для всего остального".[107]

'Я вернулся к греческой литературе со страстью, совершенно удивительной для меня самого..... Мне казалось, что я никогда раньше не знал, что такое интеллектуальное наслаждение". О этот удивительный народ! Нет ни одного искусства, ни одной науки, в отношении которых мы не могли бы употребить то же выражение, которое Лукреций употребил в отношении победы над суеверием: "*Primum Graius homo*". Я считаю, что мне очень повезло, что я смог вернуться к этим великим мастерам, будучи еще в полном расцвете сил и когда мой вкус и суждения уже созрели. Большинство людей читают всю греческую литературу, которую они когда-либо читали, до того, как им исполнится пять и двадцать лет..... Молодой человек, каким бы гением он ни обладал, не может судить о таком писателе, как Фукидид. Еще десять лет назад я не был о нем высокого мнения. Теперь я читаю его с умом, привыкшим к историческим исследованиям и политическим делам; и я удивляюсь своей прежней слепоте и его величию. В колледже я не мог вынести Еврипида. Теперь я читаю свое отречение. У него, несомненно, есть недостатки. Но какой поэт! [108]

Эти люди - а их число нетрудно пополнить - не только квалифицированные, но и беспристрастные свидетели. У них нет никакой *пристрастности*. Их нельзя обвинить, как иногда обвиняют школьных директоров и донов, в том, что они владеют акциями большого торгового банка Греции и Рима Unlimited и имеют личный мотив для своего энтузиазма. Нельзя также сказать, что они восхищались Грецией, потому что не знали ничего лучшего. Все Гете, не меньше других, держали в руках английскую литературу, хорошо ее знали и ценили ее величие. Тем не менее, вот впечатление, которое произвел на них греческий язык, переданный их собственными словами. *Securus iudicat orbis terrarum*; и вердикт здесь очевиден. Очевидно, что в греческом языке сохранился корпус поэзии и прозы, представляющий уникальный интерес для любого, кто интересуется литературой.

Я попытался дать краткий ответ на вопрос: "Чего достигли греки? Они изобрели все известные нам литературные жанры, они проложили линии, по которым пошла европейская литература, они создали корпус прозы и поэзии, который завоевал почтение всего мира. На дальнейший вопрос: чему мир может у них научиться, ответить не так просто. Ответ кроется в греческой литературе, а сущность литературы не может быть извлечена и заключена в ряд абстрактных формул. Ни одна литература не является великой в силу своих качеств, которые всегда меньше, чем сама литература, но только в той мере, в какой она расширяет широту вселенной и поднимается на ее высоту. Это окончательный критерий, который должен быть применен. Насколько греческая литература ему удовлетворяет, можно судить по свидетельствам, которые были приведены выше.

Помня об этом, давайте сознательно сузим наш взгляд и поговорим о качествах: и здесь, снова сузив его, ограничим обсуждение определенными качествами, которые действительно встречаются во всех литературах, но нигде не являются столь универсальными и не достигают столь высокой силы. Никто не может думать о греческой литературе, не вспоминая о них; они живут на устах ее почитателей, и в них в первую очередь запечатлено вдохновение греческой литературы. Эти важнейшие качества - простота, совершенство формы, истина и красота. Греческая литература - это нечто большее, чем эти качества. *Агамемнон*", "*Эдип*", "*Вакхи*" не могут быть объяснены только ими. Величие этих пьес - отчасти нечто индивидуальное, а отчасти - то, что делает великим *короля Лиру*,

Фауста или *Бранда*: и это не полностью и не главным образом простота, красота, истина или форма. И хотя некоторые критики говорили о красоте греческой литературы до тех пор, пока красота не стала абсурдно считаться ее главным или единственным качеством, они были правы, признавая, что красота занимает в ней важное место, и хотя истина является признаком величайших произведений на всех языках, в греческой литературе она более универсальна, чем в любой другой.

Если читатель обратится от Мильтона к Гомеру, от Шекспира к Софоклу, от Платона или Аристотеля к какой-нибудь современной работе по этике, политике или литературной критике, он найдет одно отличие между ранними и поздними писателями в большей простоте первых. Они короче: в *"Эдипе Тиране"* 1530 строк, в то время как только в первых двух актах *"Гамлета"* более 1600, а греческие истории и философские труды соответственно короче своих современных аналогов. Весь Фукидид мог бы быть напечатан в двадцатичетырехстраничном выпуске *"Таймс"*, и при этом осталось бы свободное место; эссе Аристотеля о поэзии, которое на протяжении многих поколений диктовало принципы драматического письма, насчитывает сорок пять коротких страниц; *Республика* Платона, которая повлияла на мысль больше, чем любая другая философская работа, насчитывает чуть более трехсот. Краткость, конечно, не всегда простота, и можно быть одновременно простым и объемным. Но любой, кто изучит этих греческих писателей, обнаружит, что они кратки, потому что, избегая обходных и побочных сюжетов, проработок и мелких деталей, они выделяют центральные черты своей картины с легкой экономией линий. Их письмо обладает двойным качеством. Оно демонстрирует твердую фиксацию на центральных и основополагающих вещах: и оно представляет их без смешения с второстепенными вопросами, так что они выделяются, как лесные деревья, которые не скрывает никакая поросль кустарника. Важно сделать это различие, потому что вся великая литература обладает первым из этих качеств; второе - в значительной степени случайность времени. По мере того как цивилизация удаляется от своих истоков, она не может не принимать тысячи притоков, которые постоянно увеличивают ее объем, окрашивают и запутывают ее потоки: у истоков же она течет чисто и беспрепятственно. Интересы раннего возраста - это первичные и основные интересы человеческой природы, и литература этого возраста представляет их в неизменном виде, не осложненном второстепенными проблемами. У мыслителей четко выделяются главные и фундаментальные проблемы, и Платон и Фукидид ведут нас прямо к ним. Поэты создают свою поэзию на основе чувств и интересов, которые так же стары, как и человек, и не имеют ни одной из тех утонченностей и сложностей, которые образование и долгое наследие культуры добавляют к основному материалу человеческой природы. "Вы, греки, всегда дети", - сказал египетский жрец Солону; и он сказал правду в том смысле, который не имел в виду. Чувства греков не были притуплены или утончены *проклятой наследственностью* прошлого. Ни их жизнь, ни их душевная атмосфера не были сложными. Они не "доводили себя до изнеможения". Они были детьми мира и соединяли поразительную остроту, непосредственность и простоту детей с интеллектом людей.

Патер взял *"Джоконду"* Леонардо да Винчи, чтобы символизировать разницу между современным и древним искусством и проиллюстрировать замысловатость и сложность первого по сравнению с простотой второго. "Ее голова, - пишет он о Монне Лизе, - на которой все "концы света сошлись", а веки немного устали. Это красота, созданная изнутри плоти, отложение, клетка за клеткой, странных мыслей, фантастических грез и утонченных страстей. Поставьте ее на мгновение рядом с одной из тех белых богинь или прекрасных женщин древности, и как бы они опешили от этой красоты, в которую перешла душа со

всеми ее недугами! Все мысли и опыт мира вытравлены и вылеплены там, в том, что они способны облагородить и сделать выразительной внешнюю форму..... Она старше скал, среди которых сидит; подобно вампиру, она много раз была мертва и познала тайны могилы; она была ныряльщицей в глубоких морях и хранит их падший день о себе...; и все это живет лишь в той нежности, с которой оно лепит изменчивые черты лица, оттеняет веки и руки. Фантазия о вечной жизни, объединяющей десять тысяч переживаний, очень стара; а современная мысль представляет себе человечество как порождение и совокупность всех форм мысли и жизни. Конечно, леди Лиза могла бы стать воплощением старой фантазии, символом современной идеи". Как бы ни были причудливы и патетичны эти слова, по сути они верны, в чем легко убедится любой, кто поставит Монну Лизу рядом со скульптурой пятого века. Такой же контраст существует между греческой литературой и нашей. Как "встревожили" бы Гомера или Софокла произведения Браунинга или Мередита, Генри Джеймса или Конрада, в которых объединилось так много вихрей и перекрестных течений мысли и опыта.

Сравните историю Гектора и Андромахи с каким-нибудь известным отрывком из произведений этих писателей. Так говорил славный Гектор и протягивал руку к своему мальчику. Но ребенок с плачем прижался к груди своей прекрасной кормилицы, испугавшись взгляда своего дорогого отца и страха перед бронзовым и конским гребнем, свирепо кивавшим с верхушки шлема. Тогда его дорогой отец и его госпожа-мать громко рассмеялись: и тут же славный Гектор снял с головы шлем и положил его, весь сверкающий, на землю; затем поцеловал он своего дорогого сына, закружил его на руках и молвил Зевсу и всем богам: "О Зевс и все вы, боги, дайте, чтобы этот мой сын был таким же, как и я, выдающимся среди троянцев и таким же доблестным в силе, и пусть он будет великим царем Трои!" Так он говорил и положил сына на руки своей дорогой жены, а она, улыбаясь сквозь слезы, взяла его на свое благоухающее лоно. И пожалел ее муж, и ласкал ее рукой, и говорил, называя ее по имени: "Дорогая, молю тебя, не печалься сердцем; никто против судьбы не пошлет меня на смерть; но судьбы, я думаю, никто не избежал". Так сказал славный Гектор и поднял свой шлем с конским волосом, а его дорогая жена ушла к себе домой, часто оглядываясь и пуская крупные слезы. И пришла она к хорошо построенному дому Гектора-мужеубийцы, и нашла там своих многочисленных служанок, и возбудила во всех них плач. И плакали они о Гекторе, пока он был жив, в доме его, ибо думали, что он уже не вернется к ним из битвы".[109] Это эмоции, общие для человечества за двадцать веков до Христа и двадцать веков после него, одинаково свойственные Шекспиру или Наполеону и самым глупым и малообразованным из людей; и эти эмоции выражены с простотой, столь же элементарной, как и они сами. В нашей литературе можно найти столь же простые темы; трудно найти столь же прямое выражение. Даже такой примитив, как Чосер, является наследником смутного наследия Греции и Рима, и его преследуют фантазии из утраченных и живых сказочных стран литературы. Именно в нашей Библии мы находим элементарные чувства Гомера и еще более прямое выражение. И ушла она и бродила в пустыне Беершебы. И израсходовала воду в бутылке, и бросила ребенка под один из кустов. И пошла, и посадила ее против него на большом расстоянии, как бы на расстоянии выстрела из лука, ибо она сказала: не дай мне видеть смерть ребенка. И села она против него, и возвысила голос свой, и плакала".[110]

Как и автор Пятикнижия, Гомер жил в мире, чьи эмоции были элементарны, и писать в таком духе было для него естественно. Груз традиций начал давить на последующие эпохи, но он так и не стал тяжелым, потому что накопления были невелики, а мир оставался сравнительно простым. Кроме того, его поэты и прозаики двигались в поле действия, как солдаты и политики, постоянно сталкиваясь с реалиями жизни и зная их такими, какие они есть, а не

такими, какими они представляются в исследовании. Поэтому их темы центральны, а текст прост. Сюжеты "*Эдипа Тирана*" или "*Геракла Фурена*" можно было бы назвать болезненными, но не то, как с ними обращаются Софокл и Еврипид. Противоестественный элемент находится на заднем плане и почти незаметен; интерес представляет зрелище великих людей в непреодолимой катастрофе - тема элементарная и относящаяся к общей жизни человека. Трактовка проста, как у Гомера, фигур мало, второстепенные интересы вне поля зрения, свет полностью падает на центральную трагедию. Отсюда возникает редкая интенсивность, непосредственность впечатления, ощущение близости к описываемому, которое поражает любого, кто читает речь вестника в "*Фюрерах Геракла*", или сцену, где раскрывается личность Эдипа, или вообще любой большой отрывок в греческой драме. Эта простота трактовки сохраняется, когда вместе с Менандром и александрийцами мы переходим в мир, более похожий на наш собственный, и находим литературу, все еще простую по форме, но более художественную, более интеллектуальную, более литературную, менее центральную и фундаментально человеческую.

Было бы глупо требовать от современных писателей простоты Гомера или эпохи Перикла или притворяться, что без этого они не могут быть великими. У каждой эпохи должна быть и будет своя литература, отражающая умы и обстоятельства тех, кто ее пишет. Преимущество также не полностью на стороне греков. Драма Шекспира или роман Толстого, с их длинным перечнем *действующих лиц*, больше похожи на жизнь, чем греческая трагедия с ее отсутствием побочных сюжетов и с ее немногочисленными центральными персонажами. Современный историк записал бы и обсудил те аспекты истории Греции пятого века, которые Фукидид игнорирует. Современная литература может утверждать, что, при меньшей интенсивности, она обладает большей амплитудой и более достоверно передает сложность жизни. С другой стороны, греки свободны от того доминирования ненормального, которое является одной из опасностей современной литературы; они не исследуют сексуальные и другие отклонения и не поощряют своих читателей к их исследованию. Они также свободны от господства несущественного, которое в жизни, как и в литературе, является более невинным, но более тонким и, возможно, столь же губительным пороком. Именно поэтому их простота освежает и спасает. *Porro unum necessarium*. В жизни люди возвращаются от отвлекающего разнообразия интересов к нескольким простым вещам; или, если они не возвращаются, то рискуют потерять свою душу. В литературе, которая является тенью жизни, нужно поступать так же.

Простота греческой литературы сопровождается высочайшим литературным искусством. Ничто не может быть более удивительным. Примитивные условия, сохраняющие простоту, казалось бы, несовместимы с техническим совершенством, которое является поздним ребенком литературы и порождением зрелого вкуса, долгих экспериментов и терпеливого труда. Но в греческом языке, и, возможно, только в греческом, *наивность* и искусство идут рука об руку. Есть что-то почти сверхъестественное в том, что Гомер соединил эти два понятия: парадокс в том, что характер Ахилла, смерть Гектора, примитивная хитрость Одиссея должны быть изображены в таком метре и таком словаре; кажется неестественным, что столь высокохудожественное и изысканное средство должно быть использовано для изображения жизни и идей общества, которое ближе к дикости, чем к цивилизации. Но неестественно это или нет, но так оно и есть.

Самое очевидное качество греческой литературы - это ее форма, высокий уровень техники. Есть исключения: ранние пьесы Эсхила грубы по замыслу, проза Горгия столь же фантастична, как и проза Лилия, предложения Фукидида часто неловки и неграмматичны;

Эсхил стоит у истоков драмы, Горгий и Фукидид - создатели периодической прозы, и им свойственны слабости первопроходцев. Но в целом греческие произведения в поэзии и прозе отличаются высоким мастерством и тонкой отделкой; и так быстро их искусство нашло себя, что еще при жизни Эсхила Софокл достиг высочайшего уровня драматической и литературной техники, а через поколение после Фукидида Платон выработал свой непревзойденный стиль. Художественный инстинкт был в крови греков и проявлялся во всей их литературе: в хорических одах с их сложными репризами и тонкими вариациями; в Платоне, расставляющем и переставляющем первые восемь слов своей *"Республики"*; в том интересе, который греки проявляли к теории литературного искусства, стремясь здесь, как и везде, *λογον διδοῖναι*, дать отчет о своей практике. Насколько больше они размышляли об этом, чем мы, показывают *"Риторика"* Аристотеля, *"De Compositione"* Дионисия и бесконечные труды риторов.

Это общепризнанно, но еще реже справедливость соблюдается в отношении еще более ярких свидетельств греческого дара техники. Другие народы постигли искусство письма и оставили памятники в словах, которые так же недолговечны и мимолетны, как воздух, но более нетленны, чем медь или камень; но ни один народ не создал литературного искусства в том смысле, в каком его создали греки, и не развил, как они, различные литературные жанры из ничего. У них не было ни моделей, ни проводников, ни помощи извне. Рим имел греческую литературу для подражания и сам давал образцы своим преемникам; но греки создали то, что они создали из ничего, и, таким образом, являются творцами в истинном смысле этого слова, как ни один другой народ. Два примера, Гомер и греческая драма, послужат тому доказательством.

На заре литературы, по крайней мере, мы ожидаем грубости и необработанности, неуверенности в суждениях и шаткости рук; но первая известная греческая поэма, подобно Афине в мифе, рождается в полный рост и зрелости. И все же ее создатели сделали сюжет, богатый язык, сложный и непревзойденный метр своими руками. Не умаляет этого достижения и то, что гомеровские поэмы, возможно, были прекрасным цветком периода поэтического роста; работа, которая легла в их основу, была выполнена греками. Но нужно обладать воображением, чтобы оценить трудность задачи, которую они взяли на себя бессознательно и выполнили без теории или преднамеренной цели, под воздействием одного лишь света природы.

Трудно создать даже примитивный поэтический словарь там, где его не существует, и нет ничего примитивного в том, чтобы

οἱ δ' ὥς τ' αἰγυπιοὶ γαμψωνυχὲς ἀγκυλοχεῖλαι
πετρὴ ἐφ' ὑψηλῇ μεγάλα κλαζόντε μαχώνται,

{hoi d' hôs t' aigypioi gampsônnyches ankylocheilai
petrê eph' hypsêlê megala klazonte machôntai,}

или

ὅσσον δ' ἡρωεῖδες ἀνὴρ ἰδὲν ὀφθαλμοῖσιν
ἤμενος ἐν σκοπῇ, λευσσὼν ἐπὶ οἰνοπα πόντον,
τόσσον ἐπιθρῶσκουσι θεῶν ὑψηλῆς ἵπποι.

[111]

{hosson d' êeroeides anêr iden ophthalmoisin
hêmenos en skopiê, leussôn epi oinopa ponton,
tossou epithrôskousi theôn hypsêchees hippoi}.

Как показывают начатки римской поэзии, трудно придумать метр, который не был бы грубым, немusическим или даже гротескным: однако по богатству и силе этот первый европейский метр никогда не был превзойден ни греками, ни кем-либо другим. То же природное техническое мастерство проявляется и в более тонких вещах, чем метр или язык. Гомер рождается, зная каким-то чутьем глубокую тайну литературного искусства, которую Аристотель сформулировал столетия спустя как принцип единства действия. Сюжет пьесы, пишет он в *"Поэтике"*, "должен иметь своим предметом одно действие, целое и законченное, с началом, серединой и концом..... По структуре он будет отличаться от исторических сочинений, которые по необходимости представляют не одно действие, а один период, и все, что произошло в этот период с одним человеком или со многими, мало связанными между собой событиями..... Такова, можно сказать, практика большинства поэтов. И здесь снова проявляется непревзойденное мастерство Гомера. Он никогда не пытается сделать всю войну за Трои темой своей поэмы. Это была бы слишком обширная тема, которую нелегко охватить одним взглядом, а если бы он ограничил ее рамками, то она была бы слишком усложнена разнообразием происшествий. В таком случае он вычленил из нее только одну часть".^[112] Однажды изложенный, принцип единства действия становится общим местом литературного искусства. Но, как показывают *"Анналы Энния"* или *"Королева фей"*, он не очевиден, пока не сформулирован, и поэты, из практики которых Аристотель сделал свои выводы, должны были обладать редким техническим чутьем, чтобы бессознательно сохранять единство интереса сквозь сложности длинного эпоса или драмы. Такие достижения были под силу только народу с природным гением литературного искусства. В руках греков различные элементы литературы нашли свой *телос* и достигли своей естественной формы, почти с той же инстинктивной эволюцией, с помощью которой семя разворачивается к своей предопределенной форме.

Это можно еще лучше проиллюстрировать на примере греческой драмы. Современному автору, желающему написать пьесу, возможно, нелегко будет справиться с этой задачей, но он знает общую форму, которую должна принимать драма, и общие принципы, которым нужно следовать при ее написании. Он знает, как правильно выбрать длину, как разделить пьесу на сцены и акты, как использовать экспозицию и диалог, как придумать *развязку*, как соблюсти закон единства действия и т. д. У отцов греческой трагедии не было такой помощи. У них не было драмы в нашем понимании этого слова, а просто группа из пятидесяти человек, одетых как сатиры, танцующих вокруг алтаря и поющих песню. Из этого можно было сделать что угодно или ничего. Греки, с инстинктивными и безошибочными движениями гения, развили из этого самые высокие и самые сложные литературные формы, и в течение ста лет пишут пьесы, которые Шелли причисляет к *"Королю Лиру"*, и которые Суинберн может назвать, "вероятно, в целом, величайшей духовной работой человека".

В определении принципов литературного искусства и развитии различных видов литературы ни один народ не может сравниться с греками, и, вероятно, ни один не может похвастаться массой работ, выполненных с таким единообразным высоким качеством. Но если мы сравним писателя с писателем, то найдем отдельных художников, способных соперничать с ними. Хотя сила английской литературы не заключается в техническом совершенстве, Мильтон, Поуп и Теннисон - и никто другой - в своих различных манерах владеют им так же прочно, как любой грек, и этому можно научиться у французских писателей, у которых это

скорее правило, чем исключение, так же как и у греков. Вряд ли это можно сказать о другом качестве греческого письма, которое можно отнести к технической отделке, хотя на самом деле это нечто большее. Это одна из самых характерных черт греческого языка, но при первом знакомстве она часто смущает и даже вызывает отвращение. Если читатель, только что познакомящийся с классикой, откроет Фукидида, его первое впечатление будет, скорее всего, о невеселости, о лысине. Если бы, только что прочитав Шелли или Теннисона, он наткнулся на эпиграмму Симонида на спартанцев, погибших при Фермопилах,

ω ξειν', ἀγγελλειν Ἀακεδαίμονιοις ὅτι τῆδε
κειμεθα, τοις κεινων ῥήμασι πειθόμενοι,
[113]

{ô xein', angellein Aakedaimoniois hoti tède
keimetha, tois keinôn rhêmasi peithomenoi,}

он мог бы увидеть в ней лишь прозаическое отсутствие цвета. Эта чрезмерная простота или экономия является камнем преткновения для тех, кто привык к экспансивной современной манере. Однако такой читатель познакомился бы с некоторыми из лучших вещей в греческой литературе, которая всегда наиболее совершенна, когда наиболее проста, и он оказался бы лицом к лицу с характерными ее качествами.

Контраст с обычной английской манерой можно проиллюстрировать, процитировав известную эпиграмму - эпитафию Бену Джонсону на мальчика-актера:

Плачьте со мной, все, кто читает
Эту маленькую историю;
И знайте, для кого слезы вы проливаете,
Смерть сама себя пожалеет.

Это было дитя, которое так преуспевало
В изяществе и чертах,
Что казалось, небо и природа борются
Кому принадлежит это создание.

Лет ему было не больше тринадцати.
Когда судьба стала жестокой,
Но три зодиака заполнил он
Жемчужиной сцены;

И играл он (о чем мы теперь стонем)
Стариков так достойно,
Что и Парки считали его таковым,
Он играл так искренне.

Так, по ошибке, на судьбу его
Они все согласились;

Но, увидев его с тех пор, увы, слишком поздно!
Они раскаялись.

Этих строк - а они не составляют всей поэмы - достаточно, чтобы проиллюстрировать разницу между греческим методом и английским: последний - богатый и обильный, следующий за потоком пышной фантазии, первый - сдержанный, оставляющий воображению читателя возможность и необходимость играть свою роль. В поэме Бена Джонсона есть материал для полудюжины эпиграмм. Будь он Симонидом или Платоном, он остановился бы после четвертой строки и, по мнению некоторых критиков, сэкономив бумагу, улучшил бы свою поэму.

В своей теории и на практике греческие писатели были верны этому принципу экономии. Их пословицы провозглашают его "половина больше целого": "сеять с руки, а не с целого мешка". Великие отрывки их литературы иллюстрируют его. Ее можно найти не меньше в рассказе Фукидида об осаде Сиракуз и в заключительной части *"Федота"* или *"Республики"*, чем в смерти Гектора или встрече Приама и Ахилла. Греческие писатели могут испытывать эмоции, которые, казалось бы, должны были бы требовать бурного и развернутого выражения, темы, которые могли бы вдохновить поэта и побудить его усилить их; но, не поддаваясь искушению, они спокойно излагают факты и проходят дальше практически без комментариев. Завершение *"Фаэдо"* служит примером такой сдержанности. Платон только что с тщательной экономией деталей рассказал о смерти своего учителя. Его комментарий к событию, которое опечалило и поставило в тупик всю его жизнь, сводится к следующему: "Такова, Эччекрат, смерть нашего друга, лучшего человека, которого я когда-либо знал, мудрейшего и справедливейшего".[114]

В английской литературе есть благородные примеры сдержанности и экономии, некоторые из наиболее ярких можно отнести к классическому влиянию; но никто не станет утверждать, что эти качества являются правилом для наших великих писателей. Английский гений скорее богат и щедр, чем сдержан. В его природе меньше писать, как Сафо,

Ἑσπερε, παντα φερων οσα φαινολις εσκεδας' αυως,
φερεις οιν, φερες αιγα, φερεις απυ матерι παιδα,[115]

{Hespere, panta pherôn osa phainolis eskedas' auôs,
phereis oin, pheres aiga, phereis apy materi paida,}

чем как Байрон,

О Гесперус, ты приносишь все блага.
Усталым - дом, голодным - веселье,
Птице молодой - родительские крылья,
Желанное стойло для измученного быка;
Что бы ни было мирного в нашем очаге,
Все, что наши домашние боги охраняют из дорогого,
Собираются вокруг нас под твоим взглядом покоя;
Ты и ребенка к материнской груди приводишь.

Можно сказать кое-что в пользу обоих методов. Широта трактовки и полнота деталей обогащают воображение, а экономия стимулирует его. Последний способ может стать приторным и безопасным только в руках великих писателей, а первый способен обеспечить слишком обильный пир и оставить сытый ум бездейственным. Все сделано за него, и ему ничего не остается делать. С другой стороны, экономия бросает читателя на произвол судьбы. Она заставляет воображение блуждать в полях бесконечности. Некоторые читатели находят в этом одно из главных удовольствий литературы, другие же предпочитают, чтобы автор взял их за руку и указал каждую деталь с точностью указателей на немецком курорте.

Экономика - это отражение в литературе той *σωφροσύνη*, которая является самым глубоко укоренившимся греческим идеалом, самым непереводаемым из греческих слов. Но этому способствовала случайность. Если бы искусство книгопечатания было утрачено, современные произведения сжались бы в более узкие рамки, и греческая экономика была воодушевлена тем, что Фуст еще не родился. Мы, не полагающиеся на ручное копирование для распространения наших книг, естественно, пишем более пространно: и хотя литература теряет в краткости, она компенсирует это увеличением амплитуды. Но привычка писать за деньги, которая поощряет обильное производство, и существование печатного станка, который облегчает его, подвергают нас опасностям, от которых древние были свободны. Газеты - самые страшные преступники, они говорят много того, что вовсе не нужно говорить, и говорят все в излишней и чрезмерной форме. Но литература страдает не меньше. Величайшие фигуры последних пятидесяти лет, такие как Браунинг, Мередит, Харди и Конрад, разбавляют свои страницы несущественными, если не сказать низкими, вещами и создают произведения, которые не получили *summa manus*. Если бы их работы были меньше в два раза - скромное сокращение - они были бы более совершенными, потому что им можно было бы уделить больше времени, более мощными, потому что каждый штрих был бы точным и сильным, более выразительными, потому что эти штрихи не сочетались бы с неумелыми ударами. Это еще более верно в отношении менее значительных людей и других видов литературы. Именно потому, что "Агрикола" Тацита занимает всего тридцать страниц, биография римского чиновника, не обладающего большим гением, переживет биографии гораздо более великих людей. Искусство умолчания - это искусство, которому английским писателям нужно учиться больше всего; литературная *липа* - их наименее удобный инструмент. И искусство, и инструмент были прекрасно понятны и постоянно использовались греками.

Третий признак греческой литературы, с которым мне предстоит иметь дело, - это, пожалуй, самое важное и, безусловно, самое универсальное ее качество. Это правдивость. Греки говорили не меньше лжи, чем другие расы, но у них было желание и сила видеть мир таким, каков он есть. Благодаря этому важнейшему качеству они дали Европе концепцию философии и науки. Мы унаследовали их только от них; Палестина и наши германские предки не создали их и не проявляют никаких признаков того нрава, который их порождает, а Рим получил свою долю от Греции.

Слово "правдивость" может навести на мысль о реализме некоторых современных писателей. Но греческая правдивость была иной. Ее следует отличать от вымученной отстраненности и болезненной беспристрастности такого писателя, как Флобер, чей реализм скрывает его в том же смысле, в каком стены машинного отделения скрывают пылящие внутри машины. Греческая правдивость спонтанна, естественна и не требует усилий - это родное качество художника, который видит и забывает себя в видении. Она не имеет ничего общего с фотографическим реализмом. В ней нет безликости этого метода или

его плоского и безжизненного эффекта. Человек, а не машина, создает картину, остро чувствуя то, что видит, и хотя эта интенсивность не искажает его видение, мы, читая, осознаем человеческую личность и чувствуем электрический трепет жизни.

Он также не похож на тот тип современного реализма, который, как вредный наркотик, действует на дух и угнетает сердце - реализм, который рисует настолько черную картину человеческой жизни, что она воздействует на нас физически, как дни продолжающегося тумана, и не дает нам более полной и правдивой картины мира. Вряд ли найдется греческий писатель, а возможно, и вовсе ни один, о ком можно сказать подобное. Многие современные писатели могут правдиво описать то, что им неприятно, но их воздействие часто жестоко и всегда угнетающе. Дар изображать страдания и зло с непоколебимой правдой, но при этом передавать иные чувства, чем просто ужас, присущ немногим. Его редкость, возможно, объясняет редкость великой трагедии, условием которой, кажется, является то, что она должна правдиво показать самое темное в жизни, не оставляя окончательного и доминирующего чувства мрака. Великие греческие писатели владели этим секретом. Они так же чувствительны к злу и страданиям, как и любой другой писатель, и так же верно их передают. Но если другие люди просто впадают в депрессию, испытывают отвращение или ужас, теряют жизненные силы и смотрят в парализованном очаровании, то эти писатели, в силу чувства скорее эстетического, чем морального, осознают огромные проблемы, видят в гнусных страданиях агонию трудящейся вселенной и испытывают не просто отвращение и беду, а благоговение и удивление перед тем, что страдают и переносят человеческие существа. Вот почему Гомер оставляет нас с другим чувством, нежели депрессия, когда рассказывает, как Приам вымолил тело своего сына у человека, который его убил. Приам вошел незаметно от них, встал рядом, обхватил руками колени Ахилла и поцеловал страшные руки убийцы, зарубившего столько его сыновей. Ахилл же был поражен видом Приама, и все остальные были поражены, и смотрели они друг на друга. И обратился к нему Приам с мольбой и словами. "Вспомни своего отца, богоравный Ахилл: он схож со мной годами и стоит на ненавистной дороге старости. Возможно, соседи вокруг изводят его, и нет никого, кто бы уберег его от несчастий и гибели. Но когда он слышит, что ты жив, он радуется и надеется изо дня в день увидеть своего дорогого сына, вернувшегося из Трои. Но я совершенно несчастен, ибо в Трое я родил лучших сыновей, и ни одного из них не осталось. А того, кто у меня был, кто был опорой Трои и ее народа, ты убил, когда он сражался за свою страну - даже Гектора. Почитай богов, Ахилл, и пожалей меня, и вспомни своего отца. Я более несчастен, чем он. Я столкнулся с тем, с чем не сталкивался еще ни один смертный, - протянуть руку к лицу убийцы моих сыновей".^[116] Здесь достаточно страданий и зла, и нет никакой попытки завуалировать или уменьшить их. И все же большинство читателей, я думаю, прочтут этот отрывок с чувствами, отличными от тех, что вызывает завершение *"Мадам Бовари"* или *"Джуда Обскура"*. Его правдивость не является ни уродливой, ни удручающей.

Греческая правдивость также не тождественна объективности. Объективный писатель рассказывает свою историю и передает свои впечатления, насколько это возможно, излагая факты, не комментируя их. Драматурги и романисты по природе своего искусства вынуждены быть объективными в этом смысле слова (хотя Филдинг и Теккереи в одной области, а Ибсен и Шоу в другой, умудряются делать свои комментарии своими собственными устами, а не устами своих персонажей). Но такой писатель не обязательно будет более правдивым или беспристрастным, чем кто-либо другой. Он может исказить истину, выбирая одни факты и игнорируя другие, так же тщательно, как и делая вводящие в заблуждение комментарии. Он может быть яростно односторонним и представлять только те факты, которые подтверждают его точку зрения, тем самым косвенно вкладывая себя в то, что он пишет, так же полно, как и

признанный партизан, хотя и менее открыто. Такой писатель объективен, но объективность для него - не более чем литературный прием. Правда, греки используют этот метод, рассказывая историю без личных комментариев, не только в своих эпосах и пьесах, где этот метод естественен, но и в своих историях и других местах. Фукидид, например, рассказывает о великой войне, но его комментарии к ней немногочисленны и в основном даны в драматической и, казалось бы, объективной форме речей ведущих людей того времени. Но греки обладают объективностью в гораздо более важном смысле. Их объективность - это не литературный прием, а качество ума. Они умеют отстраняться от дел, в которых лично заинтересованы, и наблюдать за ними со стороны, как беспристрастные зрители, с живейшим интересом, но без предубеждения. Как дельфийская жрица во время пророчества теряла свою индивидуальность и становилась глашатаем бога, так и грек позволял фактам говорить за себя, становился их глашатаем и изгонял назойливое эго. Поэтому, если мы называем греков объективными, все это должно быть включено в наше определение этого слова.

Мы лучше всего поймем греческую "правдивость", если, отбросив философские термины и забыв о современных значениях, вспомним изречение Анаксагора, который на вопрос, для чего он родился, ответил: "Чтобы созерцать произведения природы". Бескорыстная страсть к созерцанию вещей, которая собирала вокруг Сократа группы любознательных людей, чтобы обсудить, что такое справедливость и дружба, или является ли доброта знанием и может быть познана, имеет свой аналог в литературе. Греки были очарованы зрелищем человека и мира, и их очарование прослеживается не только в их формальной философии. Об их поэтах тоже можно сказать, что они были рождены, чтобы видеть мир и человеческую жизнь - не для того, чтобы морализировать, предаваться сентиментальности, риторике или мистицизму, а для того, чтобы видеть ее. Описание поэтического темперамента, данное Китсом, подходит им как нельзя лучше: "У него нет своего "я", он - все и ничто..... Он наслаждается светом и тенью.... Поэт - самый непоэтичный из всех существующих людей, он постоянно находится в каком-то другом теле, для него и наполняет его". В таком настроении люди пишут литературу, которую по праву можно назвать правдивой. Избегая дидактики, они не будут искажать истину в угоду личным пристрастиям; избегая риторики, они не будут жертвовать ею ради изящных фраз; избегая сентиментальности и фантазии, они не будут удовлетворять свои собственные чувства или чувства слушателей за счет истины; избегая мистики, они не будут уходить от фактов в мир эмоций. Их забота - видеть вещи, и их удовольствие - в самом видении. Они вторят словам Китса: "Если воробей пролетает перед моими окнами, я принимаю участие в его существовании и ковыряюсь в гравии"^[117]: они не будут относиться к нему так, как Шелли относится к жаворонку, или даже как Китс и Вордсворт относятся к соловью. Здесь кроется один из секретов греческой поэзии, ибо греческие поэты, как никто другой, приводят нас в совершенно простой и естественный контакт с тем, что они описывают, и таким образом избегают тысячи искажений, за которые ответственны эпиграмма, риторика, чувства, фантазия, мистицизм и романтизм. Этот секрет можно назвать "прямотой". Это привычка прямо и непреклонно смотреть на вещи и описывать их такими, какие они есть, - полная противоположность привычке к дидактическим комментариям и риторическому или эмоциональному раздуванию. Прямой" писатель, насколько это возможно, держит себя и свои чувства на заднем плане. Он не позволяет туману, который поднимается от личности человека, встать между ним и его темой.

Несколько примеров прямоты дадут лучшее представление о ней, чем множество определений. Эпиграмма, процитированная несколько страниц назад, показывает, как греческий писатель позволяет своему предмету говорить, а не выражает свои собственные

чувства по отношению к нему. Так же как и следующая эпитафия, помещенная отцом на могиле своего сына.

Δωδεκετὴ τὸν παῖδα πατὴρ ἀπεθῆκε Φιλίππος
ἐνθαδὲ τὴν πολλὴν ἐλπίδα Νικοτελῆν.[118]

{Dôdeketê ton paida patêr apethêke Philippos
enthade tèn pollên elpida Nikotelên}.

Погибший отец ничего не говорит о своей печали и величии утраты, но записывает имя и возраст сына и говорит, что тот был "большой надеждой" отца, и тем самым выдает нам все. Симонид не выражает собственных чувств по поводу героизма погибших спартанцев; их могила говорит за них перед прохожим. Это также не просто литературный прием, способ написания, при котором констатируются факты и они производят впечатление сами по себе, без комментариев и объяснений. Сравнение эпиграммы Бена Джонсона с греческой эпитафией покажет, что прямота - это нечто большее. Причуды, которыми Джонсон завершает эпиграмму, красивы, но они ложны, поскольку несовместимы с глубоким чувством: греческая прямота никогда не теряет из виду умершего ребенка; она видит только его и отцовскую скорбь.

Следующий отрывок посвящен совсем другой теме, но иллюстрирует прямоту не хуже. Место действия - афинская колония Амфиполь на реке Струма; действующие лица - спартанский полководец Брасидас, желающий ее захватить, и афинянин Фукидид, находившийся в то время на Тасосе, удаленном на полдня плавания от Амфиполя. Как только Фукидид услышал новости о Брасидасе, он быстро отплыл к Амфиполю... чтобы, по возможности, гарнизонировать его, пока он не капитулировал, или, во всяком случае, занять Эйон (его морской порт). Тем временем Брасидас, опасаясь прибытия афинского флота на Тасос и слыша, что Фукидид... был одним из ведущих людей страны, сделал все возможное, чтобы овладеть городом до его прибытия..... Поэтому он предложил умеренные условия..... Эти условия были приняты, и город был сдан ему. Вечером того же дня Фукидид со своими кораблями отплыл в Эйон, но не раньше, чем Брасидас овладел Амфиполем: еще одна ночь, и он захватил бы Эйон".[119] Суть истории, изложенной в этом отрывке, очевидна. Спартанский полководец Брасидас захватил важный город Амфиполь, а афинский полководец подоспел слишком поздно, чтобы спасти его. Но кто догадается, что афинский полководец Фукидид был тем самым историком Фукидидом, который написал эти слова, и что эпизод, который он здесь описывает с такой отстраненностью и нейтральностью, принес ему вечное изгнание под страхом смерти из страны, которую он страстно любил? Фукидид рассказал голые факты, объективно, как если бы они относились к кому-то другому, без комментариев, без слов протеста, оправдания, объяснения или сожаления о венчающей катастрофе своей жизни. Он пишет о себе в третьем лице. Это не то, как современные генералы пишут о своих неудачах, но это греческий способ. Фукидид забыл о себе и своих чувствах; он видит только тот катастрофический день, когда он со своими кораблями поднялся вверх по Струме и обнаружил, что ворота Амфиполя закрыты против него. Он игнорирует себя настолько, что не называет этот день катастрофическим, хотя он был катастрофическим для него и его страны. С той же отстраненностью он говорит о порабощении Мелоса и трагедии Сиракуз, хотя считает и заставляет нас чувствовать, что первое было венцом преступления, а второе - венцом катастрофы его страны. Он рассказывает об очевидных фактах и предоставляет читателю самому делать выводы. Если бы мы не знали, что он был афинянином, то вряд ли смогли бы понять из его истории, на чьей

стороне он был в войне - Афин или Спарты; настолько полностью он и его чувства остаются на заднем плане. Тем не менее он был ярким патриотом и описывает войну, в которой его страна потеряла господство и империю. Ни один историк войны 1914-18 годов, будь то на стороне союзников или Германии, вряд ли напишет о ней подобным образом.

Творчество Гомера обладает тем же качеством отстраненности. Он грек, пишет о десятилетней войне между греками и азиатами, но большинство его читателей сочувствуют скорее Гектору, чем Ахиллу. Сам он не предпочитал ни того, ни другого, но видел и чувствовал одинаково обоих; и героя, который сражался в проигранной битве за Трои, и того, кто потерял своего друга и, опьяненный горем, не видел и не чувствовал ничего, кроме страсти мести. Казалось бы, вряд ли можно написать концовку 22-й книги *"Илиады"*, где герои встречаются, не приняв ничью сторону; мы, несомненно, должны принять сторону Гектора. Но Гомер стоит в стороне от ссоры, видит обоих мужчин и чувства обоих, пишет пером ангела-писателя, а не судьи. О том, что он или Фукидид думали в каждом случае, можно только догадываться. Они представили факты без комментариев, а факты сами рассказывают о себе, сами объясняют себя, несут в себе чувства, которые они должны вызывать, и сияют своим собственным светом, подобно фосфоресценции моря.

Не нужно много размышлений, чтобы понять, что прямой, отстраненный, объективный характер является генеративным принципом греческих достижений, ибо он является родителем науки и философии, которые являются детьми желания видеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими их хотел бы видеть провидец. Влияние этого характера в поэзии можно оценить, сравнив некоторые явления нашей литературы, которые отсутствуют в греческой. Сравнение также покажет, чему современные писатели могут научиться у греков, и позволит нам судить, нужны ли эти уроки.

Привычка следить за предметом, которая является сущностью прямоты, препятствует и даже исключает условность, сентиментализм, вычурность, которые мешают писателю видеть и записывать жизнь такой, какая она есть. Эти недостатки всегда с нами, и поскольку я привел один пример их действия в эпиграмме Бена Джонсона и уже обсуждал этот вопрос в другом месте,^[120] я перейду к болезням, которые особенно характерны для современности и с которыми прямота в равной степени враждует.

Богатство английского языка само по себе таит опасность. Английский язык, как и латынь, прекрасно подходит для разглагольствований - эту способность открыли елизаветинцы. Современные писатели склонны к более деликатным излишествам и используют музыкальные качества английского языка. Это ясно из такого сборника, как *"Оксфордская книга викторианского стиха"*, который точно представляет продукцию эпохи и содержит несколько прекрасных стихотворений, но также очень большой процент того, что Гораций назвал *"Versus inopes rerum nugaeque canorae"*. Среди подражателей Теннисона нестерпимо много мешков для очень маленького хлеба. Для таких риторических или музыкальных пустяков нельзя найти лучшего противоядия, чем греческая литература, ибо в ней нет риторики, а те мелодичные нотации, которые в ней содержались, были спародированы в ее собственный век и почти не сохранились до наших дней. В целом она избежала и того, и другого благодаря своей прямоте. Риторика Лукана или Байрона, преобладание звука над смыслом у Шелли и Суинберна возникают потому, что эти поэты закрывают глаза на реальный мир и теряются в музыке слов. Греку, начинавшему с фактов, а не со звуков или чувств по отношению к фактам, нелегко было стать жертвой слов. Искушение для него не возникало, а если и возникало, то его грех легко обнаруживался. В этом он - хороший пример, особенно для поэтов, которые склонны терять из виду землю и уходить в неземной рай смутных чувств. Ведь величайшая поэзия - это поэзия вещей, а не слов, и в какие бы края

ни уносилась Муза, она может быть в безопасности, только если начнет с Земли и будет держать связь с ней открытой.

Непосредственность - это еще и защита от литературного эгоизма, в излишества которого легко впадает субъективная поэзия. Законная, когда она не выходит за рамки, привычка вкладывать себя в то, что пишется, может стать преступлением, и от этого преступления английская литература не свободна. Никто не может пожаловаться на то, что Мильтон и Вордсворт менее отстраненны, чем Шекспир или Софокл; но субъективность Байрона или Карлайла совсем другая. Их предмет постоянно омрачен тенью их личности; он страдает от частичного, а иногда полного затмения. Чайльд Гарольд видит себя во всем, что видит, проецирует себя на Бельгию, Афины и Рим и окрашивает самые голубые небеса желтушными оттенками своего темперамента. Это почти в равной степени относится к ученикам Карлайла, Рёскину и Фроуду, а среди современных людей - к целому рою мелких поэтов и романистов, которые выставляют на всеобщее обозрение картины своих возмущенных или кровоточащих сердец. Эгоизм - это порок нравов в той же степени, что и морали, и у него есть свой особый эффект и свое соответствующее наказание. Его эффект заключается в том, что он отвлекает внимание человека от главных вопросов к второстепенным, от большого мира к маленькому себе; его наказание заключается в том, что он утомляет аудиторию, и следующее поколение, если не его собственное, не любит постоянного навязывания элемента, к которому оно не проявляет интереса. Поэтому забвение, часто несправедливое, является наказанием, которое терпит эгоист. Даже наш век, интересующийся личностями, не имеет времени на Байрона или Карлайла; он слишком занят характерами своих современников, чтобы беспокоиться о характерах своих предшественников. Но ни один греческий писатель не забыт по этой причине. Какими бы ни были другие их проступки, греки свободны от литературного эгоизма. Непосредственность обратила их взоры на внешний мир и научила видеть даже себя со стороны.

Эгоизм - незначительный недостаток английской литературы. Некоторым он даже может показаться достоинством. Более серьезный недостаток, который наша литература разделяет с другими современными литературами, - это односторонность или неполнота взглядов, которая проявляется в виде ряда реакций и в Англии принимает форму колебания между сентиментализмом и довольно жестоким реализмом, причем последний преобладает в настоящее время. Эти две школы представляют собой избыток темперамента, одна - щедрости и доброты, другая - правды; среди наших гениальных писателей Диккенс и Харди хорошо их характеризуют. Представители одной школы стремятся в художественной литературе вознаграждать своих хороших героев и наказывать плохих, как они хотели бы, чтобы это делала жизнь; и правде не позволено помешать их благожелательности или их негодованию. Вопреки всему Майкобер и мистер Мелл добиваются успеха в жизни в Австралии, хотя правда кричит, что они рождены быть неудачниками; а нога наказания движется на страницах Диккенса быстрее и заметнее, чем в действительности. Затем появляется правдивый человек, который, возмущаясь пародией на жизнь, вводящей читателя в заблуждение и оскорбляющей истину, дает нам противоположную крайность в воображаемом мире, где тени углублены, а высший свет тщательно заслонен. Скотт и Диккенс рисуют мир, в котором в конце концов порок оказывается в сточной канаве, а добродетель выходит замуж за героя. Позднее Томас Харди подарил нам *"Джуда Обскура"* и *"Тэсс из рода д'Эрбервиллей"*.^[121] Здесь есть протест, восстановление равновесия, адвокат, который поднимается, чтобы представить сторону дела, которая была проигнорирована. И все же Истина снова нарушена, причем ее заклятым слугой; ведь мир, который изображает Харди, - это не тот мир, который есть на самом деле. Когда Диккенс назначает мистера Микобера окружным судьей Порт-Миддлбея, он не представляет жизнь, а

говорит то, во что он и его зрители хотели бы верить, чтобы чувствовать себя комфортно, когда они закрывают книгу. Поэтому в знак протеста против него в следующем поколении появляется Томас Харди, который после записи о несчастном конце Тэсс пишет: "Президент бессмертных закончил свой спорт с Тэсс". В этих словах он не настоящий летописец, как и Диккенс, а самозванный судья вселенной, которую он считает жестокой.

Ни Диккенс, ни Харди нельзя назвать неправдивыми писателями; оба дают картину жизни, правдивую до определенного момента. Харди, в частности, ошибается не столько искажением, сколько упущением; он видит одну сторону жизни, но за счет другой стороны; он не умеет справедливо держать равновесие, и ему не хватает большого милосердия Вселенной. Оба писателя неполноценны. Никто не может сказать о них то, что в полной мере относится к большинству греческих писателей и в значительной степени ко всем, - что они видят жизнь устойчиво и цельно. Еще меньше можно сказать об их последователях, которые, следуя моде учеников, подражают и развивают их недостатки, колеблются между сентиментальной фальшью и той суровостью и жестокостью, которые стали привычными в английской литературе за последние двадцать лет и во французской литературе за гораздо более долгий период. Ни один из этих писателей, даже самый лучший, не является прямым. Как Диккенс, они советуются со своими щедрыми сердцами или, что еще хуже, спрашивают: "Можно ли сказать правду, не разозлив публику?". Или, как Харди, они прикрывают дидактическую цель именем реализма и выражают горький личный протест против жестокости жизни. В любом случае они сужают свой взгляд и видят мир сквозь туман темперамента.

Этот момент можно проиллюстрировать, рассмотрев известный отрывок из Гомера, а затем спросив, как к нему могли бы отнестись сентиментальный и реалистичный писатель. Представьте себе смерть Гектора в руках Диккенса или Харди. Первый, скорее всего, не допустил бы ее, а если бы и допустил, то сделал бы Ахилла злодеем произведения, подчеркнул бы и развил трагедию в манере своих сцен смерти, пока не утомил бы читателя пафосом. Столкнувшись с такой трагедией, он дал бы волю эмоциям. Мистер Харди, как мы можем предположить, был бы впечатлен не столько пафосом сцены, сколько дикостью Ахилла и неправильным управлением вселенной, в которой такие вещи возможны, и он не позволил бы этой морали ускользнуть от своих читателей. Небольшими штрихами, подчеркивая подходящие случаи, он сделал бы трагедию еще более трагичной, а жестокость - еще более жестокой. Именно так он трактует смерть Джуда. Поступая так, и Диккенс, и Харди по-разному, бы позволили говорить не фактам, а своим личностям, и, видя только одну сторону истории, сделали бы ее менее сложной, чем жизнь, и менее полной. Но в *"Илиаде"* мы не видим ничего от личности Гомера и не слышим никакого голоса, кроме голоса фактов. История рассказывает сама за себя, без лишнего нагнетания искусственности. Перед нашими глазами предстают два человека - Гектор, последняя надежда Трои, жена и ребенок, ждущие его дома, и Ахилл, обезумевший от воспоминаний о погибшем друге. Здесь нет ни суждений, ни комментариев, а только то, что было.

Тем, кто утверждает, что Диккенс или Харди дают точную картину мира, можно ответить двумя словами. Во-первых, их мир - это не тот мир, каким его видит Шекспир или Мередит; для многих это будет достаточным опровержением его реальности. Во-вторых, история английской и французской литератур на протяжении последних 150 лет была историей сменяющих друг друга реакций. За классической школой последовали романтики, за романтиками - реалисты; каждое из них было протестом и реакцией против своего предшественника. У этих колебательных движений должна быть причина. Сейчас в литературе не бывает реакций, если нет какого-то избытка, который их провоцирует.

Существование реакции - это симптом болезни, и она не только никогда не произойдет без болезни, но всегда есть шанс, что она может зайти слишком далеко; ведь как в теле, так и в мире литературы, равновесие, однажды нарушенное, трудно восстановить. Но греческая литература, в отличие от нашей и от французской, ни на одном этапе не развивалась реакционно. За эпическими поэтами следуют лирики, а за ними - трагики: трагедия переходит в Новую комедию, за которой следует утонченная и художественная поэзия Александрии. В прозе непериодический стиль Геродота сменяется стилем Фукидида, а Платон и различные ораторы развивают различные типы письма. Однако ни один из этих стилей и ни один из этих писателей не являются реакцией друг на друга. Некоторые следы реакции против гомеровского мировоззрения Софокла, возможно, можно обнаружить у Еврипида. Но этот контраст лежит между двумя отдельными писателями, а не между двумя литературными школами, и не имеет аналогии с отношением романтиков к классике или к реалистическим движениям. Он гораздо менее заметен, чем, например, контраст между Вольтером и Виктором Гюго или между Виктором Гюго и Флобером. В развитии греческой литературы нет реакции, потому что ни на одном этапе нет избытка, на который можно было бы реагировать; а избытка нет, потому что греческие писатели прямы и объективны, потому что они - зеркала, отражающие жизнь, а не несовершенные линзы, искажающие ее каждый в соответствии со своим собственным несовершенством.

Литература елизаветинцев здесь похожа на греческую. Она действительно более причудлива, более вычурна, более лична, более пышна, чем греческая; но в целом она более бескорыстна, более свободна от дидактики, более склонна к созерцанию жизни ради нее самой, чем литература любой последующей эпохи в Англии. Со времен пуритан в творчестве наших писателей постоянно появлялись дидактические нотки. У нас были восстания и протесты, а затем, в результате реакции, еще больше протестов и восстаний. Как бы ни был восхитителен этот протестантизм с точки зрения морали, он вреден для литературы, ибо, как и все бунты, он заканчивается чрезмерностью и разрушает уравновешенный нрав, который необходим для создания величайшей литературы. Этот дидактический нрав, часто замаскированный под реализм, никогда не был так силен, как в наш век, когда многие, кто мог бы найти свою профессию в церкви, уходят на другие пути и ищут в литературе выход, который в прошлом нашли бы на кафедре. Господа Уэллс, Шоу, Голсуорси и другие - это *парсоны-манки*, которым природой предназначено писать не пьесы или романы, а проповеди. Вернее, это двойственные личности: в них соединились священнослужитель и писатель, и священнослужитель развратил поэта. Неудовлетворенный аппетит к проповеди, который сто лет назад был бы утолен написанием евангелического трактата, сегодня выливается в роман или пьесу. Мораль отличается, форма меняется, но намерения и характер остаются прежними.

Неблагодарно ругать этот морализаторский и дидактический нрав, одушевляющий большую часть нации и ответственный за многие британские достижения. Но его место - в мире действия, а не в мире письма, и он не порождает величайшую литературу или самые верные мысли. Греки могли бы выиграть от большего его вливания: мы, с другой стороны, можем научиться чему-то у их интеллектуального бескорыстия, которое в политических и социальных спорах сделает противоположные взгляды более понятными, а путь к истине - более легким и простым, в литературе избавит нас от излишеств, за которыми следует реакция на противоположное излишество, а в национальной жизни уберекет нас от материализма, одолевающего промышленный и торговый век. Идеал интеллектуальной истины не ограничивается греками, но ни у одного народа он не представлен более ясно и универсально, чем у тех, кто впервые принес его в равнодушный мир и построил на нем свою литературу и искусство в не меньшей степени, чем свою науку и философию.

Последнее качество греческой литературы, о котором я хочу рассказать, не является тем, которое мы ожидаем найти в сочетании с правдивостью; оно, конечно, очень редко встречается у современных реалистов. Однако греческий инстинкт красоты не подлежит сомнению. Есть свидетельства Винкельмана, который, живя в мире, забывшем греческий язык, открыл его заново; или Китса, который не был воспитан в том знакомстве с греческим языком, которое порождает тупость и безразличие, а познакомился с ним, когда был уже в возрасте, чтобы судить. Впечатление, произведенное как на Китса, так и на Винкельмана, - это впечатление новой и непревзойденной красоты. Существует свидетельство "прекрасной мифологии Греции", [122] детище необученного народного воображения, и пока богаче по качеству красоты, чем мифология Севера. Даже в опилках мифологического словаря истории об Аталанте, Нарциссе, Пигмалионе, Орфее и Эвридике, Фаэтоне, Медузе сохраняют свою магию.

Следующий отрывок из гимна Деметры может проиллюстрировать эту красоту, хотя он не относится к величайшим отрывкам греческой литературы, а его автор неизвестен. Это история о Матери-земле и ее дочери Персефоне:

ἦν Αἰδωνεύς
ἦρπαξεν, δῶκεν δὲ βάρυκτυπὸς εὐρυοπα Ζεὺς,
παίζουσιν κούρησι συν Ὠκεανοῦ βαθυκόλποις
ἀνθεὰ τ' αἰνυμένην, ῥόδα καὶ κρόκον ἥδ' ἰα καλὰ
λειμών' ἀμ μαλάκον καὶ ἀγαλλίδας ἥδ' ὕακινθον
νάρκισσον θ', ὃν φύσε δόλον καλυκώπιδι κούρη
Γαῖα Δίος βούλησι χαρίζομένη Πολυδεκτῇ,
θαυμάστον γανῶντα- σεβας τὸ γε πασὶν ἰδεσθαι
ἀθανάτοισι τε θεοῖσι ἥδε θνητοῖσι ἀνθρώποις-
τοῦ καὶ ἀπο ῥίζης ἑκατόν кара ἐξεπεφυκεῖ,
κῶζ' ἥδιστ' ὁδμή, πας δ' οὐρανὸς εὐρύς ὑπερθε
γαῖα τε πας' ἐγέλασσε καὶ ἄλμυρον οἶδμα θαλάσσης.
ἥ δ' ἀρα θαμβήσας' ὠρεξάτο χερσὶν ἄμ' ἀμφὼ
καλὸν ἀθύρμα λαβεῖν- χανε δὲ χθὼν εὐρυαγυῖα
Νυσιὸν ἀμ πεδίον, τῇ ὀρούσεν ἀναξ Πολυδεγμῶν
ἵπποις ἀθανάτοισι.[123]

{hên Aidôneus
hêrpaxen, dôken de baryktypos euryopa Zeus,
paizousan kourêsi syn Ôkeanou bathykolpois
anthea t' ainymenên, rhoda kai krokon êd' ia kala
leimôn' am malakon kai agallidas êd' hyakinthon
narkisson th', hon physe dolon kalukôpidi kourê
Gaia Dios boulêsi charizomenê Polydektê,
thaumaston ganoônta; sebas to ge pasin idesthai
athanatois te theois êde thnêtois anthrôpois;
tou kai apo rhizês hekaton kara exepephykei,
kôz' hêdist' odmê, pas d' ouranos eurys hyperthe
gaia te pas' egelasse kai halmyron oidma thalassês.
hê d' ara thambêsas' ôrexato chersin ham' amphô
kalon athyrma labein; chane de chthôn euryagyia

Nysion am pedion, tē orousen anax Polydegmōn
hippois athanatoisi}.

Перейдите от этого к какой-нибудь параллельной поэме в английской литературе, , например, к *"Эноне"* или *"Титонусу"*. Как бы ни был прекрасен Теннисон, греческая поэма обладает лучшей красотой, красотой не слов, не метафор и не искусного мастерства, а более простой, более спонтанной и инстинктивной, как будто говорит не человек, а сама природа. Об уникальности этой красоты свидетельствуют два писателя, которые сами принадлежат к числу великих поэтов мира, знают и ценят другие литературы, но говорят так только о греческой. Гете говорит жестко, но точно: "В присутствии античности разум чувствует себя помещенным в самое идеальное состояние природы; и даже по сей день гомеровские гимны обладают способностью освобождать нас, хотя бы на мгновения, от страшного бремени, которое навалила на нас традиция многих сотен лет". В этих словах Гете затронул тему простоты и естественности греческой красоты, в отличие от более экзотической и изощренной красоты, которой полны средневековое и современное искусство и литература. Китс, писавший о греческой урне, также имел в виду освобождающую силу греческой красоты:

Ты, безмолвная форма, выводишь нас из задумчивости.
Как и вечность; холодная пастораль!
Когда старость расточит это поколение
Ты останешься, среди других горестей
чем наше, другом человека, которому ты сказал,
"Красота - истина, истина - красота" - вот и все, что вы знаете на земле.
Ты знаешь на земле и все, что тебе нужно знать".

Эти слова указывают на еще одну черту греческой красоты, которую должен был почувствовать каждый, кто видел греческие статуи: она не вызывает догадок, как не вызывает и желания, потому что в нее не примешаны элементы, которые могли бы возбудить подобные чувства. В ней нет никаких примесей, это просто красота, ищущая себя.

Греческая красота не только отличается по качеству от нашей, но и более изобильна. Таков, несомненно, был бы вердикт беспристрастного критика, сравнившего Гомера, лириков, трагиков, Платона, Феокрита, эпиграмматистов с соответствующими именами в современных литературах. Это означает иной взгляд на мир; греки были более чувствительны к красоте, чем мы, так же как некоторые люди более чувствительны, чем другие, к цветам или звукам, к моральным или интеллектуальным проблемам. Это хорошо видно на примере их отношения к трагическим темам. Гомер и драматурги не испытывают недостатка в трагедии - их взгляд на жизнь, вероятно, мрачнее, чем наш собственный, и их восхваляют за пессимизм, который сталкивается с черной правдой и признает ее. Однако облако зла постоянно рассекается лучами красоты. Так, Гомер освещает трагическое расставание Гектора и Андромахи историей о ребенке и кивающем плюмаже, но не использует этот инцидент, как это сделали бы многие писатели, для усиления трагизма, который он не подчеркивает и не уменьшает: это просто незаслуженный штрих детского восторга, такой же случайный и естественный, как светлые моменты, которые в жизни, если не в реалистических романах, разнообразят самые мрачные часы. Так и Эсхил предваряет кровавую резню в Саламине белыми конями рассвета, эхом в скалах, белеющей пеной под веслами, а когда говорит об острове, где убивают персов, не забывает о танцах, в которых

издревле веселился Пан. Так, за одним из самых трагических моментов в *"Ипполите"* снова следует песня,

Мог бы я перенестись в какую-нибудь пещеру, чтобы спрятаться,
На вершинах холмов, где солнце едва ступает;
Или облако сделать домом моего пребывания,
Как птица среди божьих птиц!
Мог бы я взмахнуть крылом, чтобы отдохнуть среди рева
Глубокой Адриатики на берегу,
Где вода Эридана чиста,
И печальные сестры Фазтона у его могилы
Плачут в реку, и каждая слеза
Сверкает, как капля янтаря, в волне.[\[124\]](#)

Союз красоты и трагедии может показаться парадоксом, но ни один читатель не сможет не заметить его силы. Сама история смерти Гектора, рассказанная Гомером, пронзительна, даже если читать ее в английском переводе: магия языка и метра оригинала удваивает эффект. Сочетание этих двух, казалось бы, несовместимых вещей, которое является одним из признаков греческой поэзии, конечно, встречается и в других литературах; описание смерти Офелии в *"Гамлете"* - один из примеров этого. Но ни в одной драме, кроме греческой, нет того регулярного переплетения трагедии с изысканной лирикой, благодаря которому достигается один из самых сильных эффектов.

Эффект - не то слово, ибо перед нами не литературный трюк, а взгляд на жизнь, от природы цельный и пронизательный, чувствительный к красоте, которую не может уничтожить никакое зло, видящий великолепие в самой трагедии и помнящий, что, хотя дней тьмы много, глазам приятно созерцать солнце. Эта философия, пронизывающая всю греческую литературу, нравится многим. Те, кто не согласен с философией, не будут спорить с самой красотой. Эллинизм - одна из тех сил, которые постоянно хоронят и вновь находят, и которые, подобно талисманам, обладают тревожной силой, когда вновь попадают в руки человека. Те, кто читал литературу эпохи, заново открывшей греческий язык, увидят, что она принесла прежде всего чувство освобождения и расширения. В эпоху Возрождения, как и в XVIII веке, Греция нашла мир в цепях, разорвала их и сбросила тюремные стены. Оковы двух эпох были разными, но свободу в эпоху Возрождения частично, а в эпоху Винкельмана полностью, принесло видение красоты, которое продемонстрировала Греция. Наша эпоха имеет множество цепей и хорошо знает бремя, о котором говорил Гете. Он умножает уродство гораздо быстрее, чем красоту, и его писатели, такие плодотворные, интересные и вдумчивые, как они, не помогают ему в этом. Возможно, она, как и другие эпохи, найдет в этом качестве греческой литературы исцеляющую и освобождающую силу.

Английская литература не превзойдена никем, но ее недостатки или опасности находятся там, где греческая сильна. Греческая простота напоминает нам о главных интересах человеческого сердца. Греческая правдивость - это вызов видеть мир таким, какой он есть, и избегать пустоты простой музыки, фальши риторики или сентиментальности, неполноты писателей, которые, вместо того чтобы видеть жизнь в целом, игнорируют или подчеркивают какую-то ее часть в соответствии со своими симпатиями. Греческая красота - это память о

том аспекте вселенной, к которому эпохи мысли часто бывают слепы. Греческая техника - это урок "формы" и напоминание о ее месте в литературе.

Изучение греческого языка также не представляет опасности для нашего национального гения. Контакт с высокоразвитыми иностранными образцами может деформировать или сковывать литературу в ее младенчестве, но не может повредить ей, когда она вырастет и окрепнет. Отечественный характер тогда слишком прочно укоренился, чтобы быть испорченным, и это чистая выгода - иметь другой стандарт для сравнения, для выявления слабых мест и их лечения. Обращение к английской литературе подтвердит эту точку зрения и покажет, что хотя влияние греческого языка там часто было велико, оно не было искажающим. Рассмотрим английских поэтов, которые больше всего обязаны Греции - Мильтон, Грей, Шелли, Китс, Лэндор, Теннисон, Мэтью Арнольд, Суинберн, Бريدжес. Любого критика озадачило бы найти общий знаменатель между этими людьми или проследить до Греции какую-либо универсальную черту в их поэзии, за исключением, возможно, совершенства формы. Техническое совершенство - не настолько серьезный или частый порок у английских писателей, чтобы на него можно было жаловаться, и даже этот общий элемент исчезает, если к уже упомянутым поэтам добавить Браунингов, которые ценили и понимали греческий язык и греческий дух так же хорошо, как и любой из них.

На первый взгляд может показаться странным, что Шелли и Китс, Арнольд и Суинберн, которые были не просто страстными поклонниками Греции, но черпали в ней свое главное вдохновение, должны быть такими разными по стилю и сути. Объяснение этому простое. Некоторые влияния тираничны; они навязывают себя, они доминируют, они поработают. Но есть лучший и более редкий тип влияния, который стимулирует и вдохновляет, оставляя поэту свободу развивать свой собственный гений с расширенными горизонтами и обостренной чувствительностью. Греческое влияние на наших писателей было именно такого рода; возможно, потому, что его литература необычайно свободна от артистизма и манерности, которые поддаются подражанию, и похожа на многоголосую Природу.

R. В. Ливингстон.

ИСТОРИЯ

I

Взаимосвязь древнегреческой и современной западной цивилизации

Древнегреческое общество погибло по меньшей мере в седьмом веке н. э. Многие историки датируют его гибель многими столетиями раньше, и все согласятся, что даже если есть признаки того, что жизнь еще теплилась в теле до этого времени, его умственные и физические силы давно иссякли, и что переход от вялости к смерти был едва замечен, когда она наступила. Таким образом, даже по самым осторожным подсчетам, между завершением греческой истории и нашим временем лежит интервал в тринадцать столетий, а великую эпоху греческой истории - время расцвета древнегреческого общества, когда оно определяло свою судьбу и отвоёвывало судьбы соседей - отделяет от нашего поколения более двух тысяч лет. Какое наследие через эти великие периоды времени дошло от древнегреческого общества до современного мира? Прежде чем попытаться ответить на этот большой вопрос, давайте рассмотрим более мелкий: Каково наследие древнегреческой истории для нашего собственного общества? Та часть современного человечества, которая

населяет Западную Европу и Америку, представляет собой особое общество, наиболее удобное название которого - "Западная цивилизация", и это общество имеет с древнегреческим обществом такие отношения, которых нет у других современных обществ - например, у ислама, Индии и Китая. Оно является его ребенком.

Такое описание отношений между Древней Грецией и современным западным миром может быть не просто метафорой, ведь общества, как и люди, - живые существа, и поэтому можно ожидать, что они будут демонстрировать те же самые явления. Во всяком случае, метафора иллюстрирует факты. Начнем с того, что истории двух обществ пересекаются. Истоки современного западного общества можно проследить за столетие или два до христианской эры, когда земли и расы Западной Европы вступили в контакт с Левантом, где греческое общество уже выросло и находилось в зрелом состоянии. Зародыш западного общества сначала развивался в теле греческого общества, как ребенок в утробе матери. Римская империя была периодом беременности, в течение которого новая жизнь была укрыта и возвращена старой. Темный век" был кризисом рождения, когда ребенок отделился от своего родителя и появился как отдельный, хотя и голый и беспомощный, индивид. Средние века были периодом детства, когда новое существо, хотя и незрелое, обретало способность жить и расти самостоятельно. Четырнадцатое и пятнадцатое столетия, с их выраженными переходными характеристиками, могут означать половую зрелость, а столетия после 1500 года - наш расцвет. Метафора работает достаточно хорошо, чтобы пролить свет на нашу конкретную проблему: наследие, завещанное современному Западу Древней Грецией.

Дети "наследуют" от своих родителей в нескольких смыслах этого слова. Есть черты характера и инстинкты, физически передающиеся от одного к другому. В раннем детстве есть подражание речи и жестам родителей, которое, возможно, и не предопределено отношениями, но все же осуществляется подсознательно и фактически настолько неизбежно, что ребенок никогда не осознает, что у него есть выбор в этом вопросе. А осознанное и сознательное подражание происходит на более позднем этапе, когда ребенок уже достаточно взрослый, чтобы оценить характер своего родителя. Эти несколько форм "наследства" от родителей к ребенку различаются прежде всего тем, насколько их принятие и использование зависит от воли самого ребенка, и, вероятно, следует признать, что наследство, которое с меньшей вероятностью будет передано, также более важно, если передача произойдет. Например, на жизнь и характер ребенка больше влияет сознательное подражание родителям в относительно зрелом возрасте, чем неизбранное наследование определенного цвета волос и глаз, формы подбородка или склада характера. С другой стороны, если наследование этих характеристик от одного из ограниченного числа предков неизбежно, то добровольное наследие может вообще не передаваться. Ребенок не будет претендовать на него, если не знает своего родителя, не восхищается и не уважает его. Преждевременная смерть или уход родителя или отсутствие достаточной симпатии между ним и ребенком могут в этом случае помешать передаче, и потенциальное наследие с его огромными возможностями влияния на карьеру ребенка никогда не будет фактически завещано.

Этими соображениями мы можем руководствоваться при анализе наследия, которое мы получили от нашего родительского общества - цивилизации Древней Греции. Во-первых, передала ли нам Древняя Греция что-либо, сравнимое с физическим и психологическим наследием отдельного человеческого родителя своему ребенку? На этот вопрос нам трудно ответить, так же как членам одной семьи трудно оценить "семейное сходство" между собой. Мусульманин, индус или китаец может судить об этом лучше нас. Но, безусловно, возможно, что сравнительное сходство климатических условий и сравнительное единство расового

состава создали более тесную связь между этими двумя обществами, чем между любым из них и любым другим. Поэзия и философия, социальная жизнь и политические институты Древней Греции и современного Запада могут представлять собой единый вид, если их сравнить с институтами других цивилизаций. Современный западноевропейец или американец может в большей степени ценить Гомера, чем Ветхий Завет, или Сократа, чем Будду или Конфуция. Параллель, которую историки так часто проводят или подразумевают между конфликтом Древней Греции с Древним Востоком и современного Запада с современным Востоком, может основываться на реальном родстве между двумя окцидентальными цивилизациями в отличие от их соответствующих восточных соседей. Но это неопределенная и в целом невыгодная почва. Когда мы переходим к "подсознательно выбранному" типу наследия, аналогия с отношениями между родителями и детьми становится более очевидной.

Наследие такого типа, доставшееся нам от древнегреческого общества, ярко проявилось в Средние века - детстве современной западной цивилизации, последовавшем за кризисом рождения в "темные века". Одной из первых потребностей молодого западного общества, вставшего на ноги, был символ его единства - нечто, соответствующее достижению самосознания отдельным человеком, - и для этого оно позаимствовало последнюю конструктивную идею древнегреческого мира. Средневековая "Священная Римская империя" в детстве современной западной цивилизации имела совсем другие цели и функции, чем Римская империя в эпоху Древней Греции. Но молодая цивилизация не думала о том, чтобы изобретать новый институт для своих индивидуальных нужд. Подсознательно стремясь к собственному развитию, она задумывалась о возрождении одного из обычаев своего почтенного родителя. Политическим мыслителям времен Карла Великого и в голову не приходило, что идея мирового единства может быть воплощена в какой-либо иной форме.

И снова, столетие спустя, некоторые слои западного общества, особенно население Северной и Центральной Италии и Низких стран, опережали остальных в экономическом развитии и нуждались в институтах местного самоуправления, чтобы дать волю своей экономической силе. В этом случае западная цивилизация вновь обратилась к древнегреческому институту и возродила "город-государство". Чуть позже быстро растущий и дифференцирующийся организм западной цивилизации был вынужден обратиться к территориальной экспансии и, подобно Древней Греции в аналогичный период, устремился к берегам Средиземного моря. Это средневековое движение экспансии, которое обычно называют крестовыми походами, но которое проявилось в Испании, Сицилии и Эгейском море, а также в "Святой земле", представляет собой замечательную параллель с распространением древнегреческих городов-государств вокруг тех же берегов между 750 и 600 годами до н. э. Дрейфуя обратно по Средиземному морю, средневековый Запад искал новые земли для завоевания, но на самом деле он был захвачен романтикой своей прародины.

Итак, вот три выдающиеся черты средневековой западной истории - Священная Римская империя, фламандские и итальянские коммуны и крестовые походы, - которые были наследием древнегреческой истории в том смысле, что были подсознательным возвращением к привычкам родительского общества. Но были ли эти средневековые наследия Древней Греции действительно важными составляющими нашей истории в целом? Не были ли они скорее ложными ростками, которые не привели практически ни к чему? Священная Римская империя никогда не была чем-то большим, чем мираж. Чувство единства современного западного мира проистекает не из нее, а из действительно оригинального института, ранней папской церкви, в которой трудно обнаружить какое-либо

наследие Древней Греции. Национальные государства современной Европы и Америки происходят не от средневековых Гента или Брюгге, Флоренции или Венеции, а от новых, хотя и неуклюжих, феодальных сообществ средневековых Англии и Франции. И распространение западного общества шло не в том направлении, которое указывали крестовые походы. Ложная тропа Средиземноморья была практически оставлена после менее чем трехвекового испытания. Истинный ареал современной западной цивилизации был найден в регионах, которые Древняя Греция практически не исследовала: Северная Германия, Скандинавия и Британские острова, Северное море и Балтика, Атлантика и американский континент. Таким образом, наше средневековое наследие Древней Греции - подсознательные реверсии детства - скорее исторический курьез, чем жизненно важная связь между двумя цивилизациями. Наше действительно важное наследие Древней Греции было принято с полным сознанием и обдуманностью, когда мы стояли на пороге нашей собственной зрелости.

Наследие третьего типа, доставшееся нам от Древней Греции, получило общее название Ренессанса. Это была решительная и успешная попытка нашего общества усвоить все, чему могли научить нас литературные и художественные останки наших великих предшественников. Мы сами решали, изучать эти останки или пройти мимо них, и тот факт, что мы выбрали их изучение, стал одним из величайших и наиболее удачных решений в карьере нашей цивилизации. Несколько аспектов этого принятия того, что могла предложить Древняя Греция, уже рассматривались в других главах этого тома. Здесь лишь необходимо отметить, что Ренессанс был изучением и усвоением не только древнегреческой литературы и искусства, но и архитектуры, естественных наук, математики, философии, политических идей и всех других высших проявлений великого общества. Впитывание этого огромного потока жизни во многом объясняет тот удивительный импульс, который проявился в западной цивилизации за последние четыре столетия.

Израсходовало ли это течение свою силу? Исчерпано ли наследие, принятое четыре века назад? Создал ли современный Запад под вдохновением Древней Греции литературу, искусство, архитектуру, науку, математику, философию и политическую мысль, которые равны или превосходят античные образцы и превращают их из вдохновения в обременение? Похоже, именно этот вопрос является основополагающим в спорах об изучении древнегреческой жизни в современной Англии. Возможно, ответ можно найти - если мы вернемся к нашей метафоре - в уникальности отдельной личности.

Если рассмотреть отношения родителей и детей, да и вообще двух человеческих существ, то очевидно, что один из них никогда не сможет исчерпать все, что можно узнать от личности другого. Один может приобрести все физические, умственные и моральные достижения, которые может продемонстрировать другой, и все же уникальная индивидуальность другого останется неисчерпаемым предметом изучения, бросающим вечный новый свет на жизнь самого наблюдателя и его собратьев. Это справедливо для любых двух людей, но если эти двое оказываются людьми с выдающимся характером и гением, это становится истиной, которую почти смешно ставить под сомнение. Давайте применим это к изучению не одного человека, а одного общества другим, и возьмем для примера случай, когда эти два общества являются великими цивилизациями. Изучение великой цивилизации имеет уникальную ценность не только для представителей другой цивилизации, которые находятся с ней в отношениях ребенка и родителя, но и для каждого искателя знаний, у которого есть своя собственная цивилизация. Это величайшее и ценнейшее наследие Древней Греции находится в распоряжении мусульман, индусов и китайцев, а также жителей Запада. Для его получения необходимы два условия: хорошее понимание и открытый ум.

II

Древнегреческая цивилизация как произведение искусства

Цивилизации - это величайшие и редчайшие достижения человеческого общества. Бесчисленное множество обществ возникало и погибало на протяжении многих сотен тысяч лет, и почти ни одно из них не создало цивилизации. Цивилизации можно пересчитать по пальцам. В Европе их было, пожалуй, три: минойская на островах Эгейского моря (ее история охватывает 4000-1100 гг. до н. э.); греческая или греко-римская у берегов Средиземного моря (ее история длится с XI века до н. э. по VII век н. э.); и наша современная западная цивилизация у берегов Атлантики, которая начала выходить из сумерек в VIII веке н. э. и существует до сих пор. Есть еще древние цивилизации Египта и Нижней Месопотамии, над которыми сначала доминировала Древняя Греция, а затем они слились в единую ближневосточную цивилизацию ислама; есть цивилизации Индии и Китая. Даже если считать цивилизациями общества, существовавшие в Мексике и Перу до испанского завоевания, общее число известных независимых цивилизаций по сравнению с общим числом известных человеческих обществ очень мало. И это так, потому что достижение поразительно сложно. В социальной жизни есть два постоянных фактора - дух человека и его окружение. Социальная жизнь - это отношения между ними, и жизнь поднимается до уровня цивилизации только тогда, когда дух человека становится доминирующим партнером в этих отношениях - когда вместо того, чтобы быть сформированным окружающей средой (как это происходит в тропических лесах Центральной Африки и Бразилии) или просто сохранять равновесие с ней (как это происходит в степях Центральной Азии или Аравии, среди кочевников), он формирует среду для своих собственных целей, или "выражает" себя, "накладывая" отпечаток на мир. Изучение цивилизации ничем не отличается от изучения литературы. В обоих случаях мы изучаем творение человеческого духа, или, говоря более привычным языком, произведение искусства.

Цивилизация - это произведение искусства в прямом смысле этого слова, а не просто метафора. Верно, что произведения искусства создаются отдельными людьми, а цивилизация - обществом. Но какое произведение искусства может быть таким, в котором отдельный художник ничем не обязан другим? И цивилизация, труд бесчисленных индивидов и многих поколений, отличается в этом отношении от поэмы или статуи не по виду, а лишь по степени. Это социальное произведение искусства, выраженное в социальном действии, как ритуал или пьеса. Его нельзя описать лучше, чем назвав трагедией с сюжетом, а история - это сюжет трагедии цивилизации.

Специалисты по драматургии, начиная с Аристотеля и далее, сходятся во мнении, что почти все великие трагедии в литературе представляют собой изложение нескольких основных сюжетов. И возможно, что великие трагедии истории - то есть великие цивилизации, созданные духом человека, - при правильном анализе могут раскрывать один и тот же сюжет. Каждая цивилизация - например, цивилизация средневековой и современной Европы, а также Древней Греции - возможно, является вариантом одной темы. И изучение сюжета цивилизации в большой экспозиции - эллинской или нашей западной - несомненно, является правильной целью гуманного образования.

Но, конечно, возникает вопрос: Почему нужно изучать древнеэллинскую цивилизацию, а не нашу? Изучение любой цивилизации настолько сложно, оно требует такого количества предварительных и подчиненных исследований - лингвистических, институциональных, экономических, психологических, - что может поглотить все силы. Величайшие историки обычно ограничивались изучением одной цивилизации, а великие греческие историки -

Геродот, Фукидид и Полибий - концентрировались на своей собственной и изучали другие лишь постольку, поскольку их собственные соприкасались с ними. Очевидно, что люди, которые собираются стать историками не на всю жизнь, а в качестве образования на всю жизнь, должны сделать свой выбор. Они должны практически ограничиться изучением одной цивилизации, если хотят получить плоды обучения вообще, и в этом случае естественно спросить: почему изучать эллинизм, а не нашу собственную историю? Есть два очевидных аргумента в пользу изучения современной истории. Она кажется более знакомой и более полезной. И было бы ошибкой искажать эти аргументы, излагая их только в более грубой форме. "Знакомая" не означает "легкая", и если сказать, что современная история кажется более полезной, чем древняя, это не значит, что ее изучение ближе к пельмановскому курсу. Среди некоторых людей сейчас бытует крайне грубый взгляд на образование - возможно, он во многом обусловлен войной и может исчезнуть, как и другие ее уродливые последствия, - который склоняет к тому, чтобы сосредоточить образование на прикладной химии, скажем, или машиностроении, со смутной идеей, что люди, чье образование было посвящено этим предметам, будут более способны конкурировать с иностранцами в красивой промышленности или работать на заводах по производству боеприпасов в следующей чрезвычайной ситуации. Точно так же, возможно, предполагается, что концентрация на современной истории подготовит студента к получению концессий за рубежом для фирмы или к победе на парламентских выборах. Конечно, такая позиция, хотя и довольно распространенная сейчас, абсурдна. Ошибка заключается в том, что общие теоретические знания по предмету, полученные в процессе обучения, путают с техническими знаниями и личным опытом, которыми необходимо обладать, чтобы использовать этот предмет на практике в последующей жизни. В этом вопросе между "гуманистами" и "учеными" нет никаких разногласий. Речь идет о тех, кто не ценит стремление к знаниям как самоцель, и тех, кто ценит его и поэтому понимает, что такое образование. Истинные любители знаний и истинные верующие в образование окажутся на одной стороне в этом споре, независимо от того, что является предметом их изучения - дух человека или законы окружающей его среды. Но помимо этого грубого утилитаризма, который столь же ненаучен, сколь и негуманен, можно привести серьезные аргументы в пользу изучения современной, а не древней истории, как с гуманной, так и с научной точки зрения. Можно утверждать, что непосредственный опыт нашей собственной цивилизации позволяет нам глубже, а значит, гуманнее и научнее понимать ее, чем Древнюю Грецию. И можно было бы продолжить, опираясь исключительно на гуманизм, утверждать, что такое понимание характера и истоков нашей цивилизации окажет более глубокое гуманизирующее влияние на ее развитие, чем менее глубокое изучение другой цивилизации. Этот аргумент не может не понравиться поколению, пережившему войну. Очевидно, что война - один из величайших кризисов нашей цивилизации. Она подобна пожару, освещающему тусклое прошлое и заставляющему взглянуть на него в перспективе. Война делает невозможным для нас воспринимать нашу собственную историю как нечто само собой разумеющееся. Мы обязаны разобраться в причинах столь поразительной катастрофы, и как только мы это сделаем, мы окажемся перед вопросом об эволюции западной цивилизации с тех пор, как она вышла из Темного века. Потрясение Пелопоннесской войны послужило таким же интеллектуальным стимулом для Фукидида и заставило его предварить свою историю этой войны кратким, но непревзойденным критическим анализом истоков эллинской цивилизации - знаменитыми вступительными главами Книги I. Не могут ли эти главы указать нам путь и посоветовать сосредоточиться на изучении нашей собственной истории?

Этот вопрос заслуживает самого серьезного рассмотрения, причем не только с утилитарной, но и с научной и гуманной точки зрения. Но ответ на него не является предрешенным. Есть

доводы в пользу изучения цивилизации Древней Греции, которые можно свести к следующим четырем пунктам:

(i) В греческой истории сюжет цивилизации проработан до конца. Мы можем сидеть в качестве зрителей на протяжении всей пьесы; мы можем сказать: "Это или то - кризис; с этого момента конец неизбежен; или если бы этот актер действовал иначе в таких-то обстоятельствах, результат не был бы таким же". Мы можем понять структуру трагедии и разделить ее на акты. Но в нашей собственной истории мы подобны игрокам в середине пьесы, и хотя мы можем сказать: "Это третий акт или четвертый акт", мы не можем сказать: "Это последний акт или предпоследний". Мы не можем предсказать будущее; произведение искусства, которое мы изучаем, неполноценно, и поэтому мы не можем воспринять его как художественное целое, какими бы яркими ни были наши впечатления от отдельных сцен и ситуаций. Первый аргумент в пользу греческой истории - ее завершенность и истинная перспектива с нашей точки зрения.

(ii) Второе - это то, что исторический опыт греков был выражен более тонко, чем наш. Он нашел свое выражение во всем греческом искусстве и литературе - ведь это большая ошибка полагать, что исторический опыт выражается только в так называемых исторических записях. Великие поэты Греции оказывают не меньшую помощь в понимании ментальной истории Греции (которая, в конце концов, является важнейшим элементом любой истории), чем философы и историки. И греческий исторический опыт или ментальная история лучше выражены в греческой литературе, чем наша - в литературе современной Европы. Не пытаясь сравнивать эти две литературы как литературы, можно с определенной уверенностью сказать, что сохранившиеся шедевры греческой литературы дают лучшее представление о субъективной стороне греческой истории - об эмоциях и спекуляциях, возникших в результате превратностей греческого общества и ставших его самыми великолепными творениями, - чем любое представление о субъективной стороне современной истории, которое мы можем получить, изучая ее по современной литературе.

(iii) Третий момент выражен в заключительной фразе определения трагедии, данного Аристотелем ("Поэтика", vi. 2). "Трагедия, - говорит он, - это имитация действия, которое является серьезным, законченным и определенного масштаба... через жалость и страх достигается надлежащее *καθαρσις* или очищение этих эмоций". (Это слово *καθαρσις* - очищение, очищение, очищение, разрядка - было предметом бесконечных споров среди ученых, но любой человек, знакомый с древнегреческой литературой и переживший войну, поймет, что оно означает. Конечно, в самые тяжелые моменты войны писатель находил отрывки из классики - какую-нибудь строчку Эсхила, Лукреция или Вергилия, или смысл какой-нибудь речи Фукидида, или впечатление от какого-нибудь горького или спокойного настроения в диалоге Платона, - которые приходили ему на ум и приносили облегчение. Эти люди прошли по дороге, на которую ступили наши ноги; они прошли ее дальше, чем мы, прошли ее до конца; и мудрость большего опыта и острота больших страданий, чем наши, выражались в красоте их слов. В личном опыте писателя такое облегчение принесло знакомство с греческой цивилизацией, выраженной в греческой литературе. Это приводило к общению с цивилизацией, отличной от нашей, с людьми, которые пережили все и даже больше, чем мы, и которые сейчас пребывают в покое за пределами мира времени и перемен. Итак, *Καθαρσις* - это эмоциональная ценность, которая свойственна изучению другой цивилизации и которую невозможно получить, во всяком случае, с той же интенсивностью, изучая свою собственную.

(iv) Эта эмоциональная ценность имеет свой интеллектуальный аналог в сравнительном методе исследования, который человек получает, изучая не свои собственные обстоятельства, а обстоятельства, сопоставимые с его собственными, но не идентичные им. Это общее место в области языка. Принято считать, что изучение древнегреческого языка имеет для англичанина большее воспитательное значение, чем изучение современного французского или немецкого, потому что греческий и английский воплощают фундаментальные принципы человеческого языка в совершенно независимых формах выражения, в то время как французский и английский, помимо элементов, общих для всех языков, имеют особый фон Библии и классики, которые дали им обширный общий запас фразеологии и образности. Это в равной степени относится и к изучению цивилизации. Изучая древнегреческую религию и сравнивая ее с христианством, можно узнать больше, чем изучая христианство в неведении относительно других религиозных явлений; а изучая греческий город-государство и сравнивая его с современным национальным государством, можно узнать больше об институтах, чем просто изучая эволюцию национального государства в современной Европе. Если мы понимаем под полезностью интеллектуальную, а не практическую пользу - а как гуманисты и ученые мы это понимаем, - мы можем без парадокса утверждать, что изучение греческой цивилизации ценно только потому, что она не является нашей собственной.

Итак, вот четыре аргумента в пользу греческой истории: мы обладаем всей трагедией, она великолепно выражает сюжет, и она имеет особую эмоциональную ценность и особую интеллектуальную ценность, которую не может иметь для нас драма, в которой мы сами являемся актерами.

На этом этапе необходимо дать набросок сюжета греческой истории - каждый должен сделать свой собственный набросок; писатель предлагает свой, чтобы спровоцировать читателя сделать свой собственный, - а затем проиллюстрировать второй момент, красоты выражения, процитировав полдюжины отрывков из античных авторов. Два других пункта - катарсис и сравнительная ценность греческой истории - относятся к личному опыту. Я не сомневаюсь, что читатель испытает их сам, если займется этим исследованием серьезно и с широкой точки зрения.

III

Сюжет древнегреческой цивилизации

Генезис древнегреческой цивилизации, несомненно, происходит позже двенадцатого века до нашей эры, когда минойская цивилизация, ее предшественница, все еще находилась в процессе распада; а конец древнегреческой цивилизации, несомненно, должен быть помещен до восьмого века нашей эры, когда современная западная цивилизация, ее преемница, уже появилась на свет. Между этими крайними точками мы не можем точно датировать ее начало и конец, но мы видим, что она охватывает период в семнадцать или восемнадцать веков.

Проще разделить трагедию на акты. Сразу можно выделить два драматических кризиса - начало Пелопоннесской войны и основание Римской империи. Для удобства мы можем взять точные даты - 431 год до н. э. и 31 год до н. э. - и сгруппировать действие на три акта или фазы: один до, один между и один после этих критических моментов.

Лучше всего представить анализ в табличной форме:

Акт I (XI в.-431 г. до н. э.).

1. Синойкизм (образование города-государства, ячейки греческого общества), 11 в.-750 г. до н. э.
2. Колонизация (распространение города-государства по Средиземноморью), 750-600 гг. до н.э.
3. Экономическая революция (переход от экстенсивного к интенсивному росту), 600-500 гг. до н. э.
4. Конфедерация (отпор восточной универсальной империи и создание межгосударственной федерации, Делийской лиги), 500-431 гг. до н. э.

Акт II (431 г. до н. э. - 31 г. до н. э.).

5. Греческие войны (крах межгосударственной федерации), 431-355 гг. до н. э.
6. Восточные войны (сверхчеловек, завоевание Востока, борьба за трофеи, нашествие варваров), 355-272 гг. до н. э.
7. Первое объединение (изменение масштабов и новые эксперименты в области федерации - Селевкидская Азия, Римская Италия, Этолийские и Ахейские "Соединенные Штаты"), 272-218 гг. до н.э.
8. Римские войны (уничтожение четырех великих держав одной; опустошение средиземноморского мира), 218-146 гг. до н. э.
9. Классовые войны (капитализм, большевизм, наполеонизм), 146-31 гг. до н. э.

Акт III (31 г. до н. э. - VII в. н. э.).

10. Второй митинг (последний эксперимент по созданию федерации - компромисс между автономией городов-государств и капиталистической централизацией), 31 г. до н. э. - 7 в. н. э. D. 180.
11. Первый распад (внешний фронт прорван соплеменниками, внутренний - христианством), 180-284 гг. н. э.
12. Окончательное сплочение (Константин τον δημον προσεταιρίζεται - племена на землю, епископы в бюрократию), 284-378 гг. н. э.
13. Окончательный распад (разрыв традиции), 378-7 вв. н. э.

Этот анализ является и должен быть субъективным. Каждый должен сделать свой собственный, так же как каждый должен понять для себя форму произведения искусства. Но как бы историк ни анализировал сюжет и ни группировал его по актам, необходимо помнить, что действие непрерывно и что первое возникновение греческого города-государства в Эгейском море и последние следы муниципального самоуправления в Римской империи - это этапы истории единой цивилизации. Может показаться парадоксом называть эту цивилизацию единством. Но изучение греческой и латинской литературы не оставляет сомнений в том, что различие языков здесь менее существенно, чем единство форм, и что мы действительно имеем дело с единой литературой, эллинской, которая во многих своих ответвлениях подражала и распространялась на латинском языке, так же как в меньшей степени на иврите, а позднее на сирийском и арабском. Единство становится еще более очевидным, когда, не ограничиваясь литературой, мы рассматриваем всю сферу цивилизации. Невозможно провести различие между греческой и римской историей. В лучшем случае можно сказать, что в какой-то момент греческая история вступает в фазу, которую удобно выделить словесно, связав ее с именем Рима. Возьмем пример Римской империи - читатель, возможно, удивится, что Римская империя рассматривается как третий

акт в трагедии Греции; однако, изучая империю, можно обнаружить, что она была по сути греческим институтом. Институционально она представляла собой федерацию городов-государств, решение политической проблемы, над которой греческое общество билось с пятого века до н. э. И даже немунципальный элемент, централизованная бюрократическая организация, которую Август раскинул, как тонкую, почти непроницаемую сеть, чтобы удержать федерацию муниципалитетов вместе, была в значительной степени плодом греческого административного опыта. По мере того как папирология раскрывает административную систему династии Птолемеев - греческих преемников Александра, которые предшествовали Цезарям в управлении Египтом, - мы узнаем, что даже те институты империи, которые считаются наиболее негреческими, могли быть заимствованы через греческого посредника. Имперская юриспруденция, опять же, интерпретировала римское муниципальное право в закон цивилизации, вчитывая в него принципы греческой моральной философии. И греческий, а не латынь, по-прежнему был языком, на котором была написана большая часть величайшей литературы императорского периода. Достаточно упомянуть произведения, которые до сих пор широко читаются и оказали влияние на нашу собственную цивилизацию, - *"Житие"* Плутарха, *"Размышления"* Марка Аврелия и Новый Завет. Все они написаны на греческом языке, и кто возьмет на себя смелость утверждать, что эпоха, в которую они были написаны, выпадает из греческой истории, или что социальный опыт, породивший их, не был актом в трагедии эллинской цивилизации? Даже статистически империя была больше греческой, чем какой-либо другой. Вероятно, значительное большинство ее жителей говорили на греческом как на лингва франка, если не как на родном языке. Почти все крупные промышленные и торговые центры находились в греческих или эллинизированных провинциях. Возможно, в первые два века существования империи пролетариат самого Рима говорил на греческом языке больше, чем на латыни. Греческое ядро Римской империи играло роль Западной Европы в современном мире. Латинизированные провинции были малонаселенными, отсталыми и лишь поверхностно посвященными в братство цивилизации. Латинизированные Испания и Африка были Южной Америкой, латинизированные Галлия и Британия - Россией древнегреческого мира. Пульс Империи бился в греческом сердце, а в негреческих окраинах он бился сравнительно слабо.

IV

Литературное выражение сюжета

И вот, предложив свое прочтение сюжета, настало время позволить действующим лицам говорить за себя. Здесь достаточно места, чтобы привести полдюжины отрывков, но они были выбраны для иллюстрации критических сцен и ситуаций в драме, как она была набросана, и они могут убедить читателя, что есть что сказать в пользу нынешней интерпретации.

Мы не будем останавливаться на периоде, который я назвал первым актом, то есть периоде до 431 года до н. э. Но читателю снова рекомендуется не отбрасывать греческих поэтов, когда он берется за греческих историков. Гомер расскажет о первых сценах больше, чем Геродот; а возвышение духа, вызванное отпором персам и нашедшее свое организационное выражение в основании Делийской лиги, вряд ли можно эмоционально осознать без поэзии Эсхила. Но без философов и ученых тоже не обойтись. Книга профессора Бернета *"Ранняя греческая философия"* или *"Греческая философия от Фалеса до Платона"* проливает свет на историю, а не только на греческую теорию познания. Читатель должен познакомиться с небольшим трудом *"Атмосфера, воды и местность"*, вышедшим из гиппократовской школы медицины. В тексте Теубнера (*Hippocratis Opera*, vol. i) всего тридцать восемь страниц, а научная точка зрения пятого века выражена в нем яснее, чем у Геродота. Вот один из

отрывков, который мог быть написан в викторианской Англии. Автор описывает особую болезнь, распространенную среди кочевников южной России. "Туземцы, - замечает он, - верят, что эта болезнь послана Богом, и почитают и поклоняются ее жертвам, опасаясь, что сами ею заразиться". Я тоже готов признать, что эти явления вызваны Богом, но я придерживаюсь такого же мнения относительно всех явлений и считаю, что ни одно явление не имеет более или менее божественного происхождения, чем любое другое. Все они однородны, и все они могут быть божественными, но каждое явление подчиняется закону, а естественный закон не знает исключений".

Трудно расстаться с этим первым актом трагедии. Это триумф молодости, и фраза, которой Геродот подводит итог ранней истории Спарты, выражает преобладающий дух ранней эллинской цивилизации. *Ανα τε εδραμον και ευθενηθησαν*: "Они выстрелили и расцвели". Но у Геродота есть еще одна фраза, которая объявляет второй акт - зловещая фраза, которая была настолько естественной для него, что можно отметить около дюжины случаев ее использования в его истории. *Εδει γαρ τω θεῳ γενεσθαι κακως*: "Зло должно было постигнуть такого-то и такого-то, и поэтому" - в каждом случае следует рассказ о катастрофе. Мысль, лежащая в основе этой фразы, выражена в словах Солона, обращенных к Крезу (Геродот, кн. I, гл. 32): "Крез, я знаю, что бог вечно завистлив и неугомонен" (*ταραχῶδες*), "а ты спрашиваешь меня о судьбе человека!".

Обратите внимание на эпитет, переведенный как "раздор"; слово *ταραχή* нам еще встретится. Это горькая фраза человека, пережившего великую эпоху и войну, но не такая горькая, как истина, которую писатель не мог заставить себя полностью выразить. Ни одно явление, - как понимала современная греческая наука, - не является более или менее божественным, чем любое другое", и "завистливая и раздорная" сила, разрушившая греческую цивилизацию, была не внешней силой, а самим духом человека, которым эта цивилизация была создана. У Гомера есть загадочная фраза, которая один или два раза применяется к особенностям пейзажа - например, к реке: "Боги называют ее Ксанфос, человечество - Скамандрос". Так можно сказать и о падении Греции: греки приписывали его злобе Бога, но божественные оракулы давали другой ответ.

Почему распалась Делосская конфедерация и Греция потеряла свою молодость в разорительной войне? Из-за зла в сердцах людей - зависти, вызванной политическим и торговым величием Афин в правящих классах Спарты и Коринфа, и жадности, вызванной внезапным величием афинян, соблаздившей их государственных деятелей превратить председательство в свободной конфедерации в господство Афин над Грецией и склонить афинский пролетариат и пролетариат в конфедеративных государствах к злоупотреблению демократией для эксплуатации богатых бедными. Зависть и стяжательство породили несправедливость, а несправедливость - нелояльность. Города-государства, соперничая за господство или возмущаясь господством одного государства над другим, забывали о своей верности общему благу Греции и воевали друг с другом за империю или свободу. А богатые и родовитые граждане забыли о верности городу в слепой, злобной вражде с пролетариатом, лишившим их собственности и власти, и предали свою общину иностранным врагам.

Странно, что смертные обвиняют богов. Они говорят, что зло - дело наших рук, а на самом деле сами навлекают на себя страдания. По собственной глупости они подталкивают судьбу. Видишь, как Аигист, взяв замуж жену Атреиды и убив ее повелителя по возвращении, принудил ее к этому, хотя перед глазами у него была сплошная гибель, ибо мы сами предупреждали его не убивать царя и не жениться на его жене, иначе месть придет от сына Атреиды Ореста, когда он достигнет зрелости и будет тосковать по дому. Так говорил наш

вестник, но при всей своей мудрости он не смягчил сердце Аигиста, и теперь тот заплатил сполна" (*Одиссея*, а 32-43).

Эти строки из первого канто "*Одиссеи*" были придуманы поколением, которое еще могло позволить себе ошибаться, но по мере того, как Греция приближалась к своему судьбоносному часу, ее пророческое вдохновение становилось все более ясным. Поэтов шестого века настойчивее, чем гомеридовцев, преследовали возможности катастрофы, присущие любому успеху - и в личном процветании, и в военной победе, и в социальном триумфе цивилизации. Они связывали беду с аберрацией человеческого духа под воздействием шока от внезапного, неожиданного достижения и понимали, что и накопленные поколениями достижения, и большие перспективы будущего могут быть безвозвратно потеряны из-за неудачи в этот критический момент. 'Изобилие (корос) порождает грех ὕβρις, когда процветание посещает неуравновешенные умы'. В несколько иной форме эта пословица повторяется в сборниках стихов, приписываемых Феогнису и Солону. Ее создатель воздержался от добавления того, что было в мыслях у него и его слушателей: ὕβρις, однажды зародившись, порождает αἴη - полное и несомненное уничтожение, к которому грешник идет с невидящими глазами. Но вся эта нравственная мистерия, вплоть до ее неумолимого конца, снова и снова произносится в страстных словах Эсхила, который сознательно отбросил примитивный магический детерминизм, в котором впоследствии тщетно искал облегчения Геродот.

Φίλει δὲ τικτεῖν ὕβρις
μὲν παλαία νεα-
ζούσαν ἐν κακοῖς βροτῶν
ὕβρις τοτ' ἢ τόθ', ὅτε το κύριον μολῇ
φαὸς τοκοῦ,
δαίμονα τ' ἐταν, ἀμαχὸν, ἀπολεμὸν,
ἀνιερὸν θρασὸς, μέλαι-
νας μελαθροῖσιν Ἀτὰς,
εἰδομένας τοκευσίν.

{Philei de tiktein hubris
men palaia nea-
zousan en kakois brotôn
hubris tot' ê tóth', hote to kyrion molê
phaos tokou,
daimona t' etan, amachon, apolemon,
anieron thrasos, melai-
nas melathroisin Atas,
eidomenas tokeusin}.

Но старый грех любит, когда приходит час,
Чтобы породить новый,
Который смеется с вожделением среди слез людских;
Да, и Неправда, его товарищ, с которым никто не может
Не может устоять, не может бороться, И смело идет вперед и вперед,
Не зная ни страха, ни святыни;
Два огня тьмы в доме, рожденные истинно,
Как их древний источник.

(Агамемнон, ст. 763-71, перевод Мюррея).

Поэта венчающей победы над Персией охватил трепет, а также ликование по поводу возможностей добра или зла, которые держало в руках его триумфальное поколение. Были ли они истинным металлом или основой? Время испытает их, но он не сомневался в неумолимом законе.

Ou γαρ ἐστὶν ἐπαλξίς
πλούτου πρὸς κορον ἀνδρὶ
λακτίσαντι μέγαν δίκης
βῶμον εἰς ἀφανείαν.

{Ou gar estin epalxis
ploutou pros koron andri
laktisanti megan dikês
bômon eis aphaneian}.

Никогда ни состояние, ни золото
Не укроют сердце от боли.
Кто у алтаря правосудия старого
Отвергнет ночь без сна.
(Агамемнон, ст. 381-4, перевод Мюррея).

Агамемнон был написан, когда Афины стояли на вершине своей славы и могущества, и прежде чем ее сыновья, следуя велению своего сердца, "как мальчик, гоняющийся за крылатой птицей", поставили роковой камень преткновения на пути своего города или запятнали его нестерпимым пятном. Поколение Марафона предвидело катастрофу Пелопоннесской войны, но потрясение, когда оно пришло, оказалось выше их воображения, и влияние его на сознание Греции впервые выразило поколение, которое было поражено войной в ранней юности. Вот как это ощутил Фукидид (iii. 82):

"Классовая война в Коркире становилась все более и более жестокой, и она произвела особое впечатление, потому что была первой вспышкой потрясений, которые со временем охватили почти все греческое общество. В каждом государстве возникали классовые конфликты, и теперь лидеры соответствующих партий добивались вмешательства афинян или лакедемонян на своей стороне. В мирное время у них не было бы ни возможности, ни желания привлекать иностранцев, но теперь шла война, и любой партии насилия было легко добиться того, чтобы их противники были разбиты, а сами они пришли к власти, заключив союз с одной из воюющих сторон. Этот всплеск классовой войны обрушивал на греческие государства одно бедствие за другим - бедствия, которые происходят и будут происходить до тех пор, пока человеческая природа остается такой, какая она есть, как бы они ни изменялись или иногда смягчались в результате изменения обстоятельств. В благоприятных условиях мирного времени сообщества и отдельные люди не скованы логикой событий, а потому могут действовать в соответствии с более высокими стандартами. Война же лишает обычную жизнь всех пределов и своей жестокой дрессировкой подстраивает характер под обстоятельства. Поэтому государства раздирала классовая война, и сенсация, произведенная каждой вспышкой, оказывала злое влияние на следующую -

фактически, существовало нечто вроде соревнования в совершенствовании тонкого искусства заговоров и злодеяний.....

(iii. 83) "Таким образом, классовая война ввергла греческое общество во все виды морального зла, а честность, которая является главной составляющей идеализма, была вычеркнута из существования в преобладающей атмосфере враждебности и подозрительности. Ни один аргумент не был достаточно убедительным, ни одно обещание не было достаточно торжественным, чтобы примирить противников. Единственный аргумент, который пришелся по душе партии, временно находящейся у власти, заключался в маловероятности того, что она останется там надолго, и, следовательно, в целесообразности не рисковать со своими врагами. И чем глупее были сражающиеся, тем больше у них было шансов выжить, просто потому, что они были напуганы своими недостатками, ожидали, что их перехитрят и перехитрят, и поэтому безрассудно бросались в бой, в то время как их превосходящие по интеллекту люди, которые полагались на свой ум и пренебрегали практическими мерами предосторожности, часто оказывались беззащитными и доводили дело до гибели".

Это влияние великой греческой войны на первое поколение. Фукидид, конечно, обладал чувствительным и эмоциональным темпераментом. Он постоянно контролирует себя и сдерживает. Но поражает вспышка тех же чувств у более молодого человека, Ксенофонта, который обычно находился в гармонии со своим возрастом и, вероятно, по натуре был довольно несмышленным и самодовольным. Война дала Ксенофону возможность стать солдатом и писателем. Он не был склонен ссориться с "завистливыми и раздорными" силами, погубившими греческую цивилизацию. Но в последнем абзаце "Истории своих времен" он увлекается, поскольку только что описывал битву при Мантинее (362 г. до н. э.), в которой он потерял своего сына.

Результат битвы, - пишет он, - разочаровал все ожидания. Почти вся Греция была мобилизована на ту или иную сторону, и считалось само собой разумеющимся, что если дело дойдет до сражения, то победители смогут делать все, что им заблагорассудится, а побежденные будут отданы на их милость. Но Провидение распорядилось так, что обе стороны... заявили о своей победе, но ни одна из них не получила ни пяди территории, ни одного города, ни крупицы власти сверх того, чем они обладали до битвы. Напротив, после битвы в Греции было больше неустроенности и беспорядка (ταραχη), чем до нее. Но я не собираюсь продолжать свое повествование и предоставляю продолжение любому другому историку, который пожелает его записать" (*Hellenica*, vii. 5 fin.).

Пространство не позволяет приводить цитаты из Платона, но читателю рекомендуется, изучая его метафизику и философию, обращать внимание на его настроения и эмоции, чтобы они пролили свет на историю его жизни. Длительная жизнь Платона - с 427 по 347 год до н. э. - практически совпала с первой фазой второго акта трагедии - серией войн, начавшихся в 431 году до н. э. и приведших к полному распаду и истощению греческих городов-государств к 355 году. Платон принадлежал к тому культурному правящему классу, который больше всего пострадал от этих первых бедствий. В возрасте двадцати девяти лет, наблюдая за падением Афин, он стал свидетелем судебного убийства Сократа - величайшего человека старшего поколения, которого ценили и любили Платон и его друзья. Самый многообещающий ученик Платона, которого он наметил в качестве своего преемника, был убит в бою во время особенно бесцельной рецидивной войны. Политическое разочарование и извращенность Платона легко понять. Но любопытно и интересно наблюдать за столкновением между его политической горечью и интеллектуальной безмятежностью. В интеллектуальной и художественной сфере - как писатель, музыкант, математик, метафизик -

он сознательно стоял в зените греческой истории; но всякий раз, когда он обращался к политике, он, кажется, чувствовал, что весна ушла из года. Он инстинктивно предвосхищал место действия своих диалогов. Почти все персонажи принадлежат к поколению Сократа, которое выросло до войны и в чьих воспоминаниях сохранилась слава, которую погасила война. Обратите внимание и на его "потусторонность", ведь эта черта приходит в греческую цивилизацию вместе с ним и постепенно пронизывает ее. Он обращается от науки к теологии, от мира времени и перемен к миру архетипов или идей. От социальной религии города-государства он переходит к личной религии, символы для которой он берет из первобытной мифологии. От политики он переходит к утопиям. Но Платон дожил только до первой фазы катастрофы. Когда мы наблюдаем за оставшейся частью второго акта - теми четырьмя ужасными столетиями, которые последовали за 431 годом до н. э., - приходят вести о бедствии за бедствием, как сообщения о катастрофе в Книге Иова, и по мере того как мир рушится, люди все больше и больше стремятся заложить свои сокровища в другом месте. В *"Законах"* Платон помещает свою утопию не дальше Крита. Два века спустя последователи Аристоники-большевика, объявленные вне закона городами Греции и Азии, провозглашают себя гражданами Города Солнца. Еще через два столетия последователи Иисуса из Назарета, отчаявшись в этом мире, молятся о его уничтожении огнем, чтобы освободить место для Царства Небесного.

Душевное состояние Платона передает атмосферу первой фазы после катастрофы. Что касается второй фазы - завоевания Востока и борьбы за добычу - читатель может обратиться к *"Лекциям о стоиках и скептиках"* мистера Эдвина Бевана и к лекции профессора Гилберта Мюррея *"Стоическая философия"*, посвященной памяти Конвея. Они покажут ему философскую систему, которая больше не является чистым продуктом спекуляций, а в первую очередь представляет собой моральное убежище, поспешно возведенное, чтобы встретить бури жизни. Третий этап - подъем цивилизации в середине III века до н. э. - отражен в житиях спартанских царей Агиса и Клеомена, написанных Плутархом. Каждый, кто прочтет их, почувствует галантность этого ралли и пафос его провала. Затем наступает четвертый этап - войны римлян против других великих держав средиземноморского мира. Ганнибаловская война в Италии была, вероятно, самой ужасной из всех, что когда-либо происходили, не считая недавней войны в Европе. Ужас этой войны преследовал последующие поколения, и одно лишь воспоминание о ней заставляло забыть о ней, как о желанном избавлении от невыносимого мира.

Nil igitur mors est ad nos neque pertinet hilum,
quandoquidem natura animi mortalis habetur.
et velut anteacto nil tempore sensimus aegri,
ad confligendum venientibus undique Poenis,
omnia cum belli trepido concussa tumultu
horrida contremuere sub altis aetheris oris,
in dubioque fuere utrorum ad regna cadendum
omnibus humanis esset terraque marique,
sic, ubi non erimus, cum corporis atque animai
discidium fuerit quibus e sumus uniter apti,
scilicet haud nobis quicquam, qui non erimus tum,
accidere omnino poterit sensumque movee,
non si terra mari miscebitur et mare caelo.

Это отрывок из Лукреция (iii. 830-842), который следует за тщательно продуманным аргументом, доказывающим, что смерть уничтожает личность и что душа не бессмертна. Вот попытка перевода:

"Итак, смерть для нас ничего не значит и не имеет никакого значения, поскольку мы доказали, что душа не бессмертна. И как в прошлые времена мы не чувствовали боли, когда финикийцы рвались в бой по всем фронтам, когда мир сотряслся от ударов и грохота войны и дрожал от центра до небес, когда все человечество на море и на суше должно было пасть под власть победителя и победа была под вопросом - так и теперь, когда мы перестали быть, когда тело и душа, чей союз составляет наше существо, были разделены, тогда ничто не сможет коснуться нас - мы не будем, и ничто не сможет заставить нас чувствовать, нет, если земля будет смешана с морем, а море с небом.'

Лукреций написал это примерно через сто пятьдесят лет после того, как Ганнибал эвакуировал Италию, но ужас все еще жив в его памяти, и его поэзия вызывает его в нашем сознании, когда мы слушаем. Писатель никогда не забудет, как эти строки звучали в его голове весной 1918 года.

Но победители страдали вместе с побежденными в общей гибели цивилизации. Весь средиземноморский мир, и в первую очередь опустошенная Италия, был потрясен экономическими и социальными революциями, которые принесли с собой римские войны. Пролетариат был угнетен до такой степени, что единство общества было окончательно разрушено, и греческая цивилизация, после того как ей угрожали насильственным исчезновением большевистские вспышки - рабовладельческие войны на Сицилии, восстание Аристоника и резня Митрадата в Анатолии, вспышки Спартака и Катилины в Италии - была в конце концов вытеснена конкурирующей с пролетариатом цивилизацией - христианской церковью. Последняя революционная фаза второго акта - последняя фаза перед созданием империи - нашла свое выражение в возгласе Сына Человеческого: "Лисицы имеют норы, и птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову". Это одна из тех безымянных фраз, которые на устах у всех людей, потому что они выражают то, что есть в сердцах всех людей. Тиберий Гракх использовал ее в своих публичных речах в Риме; два века спустя она вновь появляется в речах Иисуса из Назарета.

Ergo inter sese paribus concurrere telis
Romanas acies iterum videre Philippi,
nec fuit indignum superis bis sanguine nostro
Emathiam et latos Haemi pinguescere campos....
Di patrii, Indigetes, et Romule, Vestaque mater
quae Tuscum Tiberim et Romana Palatia servas,
hunc saltem everso iuvenem succurrere saeclo
ne prohibete. satis iam pridem sanguine nostro
Laomedontae luimus periuria Troiae....
vicinae ruptis inter se legibus urbes
arma ferunt; saevit toto Mars impius orbe;
ut cum carceribus sese effudere quadrigae,
addunt in spatio, et frustra retinacula tendens
fertur equis auriga neque audit currus habenas.
(*Georgics*, i. 489 seqq.)

Поэтому Филиппы видели, как римские армии во второй раз обращали свои мечи друг против друга в битве, и богам не было жаль, что Эматия и широкие равнины Хаэма дважды должны быть откормлены нашей кровью.....

Боги наших отцов, боги нашей страны, боги нашего города, богиня наших очагов, бодрствующая над тосканским Тибром и римским Палатином, не позволяйте этому последнему спасителю помочь нашему падшему поколению. Наша кровь течет слишком долго. Мы сполна расплатились за грехи наших предков - за разбитую веру древней Трои.....

Узы между соседними городами разорваны, и они сходятся в поединке. Нечестивая война бушует по всему миру. Колесницы, пущенные вскачь, набирают скорость на ходу; тщетно натягивая поводья, погонщик уносится за своими конями, а упряжка не слушается узды".

Это молитва о снятии проклятия, и на этот раз "завистливые и раздорливые" силы услышали ее. Возница вернул себе управление, и мы переходим к третьему акту трагедии, в котором не только заключена вся ее красота, но и огромное значение. Имперский мир не смог спасти тело греческой цивилизации - четыре века войны нанесли ей смертельные раны; но, возможно, он спас ее душу. Хотя Август не обладал способностями Цезаря, он чувствовал и жалел горести мира, и ему удалось выразить жалость и раскаяние, безжалостность к прошлому и благочестие по отношению к нему, которые будоражили дух его поколения. Но какой фразой можно охарактеризовать империю? Слова "Упадок и падение" напрашиваются сами собой, но как их применить? Гиббон принял второе столетие Империи, век Антонинов, за Золотой век Древнего мира и проследил упадок и падение Империи со смерти Марка Аврелия. С другой стороны, если современное прочтение сюжета верно, то роковая катастрофа произошла на шесть веков раньше, в 431 году до нашей эры, а сама империя стала упадком и падением греческой цивилизации. Но было ли это только так? Так можно подумать, читая дневник Марка Аврелия и представляя его в своих покоях в Карнунтуме, ведущего ожесточенную, но безнадежную борьбу на два фронта - с варварами на Дунае и с тоской в собственной душе.

"Человеческая жизнь! Ее продолжительность мгновенна, ее вещество в вечном потоке, ее чувства тусклы, ее физический организм тленен, ее сознание - вихрь, ее судьба темна, ее репутация неопределенна... В сущности, материальный элемент - катящийся поток, духовный элемент - мечты и пар, жизнь - война и пребывание в далекой стране, слава забвения. Что может помочь нам выстоять? Одно и только одно - философия, а это значит сохранять дух внутри себя нетронутым и незапятнанным, не поддаваться ни удовольствию, ни боли, никогда не поступать необдуманно, лживо или неискренне и не зависеть от моральной поддержки других. Это также значит принимать все, что приходит, как часть процесса, которому мы обязаны своим существованием; и, самое главное, это значит спокойно смотреть на смерть - воспринимать ее просто как распад атомов, из которых состоит каждый живой организм. Вечная трансформация атомов не причиняет им вреда, так почему же нужно возражать против того, что весь организм трансформируется и растворяется? Это закон природы, а естественный закон никогда не может быть неправильным" (Μάρκος Αὐτῶννιός εἰς εαυτόν, ii fin.).

Но после цитаты Марка Аврелия, первого гражданина империи, необходимо добавить цитату Павла Тарсосского, гражданина, который, как никто другой, имеет право быть услышанным:

"Как воскресают мертвые? С каким телом они приходят?" Глупец, то, что ты сеешь, не воскресает, если только не умрет..... Посеянное в тлении, воскреснет в нетлении; посеянное в бесчестии, воскреснет в славе; посеянное в немощи, воскреснет в силе". ...

Мы с удивлением вспоминаем, что эти два актера появились на сцене в одном и том же акте драмы, и что Павел сыграл свою роль за столетие до того, как Маркус сыграл свою. Голос Павла говорит не только о более молодом поколении, но и о совсем другой пьесе. Его мысль в только что процитированных строках навеяна предшественником, которого Маркус считал одним из бесчисленных пророков пролетариата. Если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода". Это изречение было включено в различные предания об Иисусе из Назарета, которые передавались из уст в уста среди неграмотных масс, но которые еще не начали возбуждать любопытство образованных классов во времена Маркуса. Что бы сделал ученый, попадись ему на глаза сборник этих преданий, нацарапанный на плохой бумаге на варварском греческом языке? Мало, потому что он упустил бы весь фон своих собственных чувств и мыслей, который был не чем иным, как фоном греческой цивилизации. Великие литературные воспоминания переполняют короткий отрывок его дневника, процитированный выше - Эпиктет, Лукреций и Стоа, Платон и Сократ, Демокрит и гиппократовская школа медицины, из которой мы взяли нашу первую цитату, и более простые умы и более примитивные художники в тусклых поколениях позади. Мы переносимся в прошлое через трагедию, на которую мы смотрели. Эти два человека - целые миры, несмотря на то, что их предложения, если их раздеть догола, во многом совпадают. Организм трансформируется и растворяется. "То, что ты посеял, не оживет, если не умрет". Они оба представляют смерть как фазу природного процесса, но только после того, как мы поймем сходство мысли, мы полностью осознаем разницу в мировоззрении и эмоциях.

Под гладкой поверхностью империи лежала огромная пропасть между "буржуазным" обществом городов-государств и потомками рабов, завезенных во время римских войн; но империя, постепенно облегчая материальное положение пролетариата, незаметно повлияла на их точку зрения. Развитие их религии - единственного неотъемлемого достояния, которое рабы принесли с собой из восточных стран, - является показателем психологических изменений. В последней фазе Второго акта "красные гвардейцы" Сицилии и Анатолии были ведомы пророками и проповедниками своих восточных богов. Их религия соответствовала их революционному настрою. Но во времена Империи, когда потомкам рабов-плантаторов удалось выкупить свою свободу и сформировать новый класс лавочников и клерков, их религия соответственно отражала их возвышение в мире. Они оставались равнодушными, если не враждебными, к имперской эллинской традиции, но стали стремиться к собственному царству как в этом, так и в следующем мире. Сила, отчаянно вырвавшаяся наружу в безумном чудотворении Евномия из Энны и затем вдохновившая на "потустороннюю" экзальтацию Павла из Тарса, вскоре проникла в стены часовен, а местные объединения христианских прихожан неуклонно объединялись в федерацию, настолько мощно организованную, что императорской федерации городов-государств в конце концов пришлось выбирать: вступать с ней в партнерство или быть вытесненной. Таким образом, империя, гражданами которой были Марк и Павел, стала не просто третьим актом в трагедии Древней Греции. Пока она тормозила неизбежный распад одной цивилизации, она зарождала ее преемницу, и когда после смерти Марка имперская государственная власть дала сбой, и древний организм, долго сохранявшийся благодаря ее мастерству, наконец разрушился, потрясение не погасило новое и старое вместе, но вызвало к жизни новое. К седьмому веку после Рождества Христова, когда древнегреческая цивилизация, можно сказать, окончательно распалась, наша собственная цивилизация была готова "взлететь и расцвести" и повторить трагедию человечества.

Свое личное отношение к империи писатель лучше всего может выразить в притче. Она была похожа на море, вокруг берегов которого была нанизана сеть городов-государств. На первый

взгляд Средиземное море кажется плохой заменой рекам, отдавшим свои воды для его создания. Это были живые воды, мутные или прозрачные; море же кажется просто соленым, неподвижным и мертвым. Но как только мы изучаем море, мы обнаруживаем в нем движение и жизнь. Там есть тихие течения, вечно циркулирующие из одной части в другую, и поверхностная вода, которая, казалось бы, теряется при испарении, на самом деле не теряется, а спускается в отдаленные места и времена года, с ее горечью, как живительный дождь. А когда эти поверхностные воды уносятся в облака, их место занимают более низкие слои, постоянно поднимающиеся из глубин. Само море находится в постоянном творческом движении, но влияние этого великого водоема распространяется далеко за пределы его берегов. Оно смягчает перепады температур, оживляет растительность, процветает жизнь животных и людей в самом сердце континентов и среди народов, которые никогда не слышали его имени.

Арнольд Тойнби.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

При рассмотрении наследия Древней Греции для нашей современной цивилизации и ее проблем на первый взгляд может показаться, что политический вклад Греции можно игнорировать. Греческое искусство, греческая литература, греческая философия - одно из вечных достояний мира, ибо человеческие страсти и вопросы, которые их породили, и человеческие потребности, которым они служат, будут существовать так же долго, как и сама человеческая жизнь. Но греческая политическая мысль так сильно связана с особыми и мимолетными внешними условиями Греции V и IV веков, сосредоточена исключительно вокруг особых проблем ее интеллектуальной метрополии, Афин, что может показаться, что ее интерес угас вместе с режимом, которому она обязана своим существованием. *Агамемнон* и *Антигона* с их учениями о судьбе и долге, Гермес из Олимпии и фриз Парфенона с их неизменным очарованием молодости, *Фаэдо* с его рассуждениями о бессмертии, *Метафизика* Аристотеля с ее еще более тонкими и заумными рассуждениями, источник стольких наших христианских доктрин и апологетики - все это не требует особой защиты от современного филистера, если только его удастся заставить взглянуть на намеченную жертву, прежде чем он нанесет удар. Но Фукидид с его длинным и подробным рассказом о межплеменной или межмуниципальной войне, украшенным притворными речами, которые так и не были произнесены: Платон с его воображаемой Утопией, наполовину маленьким греческим провинциальным городком, наполовину невозможной и бесконечно регламентированной социалистической моделью общества, основанной на тонком и ошибочном сравнении качеств человеческой души с классовыми делениями, которые преобладали в тогдашнем греческом обществе: Аристотель с его кропотливыми исследованиями муниципальной патологии своего времени и подробными рецептами по улучшению своих коллег-провинциалов и их институтов - что мы должны делать со всем этим в век мировых проблем и конфликтов и не просто континентальных, а международных идей и проектов организации? Первый долг любого, кто стремится заинтересовать современного читателя греческой политической дискуссией, - быть предельно откровенным и ясно осознавать ее ограниченность. У него нет причин бояться, что, когда они будут вычеркнуты из его проспекта, останется слишком мало ценного.

Эти ограничения можно свести к двум основным пунктам. Они возникают, во-первых, из-за *разницы в масштабах*, а во-вторых, из-за *разницы в мировоззрении* между древней и современной политической мыслью.

Разница в масштабах сразу бросается в глаза, хотя ее последствия не во всех случаях столь очевидны. Древняя Греция в политических целях представляла собой скопление суверенных государств, в центре которых, как правило, находилась городская метрополия с сельской округой, меньшей, чем средний английский графство. Поэтому материал, на котором работала греческая политическая мысль, был, с нашей современной точки зрения, не просто мелким, а почти лилипутским. Лучше всего это можно оценить, если вспомнить, сколько градаций масштаба существует в современном мире между правительством города или района размером с Афины пятого века и правительством нашего собственного суверенного государства, Британского Содружества. Афины были гораздо меньше Лидса, Йоханнесбурга или Чикаго: и все же быть мэром любого из них - это не значит занимать ответственный пост, как понимается политическая ответственность в современном крупномасштабном мире. Между гигантским муниципалитетом и суверенным парламентом стоят американский штат, южноафриканская провинция и доминион, а также (для определенных целей) английское графство. Британскому премьеру, переходящему от угольной забастовки, влияющей на торговлю всего мира, к Имперской конференции, занятой выработкой согласованной линии политики по тихоокеанскому вопросу, проблемы Перикла или даже Александра покажутся детскими.

Давайте посмотрим, к чему приводит такое различие в масштабах. Во-первых, греческая политическая мысль, хотя и стремилась (как мы увидим) к *универсальности*, к определенным законам или выводам о политике, никогда не могла избавиться от определенного элемента местной или национальной индивидуальности. Когда Платон и Фукидид думают и пишут о "государстве", они также думают о городе - одно и то же слово, *полис*, действительно служит для обоих, и не только о городе, то есть о любом муниципалитете, но и о конкретном городе. В греческой политической мысли есть элементы, которые, просто потому, что они обязаны своим вдохновением Афинам, никогда не могут быть универсализированы. Трактат о воспитании, в котором общие психологические выводы перемежались бы с заключениями, основанными на опыте английской школы с уникальными традициями, потребовал бы тщательного изучения и осторожного применения к проблемам подростковой жизни в Японии или Нигерии. Точно так же, в той мере, в какой греческая политическая мысль является афинской или (если использовать весьма спорный термин в том смысле, который я считаю правильным) *национальной*, она не является подлинно политической.

Различие, которое я пытаюсь провести, непростое и не может быть понято без небольшого отступления о природе изучения политики. Политика - это изучение или деятельность правительства, управление общественными или общими делами людей. Нам нужны "политики", люди, которые посвящают себя удовлетворению потребности в управлении нашими общими делами - они нужны нам не потому, что мы англичане, ирландцы или американцы, а потому, что мы люди, живущие вместе в обществе, и потому, что наши совместные отношения и деятельность требуют руководства и контроля. Является ли "политик" тираном или народным министром - не суть важно; суть в том, что он управляет тем, что римляне называли *res publica*, латинское для старого доброго английского слова "Commonwealth". Политика, таким образом, в первую очередь занимается практическими проблемами, возникающими из-за того, что несколько разных человеческих существ живут вместе, и чем больше они отличаются друг от друга и чем меньше их общая мера, тем более

политическими становятся эти проблемы. Первое дело политика или правителя, как говорил Аристотель, - следить за тем, чтобы люди жили (двойная проблема - снабжение и оборона), второе - за тем, чтобы они жили хорошо (в первую очередь это проблемы здоровья, физического развития и благополучия). В конечном итоге *чистая политика*, как могут узнать наши правнуки, если когда-нибудь мировое государство станет реальностью, в основном занимается *управлением*, ведением общих для всех дел в интересах всех.

Древнегреческая политика была опутана, да и современная политика все еще слишком сильно опутана, обсуждением вопросов, которые вовсе не являются *общими* и не составляют материал политики в истинном смысле этого слова - вопросов, возникающих не из-за общей потребности в общем законе, а из-за внутренних окончательных и неискоренимых различий между различными нациями и другими группами человечества. Когда Лига Наций или Дублинский городской совет обсуждают эпидемию оспы, или благоустройство какого-нибудь дока или пристани, или школы для матерей, или проблему занятости несовершеннолетних, они имеют дело с общими интересами, которые затрагивают людей как людей: они находятся в плоскости собственно политики. Но когда Дублинский городской совет, следуя за демократическим движением XIX века по всей Европе, выдвигает какое-либо предложение, чтобы удовлетворить чувства, что Ирландия, будучи родиной нации, должна быть суверенным государством, и когда Лигу Наций просят разобраться с политической ситуацией, возникшей в результате столкновения противоборствующих национализмов на Британских островах или в других местах, оба органа, как руководящие инстанции, оказываются не в своей тарелке: ведь перед ними стоит невыполнимая задача. Созданные для того, чтобы заниматься собственно политикой, общими делами людей как людей, они должны беспомощно барахтаться, когда их заманивают в тернистую интимную и (следует добавить) гораздо более увлекательную область национальной и индивидуальной личности - область, в которой, чем глубже вы проникаете, тем меньше общего, тем менее единообразны, стандартизированы или стандартизируемы затрагиваемые интересы, и тем меньше они поддаются "урегулированию" или даже пониманию со стороны грубого и готового политика, привыкшего решать вопросы в массовом порядке и измерять результаты количественным подсчетом на холодном и космополитичном языке статистики.

Поэтому, читая греческих политических писателей, мы должны тщательно отделять универсальный элемент от местного и эфемерного. Последний действительно представляет большой интерес и ценность; но мы будем склонны упускать действительно ценные и постоянные элементы в их мыслях, если не позаботимся о том, чтобы отделить Фукидида, разочарованного афинского патриота, от Фукидида, научного историка и психолога, и Платона, аристократа, рожденного не в свое время, от Платона, непревзойденного знатока человеческой природы и постоянных потребностей человеческого общества.

Непризнание этого различия привело к большому недопониманию и поверхностному мышлению в попытках слишком буквально применить греческие идеи и максимы к современной жизни. Слишком часто можно слышать, как англичане, чьи знания о политике и истории за пределами газет ограничиваются обрывочными воспоминаниями о не слишком пылком изучении классики в школьные и студенческие годы, уверенно предсказывают провал современной демократии на основе каких-то *obiter dictum* Фукидида или Платона и оценивают судьбу Британского Содружества в терминах, заимствованных из каких-то суждений Саллюста или Тацита о его совершенно ином римском прототипе. Именно легкомыслие или педантизм такого рода вызывают нападки Кобдена, Герберта Спенсера или Уэллса и подозрения практического человека в отношении классического образования. С

таким же успехом можно обратиться к прошлогодним отчетам рынка, чтобы получить руководство к действию в сегодняшней деловой сделке, как и прибегнуть к Платону или, если уж на то пошло, к Маккиавелли в сложившейся политической ситуации. Если классическое образование, призванное, как это принято в Англии, развивать "характер", а не "интеллект" (порочное различие, не оставляющее места для такого качества, как интеллектуальная целостность), часто оставляет после себя лишь скудный остаток знаний и идей, оно должно, по крайней мере, заставить вчерашнего школьника и сегодняшнего лондонского клуба осознать ограниченность своей области обучения и воздержаться от самоуверенных политических обобщений. Лейбористский член парламента, который однажды заметил писателю в связи с дебатами по Индии, что он пробыл в палате достаточно долго, чтобы понять, что все, что он знает об Индии, это то, что он ничего о ней не знает, был воспитан если не в лучшей, то, по крайней мере, в более глупой школе. Для студента, изучающего политику и историю, да и вообще любой серьезный предмет, нет более надежной подготовки, чем знать о чем-то все, будь то хронологический порядок диалогов Платона или проблема влажности в ткацких цехах, или устройство поля или содержание калитки. Вот почему герцог Веллингтон, который, если ему и не хватало интеллекта Фоша, по крайней мере знал свою Англию и свою собственную работу в области военной науки, выбрал игровые поля, а не классические классы Итона в качестве дома и тренировочной площадки для того сосредоточенного и бескорыстного стремления ума и духа, которое привело его армию через годы терпеливых усилий к победе. Хорошо, что наши приверженцы классики, сталкиваясь с критикой и конкуренцией со многих сторон, должны приобретать как больше смирения, так и больше серьезности.

Итак, наше первое предостережение заключается в том, что греческая политическая мысль одновременно национальна и универсальна, и что мы должны научиться отличать то, что относится к национальности, от того, что относится к правительству.

Второй результат, вытекающий из мелкомасштабного характера греческой политики, заключается в том, что мы нигде не находим адекватной трактовки проблемы *внешних отношений*. Внешняя политика - одно из слабых мест современной демократии; это, пожалуй, тот элемент нашей политической техники, который больше всего нуждается в тщательном пересмотре. Нам еще предстоит побудить современного гражданина уделять постоянное внимание вопросам, которые, хотя и кажутся далекими от его компетенции, могут в любой момент потрясти всю ткань его повседневного существования; и, когда мы это сделаем, мы должны убедить его подходить к этим мировым проблемам не в духе конкурентной борьбы, а с целью выяснить, какая линия политики является наилучшей в интересах всего мира. До тех пор пока народы будут оставаться самодовольными, правительства будут продолжать строить свои взаимоотношения на основе индивидуальных интересов, а заседания Ассамблеи Лиги Наций будут оставаться тем, чем они являются в настоящее время, - не собраниями государственных деятелей, настроенных, каждый со своей точки зрения и воспитания, исключительно на благо человечества, а торгами политиков, которые (за редким исключением) пришли на ярмарку, чтобы сделать наилучший бизнес для своих собственных клиентов. Теперь Фукидид и Платон не дают нам никакой помощи для Лиги Наций. Такая фраза, как "интересы всего человечества", была бы для них политически бессмысленной. Они не думали о человечестве в целом; они думали о нем как о резко разделенном на две части, греков и варваров, и о греческом мире как о маленьком оазисе интеллекта и культуры, окруженном широким и неограниченным пространством варварства. Мы тоже, правда, говорим о "передовых" и "отсталых" народах: но последние не являются, как это было для греков, грозной массой, племя за племенем, военной силой, простирающейся до и за пределы известных или легендарных границ мира; это детские

расы под нашей бдительной опекой и контролем. Мы исследовали и изучили всю землю, и там, где мы находим слабость или неполноценность, мы устанавливаем опеку. Грекам, всегда настороженно относившимся к вторжениям варваров с севера, юга, востока и запада, скифов и ливийцев, персов и карфагенян, пункт о мандате в Завете показался бы и теоретически нежелательным, и практически невозможным. Ни один греческий писатель не мечтал о системе международного сотрудничества между правительствами мира в том виде, в каком его знали люди. Все они мыслили категориями конкуренции и постоянных войн или, в лучшем случае, шаткого равновесия сил. Даже в платоновской "Утопии" был свой класс солдат, и это были настоящие солдаты, а не просто полицейские. В этом отношении, во всяком случае, побежденная Германия, практически все население которой освобождено от воинской повинности и занято производительным трудом, имеет преимущество перед самой идеальной конструкцией Древней Греции.

В этой связи следует отметить еще один момент. Если греческая мысль не дает нам ориентиров во внешней политике, то она не более полезна, разве что очень косвенно, в другой сложной области - *промышленной политике*. Проблема промышленной политики, или то, что иногда грубо называют проблемой труда, может быть сформулирована следующим образом: как обеспечить или сохранить для цивилизованного человечества (или для нашей конкретной его части) необходимые ему товары и услуги, обеспечив при этом справедливость и свободу для тех, кто их производит. Короче говоря, как сделать так, чтобы хорошая жизнь для потребителя была совместима с хорошей жизнью для производителя. Это проблема, которая лежит в основе демократии: ведь мир еще не знал времени, когда рост богатства и, как следствие, рост утонченности и цивилизации в высших слоях общества не приводил к деградации и несправедливости в низших. И здесь греки не могут нам помочь. Они даже не столкнулись с проблемой, а не смогли ее решить, как римляне. Их материальная цивилизация была настолько проста, что проблема для них вообще не возникала - за исключением некоторых случаев, таких как случай с рабами-шахтерами. Но тот факт, что они без зазрения совести и без малейшего угрызения совести согласились с институтом рабства, говорит о том, как бы они, вероятно, отнеслись к этой проблеме, если бы она возникла. Столкните Платона со сложностью современной промышленности, докажите ему, как это мог бы сделать любой современный лектор, что, во всяком случае для северного человека, жизнь может поддерживаться без деградации только на основе широко распространенного индустриализма и с нашим привычным оборудованием железных дорог, пароходов, телефонов, *et hoc genus omne*, и можно с уверенностью предсказать, что он не даст того ответа, которого ожидает от него современный реформатор. Вместо того чтобы принять одну из многочисленных современных разновидностей социализма, которые маскируются под его ублюдочное потомство, он либо согласится с предпосылками своего собеседника и посоветует ему строить свою драгоценную северную цивилизацию на основе рабства; либо отвергнет их и посоветует ему, как Сэмюэл Батлер, сжечь машины. Последняя альтернатива, действительно, более вероятна; ведь именно к ней обращаются более вдумчивые и пророческие (возможно, можно добавить, что и более эллинистические) наши современные проводники. Когда такие разные люди, как индийский мудрец Тагор и немецкий трастовый магнат Ратенау, говорят нам, что болезнь, от которой мы страдаем, - это "механизация" и что наша настоящая потребность - в большей простоте, можно с уверенностью предсказать, что Платон не отвергнет возможность обеспечить "хорошую жизнь" для современного человека в мире, избавленном от большинства гремящих и звенящих атрибутов, изобретателем которых девятнадцатый век так себя величал.

Перейдем ко второму ограничению, вытекающему не из разницы в масштабах, а из разницы в мировоззрении между греческой и современной спекуляцией. Мы можем подвести итог, сказав, что в то время как современная политическая мысль, как и современная мысль в целом, работает от внутреннего к внешнему, от индивида к государству и обществу, античные мыслители обычно работают в противоположном направлении, ставя интересы сообщества или государства выше интересов индивида. Именно это хотел донести до нас Фюстель де Куланж, когда заявил, что древний человек не имел представления о смысле свободы. Свобода, несомненно, является несколько запутанным и двусмысленным термином; ее трудно отделить от политических ассоциаций, от национальной независимости и демократического самоуправления. Поэтому, возможно, мы можем улучшить французского писателя, сказав, что греческие политические мыслители не признают или не учитывают должным образом права и обязанности индивидуальной души. Как они не смогли провести различие между национальностью и правительством, так же они не смогли провести различие между совестью и общественным долгом. Сократ, встретивший свою смерть в повиновении Совести и Закону, имел проблеск высшей истины; но его последователи не восприняли эту сторону его послания или, в той мере, в какой они сделали это в своем исследовании индивидуальной морали, они не связали ее со своими теориями политики. Не кто иной, как Сократ, подвел итог и поставил проблему со своей несравненной прямоотой и иронией: *"Отдавайте кесарю кесарево, а Богу Божье"*. Если бы это было сказано в присутствии Фукидида, самого острого практического ума, который занимался греческим политическим мышлением, он бы просто не понял, что это значит. Для него Цезарь и Бог, или, если перевести на его язык, Афины и Афина, были не противоположными, а практически тождественными понятиями. Когда афинянин, по его словам, "тратил свое тело, как просто внешний инструмент, на служение городу и считал свой разум истинно своим, когда работал на ее благо", он, согласно всеобщему греческому убеждению, служил и Богу, и ближнему, и своему собственному высшему благу, и благороднейшим из мировых целей. Его жизнь была единством, ибо он еще не научился отделять свою душу от души города или стада, а своего бога - от бога Израиля или Афин. Греческие мыслители, как мы увидим, искренне пытались провести различие между "хорошим гражданином" и "хорошим человеком" и основать государство на фундаменте духа; но их работа была испорчена тем, что они не осознали масштабов и срочности притязаний индивидуальной души. Люди должны быть духовно свободными, прежде чем они смогут сотрудничать в политике на самых высоких условиях. В конечном итоге слабость греческих политических спекуляций можно проследить на примере слабости греческой религии. Даже Платон играл с языческой ортодоксией и отвел дельфийскому Аполлону титульное место в своей "Утопии", доказав, что он так же робок в обращении с греческими суевериями, как современные английские мыслители в обращении с монархией. Именно эта основа неискренности проявляет себя во всей надстройке. Греческая политическая мысль уже содержит в себе зародыши болезни, которая спустя столетия заставила людей, сначала плебеев, а затем и патрициев, отвернуться от устаревших символов, обозначавших союз Церкви и государства, и искать утешения в религии, которая, если и подорвала, а в конечном счете опрокинула последнюю и величайшую из древних империй, то поставила Город Души на прочную и долговечную основу. *Vicisti Galilae* Юлиана ознаменовали конец одного из направлений или традиций античной политической мысли, которая, зародившись в местных культах города-государства, продолжалась, набирая обороты, пока по всему известному миру люди не склонили колени перед алтарем Цезаря, бога-императора. Отсюда не было иного пути, кроме революции; и человечество расплатилось в ночи Темных веков за грехи компромисса и неискренности, совершенные в течение долгих веков просвещения.

Итак, с пассивами мы откровенно разобрались, перейдем к активам.

Первым ценным вкладом греков в изучение политики было то, что они ее изобрели. Не будет лишним сказать, что до Греции V века политики не существовало. Были державы и княжества, правительства и подданные, но политики существовало не больше, чем химии в эпоху алхимии. Имитация идеи, как учил нас Платон, не то же самое, что идея; равно как и имитация науки не то же самое, что наука. Рамсес и Навуходоносор, Крез Лидиец и Кир Персидский правили великими империями, но в их владениях не было политики, потому что не было государственных дел. Существовали только частные дела государя и его правящего класса. Правительство и все, что к нему относилось, от военной службы и налогообложения до поставки женщин для королевского гарема, было просто выражением власти и желания правителя. Большим достижением Греции было признание существования общественных или общих интересов и обеспечение, во-первых, управления ими, а во-вторых, их изучения. Другими словами, греки были первыми, кто спас политическое тело от шарлатанов и передал его в руки врачей.

Насколько великим было это достижение, мы можем лучше всего осознать, если подумаем, какое большое место в жизни современного человека, особенно современного англичанина, занимает подлинное изучение политики, а также термины и идеи, которые она породила. Справедливость и свобода, закон и демократия, парламент и общественное мнение - всем этим и многим другим мы обязаны крестьянам и ремесленникам небольших греческих республик, которые, почувствовав необходимость в лучшем управлении своими скромными делами, принялись за работу, чтобы обеспечить его, с той же изобретательностью, тем же приспособлением средств к цели, которые привели их в других областях к изобретению классического храма или драмы. Если слишком далеко говорить о том, что каждый современный политик обязан грекам своим запасом общих идей, то, конечно, мало найдется тех, кто не обязан им своими перорациями.

Здесь не место подробно останавливаться на особенностях греческой политической организации или указывать на различные элементы греческой политической теории или практики, которые доказали свою постоянную ценность. Можно попытаться дать лишь очень краткую оценку. Но некоторые моменты можно выделить как представляющие особый интерес для современного гражданина.

Прежде всего, греки, убедившись в существовании общественных или совместных дел, решительно взялись за их изучение. Убежденно веря в разум, они не впали в удобное английское заблуждение, полагая, что институты не создаются, а "вырастают", или что трудности, которые кажутся слишком колючими для робких пальцев, чтобы их трогать, разрешатся сами собой, если их оставить в покое. Политические проблемы, по их мнению, были вызваны людьми, взаимодействием человеческих воли и желаний, и люди, путем сознательного и целенаправленного применения человеческого интеллекта, могли и должны были их решить. Несмотря на веру в таинственные силы, управляющие судьбами людей и народов, они не считали приличным отдавать государственные дела на волю Провидения; не отворачивались от них как от слишком обыденных для брезгливого интеллектуала и не отдавали их на милость невежественного и менее щепетильного демагога или доктринера. Их государственные дела были не более интересны, чем наши: они действительно были значительно менее интересны - если только мы не готовы утверждать, что выборы генералов для командования армией, намного меньшей, чем швейцарская, являются более интересным вопросом, чем выбор правительства для управления 400 миллионами людей на пяти континентах, или что вопрос о мире или войне между двумя небольшими соседними горными территориями превосходит по интересности обсуждение отношений между белой и желтой расами человечества. И если греческая

политика была неинтересна сама по себе, то она еще больше страдала в сравнении с другими темами, которые были готовы привлечь внимание греческого гражданина. Современный избиратель, который слишком бездельничает, чтобы отдать свой голос, отдаст бизнесу или удовольствиям, автомобилю и музыкальному залу время и хлопоты, которыми он обязан человечеству. Когда афинянин проводил жаркий и изнурительный день (ибо почему мы должны считать их нервы менее восприимчивыми к бликам, чем наши?), слушая парламентские дебаты или судебный процесс на жестком каменном сиденье под открытым небом, он откладывал до завтра или до тех пор, пока его урожай и фруктовые деревья не позволят ему досуг, обсуждение какого-нибудь шедевра драмы или какого-нибудь нового вопроса человеческой мысли, который в течение последних нескольких дней или месяцев выпрыгнул из мозга согражданина в бессмертие. Если жителю Нью-Йорка трудно найти время, чтобы свергнуть Таммани, или избирателям Великобритании выкорчевать ее внешне респектабельный аналог по эту сторону Атлантики, когда его жизнь и его газеты полны пошлых и эфемерных отвлечений, насколько труднее было бы еврипидовскому энтузиасту, или ученику Сократа или Протагора, спуститься на долгие дни на твердую землю, чтобы заключить сделку с фракийским вождем или оценить ущерб какого-нибудь бедного дьявола в драхмах! Давайте почитаем, а не жалеем или презираем их за то, что они сочли это правильным, за то, что они сознательно решили привнести в государственные дела, сами по себе столь скучные и унылые, столь лишенные тонкости и изящества, присущих более интимным заботам людей, интерес, проистекающий из самого факта, что честные, искренние и способные умы посвятили себя их изучению. Как Хаксли мог заставить геологическую процессию веков вращаться вокруг куска мела, а сэр Ричард Оуэн реконструировать первобытного человека по кости большого пальца ноги, так и афинский гражданин, каким мы видим его на страницах Фукидида, мог поднимать великие постоянные вопросы политики и заставлять их оставаться живыми для нас две тысячи лет спустя, в дебатах, которые якобы касались простых провинциальных пустяков. Когда создавалась такая атмосфера, неудивительно, что те, кто оставался в стороне, подвергались поношению в выражении (ἰδιωτης), точной транскрипцией которого является наше английское "idiot".

Остановимся на том, с каким настроением греческий гражданин подходил к политическим проблемам. Он был одновременно консерватором и радикалом; точнее, он привносил в политику лучшие черты консерватизма и лучшие черты радикализма. Он был консерватором, потому что почитал традиции и признавал силу и ценность обычаев. Никто из современных консервативных писателей и защитников существующего порядка, ни сам Берк, ни Бисмарк, ни Шатобриан, не испытывал более глубокого чувства, чем афинянин, к "тем неписаным обычаям, нарушение которых приносит признанный позор". Афины были консервативной демократией. Большинство демократий, несмотря на ярлыки их политиков, на самом деле консервативны; ведь простой человек, чей режим они представляют, консервативен по самой природе своей жизни и занятий; нужен досуг и путешествия, или более широкое образование, чем то, которое любая демократия до сих пор давала своей молодежи, чтобы вырвать сознание массы людей из колеи привычек. Но Афины были гораздо более консервативны, чем современные демократии, с которыми мы знакомы. Там, где британская общественность порицает неуклюжего писателя, сговариваясь бойкотировать его книги, так что, если у него нет личных средств, он в конце концов замолкает, где Соединенные Штаты, идя еще дальше, отказывают его произведениям в привилегии почты, Афины не стесняются применять болиголов, и, если *элита* возмущена или опечалена, демократия аплодирует. Даже в разгар недавнего красного террора Соединенные Штаты никогда не шли на такой консервативный шаг. Это должно помочь нам осознать прочную основу традиций, привычек и обычаев, патриархальных святынь, которые лежали в основе работы афинской демократии пятого века, когда мы наблюдаем за ее

кажущимися превратностями. Гражданин мог сколь угодно свободно рассуждать о материалах, представленных ему на рассмотрение; но был момент, когда государство и его собственные инстинкты кричали "Стоять!", и, за исключением редких случаев, он подчинялся. Справедливости ради стоит добавить, что наиболее просвещенное современное мнение полностью поддержало бы афинскую точку зрения против обсуждения "неписаных законов" в парламенте. Разница между консервативным афинским демократом и современным либералом в таких вопросах заключается не в том, что один отказывается, а другой требует обсуждения жизненных святынь в парламенте и суде, а в том, что один апеллирует к обычаю, а другой - к совести как к санкции самого неписаного закона. Идет ли речь о боге или человеке, о законе очага или сердца, оба согласны с тем, что частному и святому не место на форуме общих дебатов.

Но в этих общепризнанных рамках греческий гражданин был радикалом, то есть он был готов применять свой разум к общественным делам без страха и предрассудков. Он любил прямоту и искренность мышления; он старался смотреть в лицо реальной ситуации, стоящей перед ним, и не затуманиваться и не сбиваться с пути побочными вопросами или запретами. Из речей Фукидида наши политики и общественность могут извлечь много уроков честности. Неглубокие критики, как известно, называют их циничными - прилагательное, которое англичане, адепты самообмана, любят применять к народам, более искренним в самоанализе, чем они сами. Когда мы отказываемся официально возобновить рассмотрение вопроса, по которому на самом деле ежедневно принимаются меры, потому что это вопрос партии и у власти находится коалиционное правительство, когда мы оставляем на милость времени проблему, бездействие в отношении которой само по себе является политикой, когда мы намеренно придумываем партийные ярлыки или предвыборные кричалки, призванные запутать сознание избирателя и отвлечь его от реальной проблемы, когда наши политики стали профессионалами в искусстве того, что Фукидид назвал "использованием честных фраз для достижения виновных целей", а британский премьер, более эвфемистично, - "политической стратегией", мы могли бы сделать хуже, чем сесть и прочесть, отметить, выучить, переварить и применить к нашим современным ситуациям бессмертные речи или эссе, в которых Фукидид обнажает для нас сердце политической жизни своего времени, и позволить им действовать как очищение от некоторых из наших собственных слишком сладких диет. Горько-сладкая правда не всегда популярна на выборах, но она - хорошее питание для простого гражданина, будь то древний или современный человек.

Это наводит на дальнейшие размышления. Греки в своем политическом мышлении были по сути реалистами, а не идеалистами. Это относится ко всем греческим писателям, даже к тем, кто, подобно Платону, начиная с афинского рынка, ведет нас к заоблачной Утопии. Они были реалистами, поскольку основывали свои политические исследования на мире как он есть и человеческой природе как она есть, а не на каких-то личных и причудливых представлениях о том, какими должны быть человек и мир. Другими словами, они реалисты, потому что они психологи, потому что они применили психологический метод к политическим проблемам. То, что они были первыми, само собой разумеется: ведь до них никто не применял никакого метода, разве что в самой грубой и готовой форме. Но они сделали это так прекрасно, с такой полной и художественной простотой, что те, кто следовал за ними, принимали или критиковали их результаты, не замечая основы человеческого исследования, на которой они были построены. И только в последние годы благодаря работе терпеливых исследователей, которые, как Грэм Уоллас, систематически работали в обеих областях, политика и психология вновь оказались связаны вместе.

Возможно, современному читателю покажется странным, если ему скажут, что в этом очень важном отношении Фукидид, Платон и Аристотель более основательны в своем методе, чем вся длинная череда политических мыслителей и государственных деятелей вплоть до наших дней. Пусть читатель, который сомневается в этом, обратится к текстам. Он обнаружит, что все три названных мною писателя, прежде чем взяться за перо, трудились над изучением человеческой природы. *Республика* открывается несколькими книгами психологического анализа, несомненно, порой несколько фантастического в своих попытках преждевременной классификации, но полного жизни и реальности, причем не только греческой, но и человеческой реальности. Аристотель предваряет свою работу *"Политика"*, в которой он воплотил результаты изучения всего доступного политического и конституционного материала своего времени - ведь грек мог работать как современный немецкий или американский диссертант, когда пытался, - книгой *"Этика"*, которая до сих пор, совершенно справедливо, считается стандартной работой для современного студента. Что касается Фукидида, то его знание людей, плод терпеливого опыта, углубленного разочарованиями, чувствуется за каждой строчкой его книги, как и в чертах его недегенеративного потомка Венизелоса. Обратимся теперь к современникам. Где у Гоббса или Бентама, у Локка, Берка или Руссо, у индивидуалистов или социалистов, гегельянцев или анархистов мы найдем до недавнего времени действительно широкую и непредвзятую попытку увидеть человека таким, какой он есть? В наши уши врывается хор крылатых слов, основанных на произвольной и эфемерной оценке реакций людей на внешние события и институты. Люди спорят о том, можно ли изменить "человеческую природу", руководствуется ли человек исключительно собственными интересами или только и ждет, когда его освободят от подлых забот, чтобы им руководила исключительно любовь к ближним, страх или надежда, обычай или чувство приключений являются естественными и наиболее убедительными стимулами к действию. Тем временем в великих дебатах, в *"Размышлениях"* Берка, в *"Капитале"* Маркса, у Мэна, Милля и Мадзини, а также среди хакеров, вульгаризирующих их результаты в учебниках и предвыборной литературе, человек как он есть исчезает за облаком доктрины или словоблудия. Нам нужна простота или цинизм греков, чтобы напомнить о реальности.

Давайте на мгновение представим Фукидида лицом к лицу с проблемами нашего сегодняшнего послевоенного мира. Достаточно прочесть его бессмертный анализ военного настроения Греции и сопутствующих ему нервных и эмоциональных явлений, чтобы понять, что первым делом он попытался бы объяснить нас самим себе. Он не позволил бы нам бездействовать в нашем смутном разочаровании, в нашем нетерпении к иностранцам, в нашем подозрении к идеализму Вильсона. Он бы безжалостно проследил наше недовольство до его истоков и представил бы нашим глазам странное соединение печали и усталости, нетерпения и разочарования, стремления и беспомощности, которое делает нас теми, кто мы есть. Военное настроение принесло с собой множество ужасных симптомов, которые проявлялись и будут проявляться всегда, пока человеческая природа остается такой, какая она есть; хотя и в более тяжелой или более мягкой форме, в зависимости от разнообразия конкретных случаев". Фукидид увидел бы ее во всех ее проявлениях, мягких или суровых, простых или сложных, жалких или отталкивающих. Он показал бы нам английский высший и средний класс, потрясенный комфортом и самодовольством, легкой и покровительственной безопасностью, шоком войны и тяжелой утраты, столкнувшийся с будущим, состоящим из неизвестных и пугающих идей и сил, с жестоким сборщиком налогов, совершающим *переворот* в его спокойствии: рабочий класс, призванный сражаться за дело, которое он лишь смутно понимал, в надежде на новый мир, который должна была открыть победа, увещиваемый лидерами нации быть столь же смелым в своей внутренней политике, как и в окопах, а затем столкнувшийся с миром проваливающихся

рынков и обедневших покупателей и со всей суровостью безжалостных законов спроса и предложения, которые, которые, как он привык считать, можно игнорировать, только потому, что он пожелал, чтобы они перестали существовать, он колеблется, в зависимости от возраста, темперамента или опыта, между покорностью и бессильной яростью, между старомодным профсоюзным движением и последней модой на экстремизм: Франция, выходящая из пятидесятилетнего наваждения и пятилетнего кошмара, полумертвая от горя и ожидания, но слишком гордая в победе, чтобы признать свою слабость, оглядывающаяся, полупрезрительная, полунастороженная, среди своих союзников в поисках того, кто может понять ее невысказанную потребность, и жаждущая, со всей силой своей чувствительной натуры, иметь возможность вернуться, в безопасности и спокойствии, к искусству и деятельности нормальной жизни, в которой она была и снова будет Афинами современного мира: Германия, более жесткая, чем ее западный сосед, но столь же потрясенная и истощенная: страна овец без пастуха, мечущаяся туда-сюда в поисках направления и *мировоззрения*, ее удивительные способности к промышленности и концентрации, ее богатая и бурная жизнь чувств сходят на нет из-за отсутствия направленного руководства: Бельгия, уверенная в себе, трудолюбивая и омоложенная: Италия, наконец-то ставшая единым целым и соизмеряющая свои силы для решения задач новой эпохи в своей истории: и, позади, великий новый бурлящий мир славян, от дисциплинированного энтузиазма Праги под руководством ее философа-президента до рождающихся агоний новой России в тисках грубых тиранов-физиков Кремля. Все это современный Фукидид попытался бы изложить перед нами, не забывая о консервативных силах и богах старшего поколения, о великих католических и протестантских, мусульманских и социалистических традициях, о власти банкиров и купцов, об университетах и прессе и обо всех различных типах человечества, порожденных и отмеченных их деятельностью. И тогда, и только тогда, показав нам, кто мы такие, каждый из нас в своей нише и все мы вместе в своем уголке в огромном Храме человечества, заставив нас увидеть наши мелочности и ортодоксальности на универсальном фоне времени и пространства, он прервал бы молчание и позволил себе поговорить с нами о средствах лечения. *Познай самого себя* - вот первое и, возможно, единственное послание историка науки нашему растерянному веку.

Но по какому праву, спросят, в наш век *Wissenschaft* и *Fachmenschen*, специализации, исследовательских институтов и организованного интеллектуального производства, вы говорите о Фукидиде как об историке науки? Вот человек, который, не имея университетского диплома или вообще никакой университетской подготовки, после короткой военной карьеры, для которой он не проходил курс обучения в штабном колледже (что свидетельствует о его генеральском звании), садится писать хронику войны, в которой он принимал участие, основывая свой рассказ только на собственном опыте и на свидетельствах очевидцев, с которыми ему удалось встретиться. Любой преподаватель истории в современном колледже или университете мог бы предсказать результат - один из тех объемных томов, полных деталей и послепраздничных воспоминаний, в которых спесивые пожилые джентльмены так часто пытались оправдать собственное существование и обрушить проклятия на военное министерство перед равнодушной публикой. Разве можно ожидать чего-то лучшего от простого солдата, грубого практичного человека, не обученного искусству исследования, сбору фактов на листах бумаги, их упорядочиванию и перестановке, пока не возникнет индукция, поиску справочников в библиотеках и их "перечислению" в аккуратной алфавитной библиографии, совершенно не знающего *Hilfswissenschaften*, трудоемких вспомогательных исследований, на основе которых строится история науки, не знающий даже иностранных языков, не читавший социологии и даже не подозревающий о ее существовании, чьи географические исследования ограничиваются его собственными путешествиями и рассказами его друзей, кто, наконец, имеет наглость

пережевать свое повествование вымышленными речами, тем самым уничтожая всякую претензию на научный характер своего трактата и раскрывая его истинную природу как произведение искусства или воображения? Действительно, можно усомниться в том, что современный квалифицированный библиотекарь, работающий по классификации, установленной стандартной библиотекой Конгресса в Вашингтоне, обратив на нее внимание, вообще допустил бы на свои полки по истории столь оскорбительного писателя. Он, вероятно, сказал бы, что его место - среди поэтов-прозаиков или по соседству с ними - среди авторов исторической беллетристики.

И все же обратитесь к начальным главам книги Фукидида. В них вы найдете большинство наук, о которых пишутся длинные современные трактаты, но вы найдете и нечто большее: вы найдете их слитыми в единое целое. Пусть те, кто отрицает, что Фукидид был социологом, кто продолжает утверждать, что Герберт Спенсер, изобретатель этого ужасного слова, изобрел и эту науку, перечитают рассказ Фукидида об эволюции (ибо именно как эволюцию он видел и изображал ее) греческого общества с древнейших времен до его собственных дней. Пусть те, кто возглавляет антропологию, изучат его обращение с легендами и обычаями и его способность, не обучаясь в семинарии или институте, использовать их в качестве социологических доказательств. Пусть географы, порой забывающие, что человек не является творением только окружающей среды, освежат свой разум, вспомнив те блестящие выпады в географической мысли, в которых он объясняет некоторые особенности ранних греческих поселений и строительства городов. Это не только ортодоксальная история школы Ранке, отцом и вдохновителем которой является Фукидид: нет ни одного из многочисленных движений, которые стремились расширить историческое исследование в последние годы, от Бакла, Леплая и Видаля де ла Блаша до психоаналитиков нашего и завтрашнего дня, которые не нашли бы в Фукидиде какого-то сверкающего предвосхищения на пути их собственной мысли.

Здесь мы касаемся того, что, возможно, является кардинальной заслугой греческих политических мыслителей, как и греческого вклада в целом. Они видели все проблемы: но видели каждую на своем месте в рамках большого целого. Они "видели жизнь неуклонно и видели ее целиком". Фраза Мэтью Арнольда достаточно банальна, но ее нельзя превзойти. Если выразить ту же мысль по-другому, то греки были прирожденными католиками, в то время как мы сегодня, особенно в политической сфере, постоянно скатываемся к бесполезному протестантизму. Под католицизмом я не подразумеваю ничего доктринального или вообще религиозного, а просто привычку ума, который настаивает на том, чтобы смотреть на целое, а не на части, чтобы ставить общее выше интересов отдельных людей, и чтобы сглаживать и гармонизировать неизбежные противоречия и антагонизмы жизни, неуклонно осознавая ее главные и примиряющие интересы. Католик - это тот, чей интеллект, говоря словами Ньюмена, который сам, несмотря на свою религиозную принадлежность, является одним из величайших представителей племени, "не может быть частичным, не может быть исключительным, не может быть стремительным, не может быть в растерянности, не может быть терпеливым, собранным и величественно спокойным, потому что он различает конец в каждом начале, начало в каждом конце, закон в каждом перерыве, предел в каждой задержке, потому что он всегда знает, где он стоит и как его путь лежит от одной точки к другой". Протестантизм, с другой стороны, - это отношение протеста, бунта, возмущения: дух, который осознает только то, *против* чего он выступает, и слишком невежественен или слишком зол, чтобы исследовать все поле проблем, вовлеченных в его протест, или продумать альтернативную схему. Если греки не могут оказать нам никакой другой услуги в нашем недовольстве, они, по крайней мере, могут поднять нас, примером своего широкого и бесстрашного видения, из нашего мелкого протестантского бунтарства и

дискриминации и твердо поставить наши ноги на скалу непоколебимого католического мышления.

Приведу несколько примеров того, что я называю католическим духом, взятых из Платона. Возможно, самой сложной и тревожной из всех современных проблем являются отношения между мужчинами и женщинами в обществе, которое предоставило или собирается предоставить женщинам полное равенство прав и возможностей, не совершив при этом соответствующей внутренней революции в мыслях и чувствах. Иными словами, мужское общество, несмотря на множество профессий, еще не приняло, а тем более не ассимилировало образованную женщину в свои ряды. Вот проблема с далеко идущими и сложнейшими последствиями, которую Платон обсуждал более двух тысяч лет назад, но в каком же духе он отличался от многих современных "феминисток". Не то чтобы он был менее "продвинутым" в своих рассуждениях: он был готов встретиться со всем, с чем только можно было встретиться, и пойти гораздо дальше в своих политических предложениях, чем это можно было бы счесть печатным в современном английском или американском обозрении. Но его дух на протяжении всего времени остается совершенно спокойным и, в лучшем смысле этого слова, научным, так что он может довести свои аргументы до конца без тени брезгливости или ложной скромности. Где мы найдем в современных дискуссиях о женской занятости, равном труде за равную плату и т. п. центральную мысль, изложенную так просто и ясно, как в следующем предложении: "Тогда, если мы обнаружим, что мужской или женский пол превосходит другой в каком-либо искусстве или другом занятии, мы скажем, что это конкретное занятие должно быть приписано одному, а не другому; но если мы обнаружим, что разница состоит только в том, что женщина зачинает, а мужчина рождает, мы не допустим, что это хоть как-то доказывает, что женщина отличается от мужчины в отношении предмета, о котором мы говорим, и мы по-прежнему будем считать, что наши опекуны и их жены должны придерживаться одинаковых занятий." Если бы все наши современные дискуссии были такими же чистыми и прямыми, как эта, мы бы уже давно достигли большего прогресса в этом вопросе. Греческой интеллектуальной целостности, ясности мысли и выражения не мешало гноящееся и препятствующее наследие того, что было бы клеветой на великое движение, если бы его назвали пуританством.

Возьмем второй пример - влияние профессии на характер. Эта тема лежит в основе многих наших социальных проблем, поскольку, пока мы не изучим реакцию различных видов занятости не только на тело, но и на разум, и не усовершенствуем наши методы профессиональной ориентации, мы все еще будем оставлять открытым один из величайших путей к несчастью. Современный исследователь найдет очень интересное изложение этой линии мысли в *"Республике"*; И если здесь, как и в проблеме отношений между мужчинами и женщинами, он найдет платоновские средства защиты несколько радикальными и будет склонен не согласиться с его вето на актеров и акробатов, пусть он подумает о том, до какой ужасающей степени в течение последних поколений потребитель был изнежен за счет производителя, и спросит себя, как часто, посещая музыкальный зал в качестве наркотического средства после отвлекающего дня, или когда он звонит по телефону, или заказывает билет в железнодорожной кассе, он думает о том, к какой жизни он причастен, осуждая тех, кто служит его потребностям и желаниям. Платон верил в ценность красоты и, будучи не простым современным эстетом, не придерживался какого-то глубокого вероучения. Он знал и понимал жизненно важное значение ритма и гармонии, благодати и свободы, как во внешнем устройстве жизни, так и в душе; и если бы он оказался в центре одного из наших современных ульев прогресса, то задал бы несколько острых вопросов. Ибо "отсутствие благодати, - говорит он нам, - и дурной ритм, и дурная гармония - сестры дурных слов и дурной природы", и "мы не хотели бы, чтобы наши опекуны воспитывались среди

образов зла, как на пастбище, и там день за днем, мало-помалу, набирались впечатлений от всего, что их окружает, пока, наконец, огромная масса зла не соберется в их глубинах души, а они этого не знают". Разве самый распространенный недуг нашего времени когда-либо был диагностирован лучше; и разве наши капиталистические и социалистические врачи, со своими чисто материальными средствами, не выглядят очень маленькими на фоне этой величественной и убедительной простоты утверждения?

Мы остановились на некоторых особых направлениях, в которых Фукидид и Платон могут быть нам полезны. Теперь давайте вкратце обратимся к третьему из великой триады. Аристотель, конечно, самый систематический мыслитель из всех трех: и именно по этой причине два элемента, уже отмеченные в греческой политической мысли, - локальный и эфемерный и универсальный - теснее всего переплетены и труднее всего распутать. Хотя он и был воспитателем Александра, его ум не способен выйти за рамки города-государства. Его *"Этика"* - это наполовину трактат о человеческой природе, наполовину книга, сродни *"Характерам Теофраста"*, о поведении греческого гражданина. Неудивительно, что последующие поколения английских студентов не смогли ответить на человеческое совершенство или социальное обаяние его героя или образца, описанного как "великодушный" или "великолепный человек". Точно так же *"Политика"* - это книга, в которой нужен подготовленный читатель, уже знакомый с греческой жизнью, чтобы вычленив универсальное из частного и сделать свои собственные современные выводы. Но если читать, скажем, первую книгу *"Политики"* в таком духе, если исключить из того, что говорится о государстве, все, что относится исключительно к городу, если сделать поправку на опасные биологические, психологические и социологические обобщения ("человек - более политическое животное, чем пчелы или другие стадные животные", "тот, кто по природе не свой, а чужой, и не человек, а раб по природе", "государство по природе своей явно предшествует семье и индивидууму, поскольку целое необходимо предшествует части"), основанные, как показывают примеры, на зачаточном состоянии этих наук в то время, вы получаете большой остаток практической мудрости, которая имеет и будет иметь ценность для современного мира.

Давайте рассмотрим один из элементов этого наследия, поскольку в последнее время он стал предметом многочисленных споров, - концепцию Аристотеля о государстве и его отношении к другим социальным и политическим группам. Как уже было сказано, греческая политическая мысль подвергается критике за чрезмерное пренебрежение притязаниями индивида. Аристотель в меньшей степени, чем его великие соратники, подвержен этому обвинению: он действительно допускает для некоторых избранных лиц внутреннюю, или, как он ее называет, "теоретическую" жизнь, удаленную от забот города-государства и почти, если не считать ее чрезмерной интеллектуальности, напоминающую монашеский идеал Средневековья. Но это касается лишь самых немногих. Тем не менее он признает, что за гражданином остается человек, который, возможно, в отдельных случаях может иметь свои права, что "политическая наука", как он говорит, "не создает людей", как Фукидид считал, что Афины создают афинян, "а получает их от природы и использует". И обоснование этого поглощения человеческой природы государством, этого подчинения человека всей или части его природы, изложено четко. Речь идет о том, что "человек, когда он совершенен [то есть взят под контроль и воспитан государством], является лучшим из животных, но, когда он отделен от закона и справедливости, он является худшим из всех", или, как он выражается в другом месте, человек, который не участвует в жизни государства или города, является "либо зверем, либо богом" - более вероятно (как показывает порядок слов) первое. Иными словами, именно закон и справедливость, а не, как хотел бы Фукидид, возвышение духа до его высшей силы, и не, как проповедует Платон, некое органическое отождествление

внутренней жизни души и внешнего порядка общества, являются основой и оправданием политики. "Именно справедливость, - говорит он, употребляя это слово в строгом, а не платоническом или метафизическом смысле, - есть связь людей в государствах, и отправление справедливости, то есть определение того, что справедливо, есть принцип порядка в политическом обществе".

Теперь, когда этот принцип четко сформулирован, а притязания индивида таким образом частично или, по крайней мере, неявно признаны, легче понять *непримиримое* отношение Аристотеля к притязаниям ассоциаций, отличных от государства, - вопрос, вокруг которого в последнее время развернулась большая полемика. "Всякое государство, - говорится в его *"Политике"*, - есть некое объединение, и всякое объединение создается с целью какого-то блага". Но если все ассоциации направлены на какое-то благо, то государство, или политическая ассоциация, *которая является высшей из всех и которая охватывает все остальные*, направлена, и в большей степени, чем любая другая, на высшее благо". Другими словами, в случае конфликта верности между государством или политической ассоциацией и какой-либо другой формой объединения, будь то церковь, профсоюз, профессиональная или гуманитарная организация, притязания государства должны иметь приоритет.

Эта доктрина подверглась многочисленным нападкам как включающая в себя неоправданный "государственный абсолютизм", отрицание "личности" меньших групп, даже как отрицание права на меньшую лояльность. Мистер Фиггис в ряде наводящих на размышления, хотя и неубедительных, работ напомнил о теориях иезуитов и других антигосударственных меньшинств и протестантов по этому вопросу, усилив их теориями или наклонностями нонконформистов и профсоюзов наших дней: и целая школа молодых "прогрессивных" интеллектуалов смело последовала за ним. Наступление на государственный суверенитет, однако, уже было остановлено воздействием фактов. Как бы странно это ни казалось в век сектантства и бунтарского теоретизирования, война открыла истину, что масса людей, как и в Древней Греции, по необходимости откликается на призыв гражданства: что когда раздается клич, созывающий всех и каждого к палаткам, люди стекаются не к той или иной маленькой скинии, а под защитный кров более крупных и по-настоящему представительных государственных организаций; что секты и конвенты, питавшие энтузиазм и обеспечивавшие активность в часы досуга, не могут сохранить свою привлекательность, когда вся ткань нашего общества находится под угрозой. За исключением тех, кто отказался от верности по соображениям совести, и тех презренных остатков, которые притворялись, что придерживаются аналогичных убеждений, число англичан, которые определенно ставят верность какой-либо другой политической или социальной группе выше верности государству, на удивление невелико. Так мало в этой стране фундаментальная лояльность или веление неанализируемого здравого смысла подвержены влиянию изящных теорий и аргументов.

Но то, что мы называем здравым смыслом, в конце концов, можно и нужно анализировать. И есть очень здравая и практическая причина, как знал Аристотель, почему люди предпочитают государство меньшим объединениям. Это потому, что государство делает их более свободными. Те, кто говорит о государственном абсолютизме, игнорируют простую истину: нет такой тирании, как тирания ближайших соседей. Чем меньше группа, тем крепче ее удушающий контроль над вашей жизнью и деятельностью. Группы и меньшая лояльность крайне необходимы и даже желательны в нашем современном крупномасштабном обществе; но они подвергают людей, особенно слабовольных и бездумных, гораздо большим опасностям, чем их большая гражданская принадлежность. Чем исповедь в худшем случае может быть для женщины, тем профессиональная, деловая или иная

преданность может быть для мужчины. Современный мир полон людей, которые продали свою душевную целостность ради сохранения единства партии или нерушимых традиций организации, интересов профессии или даже существования бизнеса. Если бы тайны всех сердец могли быть раскрыты, сколько высокопоставленных чиновников и сановников в церкви и партии, в профсоюзе и федерации работодателей обнаружили бы, что они думают и даже говорят в частном порядке то, что их низкая лояльность запрещает им провозглашать публично перед своими соратниками. Государство на своем большом поприще может иногда совершать ужасные промахи и даже преступления; но, по крайней мере, в наши дни масштабного управления оно не подвергает своих граждан ежедневной фальши и лицемерию, коварному засорению колес прогресса скрежетом мелких личных соображений, которые кажутся неизбежными в жизни более мелких групп мужчин и женщин. В этом свете государство предстает как хранитель не только справедливости, но и свободы, внутренней свободы души и духа, с которой профессиональная и синдикалистская позиция ума так часто находится в вопиющем, пусть и негласном, противоречии. Если все это не было видно Аристотелю, когда он писал свой бессмертный начальный параграф *"Политики"*, то ему, по крайней мере, принадлежит заслуга в том, что он заложил свою доктрину государственного суверенитета на фундамент, настолько надежный, что двадцать веков дискуссий от стоиков и киников, через Августина и Данте, вплоть до Руссо и Ленина, не смогли его поколебать. Против церкви и Совета, против мудреца, отшельника и анархиста, территориальное государство все еще держится во всем цивилизованном мире; и новейшая конструкция идеализма в Женеве, пусть и неправильно названная, - это всего лишь ассоциация таких государств, правда, гораздо больших по среднему размеру, но того же рода и состава, что и те, на которых греческий философ остановился как на истинном объекте политического исследования и наиболее эффективном и долговечном средстве обеспечения хорошей жизни для цивилизованного человечества.

Какие же главные и наиболее устойчивые мысли оставляет нам общение с греческими политическими мыслителями? Они, несомненно, двойки: первая касается материала политики, вторая - современных мужчин и женщин, призванных быть гражданами. Государственные дела, как мы чувствуем, отнюдь не являются утомительным занятием или "грязным делом" - это один из великих постоянных интересов расы: если они не были слишком тривиальными или слишком унижительными для таких великих художников, как Фукидид и Платон, нам не нужно бояться, что они будут слишком тривиальными или унижительными для нас самих. И если они не ниже нашего изучения, то и не должны ускользать от него, будучи окутанными облаками риторики или ватой сентиментальности. Греки должны раз и навсегда научить нас, что об общих делах человечества нужно не только думать, но и чувствовать. То, что отличает тех, кого мы называем "хорошими" государственными деятелями и "гражданами с общественным духом", от их менее истинно политических коллег, заключается не в том, что у них более теплые чувства - среди инструментов политики столько же нежных сыновей и любящих мужей, сколько и среди избранных, - а в том, что благодаря решительному использованию соответствующих способностей интеллекта и воображения они смогли поднять свои чувства на более высокий уровень и смотреть на великие проблемы с умом, настроенным не на привычный призыв очага и дома, а на более великую и сложную музыку человечества. Психологи учат нас в индивидуальной жизни, как мы можем "сублимировать" наши эмоции, когда жизнь не дает им выхода на уровне наших желаний, поднимая их на более высокий и возвышенный уровень чувств и действий. Как мы можем сублимировать нашу любовь к отдельным людям, так мы можем сублимировать нашу любовь к стране, не угашая и не отрицая наш патриотизм, а сознательно разделяя и распределяя его. Мы должны научиться сохранять для нашей крови и нации ту драгоценную часть нашего дара служения, которая, будучи интимной и

семейной, не может быть предложена непосредственно человечеству; но мы должны усвоить и более трудный урок переноса на международную арену, арену, где люди, поскольку они люди, работают над общими задачами и стремятся к наибольшей общей мере сотрудничества, всех этих интересов и лояльности, которые безопасно и по праву принадлежат там. Это требование и призыв современного Цезаря, независимо от того, остаются ли его отдельные столицы, как сегодня, в Лондоне, Париже, Вашингтоне и других центрах государственного суверенитета, или же человечество сможет подняться, если не в наши дни, до уровня единой верности. Мы пренебрежем этим призывом на свою беду. Ибо, если мы не отдадим кесарю то, что принадлежит ему, если мы не отбросим наш бездумный и раскольнический национализм, наши благородные чувства ничего не дадут нам, и в гражданской войне ангелов, патриотизм против патриотизма, Мамона и Вельзевул возьмут свое. В наши дни масштабных организаций и синдикатов мамоны, чтобы держать в узде гигантские тресты, нужен Цезарь, многонациональное правительство. Если бы земля Вашингтона и Линкольна была разделена на отдельные правительства, а не объединена в единую территорию Соединенных Штатов, частные интересы захватили бы и разгромили каждое правительство по отдельности, и свобода исчезла бы с лица земли - если бы, конечно, в каком-нибудь конфликте дьявола с дьяволом, банка и железной дороги против нефти и лесоматериалов ангелы снова не влезли в свои владения. Те же самые рассуждения применимы и к небольшим правительствам на других континентах в наши дни. Местный патриотизм - это всего лишь бродяга Давид перед лицом голиафов современного коммерциализма. Все больше и больше людей будут побуждаться, если не разумом, то эксплуатацией и страданиями, усвоить урок того, что до сих пор ошибочно считается империализмом, пока не окажутся в состоянии воскликнуть вместе с апостолом язычников, который вел свою собственную битву против национализма: "Я обращаюсь к кесарю".

Но у греков есть послание для нас не только в отношении материала нашей политики, но и в отношении нас самих. Что мы можем сделать, чтобы помочь человечеству продвинуться вперед в решении этих общих проблем? Эпоха утопических мечтаний закончилась. Мы знаем, что современная наука сделала мир единым целым и что социальное спасение не может быть найдено, как это представляли себе первые социалисты, бегством из человеческих убежищ и основанием какого-нибудь образцового города в пустыне. Мы должны внести свой вклад здесь и сейчас, в том унылом мире, в котором нас поставила судьба. Если мы не можем надеяться превратить его в Утопию, давайте хотя бы сделаем его настолько похожим на Утопию, насколько это возможно. Таков, в конце концов, посыл Платона, даже в самой идеалистической и провидческой из его книг. Знаменитый отрывок стоит того, чтобы процитировать его подробно:

"Значит, вы считаете наши аргументы менее убедительными, поскольку мы не можем доказать, что можно найти государство, подобное тому, что мы описали?"

"Конечно, нет", - ответил он.....

"Тогда не заставляйте меня показывать, что то, что мы решили в нашем аргументе, может быть во всех отношениях воспроизведено в опыте. Если нам удастся обнаружить, как может быть организовано состояние, хоть сколько-нибудь соответствующее нашему описанию, тогда вы должны будете признать, что мы обнаружили возможность реализации ваших команд. Неужели вас это не устроит? Конечно, я должен быть доволен".

Да, я буду, - сказал он.

Тогда далее мы, очевидно, должны попытаться обнаружить... каково наименьшее изменение, с помощью которого государство могло бы прийти к такому способу конституирования....".

'Most certainly,' he said.

"Ну, есть одно изменение, - сказал я, - которое, я думаю, мы могли бы доказать, что оно приведет к революции. Это, конечно, не маленькая и не легкая перемена, но она возможна".

"И что же?" - спросил он.

"Сейчас, - сказал я, - я нахожусь у той самой темы, которую мы уподобляли величайшей волне. Как бы то ни было, я должен говорить об этом, хотя, скорее всего, зальет меня смехом и насмешками..... Подумайте о том, что я собираюсь сказать".

'Say on,' he said.

"Пока, - сказал я, - любители мудрости не вынесут суверенное правление в государствах или те, кого сейчас называют государями и правителями, не станут искренними и способными любителями мудрости, а правительство и любовь к мудрости не будут объединены, и пока многочисленные натуры, которые в настоящее время преследуют либо правительство, либо мудрость, причем одно исключает другое, не будут насильственно отстранены от такого поведения, не будет передышки от зла, мой дорогой Глаукон, ни для государств, ни, как я полагаю, для человечества; И эта конституция, которую мы только что описали в нашем споре, не придет к тому осуществлению, которое для нее возможно, и не увидит света дня. Именно это обстоятельство так долго заставляло меня колебаться. Я видел, как парадоксально это прозвучит. Ведь немногим дано понять, что никакая другая конституция не может принести счастья ни государствам, ни отдельным людям".

Так говорил философ древности. Его слова иногда интерпретируют как мольбу о том, чтобы некий гений-философ вырвал задачу управления государством из наших слишком слабых рук. Но это не его послание нам. Эпоха, когда были возможны философы-императоры, уже прошла. Для нас слова Платона - это призыв стать, каждому в своей сфере, ценителями мудрости в меру своих способностей. Если мы хотим изменить окружающий нас мир, а он очень нуждается в изменениях, наш первый долг - отказаться от лжи и следовать истине в своей собственной жизни, в своих мыслях и поступках. Революции происходят не извне внутрь, а изнутри наружу; и часто именно тогда, когда внешний мир кажется наиболее больным и печальным, когда эгоизм и безответственность восседают в правительственных креслах мира, сила истины наиболее активно действует в безмолвной области души, укрепляя ее, чтобы она могла снова выйти вперед и нанести непобедимый замысел человека о порядке, справедливости и свободе на непокорный материал, который составляет основу общих проблем людей на этом маленьком земном шаре.

А. Э. Циммерн.

СВЕТИЛЬНИКИ ГРЕЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Среди поверхностности и борьбы окружающего нас мира так приятно на мгновение обратиться к мягкой мудрости Мэтью Арнольда; и я начну с цитаты из *"Литературы и догмы"*: "Так же хорошо представить себе человека с чувством скульптуры, не развивающего его с помощью остатков греческого искусства, или человека с чувством поэзии, не развивающего его с помощью Гомера и Шекспира, как и человека с чувством поведения, не развивающего его с помощью Библии". Для Арнольда Библия, Гомер, Шекспир, греческое искусство - это великая и вечная классика, которая на все времена должна быть стимулом и образцом для величайших человеческих достижений. Несомненно, за пятьдесят лет, прошедших с момента написания Арнольдом книги, произошел заметный отход от классики любого рода. Признание классики вообще кажется выживанием духа аристократизма. Мы убеждены, что мы лучше наших отцов и должны вырваться из-под их опеки. В какой-то степени это вызвано волнениями и нервным напряжением, вызванными великой войной. Но это происходит не только от нервного напряжения. Это определенная тенденция общества, которая должна рассматриваться по существу всеми, кто чувствует себя призванным принять участие в мировом движении. Мы не можем игнорировать тех, кто дрейфует в сторону от устоявшихся точек опоры, иначе мы рискуем сами оказаться в стороне.

Мне выпала задача попытаться обосновать, почему греческое искусство все еще претендует на наше внимание. Среди англичан ценители искусства никогда не были и не могут быть столь же острыми, как ценители поэзии и философии. Но, с другой стороны, я думаю, можно доказать, что в области искусства наш долг перед Грецией даже больше, чем в области философии и поэзии. Ведь в этих областях у нас есть определенный национальный гений, и мы создали классику, признанную во всей Европе. Но в искусстве наши достижения были весьма умеренными; и в настоящее время живое чувство искусства встречается среди нас, пожалуй, реже, чем в любой высокоцивилизованной стране, за исключением Америки.

Я начну со смелого утверждения, которое надеюсь обосновать по ходу дела. Если бы не Древняя Греция, искусство Европы сегодня находилось бы на том же уровне, что и фантастическое и деградирующее искусство Индии. И если бы не продолжающееся влияние греческого искусства, европейское искусство постоянно находилось бы в опасности дрейфа в хаотическую экстравагантность.

За столетие до персидских войн 500-480 гг. до н. э. Греция, как ионийская, так и дорийская, пускала свежие ростки жизни во всех направлениях, пробивая корку архаичных условностей, создавая новый стандарт совершенства в поэзии, в философии, в истории и в искусстве. В каждой области, в морали, интеллекте, воображении, Греция вырывалась вперед, справа и слева. И в столетие после персидских войн она собрала весь урожай своего великолепного посева и создала шедевры, которые с тех пор остаются незабываемыми, к изучению которых возвращается каждое поколение и узнает, на что способна человеческая природа.

После 400 года до н. э. не произошло, как многие полагают, резкого снижения качества художественной продукции. Многие произведения последующих веков были по-своему почти непревзойденными. Философия Аристотеля, поэзия Феокрита, такие статуи, как Афродита Мелосская и Победа Самофракийская, - великие светильники на все времена. Но произведения зрелого возраста редко обладают тем очарованием, которое отличает те, что полны оптимизма и обещаний юности.

Рёскин написал восхитительную работу "Семь светильников архитектуры", работу, которая, хотя иногда и переходит в экстравагантность, полна предположений и даже вдохновения. Мне кажется странным, что в то время как экономические взгляды Рёскина, полные благородства, но лишённые меры и какой-либо основы для фактов, все еще актуальны среди нас, его труды об искусстве, в которых его гений проявился в полной мере, должны быть сравнительно пренебрежительными. Как бы то ни было, я, как человек, которого эти труды очень вдохновили, предлагаю попытаться вызвать слабый отголосок одного из них, последовательно рассказывая о светильниках греческого искусства, светильниках, которые дают нам свет и служат для того, чтобы указывать нам путь. Я нахожу в греческом искусстве восемь примечательных черт: (1) гуманизм, (2) простота, (3) равновесие и мера, (4) натурализм, (5) идеализм, (6) терпение, (7) радость, (8) содружество.

Поскольку мое пространство тесно ограничено, я не могу попытаться развить тему греческого искусства во всех его провинциях и во всех его аспектах. Я должен ограничиться искусством скульптуры, наиболее характерной отраслью и единственной отраслью, которая оставила нам достаточно материалов для формирования удовлетворительного представления. И далее я должен ограничиться только той скульптурой, которая изображает человеческую форму. В изображении некоторых животных, таких как лошадь, поздние греки создали несколько замечательных примеров, но в изображении животных другие народы соперничали с ними, в то время как в изображении мужчин и женщин они стоят особняком.

Гуманизм. Три великих открытия открылись пробудившемуся духу человека, когда он начал осознавать и осмысливать окружающую его действительность. Первое - это открытие Бога, которое в основном было делом рук пророков Израиля, хотя, несомненно, Греция добавила много интеллектуального; а религии Иудеи и Греции были подняты на более высокую ступень христианством. Второе - открытие самого человека, которое во всех отношениях было великой работой греческих мыслителей и писателей. Третье, начатое в Греции, было перенесено очень далеко в современную эпоху - открытие природы и ее законов. Я думаю, что размышления покажут, что из этих трех открытий последнее является наименее важным, поскольку, хотя оно сильно изменило привычки и окружение человечества и открыло ему широкие перспективы материального прогресса, оно все же не сильно изменило его природу и не сильно увеличило его счастье. Мы знаем, как наслаждение мыслью, искусством, поэзией и музыкой преодолело варварство и подарило множеству людей новое удовольствие от существования. Но результаты научного прогресса еще не сделали для человечества всего того, на что мы могли бы надеяться. Каждое великое открытие в физической науке было обращено, прежде всего, не на благо, а на гибель человечества. Океанский корабль отслеживается подводной лодкой, воздушные корабли используются для сброса бомб на незащищенные города, а одним из самых заметных достижений химии являются ядовитые газы. Мы, конечно, можем надеяться, что это всего лишь проходящий этап и что впереди нас ждут более светлые времена. Но я осмелюсь предположить, что истинный путь к прогрессу может быть найден только в том случае, если мы сохраним еврейскую и греческую точки зрения. Мы не должны упускать из виду этическое и религиозное значение науки и не должны довольствоваться лишь ее рассмотрением как средства эксплуатации материального мира. Вместо того чтобы использовать силы природы для истинно человеческих целей, для счастья, мы позволили им быть использованными для любых целей, моральных или аморальных, любым, кто хитростью или натиском получил над ними контроль. Мы дегуманизировали мир и позволили ему грубо оседлать человеческую жизнь.

Открытие человека и его возможностей - великий дар Греции миру. До *"Илиады"* были эпосы, но не было эпоса, полного очарования, трагизма, слез и смеха. До Сократа были философы, но они были заняты тем, что пытались найти физические составляющие мира. Сократ взял на вооружение дельфийский девиз "Познай самого себя" и стал родоначальником всех, кто изучает природу долга и счастья. Точно так же в мире было много искусства до возникновения Греции, в Египте, Месопотамии, на Крите. Но это не было гуманистическое искусство. Оно изображало поклонение богам, битвы и осады, жизнь полей. Но человеческие фигуры в этих сценах были условны: в них не было ничего, что могло бы взволновать тонкие чувства, вызвать любовь к прекрасному, поднять человека над обычным повседневным уровнем. Греки знали о более ранних произведениях искусства, но они отказались соблазниться, как соблазнились финикийцы и этруски, на их легкое подражание. Они поняли, скорее подсознательно, чем осознанно, что призваны создать новое, человеческое искусство, и имели в себе силы, способные его создать. Они начали процесс, который развивался с поразительной быстротой и который не может прекратиться, если только, как теперь кажется, варварство вновь не захватит измученный мир.

Человек есть мера всех вещей" - это доктрина, приписываемая Протагору из Абдеры, которая потрясла афинский народ и подверглась нападкам со стороны Платона в его более конструктивном настроении. Это доктрина, склонная к злоупотреблениям, а еще больше к карикатуре; но на самом деле это учение Сократа не меньше, чем Протагора, и оно сохранилось с его времен до времен утилитаристов и прагматиков. Безусловно, оно лежит в основе греческого взгляда на жизнь, в котором человек с его чувствами, способностями и стремлениями стоит на первом плане, а все остальное предстает как смутный фон.

Вполне естественно, что как греческие мыслители интерпретировали весь опыт в связи с человеческими силами и способностями, так и художники Греции воспринимали всю природу в терминах человеческого тела. Таким образом, в то время как суровый монотеизм позднего Израиля категорически запрещал изображать в искусстве любые живые существа, и особенно человека, греческие художники полностью посвятили себя такому изображению.

Великим результатом действия духа гуманизма в греческом искусстве стало изображение богов в человеческом облике. Среди нас до сих пор распространена иудейская ненависть к изображению божественного начала в мире посредством миметического искусства скульптуры. Мы все еще повторяем изо дня в день еврейскую заповедь: "Не делай себе никакого изображения". Я не собираюсь осуждать интенсивное чувство иконоборчества, которое было одним из основных источников еврейской религии. Я не сомневаюсь, что в процессе развития этой религии ненависть и презрение к идолам окружающих народов имели неоценимое значение для расы. Постоянно возобновляемая борьба с нашествием идолопоклонства была необходима для развития той чистой пророческой религии, изложение и распространение которой в мире было высшей миссией еврейской расы. Я даже не буду говорить об отголосках этого в современном мире. Для мусульман наших дней, как и для древних евреев, она представляется необходимым следствием любой возвышенной и духовной концепции божественного. И когда мы читаем об уничтожении религиозных изображений нашими предками-пуританами, мы не можем не испытывать к ним внутреннего сочувствия. Ненависть к изображениям была одной из сторон той чистой и страстной веры в духовную религию, которую великие реформаторы призваны были возродить и распространить в Европе.

Но можно оценить эту сторону религии, не оставаясь слепым к другим ее аспектам. Наша религия пришла не только из Иудеи, но и из Греции. В ее основе лежит иудейская страсть к божественной праведности. Но эта страсть не уступает узости, фанатизму, бесчеловечности.

За модификациями ее, происходящими от действия духа гуманизма, мы должны обратиться к эллинам, за ощущением сходства в природе между Богом и человеком, за любовью к красоте сотворенных Богом творений, за радостью от всего, что мило, что привлекательно, что очаровательно. Красота и величие Бога привлекали грека, как недоступная трансцендентность Бога вдохновляла еврея.

Поэтому греческие художники пытались изобразить в мраморе и бронзе более мягкую и социальную сторону божественной природы. В словах Максима Тирского есть приятная разумность: "Греческий обычай - изображать богов самыми прекрасными вещами на земле - чистым материалом, человеческой формой, совершенным искусством". Идея тех, кто создает божественные образы в человеческом облике, вполне разумна, поскольку дух человека ближе всего к Богу и наиболее богоподобен".

Вся история греческой скульптуры, от ее подъема в шестом веке до упадка в третьем, вдохновлена этим желанием изобразить божественное с помощью самых прекрасных вещей на земле. Скульптура великих народов Востока, Египта и Ассирии, полна фигур богов и сцен поклонения. Но эти фигуры не возвышаются над человеческими. Боги предстают в виде условных фигур, обычных мужчин и женщин. И чтобы отличить их от смертных существ, художники Востока действуют в манере символизма: они добавляют к человеческим типам дополнения, которые должны обозначать божественные атрибуты, но на самом деле не воплощают их. Они добавляют крылья, чтобы представить стремительность божества, крылья, не предназначенные для реального полета, а лишь символизирующие быстрое движение. Они изображают их победоносными, повергающими диких зверей и чудовищ, которые обозначают силы зла, вечно стремящиеся помешать их действиям. В некоторых из своих самых архаичных произведений греки впадают в подражание этому способу. Они изображают Аполлона в окружении двух побежденных грифонов, Артемиду с крыльями, держащую в руках плененных львов. Но их художественное чувство вскоре восстало против таких грубых и неуклюжих способов изображения. Они стали пытаться изобразить божественный характер своих божеств не с помощью произвольных и внешних символов, а путем изменения человеческих типов в направлении идеала. Иногда, правда, в более позднем искусстве мы находим пережитки раннего символизма в виде атрибута. Гермес по-прежнему крылатый, но крылья перенесены на его шапку или сапоги. Зевс может по-прежнему нести молнию, символ его власти над бурей. Аполлон может по-прежнему излучать, сочетая человеческий облик с лучами, исходящими от видимого солнца.

Но это всего лишь пережитки, не затрагивающие процесс, осуществляемый художником за художником и школой за школой, в ходе которого боги все полнее впитывали в себя качества самой совершенной мужественности. Зевс, отец богов и людей, является идеализацией человеческого отца, сочетая справедливость и достоинство с благожелательностью и добротой; Афина становится воплощением божественного разума и мудрости, возможно, наиболее полно идеализированной из всех форм богов, поскольку эта вооруженная и победоносная дева с мудростью, восседающей на ее челе, имела мало общего с уединенными и домашними женщинами ее города Афин. У Аполлона нет мускулов тренированного атлета, но в своем благородстве лица и идеальной симметрии фигуры он олицетворяет все то, к чему может стремиться молодой человек путем самоограничения и стремления. На несколько более низком уровне Геракл имеет форму борца, восхитительно пропорционального, но более сильного, чем даже величайшие атлеты; Гермес - идеальный бегун, каждая мышца которого приспособлена к быстрым и легким движениям.

Таким образом, в типах богов, созданных в период расцвета греческого искусства, мы имеем ряд сверхлюдей и сверхженщин, которые представляют собой высшее и лучшее, чего могут

надеяться достичь смертные, типы, воплощающие высшее совершенство тела и ума. Влияние этих типов переходит из века в век, никогда в самые темные века не забываясь полностью, и во все времена они служили для спасения человеческой природы от скверны и деградации. На протяжении всей истории искусства они выступали в качестве воспитывающего и очищающего элемента.

Только с упадком олимпийской религии в IV веке эти типы опустились на более низкий уровень. Чувство прекрасного в художнике осталось таким же острым, как и прежде, техника искусства даже усовершенствовалась, но религия гуманизма была развращена менее благородными тенденциями, и боги приняли на себя не природу человека, каким он мог бы стать, а форму человека, каким он на самом деле является в мире.

Не только формы богов, но и история их появления на земле и взаимоотношений с человечеством нашли свое выражение в живописи и рельефе. Платон, как известно, осуждал мифы о богах как недостойные с этической точки зрения. Но мы неправильно оценим мифы, если предположим, что в них действительно верили или они служили для регулирования поведения. Они лишь способствовали живописности и радости жизни. А когда они утратили свое значение в культе, они сохранились в поэзии и служили для смягчения суровой прозы реальной жизни. Мы должны помнить, что некоторые из еврейских сказок, которые так заинтересовали и очаровали наших предков, вряд ли можно защищать на основе строгих этических принципов, однако они оказали смягчающее и расширяющее влияние. Кто захочет изгнать из церквей истории об Адаме и Еве, Иосифе и Давиде, руководствуясь этическим пуризмом? Жизнь многих людей не настолько украшена, чтобы мы хотели изгнать из нее столь приятные элементы.

Как боги все чаще принимают прекрасные, но вполне человеческие формы, так и примечательные черты ландшафта, реки и горы, небо и море, обретают человеческие очертания. Солнце и луна, ветер и буря полностью очеловечиваются. Общество Олимпа, силы, проявляющиеся в природе, предстают в скульптуре как человеческое общество, но более чем человеческой красоты и достоинства. И такое изображение богов приводит, как мы увидим далее, к идеальному изображению людей. Как боги спускаются в подобие людей, так и люди поднимаются до уровня богов. Отсюда - присущий греческой скульптуре неисчерпаемый идеализм, к которому я еще вернусь.

Немногие произведения искусства более полно и более привлекательно демонстрируют антропоморфную тенденцию греческого искусства, чем ваза "Восход солнца" из Британского музея. Она показывает нам всю утреннюю картину природы в очеловеченном виде. Справа изображен бог-солнце, управляющий колесницей с крылатыми конями, которые поднимаются из моря. Перед ним звезды, изображенные в виде юношей, погружаются в воду. Слева - богиня Луна верхом на коне, за которой возвышаются холмы, на одном из которых стоит бог-гора в позе удивления. Перед солнцем спешит Эос, крылатая заря, которая, смело цитируя мифологию, преследует охотника Кефала, в которого была влюблена. У нас есть черты рассвета, но все они представлены не как факты природы, а в их влиянии на богов и людей.

Я не рисую эту вазу, поскольку уже сделал это в *"Принципах греческого искусства"*; вместо этого я привожу почти столь же прекрасное изображение с крышки туалетной вазы из коллекции Сабурова в Берлине. Здесь мы имеем те же три фигуры бога-солнца, богини-луны и крылатой зари, которая, однако, в данном случае едет на колеснице. Форма всей группы и лучеобразный символ в центре прекрасно обозначают небесный свод (рис. 1).



Рис. 1. ВАЗА С

ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВОСХОДА СОЛНЦА

Другой крайний пример антропоморфизма - воплощение поддерживающей силы колонны в так называемых Кариатидах Эрехтея (рис. 2). На самом деле это Коры, девы, посвященные Афине и охотно служащие ей, несущие на себе тяжесть архитрава ее храма. Возможно, эта идея не вполне удовлетворительна; но если с ней согласиться, можно ли было осуществить ее более благородно? Квадратные и мужественные формы женщин, масса волос, укрепляющих их шеи, легкая поза - все это заставляет нас почувствовать, что задача им не по силам и не в тягость.

Рядом с греческой Кариатидой я должен позволить себе поставить современную версию, выполненную Роденом. Мощью и техникой Родена я восхищаюсь, но когда его работы ставят рядом с греческими, мы сразу чувствуем их ущербность в достоинстве, в простоте, в идеальности (рис. 3).



КАРИАТИД
из Erechtheum

Рис. 2.



Рис. 3. КАРИАТИД
работы Родена

II

Второй светильник греческого искусства - *простота*. Художник ясно видит, что он хочет создать, и приступает к этому без колебаний, без самосознания, без лишних слов. Конечно,

чем примитивнее и менее условно общество, тем легче художникам быть простыми. В сложном обществе простота и прямота могут быть спутаны с обыденностью или даже с глупостью. Простота Вордсворта и Теннисона иногда переходит границы. У греков было огромное преимущество: они появились раньше других культурных народов, поэтому им не нужно было избегать банальностей. Они могли быть простыми, как просты дикая роза и примула. Что может быть более простым, чем *"Илиада"*? Та же простота отличает греческую скульптуру. Чтобы понять ее, не нужно напрягать интеллект. Она представляет каждую фигуру в ясном и безыскусном виде.

Как нет более верного признака тонкой натуры, чем отсутствие самосознания, так и в искусстве нет более верного признака величия, чем простота. Греки не стремились быть оригинальными, заставляя людей пялиться, делать необычное. Один из самых привычных сюжетов греческого рельефа - битва между мужчинами-воинами и амазонками. Такие сражения украшают многие храмы. И в каждом случае они отличаются по стилю. Группу из храма в Фигалее невозможно перепутать с группой из Мавзолея. И нет никакой одинаковости: почти в каждой группе есть какой-то свой момент или штрих, что делает ее вариацией на привычную тему. Одна амазонка падает с лошади, другая просит четверть, третья преследует отступающего врага. Но ни одна группа не настаивает на том, чтобы прохожий посмотрел на нее. Рельеф украшал храм, и если его оригинальность отвлекала внимание людей от самого храма или от Божества, восседающего в нем, его справедливо могли обвинить в дерзости, в превышении меры. Скульптор сделал все, что мог; но он старался не делать ничего, что не гармонировало бы с окружающей обстановкой. Он погружался в свою работу. И даже когда он был занят более серьезной работой, он больше всего избегал несочетаемого и неподобающего. Он работал так, чтобы внимание зрителя было сосредоточено не на характере работы, а на изображенном человеке или предмете. Идея, которую он пытался воплотить в мраморе или бронзе, была не его собственным представлением о предмете, а тем характером, который действительно принадлежал ему в сознании людей.

Это единство цели хорошо иллюстрирует история о художнике Протогене. Он написал фигуру сатира, а рядом с ней, в качестве безделушки, вставил куропатку. Но когда он обнаружил, что восхищение реалистичностью куропатки отвлекает внимание посетителей от главной фигуры, он ее закрасил.

Несомненно, простота подразумевает ограничение. В любую эпоху нелегко взять самую глубокую ноту без некоторой капитуляции простоты. Высшие фазы умственной и духовной жизни, мистицизм, символизм и тому подобное не могут быть выражены с полной простотой в любом виде искусства. Нельзя отрицать, что греческий взгляд на жизнь был ограниченным; что греки не пытались изобразить в искусстве высшие стремления души. Это была совершенно извращенная изобретательность, которая поколение назад пыталась найти мистический смысл в изображениях на греческих вазах. Попытки изобразить божеств мистерий едва ли можно считать произведениями искусства. Такие фигуры, как Сабазий, Исида, Митра, появляются в античном искусстве только в период его упадка. Я не стану утверждать, что современный мир с его бесконечно разнообразными эмоциями или высшими устремлениями таких религий, как христианская или буддийская, может удовлетвориться такими простыми схемами, как в греческой скульптуре, которые апеллируют скорее к человеческому инстинкту и человеческому интеллекту, чем к более рекогносцировочным эмоциям. Такие эмоции, однако, на мой взгляд, не находят подходящего воплощения в искусствах, о которых я говорю, - графических и пластических. В поэзии они во все времена находили благородное выражение, а в наши дни, возможно, еще

более полное выражение в музыке, которая в дохристианские времена находилась в очень зачаточном состоянии. Но живопись плохо подходит для воплощения этих смутных устремлений. И еще больше не подходит скульптура, самое подражательное и объективное из всех искусств. Попытки некоторых скульпторов в последние годы придать своему искусству мистический оттенок кажутся мне обреченными на провал в силу самой природы скульптуры. Западный ум может испытывать мало симпатии к искусству, которое больше всего двигалось по мистическим линиям, - искусству Индии, которое в таких попытках отказалось от поиска красоты, а значит, и от действительно художественной точки зрения. Простая красота, несомненно, является неудовлетворительным идеалом: но более возвышенная красота, гармонирующая с окружающим миром и душой внутри нас, - это совсем другое дело.

Чтобы простота была в высшей степени достойна восхищения, она должна сочетаться с двумя другими качествами - сильной любовью к красоте и предельным терпением в исполнении. Она не должна приводить, с одной стороны, к неидеальному копированию природы, а с другой - к поспешной и неряшливой работе.

Уже упоминавшаяся фигура Кариатиды из Эрехтея - образец совершенной простоты. Для дальнейшей иллюстрации этого качества я выбрал бронзового возницу из Дельф и Артемиду из Габии, хранящуюся сейчас в Лувре. Первый (рис. 4) - юноша из знатной семьи, одетый в длинное платье, необходимое для защиты от ветра человека, управляющего колесницей. Вторая (рис. 5), работа школы Праксителя, изображает молодую девушку, застегивающую платье на плече. Обе работы настолько свободны, насколько это возможно, от любой попытки новизны или оригинальности: тем не менее, ни один человек с любым вкусом не мог бы ни на минуту колебаться, чтобы назвать их восхитительными. Задача художника - сделать работы как можно более совершенными. И к этой цели он идет прямо, без всяких усложнений и без малейшей заботы о том, что другие могли сделать похожие работы, против которых он должен отстаивать оригинальность.



Рис. 4 ХАРИОТЕР
из Дельф



АРТЕМИДА
из Габии

Рис. 5

Рядом с двумя приведенными мною фигурами я помещаю более современную группу (рис. 6), также выполненную гениальным человеком, Петером Вишером. Она отличается той же простотой и тщательностью исполнения, что и греческие работы, но по красоте не сравнится с ними; чувствуется сожаление, что столь великий художник потратил свои силы на столь неподходящий предмет, как заклепки и пластины доспехов. Дама, хотя и не лишена

очарования, кажется искусственной и аффектированной рядом с изысканной свежестью девушки Праксителя.

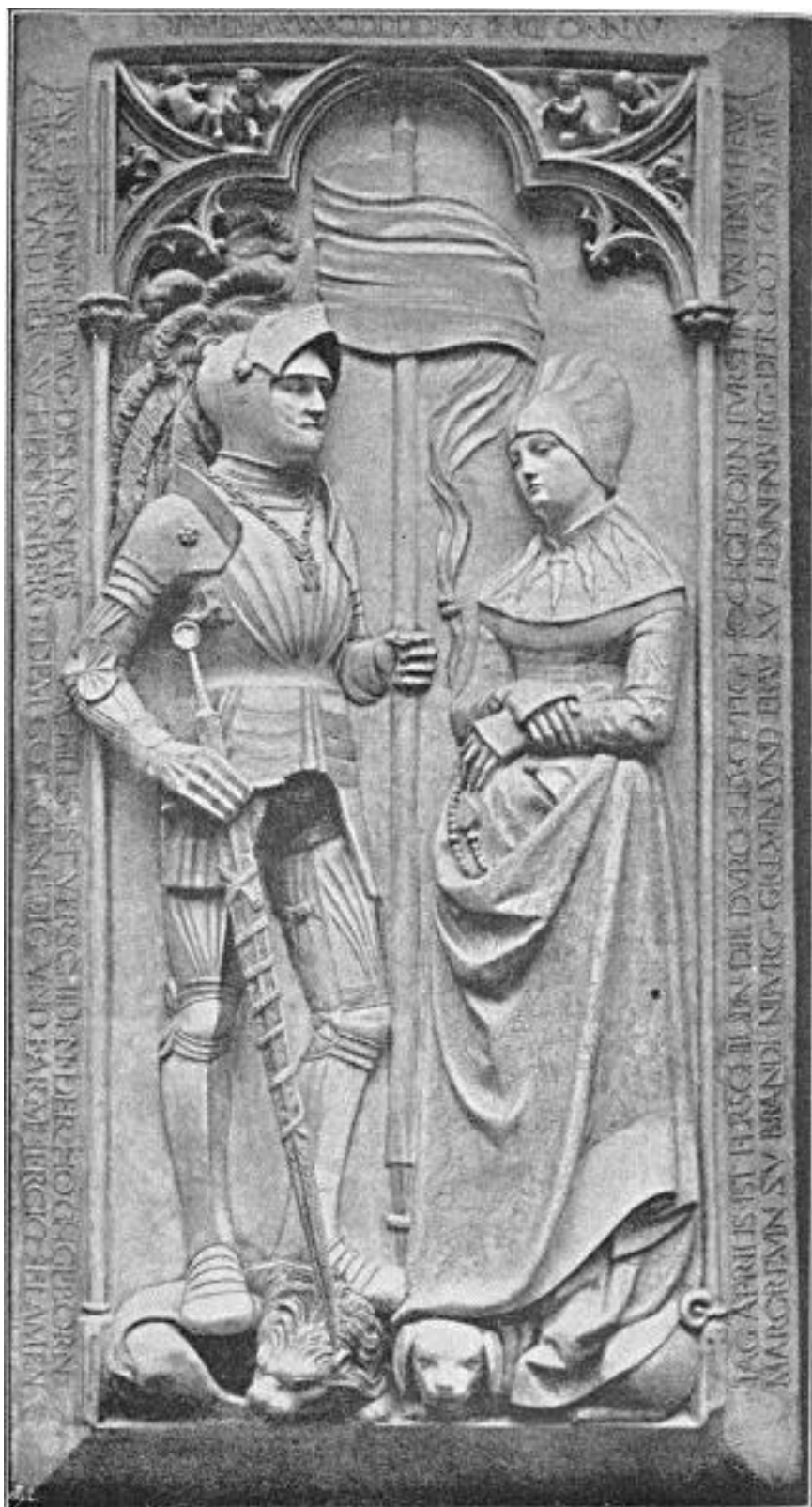


Рис. 6. РЫЦАРЬ И ДАМА

Питер Вишер

Третий светильник греческого искусства - это *баланс и мера*, признание предела и закона. Это наиболее очевидно в архитектуре, и особенно в ее самом характерном произведении - храме. Форма храма, однажды установленная, оставалась неизменной, в определенных пределах вариаций, на все времена. Искуснейший писатель М. Бутми восхитительно показал, как все составные части храма связаны одна с другой, как через весь храм проходит план, последовательный ритм. Каждая часть имеет определенную функцию, которую она выполняет самым простым и понятным способом. Колонны сделаны просто для того, чтобы поддерживать, и их форма и небольшое украшение соответствуют этой цели. Их форма обеспечивает максимальную устойчивость. Каналы или рифление устремляют взгляд зрителя вверх, на столицу, которая выпирает наружу, чтобы поддержать тяжелую прямую линию карниза. Над карнизом желобки триглифов продолжают линии рифления, идущие от колонн к крыше. Стены храма предназначены в первую очередь не для поддержки, а для ограждения священной целлы, и украшены декоративным фризом только по верхнему краю, как занавес. Все здание задумывается как дом для статуи божества, которую оно окружает; и ни одна часть не может украшать себя иначе, как подчиняясь этой общей цели. Подобно раковинам моллюсков или ульям пчел, оно является прямым воплощением идеи, цели, только осознанной и рефлексивной, а не просто инстинктивной.

Скульптурный декор, который является столь яркой особенностью храма, также тщательно подчинен цели и идее. Ни одна часть сооружения, несущая на себе нагрузку, если не считать одного-двух ранних и неудовлетворительных опытов, не была украшена. Задача колонн и архитравов - выдерживать вес, и если бы они были украшены, то казались бы менее приспособленными для этой цели. Только в тех частях здания, которые с точки зрения строительства были незначительными, таких как фронтоны и метопы, искусству скульптора позволялось играть; и даже тогда оно должно было играть соответственно природе божества внутри и праздникам, центром которых должен был стать храм. Здесь не было места для перекрестных или тревожных мыслей.

Эта строгость формы и подчинение разуму столь же характерны для аттических трагедий, как и для храмов. Действительно, можно было бы провести тесную параллель между этими двумя видами искусства. Но мы должны вернуться к нашей непосредственной теме, скульптуре. Храмовая скульптура в высшей степени демонстрирует качества равновесия и меры. В случае фронтона есть центральная точка, прямо под вершиной, где размещаются доминирующие фигуры изображаемой сцены; и по обе стороны от этой центральной фигуры или группы, фигуры уравнивают фигуры, пока мы не доходим до углов, которые заняты лежащими формами, умирающими воинами, или речными богами, или зрителями. В случае с метопой квадратное поле заполняется двумя или тремя фигурами, сбалансированными вокруг центральной линии, схема самодостаточна и гармонична, которую можно сравнить с геометрической диаграммой, и несет в себе простоту до самой отдаленной точки.

Ритм, баланс, симметрия - это воплощение в скульптуре духа дисциплины и самоконтроля, которому греки научились в силу тяжелой необходимости. Цивилизация ионийцев в Азии - это яркий восход солнца, переполненный восторгом от жизни, от красоты, от упражнения всех способностей, который некоторое время господствовал в самой Греции. И их искусство было радостным и свободным. Художники Ионии вторглись в Афины в шестом веке, посетили роскошный двор Писистрата, вдохновили Пелопоннес и даже Спарту, о чем убедительно свидетельствуют раскопки Британской школы в Афинах. Но ионийцы были растоптаны тяжелой ногой Персии: чрезмерная свобода и отсутствие сплоченности и дисциплины стали их гибелью. Великий царь Персии был намерен растоптать таким же образом и саму Грецию;

и ему бы это удалось, если бы не дисциплина и преданность дорийцев. Именно спартанцы, благодаря блестящему военному таланту Мильтиада и Фемистокла, спасли Грецию от рабства. Будучи военной кастой, подобно тамплиерам и госпитальерам средневековой Европы, они составили костяк греческой армии и рассеяли азиатские орды с той же легкостью, что и выносливые македонцы Александра Македонского полтора века спустя.

Афиняне с их быстрым умом поняли, откуда пришло их спасение, и в начале V века ионийское влияние было повернуто вспять, а дорийские нравы, дорийская одежда, дорийское искусство стали доминировать от Фессалии до Лаконии. Именно дорийские идеи дисциплины, меры, самоконтроля, вошедшие в искусство Греции, сделали его благородным и непрерывным, а не просто яркой вспышкой. Платон хорошо понимал, какие опасности подстерегают афинян из-за их крайней разносторонности и отсутствия благоговения, и предвидел, как эти качества в конце концов погубят цивилизацию, которую они украшали. Он так ясно видел это, что был склонен предпочесть условное и однообразное искусство Египта блестящему греческому искусству своего времени. Разумеется, это означает доведение этических предрассудков до фанатизма и нарушение того самого закона умеренности, который его вдохновлял. Но так далеко он зашел только в старости.

Этот тщательный баланс и пропорции можно наблюдать, как уже не раз отмечалось, в дизайне греческих ваз, где нарисованный сюжет не только сам по себе является сбалансированной схемой, но и спланирован в соответствии с формой самих ваз. Группа, подходящая для амфоры, смотрелась бы неуместно на чаше для питья. Да и в самой чаше внешняя сторона требует иной обработки, чем внутренняя. Все спланировано так, чтобы не просто дать свободу художнику, но и быть уместным, подходящим, гармоничным. Наш первый рисунок хорошо иллюстрирует этот тезис.

Даже в случае предметной скульптуры, фигур или групп, стоящих сами по себе на рыночной площади или в портике, преобладает греческая любовь к гармонии, или, как они бы сказали, к ритму и симметрии: античные критики в тех рассказах о греческой скульптуре, фрагменты которых дошли до нас в трудах Плиния и Квинтилиана, делают большой упор на эти особенности. Они показывают нам, что если в раннем искусстве преобладала лишь внешняя и механическая уравновешенность, то в течение пятого века любовь к порядку и мере была заложена в само существо искусства. Пифагор из Регия, чьи труды, к сожалению, утрачены, добился больших успехов в области ритма и симметрии. Его современники, Мирон и Поликлит, доведшие атлетическое искусство Пелопоннеса почти до высшей точки, прославились: Мирон - ритмом движений, который он привнес в свою скульптуру, Поликлит - тщательным балансом своих атлетов и системой пропорций, которую он воплотил в их фигурах. Фидий, как мы увидим далее, был более идеален, чем любой из них, но он также наиболее старательно сохранял в Парфеноне и других произведениях дух меры и разумности.

Мера и баланс в искусстве значительно отличаются от простой условности. Порядок - первый закон небес". Все прекрасные характеры формируются не путем следования случайным импульсам, которые возникают, а путем приведения их в соответствие с разумом и долгом, дисциплинируя их, как дисциплинируют диких лошадей и учат их служить человечеству. Лошадей действительно можно чрезмерно дисциплинировать, и жестокость может лишить их всякого духа. И люди могут быть чрезмерно дисциплинированы, так что их импульсы угасают от истощения. Спартанцы были чрезмерно дисциплинированы, и благодаря постоянному подавлению естественных склонностей они стали просто машинами и вскоре вымерли. Но разумная сдержанность, наложенная на сильные природные склонности, дает благородные результаты во всех сферах деятельности.

То же самое верно и в искусстве. Мера и дисциплина, конечно, не облегчают создание произведений искусства; ведь по природе своей дисциплина поначалу тягостна и ощущается как препятствие. Но для создания хороших и долговечных произведений искусства дисциплина и закон необходимы. Возьмем, к примеру, самое простое искусство - поэзию. Легче написать чистый стих, чем сонеты. Но гораздо легче написать *хорошие* сонеты, чем хороший пустой стих, просто потому, что постоянное ограничение формы стимулирует мысль и изобретение, предотвращает слишком большую поспешность, упражняет изобретательность. Точно так же несколько жесткие законы композиции фронтона, метопа и фриза заставляли греческого художника придумывать схемы, подходящие к этим формам.

Невозможно найти лучшего примера порядка и равновесия в рельефах, чем великолепный саркофаг из Сидона (рис. 7), на одной из сторон которого изображена одна из побед Александра Македонского. На первый взгляд это может показаться беспорядочной мешаниной. Но при ближайшем рассмотрении за кажущимся беспорядком скрывается тщательная организация. Александр, атакующий слева, уравнивается Парменио, атакующим справа: всадник посередине между лидерами как бы выходит из фона; а по обе стороны от него - боевая группа, слева македонский пехотинец, сражающийся с пешим персом, справа легковооруженный грек, противостоящий персидскому всаднику. Два персидских лучника уравнивают друг друга. В сцене пять греков против восьми персов, что говорит о численном превосходстве последних. И если бы мы знали больше о битве, то, вероятно, нашли бы в группах намеки на ее основные фазы. Рельеф рассказывает нам о битве гораздо больше, чем натуралистичное изображение одного из уголков поля. Греческий художник не мог работать, не используя свой разум и чувство порядка, а также свою искусную руку.



Рис. 7.

САРКОФАГ ИЗ СИДОНА

IV

Четвертое примечательное качество греческого искусства - *натурализм*. Живопись и скульптура, будучи репрезентативными или подражательными искусствами, зависят в своих эффектах от тщательного наблюдения и любовного изучения природы. Вероятно, это не та

черта в произведениях греческой скульптуры, которая была бы наиболее заметна современному глазу. И нельзя сомневаться, что привычка к точному наблюдению, выработанная современными исследованиями природы, знакомство с такими помощниками зрения, как телескопы и увеличительные стекла, постоянное использование фотографии, сделали большинство из нас лучше знакомыми с явлениями окружающего нас мира, чем греки. Но по сравнению с произведениями предшествующих эпох греческая скульптура должна была казаться удивительно натуралистичной. Даже произведения архаического периода, такие как фронтоны из Эгины, демонстрируют знание человеческой формы, бесконечно более точное, чем то, что можно найти в ассирийских дворцах или египетских храмах. Вероятно, в сознании постоянно возникающих школ, исповедующих отказ от всех условностей и возвращение к самой природе, всегда присутствует большая доля иллюзий. Постичь природу иначе, чем через человеческие чувства и человеческие комбинации, совершенно невозможно. И любой художник, решивший передать нам природу лишь в том виде, в каком ее передает нам фотопластинка или механический слепок, просто растрчивает свои силы и выдает результат, не представляющий ни для кого никакого интереса. Согласно Плинию, Лисипп исповедовал, что берет в учителя только природу; но на самом деле работы Лисиппа, насколько мы можем их восстановить или проследить, полны самого определенного стиля. Художник смотрит на природу своими глазами, и эти глаза придают тому, что он видит, характер, частично основанный на его собственной личности. Все, что он видит, преломляется в водах его субъективности, из которой он не может вырваться.

Тем не менее, весь исторический курс греческой скульптуры пронизан изучением природы, и по мере его прохождения мы все яснее видим результаты тщательного наблюдения. У художника были такие возможности для изучения того, что он считал единственной важной группой явлений, - человеческих тел, - какие современный художник не может себе представить. В банях и гимназиях, где все молодые люди свободного происхождения проводили часть своего утра в беге, прыжках, борьбе или плавании, он мог ежедневно наблюдать прекрасные тела атлетов в самых разных позах и действиях. Он знал их, как дрессировщик знает лошадей или любитель собак. Ему не нужна была бы специальная модель, но он ежедневно наблюдал бы какую-то новую деталь мускулов, какую-то примечательную позу, которую он мог бы добавить по памяти в свою концепцию человеческого тела.

Но в величайшие периоды искусства натурализм не является преобладающим. Его постоянно действующая тенденция сдерживается благородными идеями и благородным стилем. В развитии скульптуры наблюдается постоянное приближение к природе, но нет нигилизма, который рассматривает все аспекты природы как одинаково подходящие для искусства предметы. Художники фронтонов Эгины не могли заставить себя скрыть прекрасные тела сражающихся воинов жесткими доспехами, подобными тем, что скопированы в группе Вишера. Таким образом, мы видим парадокс: вооруженные люди в бою, но без доспехов. Обнаженные конечности проработаны с особой тщательностью. В замечательном бронзовом вознице, найденном в Дельфах (рис. 4), который датируется примерно 470 годом до н. э., одежда, необходимая для защиты человека от порывов воздуха, обработана очень просто; но руки и ноги, которые одежда не скрывает, выполнены с удивительной точностью и правдой природы. Создается впечатление, что художник компенсирует крайне простую работу над драпировкой почти чрезмерно тщательным изучением природы там, где это было возможно. Голова, с другой стороны, типична, а не индивидуальна; ведь индивидуальные портреты в то время были едва ли возможны.

Если бы место позволяло, здесь следовало бы поговорить о греческих портретах. Я лишь укажу на ошибочность распространенного мнения, что греческие портреты были обычными и неинтересными, и что именно римляне привнесли индивидуальность в портретную живопись. Странно, что мнение, которое является абсолютно ложным, получило такое распространение. Действительно, в греческих портретах пятого и даже четвертого веков есть много от типажа, а индивидуальные черты смягчены в соответствии с сильно идеализирующими тенденциями эпохи. Но от третьего и второго веков мы имеем огромное количество портретов, которые в высшей степени характерны и индивидуальны, прекрасную галерею философов, поэтов и государственных деятелей, которые по жизненной правдивости не могут быть превзойдены. Все лучшие портреты римлян были выполнены греческими художниками. Я могу привести лишь один пример действительно прекрасного греческого портрета - статую Демосфена III века до н. э. (рис. 8). Это действительно портрет. Длинные худые руки и поза столь же индивидуальны и характерны, как и лицо с его меланхоличным выражением и глубокими линиями беспокойства. Мы видим человека с головы до ног, а не, как это часто бывает в современных статуях, портретную голову на обычном теле.

Для сравнения с Демосфеном я привожу статую великого государственного деятеля современности, Авраама Линкольна, работы Барнарда (рис. 9), не самую лучшую его статую, но одобренную многими. Она стремится к правде, но достигает лишь карикатуры, преувеличивая неловкость и угловатость Линкольна, размер его рук и ног, а также беспокойство на его лице. Это преувеличение было доказано сравнением со многими фотографиями Линкольна, которые показывают, что он был аккуратен в одежде и отнюдь не лишен достоинства. Статуя Демосфена удивительна по правдивости, но она добавляет оттенок пафоса; статуя Линкольна упускает истину, преувеличивая наименее приятные черты субъекта.

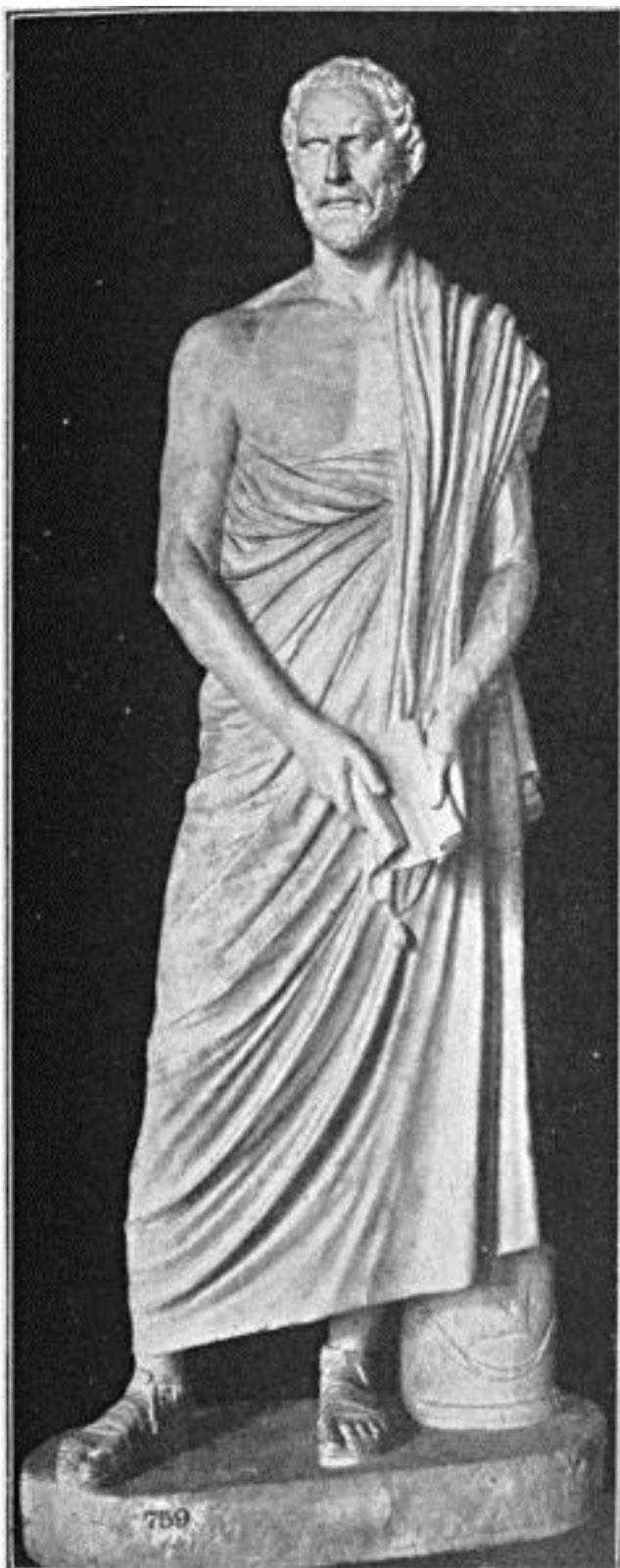


Рис. 8. ДЕМОСФЕН
Полиект



АВРААМ ЛИНКОЛЬН
Барнард

Рис. 9.

Когда мы хотим выяснить, насколько близка греческая скульптура к реальности, мы переходим от эпохи великого идеала к эллинистическому периоду. Лисистрат, брат Лисиппа, начал снимать гипсовые слепки с отдельных лиц. В великой медицинской школе Александрии анатомия человеческого тела, от которой в прежние века в духе благочестия уклонялись, стала обычным делом: некоторые из великих врачей, такие как Герофил и

Эрасистрат, были отмечены полнотой изучения анатомии. В искусстве третьего века до нашей эры мы видим неизбежный результат таких исследований в виде более точной и искусной передачи мышц и кожи. Художники больше не стеснялись изображать тела, истощенные трудом и непогодой, или истощенные голоданием. В наших музеях есть множество таких фигур, демонстрирующих удивительно тщательное изучение форм крестьян, старух и детей. Я представляю одну из них, хранящуюся в музее Консерватории Капитолия в Риме, - пожилую пастушку, несущую ягненка (рис. 10). Но следует заметить, что как ни близка эта форма к фактам обычной жизни, в ней все же нет ничего отталкивающего. Это в некотором смысле тип, а не индивидуум, поэма природы, а не портрет. Она параллельна пасторалям Феокрита. Она сильно контрастирует с такими отвратительными фигурами, которые некоторые современные скульпторы в своей преувеличенной любви к фактам, пусть и отталкивающим, навязали нам, например, *Vieille Héaulmière* Родена (рис. 11), фигура состарившейся и разложившейся проститутки. Я знаю, конечно, что некоторые критики будут защищать последнюю работу по этическим соображениям, как показывающую, насколько отвратительным может стать упадок чувственной красоты; но я осмелюсь усомниться в том, что скульптура является подходящим средством для морального урока такого рода, потому что она может только изображать и не может объяснить.



10
ПРЕСТАРЕЛАЯ ПАСТУШКА
Александрия

Рис.



Рис. 11
СТАРАЯ ПАСТУШКА
Роден

V

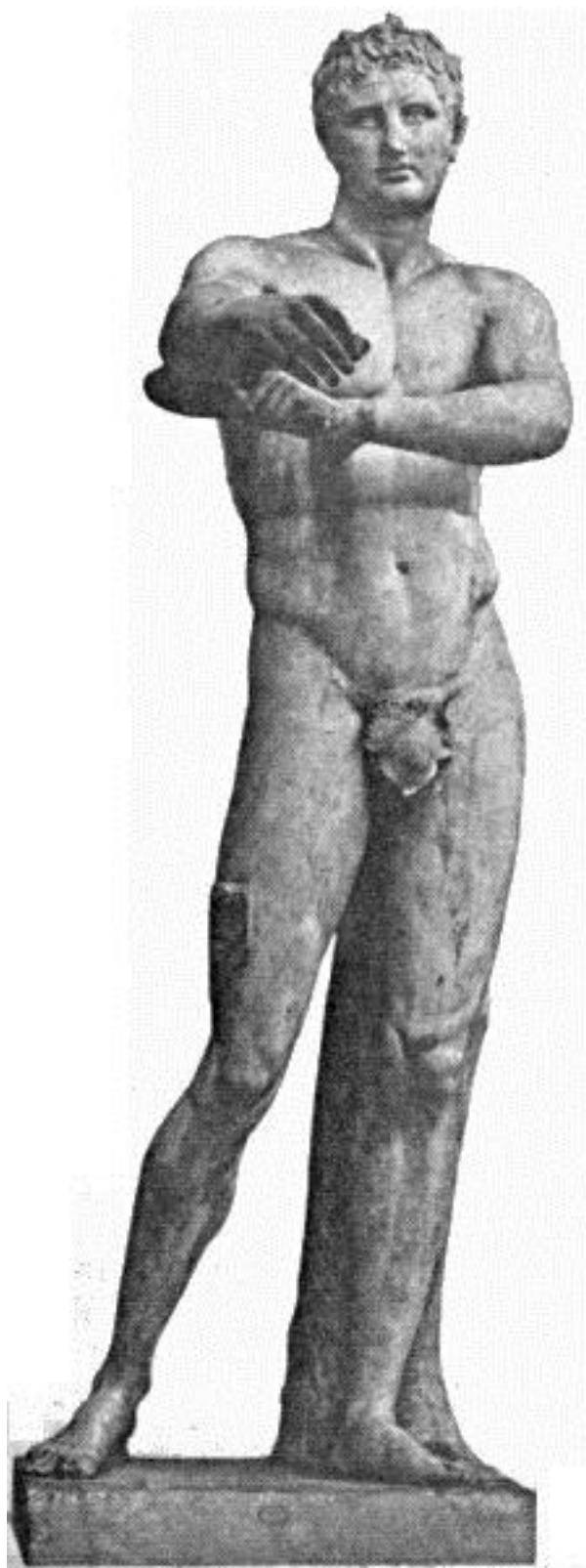
Так мы подошли к пятому светильнику греческого искусства - *идеалу*. Именно в идеализме своего изображения человеческого тела греки превзошли все другие народы и оставили

нетленный след. История греческого искусства - это история поиска красоты, поэзии, всего, что может очаровать и восхитить.

В самых ранних скульптурных произведениях Греции, как первым отметил датчанин Ланге, мы находим не прямое подражание фактам видимого мира, а впечатления, взятые из этого мира, сохраненные в памяти и собранные воедино в соответствии с субъективной целью, а не объективным законом. Именно так работают умные дети, когда при написании картин в своих альбомах нарушают законы перспективы, объединяя отдельные аспекты и воспоминания об объекте в несовместимое целое. Они не упустят ни одной особенности человека, которая случайно поразила их, даже если в профиле, который они рисуют, она будет незаметна. Они воспринимают лицо как повернутое к ним, а ноги - как идущие мимо. У каждого лица должно быть два глаза, у каждого тела - две руки, независимо от того, видны они в естественных условиях или нет. На ранних греческих рельефах часто можно встретить тело до пояса анфас, тело ниже пояса - в профиль, без перехода от одного к другому. Хорошим примером являются известные метопы из Селинуса на Сицилии. Подобная процедура характерна для раннего искусства всех народов. Но греки отличаются от других народов тем, что, убрав эти ранние грубости, они сохранили преобладание мысли над вещами, человека над природой, одним словом, идеальный элемент в искусстве. Они рассматривали тело человека не как самого человека, как это делают материалисты, а как оболочку, созданную внутренней работой духа, которую можно увидеть глазами мысли и воображения, так же как и телесными глазами. Поэтому они всегда стремились от того, что существует внешне, к тому, что скрывается за простым явлением. Они понимали, что природа, создавая индивида, никогда не добивается полного успеха, она не дотягивает до идеи. И художник, любящий сопереживать творческому Духу, может решиться улучшить созданное, полнее воплотить свои замыслы, полнее воплотить идею. Греческий художник, ценя и почитая тело, пытается поднять его на более высокий и совершенный уровень. Простой вид идеализма можно найти в атлетическом искусстве. Занимаясь атлетикой, греки не думали, как современные, только о том, на сколько метров может прыгнуть атлет или сколько времени ему потребуется, чтобы пробежать дистанцию. Они также думали о его *форме*, о ритмичности и гармоничности его действий. Если атлет демонстрировал уродливую форму, на него шипели, как и на неумелого актера. Большинство упражнений выполнялось под аккомпанемент флейты. Во всех статуях атлетов, дошедших до нас, нет ни одной, которая бы демонстрировала негармоничное развитие, мощную грудь и слабые ноги, или мускулистые ноги и слабые руки. Более чем вероятно, что как черты Александра Македонского повлияли на портреты его офицеров и последователей, так и особо красивые формы некоторых атлетов, вызывавших наибольшее восхищение, привели к созданию типа, нечто подобное которому встречается во всех фигурах атлетов того времени.

Несомненно, любой, кто хорошо знаком с греческими типами и формами современных атлетов, заметит, что физическое телосложение греков не идентично нашему. Благоприятный климат и ненапряженная жизнь молодых людей породили нечто более округлое и мясистое, чем мы видим на севере. Наши атлеты менее гармонично сложены, с более выраженными сухожилиями, более грубые и жилистые по типу. Американский тренер, который также является скульптором, доктор Таит МакКензи, работая так же, как некоторые греческие скульпторы, на основе средних измерений ряда молодых людей, создал типы силы и красоты, ни в коем случае не похожие на греческие статуи, но в своем роде почти такие же прекрасные. Я привожу в пример прекрасные фигуры греческих боксеров пятого века, смягченные идеализмом, но восхитительные по силе и симметрии, а также Апоксиомена, человека, скребущего себя стригилем, как это было принято в банях (рис. 12). Это работа третьего века, после того как художники привнесли в свои произведения знания

анатомии, что имело как хорошие, так и плохие последствия. А рядом с Апоксиоменом я помещаю атлета работы Тейта МакКензи, созданного на основе тщательного сравнения и измерений сотен молодых атлетов Гарварда и Филадельфии (рис. 13). Это произведение современного идеализма, созданное с помощью процессов, аналогичных тем, которым мы обязаны совершенством греческой атлетической скульптуры.



12
АТЛЕТ СО СТРИГИЛЕМ

Рис.

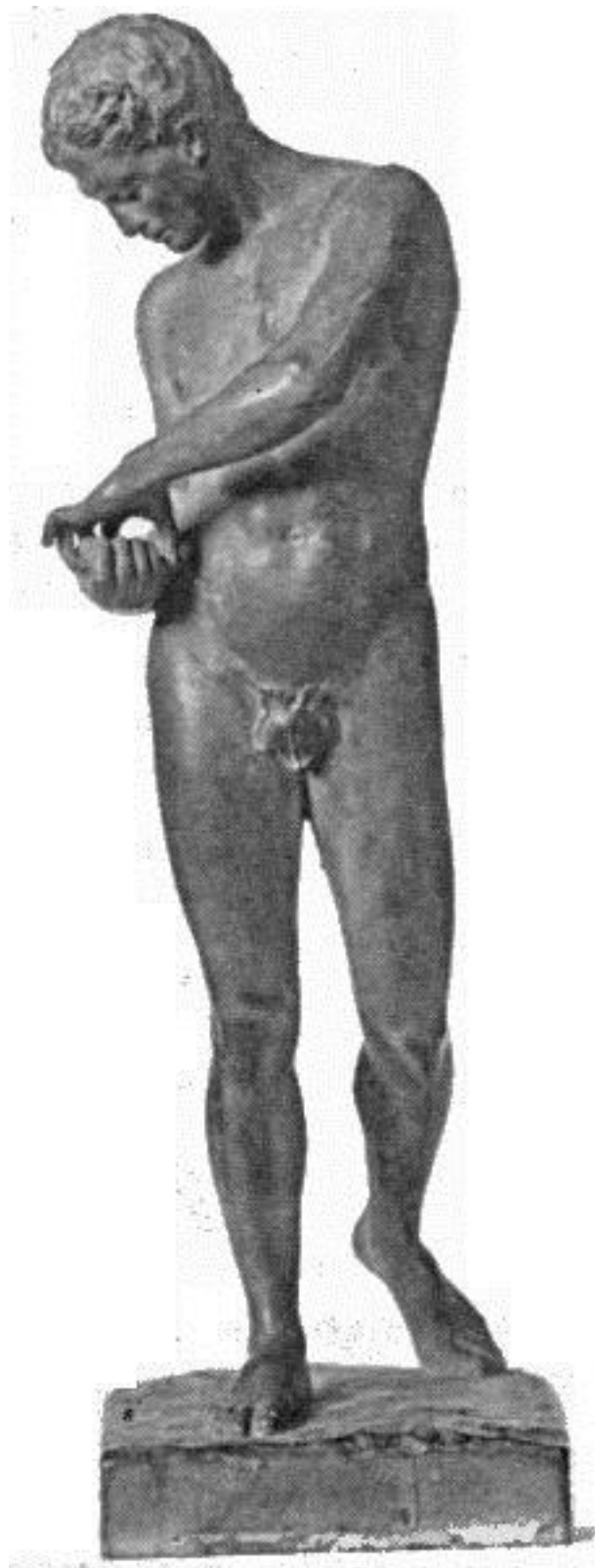


Рис. 13
Атлет, работа Тейта Маккензи

Типы женской красоты появились в греческой скульптуре позже, чем типы мужской красоты. В ионийской и ранней аттической скульптуре женщины выглядят тесно закутанными в драпировки. Фидий и его современники не осмеливались изображать женщин без драпировок. Они показывали красоту женских форм не отдельно, а с помощью драпировки. В эпоху Праксителя и Скопаса было принято изображать богиню любви в облике обнаженной женщины, и Пракситель извинил это нововведение, введя в качестве объяснения и смягчения мотив купания. И даже Афродита Праксителя удивительно свободна от всякой попытки чувственной привлекательности или самосознания. Солидная, благородная и величественная по форме, она скорее тип или модель, чем личность. Более поздние скульпторы, правда, отошли от этой линии простой гармоничности и попытались сделать фигуру более привлекательной для обычного человека. Но она не стала слабой и не стала вульгарной. Благородные Афродиты четвертого века закрепили тип женской красоты в школе за школой художников вплоть до нашего времени.

Для нас этот идеал, пожалуй, лучше всего воплощен в "Афродите Мелосской" в Лувре, произведении эпохи эллинизма, сочетающем в себе с великой традицией IV века совершенство деталей и информативность жизни, которые относятся к более позднему времени. Но хотя большинство людей со вкусом исповедуют преданность ей, эта преданность обычно не подкреплена знанием или реальной оценкой; ведь вряд ли можно найти больший контраст, чем тот, что существует между телесными формами богини Мелоса и женщин, которыми больше всего восхищаются в наши дни. Я был почти склонен представить богиню и телесные формы, которые изображены на наших модных тарелках. Модные пластины представляют женщин не такими, какие они есть, а такими, какими они хотели бы быть; они представляют не реальность, а современный идеал. И какой идеал!

Возможно, некоторые читатели с улыбкой отнесутся к идее серьезного отношения к этим эфемерным произведениям. Но ни один человек, знакомый с фактами психологии, не отнесется к ним легкомысленно. Мы прекрасно знаем, что когда перед подрастающим поколением постоянно ставятся определенные типы женщин как прекрасные и достойные подражания, они обязательно окажут большое влияние на будущее расы. Молодые мужчины будут искать такие типы, чтобы восхищаться ими и ухаживать за ними: молодые женщины будут стараться походить на них. Отвратительная ошибка в эстетике будет постоянно тянуть за собой, уводя молодых от света и воздуха рая в пещеры злых духов.

Мало найдется в Греции более очаровательных изображений юной женственности, чем уже упоминавшаяся Артемида из Габии (рис. 5). Следует признать, что божественное начало в ней незначительно. Но что может быть более свежим, простым, изысканно естественным?

Несомненно, как и в случае с мужчинами, так и в случае с женщинами, мы должны делать поправку на расу и климат. Полное и плотное телосложение встречается гораздо реже в северной, чем в южной Европе. Представители английской расы выше, менее крепко сложены, стройнее, чем древние греки. У нас на месте твердых мышц обычно находятся жесткие сухожилия. А занятия женщин атлетическими играми, несомненно, способствуют тому, что в некоторых отношениях они больше соответствуют мужскому типу. Умеренные физические упражнения могут укрепить здоровье и силу, не лишая жизненно важные органы питания. Но перетренированная женщина гораздо дальше от здоровой жизни, заложенной природой, чем перетренированный мужчина. И неважно, идет ли речь о перенапряжении тела или интеллекта, оно разрушает истинную женственность.

Жаль, что какой-нибудь скульптор не сделает для идеала женственности то, что доктор Тейт Маккензи сделал для идеала атлетической мужественности. Конечно, процесс не будет

одинаковым. Никому не нужен идеальный тип женщины-спортсменки, если только мы не хотим восстановить расу амазонок, но нам очень нужно иметь перед глазами типы, воплощающие физический идеал эффективной женственности. В настоящее время, когда обнаженная женская фигура в искусстве в значительной степени соответствует греческой традиции, одетая женская фигура следует типам улицы, измененным беспочвенными капризами моды. Эти два явления находятся в непримиримом контрасте. Греки, изображая женщин на вазе, часто рисовали их фигуры в общих чертах, прежде чем добавить одежду. Но любой, кто попытается нарисовать очертания женской фигуры под одеждой на модном образце, будет поражен тем, что у него получилось.

Цицерон повторяет поучительную историю о художнике Зевксисе, жившем около 400 года до н. э. Ему поручили сделать для жителей Кротона картину с изображением Елены Троянской. Сначала он поинтересовался, что, по-видимому, было общеизвестно, кто был самым красивым юношей в этом городе, который славился своими атлетами. Затем он попросил разрешить ему изучить формы сестер этих мужчин, решив, что сестры должны обладать красотой братьев. Из них он выбрал пять девушек для более продолжительного изучения и с их помощью создал свою картину. Мы не можем предположить, что он был бы настолько неуклюж, чтобы выбрать наугад красивые детали от каждой из пяти; в этом случае он произвел бы только эклектичное чудовище. Но, работая в присутствии прекрасных образцов, его чувство красоты поднималось в тоне до самого высокого уровня, на который он был способен.

В этой истории примечательны несколько моментов. Она показывает, что тип мужской красоты был более развит и более общепризнан, чем тип женской красоты. И это говорит о том, что греческий художественный ум всегда был начеку, чтобы уловить какую-то новую ноту красоты, чтобы добавить ее к традиционному запасу. Профессор Брюкке в своей прекрасной работе о красоте человеческой фигуры отмечает, что в идеальных статуях Греции можно обнаружить множество черт, которые в реальном мире мужчин и женщин встречаются очень редко, но очарование которых вряд ли можно оспорить. От школы к школе, от периода к периоду происходило своего рода накопление красоты, которая постоянно увеличивалась. Каждая изученная прекрасная модель добавляла что-то к тому, что Брюкке называет запасом красоты, находящимся в распоряжении художников.

VI

Шестой светильник греческого искусства - *терпение* в стремлении к совершенству. В лучших работах греческих скульпторов можно найти совершенно беспечную трату времени и заботу, которая напоминает работу самой природы, природы, которая никогда не торопится, не довольствуется поспешным наброском, а работает независимо от времени. О Протогене рассказывают, что он потратил семь лет на одну фигуру, и я думаю, что он потратил бы еще семь, если бы думал, что таким образом сможет улучшить свою картину. В таких работах, как "Дельфийский возница" и "Гермес" Праксителя, ничто не поражает так сильно, как тщательность проработки каждой детали. Именно благодаря тщательной работе, продолжавшейся на протяжении нескольких поколений, скульптура достигла такого мастерства в изображении мышц тела, какое мы находим в фигуре Боргезе в Лувре, и такой тонкости в передаче драпировок, какую мы находим в "Победах на балюстраде" в Афинах или в "Победе на Самофракии".

Но тонкость и миниатюрность греческой работы, конечно, наиболее очевидна в рельефах монет и в драгоценных камнях. Монеты предназначались в первую очередь не для того, чтобы радовать глаз, а для обращения на рыбном рынке; однако многие штампы настолько

изысканно отделаны, что при увеличении до многих диаметров они мало что теряют и выдерживают самое критическое исследование. Инталио драгоценных камней предназначалось для запечатывания документов, печать заняла место современной подписи; но фигуры на печатях по своей законченности не уступают великим произведениям скульптуры. Печати даже чаще, чем монеты, скорее выигрывают, чем проигрывают, если их увеличить. И все же они были выполнены без помощи увеличительных стекол. Их сюжеты взяты из самой широкой области: фигуры божеств, сюжеты из мифологии, портреты, формы животных; как и монеты, они вносили в прозаическую жизнь каждого дня элемент поэзии и воображения.

VII

Седьмой светильник, который так же естественно сочетается с идеализмом, как забота и терпение с натурализмом, - это радость, *joie de vivre*. Китс выразил греческое чувство искусства в бессмертной строке: "Красота - радость на века". Именно переполняющая радость, лежащая в основе творения и эволюции, обрела вечную форму в живописи и скульптуре греков и вдохновила все их произведения. Та же неудержимая радость, которая придает цвет цветам, сладость фруктам, песню птицам и сексуальное желание человечеству, достигла здесь одного из своих самых совершенных проявлений. Жизнь греков отнюдь не была сплошным счастьем. Каждый город нередко находился в состоянии войны с соседями, и наказанием за полное поражение иногда становилось разрушение стен, убийство мужчин и обращение в рабство женщин. Болезни, даже чума, постоянно опустошали землю, а ресурсы современной хирургии и современных анестетиков не были доступны, чтобы обуздать их бедствия. Жизнь большинства в деревенских хижинах, а еще больше в трущобах городов, прежде всего в шахтах, была более грубой и убогой, чем в современном мире, в странах, находящихся в нормальном состоянии. И у людей не было даже той надежды на блаженное будущее, которая поддерживала людей Средневековья. И все же под всеми этими тучами их дух был исполнен надежд и стремлений. А их искусство отражало все более светлые стороны вещей. Конечно, они были мудры и правы. Мы обращаемся к произведениям искусства не для того, чтобы укрепить пессимизм, а для того, чтобы вселить оптимизм, не для того, чтобы показать нам мир природы с его отталкивающей стороны, а для того, чтобы открыть нам, сколько скрытой красоты можно в нем найти. Мы стремимся к жизни, а не к смерти, мы хотим больше жизни и больше полноты".

В то же время греческое искусство в некоторых своих проявлениях было чрезвычайно серьезным и остро ощущало темную сторону бытия. Греки изобрели трагедию, поэтическое отражение суровости судьбы. Найдется ли современная аудитория, которая будет готова просидеть целый летний день, слушая, как такие поэты, как Эсхил и Софокл, величественно выражают власть Немезиды, неустойчивость всего процветания, несчастья, которые преследуют тех, кто имеет несчастье вызвать недовольство богов? Конечно же, нет. И не только в греческой трагедии, но и в элегической поэзии, и в эпиграмме мы находим прекрасные отражения наших самых мрачных настроений. Но для таких выражений печали и отчаяния греки считали скульптуру и даже живопись неподходящими средствами. Они относятся к настроениям и не подходят для иллюстрации на рынке и в храме. Дороги, ведущие в греческие города, часто окаймлялись монументальными гробницами. Если бы в рельефах и надписях этих гробниц прозвучал хоть один отголосок скорби и сожаления оставшихся в живых, каждый вошел бы в город в черном настроении. Как известно каждому, кто бывал в афинских музеях, художники гробниц тщательно избегали всего, что могло бы растрогать чувства. Они изображали мертвых в лучшем виде, занятых победоносной войной, атлетическими видами спорта или в счастливом семейном кругу. Не обошлось и без

легкой меланхолии, но не было ничего, что могло бы шокировать, ничего, что могло бы угнетать дух. Казалось, что умерший человек все еще разделяет занятия и удовольствия живых, а не отгорожен от мира счастья.

Мильтон в своей великолепной прозе выразил глубокую радость мира Возрождения по поводу восстановления Библии и свободы ее чтения, после того как она была закрыта от мирян организованной церковью. Не менее интенсивным и более буйным был восторг ученых и художников, когда аскетизм и пессимизм Средневековья, породившие такие организации, как монахи-кармелиты и монахи-мэндиканты, уступили место возрождению греческой литературы и искусства. Казалось, мир внезапно помолодел. Несомненно, внезапная экспансия привела к нечестным эксцессам, но все же это была великая веха в человеческом прогрессе.

VIII

Восьмой свет греческого искусства - *стипендия*. Пожалуй, нет в нем качества, более поучительного для наших дней, чем это. Крайний индивидуализм, который является самой замечательной характеристикой современности, делает максимальный акцент на праве или обязанности художника выразить себя в своей работе, выработать свою собственную жилку оригинальности, дать миру отображение своих собственных качеств и индивидуальности. И, несомненно, ни один великий художник не может не делать этого в определенной степени. Когда он работает, он должен быть самим собой; он может видеть мир только через посредство своего характера и талантов. А поскольку каждый человек - это микрокосм, отражение в миниатюре огромного мира людей, то то, что действительно хорошо и оригинально в художнике, должно затрагивать что-то в мире людей; должно иметь значение для людей определенного класса, определенного воспитания или определенной страны. Но будет ли художник лучше, если он сознательно попытается таким образом вывести свою личность наружу; станет ли он лучше, если будет самосознательным и рефлексивным в своем искусстве, - это уже другой вопрос.

Едва ли какая-либо особенность греческого искусства впечатляет студента больше, чем его непрерывный и беспрерывный ход. Начав однажды, оно не поворачивает назад, а неуклонно идет вперед, некоторое время преодолевая трудность за трудностью, достигая все более высокого уровня, затем в пятом веке разветвляется в различных направлениях на стили и группы, затем продолжается с большим техническим мастерством, но с потерей вдохновения. Этот путь эволюции столь же устойчив, как у любого вида растений или животных. Это показывает, что она зависела не от появления сменяющих друг друга талантливых или гениальных людей, каждый из которых стремился к самовыражению; а от возникновения и влияния сменяющих друг друга художественных школ, каждая из которых не просто следовала за личностью основателя или учителя, а представляла собой определенную фазу в развитии общей жизни греческого народа. Школы были ионийскими или дорийскими, аттическими или аргивскими и гармонировали со всей цивилизацией этих фракций расы. Ионийское искусство соответствовало веселью и удовольствиям азиатского побережья. Дорийское искусство отражало сдержанность, уравновешенность, самоконтроль жителей Пелопоннеса. Аттическое искусство не только соответствовало изысканному вкусу жителей Афин, но и отвечало сильным умственным наклонностям самого интеллектуального города, который когда-либо существовал. Конечно, эти школы не процветали в полной изоляции одна от другой; город влиял на город, а художник на художника, но в гораздо меньшей степени, чем сейчас. Скульптурная школа - это вид, и все

представители этого вида были больше похожи друг на друга, чем на кого-либо из своих современников за его пределами.

Таким образом, когда мы рассматриваем любое произведение греческой скульптуры до появления эклектических школ, мы легко определяем его период, часто в узких пределах, и мы обычно можем с уверенностью отнести его к определенной школе, как бы несовершенны ни были наши знания истории греческого искусства. Но мы едва ли можем сказать, что это работа отдельного художника, если только она не стоит на основе, носящей имя автора, или если древние критики и историки не оставили нам подробных описаний сохранившихся работ. Я говорю о греческих оригиналах; копии более ранних работ, сделанные греческими художниками позднего периода для римских галерей, часто настолько сбивчивы по стилю и небрежны по исполнению, что служат только для введения в заблуждение, даже если они избежали итальянского реставратора недавнего времени.

Большие и связанные между собой серии статуй и рельефов, составляющие скульптурное украшение таких храмов, как храм Зевса в Олимпии, Парфенон или Мавзолей, являются совместными произведениями нескольких скульпторов, которые работали вместе, несомненно, под общим руководством архитектора или главного каменщика, но, вероятно, под очень слабым контролем. Такие работы сочетают в себе значительное разнообразие в исполнении с общим сходством, настолько большим, что поверхностный наблюдатель не видит их различий. Общественное мнение в Лондоне склоняется к тому, что все фронтоны и фриз Парфенона выполнены Фидием; хотя в некоторых случаях смежные фигуры так заметно отличаются друг от друга на фоне общего сходства, что можно предположить, что это дело рук одного человека. В случае с Эрехтеумом в Афинах сохранился длинный список платежей нескольким художникам за несколько фигур фриза. Не было ни генерального подрядчика, ни художника, который нанимал бы своих каменщиков по дням, но каждому, кто создавал одну из рельефных фигур, платили за нее шестьдесят драхм, не обращая внимания на ее сложность или простоту.

Сравнительно легко заставить набор квалифицированных каменщиков с точностью выполнить план, все детали которого проработаны для них и требуют лишь точного копирования. И, должно быть, для группы египетских скульпторов, которые делали свои фигуры по жесткому общепринятому образцу, не составило труда добиться единообразного результата. Но для нескольких квалифицированных рабочих, которым была предоставлена большая свобода в деталях, создать гармоничное целое было бесконечно сложнее. И то, что греческие каменщики регулярно добивались такого результата, показывает, насколько сильным было влияние школы. Они не просто работали с натуры, но их работы носили идеализирующий характер. Очевидно, что у них должны были быть не просто похожие инструменты и похожие механические процессы, но те же цели и идеалы. Они должны были обладать тем, что мы можем назвать коллективной личностью. Более чем вероятно, что среди рабочих Парфенона были Алкаменес и Агоракрит, два скульптора, которые достигли большой славы. Несомненно, что среди рабочих Эрехтея был Праксиас, ученик Каламиса и, возможно, родственник Праксителя. Различия между художником и каменщиком, столь заметные в наши дни, в Греции почти не существовали. Каменщик, обладавший талантом, становился известным скульптором; а скульптор, вместо того чтобы делать модель из воска или гипса, приступал к работе, как Микеланджело, над мраморной глыбой самостоятельно. Возможно, иногда, как Бенвенуто Челлини, он отливал собственные бронзовые статуи.

Как правило, во всех великих периодах искусства существует такое содружество. А в скульптуре, в частности, замысел и исполнение настолько тесно связаны между собой, что отнесение этих двух функций к разным людям и даже к разным классам людей является

злоупотреблением. Греция была прежде всего страной производительных гильдий, семей художников, групп работников, которые были едины сердцем и духом, и поэтому работали в одном стиле. Одну из самых близких параллелей греческой школе скульптуры можно найти в группе художников-прерафаэлитов середины прошлого века - Моррисе, Берн-Джонсе, Россетти, Милле, Коллинзе и их товарищах. Эта группа имела религиозную или идеальную отправную точку в возрожденном англо-католицизме, который возник в Оксфорде в то время, и у них были общие принципы искусства, которые они воплощали в своих работах. Их картины, до того как они стали отличаться одна от другой, образуют отдельный вид и представляют для историка цивилизации больший интерес, чем картины любой другой английской школы.

IX

Для того чтобы оценить влияние греческого искусства на цивилизацию Европы, необходимо вкратце проследить его появление на протяжении веков. Первым его завоеванием стал Рим. Победоносные римские генералы, Марцелл, Сципион, Фламинин, Муммий и другие, привезли в императорский город для украшения своих триумфов огромное количество греческой скульптуры и живописи, которую они разграбили в великих хранилищах произведений искусства в храмах и стоиках Эллады, Сицилии и Малой Азии. Предыдущие императоры, особенно Нерон, последовали их примеру, так что во времена Плиния-натуралиста все общественные места Рима были заполнены скульптурами из бронзы и мрамора и живописными шедеврами великих художников. У богатых римлян, таких как Гортензий и Цицерон, стало модным украшать свои загородные дома подобными произведениями. Но даже в этом случае спрос не был удовлетворен, и в Рим были завезены греческие художники, которые открыли большие мастерские и выпустили непрерывный поток новых произведений искусства. Такими произведениями полны наши современные музеи. В целом они не отличаются особыми художественными достоинствами, являясь копиями разной степени совершенства великих произведений предыдущих поколений. Ведь римские плутократы не обладали большим вкусом. Поскольку определенные фигуры или группы пользовались большой репутацией, и особенно потому, что их покупали по высокой цене греческие города и цари, римский коллекционер любил иметь их копии у себя на вилле; а художники, создававшие эти копии, были простыми наемными рабочими, без оригинальности и стремлений. Иногда при работе над такими произведениями, как арка Тита или колонна Траяна, новизна темы побуждала художника попытаться сделать что-то более оригинальное. А иногда внутренний огонь брал верх и создавал работы прекраснее обычных. При любящем искусством императоре Адриане было своего рода лето Святого Мартина в скульптуре, но его произведения были скорее гладкими, элегантными и изысканными, чем оригинальными или интересными. Очарование искусства не было оценено римским народом; лишь немногие, кто исповедовал культуру, действительно заботились о том, хороша или плоха та или иная фигура, и даже эти немногие немного стыдились своих предпочтений.

В Римскую империю в первые три века нашей эры постепенно проникает христианство. Оно зародилось среди иудеев, для которых любое изображение живых существ было ненавистно. И развивалось оно под влиянием греческого восточного мистицизма, который не имел ничего общего со скульптурой и живописью; и в той мере, в какой он находил свое выражение в этих искусствах, работал в направлении того символизма, против которого греческое искусство протестовало. Таким образом, мы не можем ожидать от раннего христианства никакого свежего вдохновения для искусства; напротив, христианство будет действовать на него как разрушающее влияние. Если мы рассмотрим остатки христианского

искусства в те первые века, в саркофагах и настенной живописи, то обнаружим, что оно просто копировало современное языческое искусство, меняя лишь изображаемые сюжеты и внося дальнейшее развитие в символическую интерпретацию обычных сцен.

Христианство практически не давало возможности для проявления греческого антропоморфизма. Последний был тесно связан с многобожием и поклонением героям. Христианские апостолы и святые, занявшие место языческих божеств, были людьми, которые жили на земле и чьи деяния относились не к мифологии, а к истории, хотя в то время грань между историей и мифологией не была четко проведена, и история была во многом разбавлена мифом. Несколько олицетворений природы, таких как речные боги, сохранились в росписях римских катакомб. Часто встречались и крылатые джинны, то ли купидоны, то ли херувимы, трудно сказать. Но не было такого царства, куда бы не забредала художественная фантазия, наполняя его сверхмужчинами и сверхженщинами. Ангелы могли быть изображены, но все они происходили из еврейской ангелологии, и не было никакой художественной традиции относительно их типов: только позже были выделены типы Михаила, Рафаила, Гавриила и других.

Второй принцип греческого искусства, равновесие и симметрия, почти исчез в языческом искусстве в эпоху Антонинов. Рельефы триумфальных арок и саркофагов переполнены фигурами, вставленными без всякого порядка и метода. Даже настенные росписи Помпеи вырвались из-под контроля и не демонстрируют целенаправленного расположения. Закон и порядок уступили место индивидуальной фантазии, за исключением случаев, когда были приняты более ранние схемы. А вместе с художественной аранжировкой исчезли все попытки идеализировать, создать формы благороднее и красивее тех, что мы видим каждый день. Фигура Антиноя - самая последняя, в которой мы находим попытку создать тип идеальной красоты. Даже Дева Мария и ее Сын изображены без какой-либо попытки сделать их прекрасными. Натурализм также не лучше идеализма. Изображение человеческого тела больше не изучается. Фигуры одеты: и одежда эта чисто условная, а особенности пейзажа введены гораздо менее тщательно, чем в эллинистическом греческом искусстве.

Чувствуется, что художник мало интересовался своим творчеством. Сцены из Ветхого и Нового Завета - обычные сюжеты. Но их изображение - это не более чем сочинение картин, простое копирование традиционных групп. Единственное, что представляет интерес, - это смысл. Этическая и духовная точка зрения перекрывает и заглушает любой интерес к изображению.

И это преобладание дидактического элемента над чувством меры, любовью к красоте, восприятием природы преобладает все больше и больше по мере того, как Европа медленно движется к темным векам. Лампы греческого искусства горят все тусклее и тусклее. Они никогда не гаснут полностью, потому что во все века рождаются художники, для которых они являются светом жизни; и в средневековой резьбе то тут, то там можно найти оттенок гуманизма, чаще всего в гротескных или сатирических фигурах. Мы никогда не должны забывать, что некоторые из поздних шедевров греческой работы, такие как колонна Траяна и арка Беневента, всегда можно было увидеть. И как ни мало ценили их простые люди, художник то тут, то там черпал из них понимание красоты человечества.

Затем в тринадцатом веке сухие кости начали собираться воедино. Дыхание свежей жизни всколыхнуло Европу, или, по крайней мере, такие ее части, как Северная Италия, Южная Германия, Восточная Франция. Великолепные готические соборы, возвышающиеся на севере, призвали талант живописца и скульптора к их украшению. Возникло великое христианское искусство, и в тринадцатом и четырнадцатом веках широко расцвело.

Определенными качествами высокого искусства оно, безусловно, обладало. Оно было освещено лампой общения. Скульптура была делом рук не отдельных людей, а гильдий, групп работников одного стиля и вдохновленных одними и теми же мотивами. Она достигла большой красоты в декоре, в приспособлении к архитектурным целям форм растений и цветов. Больше всего недостатков было в изображении человеческой фигуры, обнаженной или задрапированной, поскольку в таких вопросах художники не имели школы, сравнимой с греческой.

Когда с рассеянием образованных греков по Европе наступило полное Возрождение, одновременно с возрождением интереса к греческой литературе и философии произошло сознательное возрождение художественного влияния Греции. Было обнаружено несколько великих произведений античной скульптуры, Лаокоон, Умиравший галл из Капитолия, Аполлон Бельведерский; многие богачи собирали коллекции античных драгоценных камней и монет. По жизни Бенвенуто Челлини мы можем судить о том, какой глубокий эффект произвели на него подобные открытия. Великие итальянцы пятнадцатого и шестнадцатого веков чувствовали себя так, словно выбрались из тьмы на свет. Соперничать с произведениями греческого искусства считалось наивысшей амбицией, которую мог лелеять художник. Такие великие скульпторы, как Донателло и Микеланджело, брали за образец скудные остатки греческих шедевров и измеряли свои достижения степенью успеха, которого они достигли в их копировании. Лампады греческого равновесия и симметрии, греческого идеализма и греческого натурализма зажглись вновь, и толпа художников соревновалась друг с другом в хождении при их свете.

Можно выделить четыре этапа в повторном открытии греческой скульптуры. Первый - это уже упомянутое итальянское Возрождение. Второй начался с визита Винкельмана в Италию в 1755 году и применения Гете и Лессингом его открытий для суждения о современном искусстве. Это в значительной степени способствовало повышению и очищению художественного вкуса Европы. Великолепное обещание Ренессанса выродилось в манерность и экстравагантность Бернини и его современников. Винкельман призвал его вернуться к простоте, к самоограничению, к идеальности. Но вскоре и это учение было извращено, и такие скульпторы, как Торвальдсен и Канова, были введены в заблуждение недостатками низших образцов греческой скульптуры, которые были единственными доступными для Винкельмана, рабским копированием античности или произведениями искусственного большого стиля. Затем пришла третья волна возрождения греческого влияния, когда скульптуры Парфенона обрели дом в Лондоне, и критики смогли заметить, насколько бесконечно превосходят шедевры действительно великой эпохи копии римских времен и адаптации эллинистического века. Когда художник Хейдон впервые увидел мраморные скульптуры Парфенона, он был чрезвычайно впечатлен; но больше всего его поразила не идеальность, за которую они с тех пор стали пресловутыми, а удивительный натурализм многих их деталей в контрасте с грандиозными условностями его современников. Четвертый этап наших знаний о греческой скульптуре связан с плодотворными раскопками на греческой земле, особенно в Афинах, Олимпии и Дельфах, которые показали нам, насколько разнообразен круг античных скульпторов, как много у них стилей, как восхитительна их техника. Это расширение наших знаний, правда, пока не сильно повлияло на современное искусство, как повлияли на него учения Винкельмана и публикация мраморных скульптур Парфенона. До прошлого года на английском языке не было книги, излагающей результаты раскопок в Дельфах; и даже сейчас нет книги на английском языке, выполняющей ту же функцию в отношении раскопок в Олимпии. Скульпторы так мало осведомлены об истории своего ремесла, что им нелегко учиться на новых источниках знаний. Но постепенно, без сомнения, новые взгляды на греческое

искусство дойдут и до них. Несколько недавно обнаруженных скульптур, таких как дельфийский возница, Гермес Праксителя, бронзовая голова из Беневента в Лувре, Деметра из Книда, своим непреодолимым очарованием повлияли на художников и искусство. Большинство скульпторов восхищаются греческими произведениями, в частности Роден, который, хотя его работы и не имеют классического направления, использует самые сильные выражения, восхваляя греческие шедевры. Но в целом тенденция искусства к крайнему индивидуализму и поиску новизны с лихвой перекрывает несколько поверхностное восхищение скульпторов античностью.

Х

В настоящее время религия и культура в равной степени борются с волнами вновь наступающего варварства. Не мое дело говорить здесь о тех силах, которые пытаются сокрушить религию среди нас. Но в заключение я мог бы обрисовать некоторые тенденции, против которых культура, основанная на культуре Греции, является нашим лучшим противоядием. Если я правильно изложил принципы греческой литературы и искусства на прошлых страницах, то характер их влияния в нынешних условиях будет понятен.

Я должен отважиться на параллель, которая кажется мне очень наглядной, хотя некоторые читатели могут счесть ее рискованной. В прошлом были установлены два великих стандарта, призванных контролировать фанатизм людей и удерживать их в рамках разума и здравого смысла. Стандарт в религии задан Новым Заветом, а стандарт в искусстве - Грецией. Как в эпоху Возрождения народы Европы обратились за вдохновением и образцами к литературе и искусству Эллады, так и в эпоху Реформации они, или, во всяком случае, тевтонские расы, обратились к ранним записям христианства, апеллируя к ним против продажности и коррупции господствующей церкви. И с тех пор, время от времени, как в области культуры, так и в области религии, возникает отголосок обращения к классическому прошлому. Именно к Новому Завету обращались такие апостолы, как Джон Уэсли и Джордж Фокс, противопоставляя условностям и мирской суеверности церкви своего времени духовность и простоту апостольского века, подобно тому как Гете и Лессинг обращали умы людей от того, что противоречило разуму и хорошему вкусу в их окружении, к греческой красоте и простоте. И как бы некоторые последователи Уэсли и Фокса ни переходили должные границы фанатизма, все же во всех сферах христианского общества влияние этих современных пророков было обновляющим и очищающим, как и школы критиков, следовавшие за Гете, в значительной степени способствовали увеличению среди нас сладости и света.

В наших школах и колледжах до недавнего времени религия Нового Завета и традиции греческой и римской классики шли вместе, одна оберегала нас от суеверий и материализма в религии, другая вела войну с унаследованным варварством и жестокостью, доставшимися нам от наших не очень далеких предков. Дух анархии в религии убеждал нас, что нет божественной санкции на добро и нет вечного клейма на пороке, что мораль - это вопрос условностей, которые каждое общество и каждая нация вправе отменить, если сочтет, что такая отмена соответствует их интересам. Дух анархии в искусстве провозглашает, что все произведения природы одинаково прекрасны или одинаково безобразны, что ничто из существующего не может быть представлено в наших галереях и общественных местах, что, пока картина или статуя вызывает чувство, неважно, будет ли это чувство восторгом и стремлением или ужасом. Если однажды из искусства будет изгнана идея красоты как цели, к которой нужно стремиться, искусство опустится, как камень на дно моря. Некоторые люди готовы терпеть любую чудовищность в искусстве, как бы далека она ни была от природы, как бы ни оскорбляла приличия, как бы ни была противна человечности. Все художественное наследие расы с того дня, когда люди начали выбираться из

варварства, может быть выброшено на свалку эпохой, которая безгранично уверена в собственной мудрости.

Мне, однако, жаль останавливаться на этом, поскольку у читателей может сложиться впечатление, что я выступаю за простое подражание произведениям греческого искусства. Это отнюдь не моя точка зрения. В прошлом веке несколько скульпторов, захваченных очарованием античности, создали статуи, которые в точности повторяли древние образцы, такие как Надежда и Геба Торвальдсена, некоторые статуи Рауха и Шадоу, тонированная Венера Гибсона. Такие работы были неизбежно мертворожденными, в них не было ни дыхания жизни нового века, ни попытки соответствовать изменившимся условиям. Совсем иным было следование античности Микеланджело. Он с восторгом восхищался известными ему произведениями греческого резца, но создавал не скучные и академические их отражения, а работы самой великолепной оригинальности и величайшего очарования. Он впитал не букву, а дух греческого искусства; и даже преуспел лучше, чем большинство художников, в сочетании этого духа с дыханием христианства.

Проведенная мною параллель может быть продолжена. Возвращение к букве писателей Нового Завета часто пытались осуществить значительные религиозные лидеры нашего времени, особенно Толстой и квакеры. Они возвращались к предписаниям Нагорной проповеди и пытались буквально следовать им. Но всем, кроме фанатиков, стало очевидно, что такая процедура будет фатальной для гражданского правительства и цивилизованной жизни. Именно дух, а не буква учения Иисуса, является животворящим. Точно так же и признание простой внешности греческого искусства ничем нам не поможет, но возрождение его духа станет большим вдохновением для современных художников. Лампады греческого искусства будут давать свет в любую эпоху. Греческий идеализм, греческое равновесие и мера, греческая любовь к естественному и здоровому, греческая простота и умеренность - вот что составляет суть хорошего искусства во все века. Мы не можем возродить точные условия, в которых возникло искусство, как не можем перенести в Англию чистый воздух, яркое солнце, четкие тени греческого пейзажа. Но мы все еще можем смотреть на философию, поэзию и искусство Греции как на классику, как на откровение того, что наиболее приятно и наиболее долговечно в человеческой природе. И если мы пренебрежем ими и исключим их из воспитания наших детей, мы уничтожим то, что со времен Возрождения было источником чистой радости и утонченных чувств у большинства культурных людей; мы создадим огромный пробел, который материальное процветание, более глубокое познание тайн природы, изобретение новых способов развлечений никогда не смогут заполнить. А если мы будем полагаться только на отражение греческого духа в современной литературе и искусстве, то поступим так же, как поступала Римская церковь в свои темные века, закрывая от людей доступ к первичным документам религии и заставляя их довольствоваться теми толкованиями этих документов, которые правящая иерархия сочтет полезными. Мы должны сохранить за собой право апеллировать к нашим классическим образцам, будь то в религии, литературе или искусстве". Арнольд был прав. Библия, Гомер, Шекспир, греческое искусство остаются звездами, по которым мы можем направлять свой курс в бурных морях.

Р. Гарднер.

АРХИТЕКТУРА

Никто никогда не оспаривал красоту греческой архитектуры. Мы признаем справедливость описания Парфенона как "высшей степени старания природы в создании прекрасного"; но неспециалист должен иногда задаваться вопросом, что это значит? Откуда он взялся, куда он делся, почему его считают таким прекрасным, как получилось, что этот народ, относительно незначительный по силе, территории и численности, смог достичь такого поразительного превосходства в искусстве? На эти вопросы нелегко ответить. Доказательства фрагментарны и не всегда убедительны: руины нескольких храмов и зданий, технический трактат, написанный в I веке н. э. словоохотливым третьесортным писателем,^[125] анекдоты неумолимого коллекционера^[126] чуть позже, заметки путешественника во II веке,^[127] и материалы, собранные терпеливыми исследованиями ученых и археологов, собранные воедино по более или менее изобретательным гипотезам. Действительно, большая часть того, что написано о греческой архитектуре, - это просто гипотезы. И все же греческая архитектура (а под ней я подразумеваю архитектуру шестого и пятого веков до нашей эры) остается одним из выдающихся фактов в истории архитектуры западного мира, а искусство эпохи Перикла - тем источником, к которому до сих пор возвращаются художники.

Откуда взялось это искусство и как оно развивалось, во многом остается предметом догадок. Ходят легенды о цивилизациях, стертых с лица земли грандиозными катаклизмами, не оставившими после себя никаких следов. Высказываются смутные предположения, что колыбель расы находилась в Азии. Все, что мы знаем наверняка, - это то, что самые ранние цивилизации, о которых сохранились реальные исторические свидетельства, - это цивилизации Халдеи и Египта, и что искусство этих стран достигло высокого уровня задолго до того, как мы наткнулись на самые ранние следы искусства любого рода в Греции. То, что обе эти страны в той или иной степени способствовали развитию искусства Греции, несомненно, но это еще не вся история. Как мы увидим, в игру вступает еще один элемент, который сделал это искусство почти новым творением, отличающимся по мировоззрению и идеалам от всех предшествующих ему искусств, отмеченным гением энергичной северной расы со своим собственным характером. Искусство Востока и искусство Запада никогда не сливались воедино. Существует разница между радостной жизненной силой чистого греческого искусства и мрачным видением Азии с ее тягой к огромному и ужасному, ее мрачным воображением, отсутствием человечности и безразличием к личности.

Однако эта дифференциация проявляется лишь в самом конце истории. Греческое искусство появилось сравнительно поздно. Великая пирамида в Гизе была построена примерно за 2 000 лет до того, как был заложен камень в каменную кладку Микен. Колонный зал в Карнаке с его колоннами высотой в шестьдесят футов, вероятно, был построен одновременно с сокровищницей Атрея: иными словами, когда искусство Греции и островов едва вышло из стадии варварства, прекрасное искусство существовало по всему Средиземноморью с незапамятных времен. И Египет, и Халдея достигли высокой степени цивилизации задолго до того, как о дорийцах вообще слышали. В какой-то отдаленный период египетское влияние проникло на Крит и Кипр, острова Эгейского моря и материковую часть Греции; посредниками были финикийцы, эта предприимчивая раса торговцев-авантюристов, чей дом находился в Сирии, и чьи флоты пересекали Средиземное море с востока на запад. Финикийцы были торговцами, а не художниками. В Египте они столкнулись с высоко развитым искусством, непостижимым для них в своих основных чертах, но включающим детали, которые могли быть легко восприняты их быстрым коммерческим умом. Куда бы они ни заходили во время своих путешествий - на Кипр, Крит, южные острова Эгейского моря,

материковую часть Греции, юг Италии, Сицилию, Карфаген, Балеарские острова, Испанию на крайнем западе, - они, вероятно, везли с собой для торговых целей мелкие изделия египетского производства, которые могли служить подсказкой для коренных народов. Там, где они основывали поселения, они воспроизводили то, что могли вспомнить о методах египетской архитектуры, обладая знаниями о технических приемах из вторых рук, опережающими все, что было известно людям, среди которых они поселились. Рудиментарные предвосхищения ионической волюты встречаются в финикийских столицах - смутные воспоминания о том, что торговцы видели в Египте и других местах. Более того, финикийцы, обладавшие навыками моряков в использовании снастей, не испытывали особых трудностей в обращении с большими камнями, установленными насухо в более или менее регулярных курсах, что было характерной чертой критских и микенских построек. Пока еще слишком рано называть эту работу архитектурой. Сомнительно, что финикийцы обладали какими-либо способностями к искусству. Они были лишь посредниками.

Как бы ни была неясна роль финикийцев в раннем зарождении искусства в Греции и на островах, существовал еще один канал, через который восточные влияния оказали влияние на его развитие, что еще более неопределенно. К западу от Халдеи и к северу от Сирии жила раса, о которой мало что известно, - хетты. Кархемиш, их столица, находился в верховьях Евфрата, к северо-востоку от Антиохии, а их власть, судя по всему, простиралась на запад через Малую Азию до берегов Эгейского моря. Доктор Сейс говорит, что в тринадцатом веке до нашей эры она простиралась от "берегов Евфрата до берегов Эгейского моря, включая как культурных семитов Сирии, так и грубых варваров греческих морей", он даже говорит, что хетты "принесли цивилизацию Востока варварским племенам далекого Запада". То, что осталось от хеттского искусства, вряд ли подтверждает это утверждение. Когда хеттская держава достигла своего расцвета, минойское "искусство" уже давно практиковалось на Крите, и, согласно наиболее популярной хронологии, уже прошло свой расцвет и уступило место искусству Микен и Тирин. Скучные свидетельства хеттского искусства состоят из барельефов фигур и животных, вырезанных на скалах вдоль естественных караванных путей через Малую Азию с востока на запад. Это, а также свидетельства печатей и гравированных гемм показывают, что хеттское искусство было заимствовано сначала из Халдеи, а затем из Египта. Оно, несомненно, оказало определенное влияние на искусство ранних греческих поселенцев на восточной стороне Эгейского моря и придало ему азиатский оттенок, который оно никогда не теряло на протяжении всего своего последующего развития. Ведь греки Малой Азии так и не поняли суровый идеал дорического искусства. Ионическое искусство проникло в Грецию с запада, но дорийское никогда не выходило на восток. Это было искусство сильной северной расы, которое не нашло себе места среди более мягких народов Малой Азии.

На этом этапе мы можем рассмотреть первые рудиментарные зачатки греческого искусства. Открытия последних сорока лет доказали существование на Крите и Кипре, в Южной Греции и на островах Эгейского моря архаичного искусства неясного происхождения, представляющего большой интерес и достигшего выдающихся успехов в некоторых направлениях задолго до появления первых зачатков того, что мы имеем в виду, говоря о греческой архитектуре. Для архитектуры это архаическое искусство имеет относительно небольшое значение. Оно играет незначительную роль, если вообще играет, в последующем развитии, и хотя исследователи-энтузиасты утверждают, что находят в нем предвосхищение деталей современной домашней архитектуры, полученные доказательства неубедительны. Великие движения в искусстве всегда в некотором роде обязаны периодам,

которые им предшествовали, но минойское и микенское искусство, во всяком случае, в отношении архитектуры, было скорее последним словом угасающей цивилизации, чем первым предвестником славного искусства Греции шестого и пятого веков до н. э. Мы все еще далеко в далеких веках, отдаленных, что касается греческого искусства, где-то между 2000 и 1000 годами до н. э. или даже раньше. До н. э. или даже раньше,^[128] в минойскую эпоху на Крите с ее рудиментарной архитектурой и относительно высоким мастерством в ремеслах, а также в эпоху Микен и Тирина, эпоху, в которой были созданы Львиные ворота в Микенах и эта странная полуварварская работа, если мне будет позволено так выразиться, Сокровищница Атрея. Стоит остановиться на этих архаичных зданиях не столько для того, чтобы показать связь с более поздними работами (которых почти не было), сколько для того, чтобы обратить внимание на тот факт, что минойские и микенские строители неосознанно двигались в направлении, которое никогда бы не привело к архитектуре колонн и перемычек седьмого и шестого веков до н. э. Оно могло привести к некоторой форме купольного строительства, но никогда не могло привести к дорическим сицилийским храмам. Нет более убедительного доказательства гениальности дорийских захватчиков, чем то, что, владея этим бесперспективным искусством, они в течение трех или четырех веков смогли создать греческую архитектуру. Дизайн Львиных ворот представляет собой странное нагромождение плохо сочетающихся мотивов. Они установлены в стене из огромных камней, грубо обтесанных и выложенных насухо. Два монолита поддерживают огромную перемычку, выгнутую посередине, как балки наших крыш шестнадцатого века. Над перемычкой ярусы собраны, оставляя между их нижними гранями и верхней перемычкой треугольное пространство с крутым уклоном (около 60°), в которое был вставлен фронтиспис, высеченный на одном камне, изображающий двух львов, стоящих по обе стороны архаичной колонны, поддерживающей фрагмент рудиментарного архитрава.^[129] Геральдическая поза львов и техника их скульптуры, так напоминающая ассирийские рельефы с их великолепным чувством мускулистой формы и энергии, намного опережают архитектуру, которая все еще была варварской, едва ли архитектурой вообще. Здесь нет ничего, что напоминало бы дорический стиль Паэстума и Селинуса, но многое напоминает о мегалитических сооружениях Сирии и скульптуре Дальнего Востока.



Рис. 1.

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА, МИКЕНЫ

Сокровищница Атрея еще более примечательна не только потому, что демонстрирует большее мастерство в строительстве, но и потому, что ее дизайн основан на структурном мотиве, который, кажется, был полностью оставлен преемниками микенских строителей. Сокровищница Атрея (или гробница Агамемнона) была вырыта в холме и представляет собой длинный проход размером 120 футов на 21 фут в ширину, с подпорными стенами из мегалитической кладки по обе стороны, заканчивающийся большим входным проемом. Этот дверной проем с обеих сторон обрамляют колонны, сужающиеся вниз и украшенные шевронами в манере, очень похожей на норманнскую работу одиннадцатого века, и, по-видимому, предназначенной исключительно для украшения.^[130] Вход открывался в круглую

купольную камеру диаметром около 48 футов 6 дюймов, высотой 45 футов 4 дюйма, из которой открывалась еще одна камера меньшего размера. Купол в разрезе построен по кривой параболе, образованной выступающими друг над другом ярусами, не расположенными радиально по отношению к кривой купола, то есть это не настоящий купол или арка, а последовательность карнизов. Внутренняя поверхность купола отделана и покрыта каким-то орнаментом, будь то металлические розетки, или эмалированная терракота, или полностью из металла, возможно, знаменитого микенского золота, неизвестно. Вся эта камера была засыпана курганом земли, в соответствии с первобытным обычаем скрывать могилу вождя. В этом чрезвычайно интересном памятнике или в купольной камере Орхомена в Беотии невозможно найти никаких следов будущего развития греческой архитектуры. И по замыслу, и по психологическому фону он кажется почти таким же далеким от дорического храма, как и сама Великая пирамида. На самом деле архитектура все еще находилась в зачаточном состоянии. Было убедительно доказано, что архитектура занимает позднее место в ряду искусств. Люди умели хорошо рисовать задолго до того, как научились проектировать. Среди пещерных людей, например, были замечательные рисовальщики, но им приходилось делать свои рисунки на стенах пещер. О том, что в минойскую и микенскую эпохи существовали искусные гончары и мастера по металлу, свидетельствуют вазы из Кносса и золотые кубки, найденные в Вафио близ Спарты; то, что они строили пригодные для жилья здания и украшали их в меру своих способностей, также доказано, как, например, дворец в Тирине, но еще не доказано, что их строители достигли той степени искусного проектирования, при которой строительство становится архитектурой. Архитектура еще не нашла себя в Греции.

Затем, где-то около 1000 года до н. э., пришли дорийские вторжения, и искусство Крита и Микен исчезло в космосе - возможно, верна легенда о том, что завоеванные жители материка унесли его с собой в Азию. Так или иначе, три или четыре столетия после дорийских вторжений - это пробел, который, возможно, заполняют будущие исследования, и в том, что касается искусства, похоже, была *разрядка*, во время которой новая раса оседала на завоеваниях, находила себя и усваивала что-то, во всяком случае, из более старой цивилизации. Сохранение таких зданий, как сокровищница Атрея, показывает, что дорийцы не были простыми варварами, уничтожавшими все, что попадалось им на пути. Даже Спарта в ее ранние времена не была простой военной машиной. Открытия, сделанные в 1906-9 годах, свидетельствуют о том, что с IX по VII век до н. э. в Спарте существовало своеобразное искусство, в керамике которого прослеживались следы азиатского влияния. Чуть позже Спарта заключила союз с лидийским царем Крезом, а Батикл, художник из Магнесии в Ионии, пользовался почетом в Спарте. Дорийцы были не просто воинами, они, похоже, обладали неким подобием цивилизации и были наделены природной способностью к искусству, которая после двух-трех веков экспериментов найдет свое великолепное выражение в очень определенных и оригинальных линиях. Легенда о возвращении гераклидов должна была быть оправдана их дальнейшей историей. Ни одна подражательная раса не смогла бы создать совершенную манеру великих дорических храмов из обрывков Египта и Востока, а также рудиментарных построек Крита и Микен.

Греческая архитектура для целей данного исследования - это дорийская архитектура, и ее элементы просты. Она развивалась в дизайне их храмов, и, за исключением их театров, она была суммирована в этих храмах. С того периода, когда греческая архитектура строилась до своей зрелости, скажем, с седьмого века до н. э. до завершения строительства Парфенона в пятом веке до н. э., вся жизнь грека была окрашена и доминировала его религия и ее соблюдение; и его религия не была зловещей тайной Египта, а в целом веселым пантеизмом под открытым небом, который прославлял жизнь и красоту видимого мира, в котором он жил.

Сам он был доволен тем, что жил в бедном доме, лишь бы у него была своя рыночная площадь, свой церемониальный театр и прославленные храмы его богов. Более того, до каких бы глубин ни опустились афиняне во времена святого Павла, в героические дни Перикла они отличались постоянством целей и непоколебимостью идеалов. Они стояли на древних путях, и им никогда не приходило в голову отказаться от традиций своих отцов, их делом было довести их до совершенства. В результате архитектура их храмов развивалась по линиям, которые долгое использование сделало священными; и ее техника подытожена в истории двух ордеров, дорического и ионического.[131]

Итак, ордер, его характер, размеры и расположение, вместе со стеной целлы (или закрытой святыни) внутри колоннады, суммируют элементы, словарь, если можно так выразиться, греческой архитектуры; и здесь мы с самого начала сталкиваемся с любопытным качеством греческого гения, которое отличает его от римского. Свойства дерева и камня как материалов явно различны, с одним можно сделать то, что невозможно с другим; но греки либо не понимали этого, либо не ломали над этим голову. Они обнаружили, что столб и перемычка - это простой способ строительства, и приняли его в качестве постоянного метода строительства. Если пролет становился слишком широким, они утолщали столбы (диаметр колонн в Паэстуме составляет 7 футов) и увеличивали прочность балки (архитрава). Отсюда огромная прочность дорического ордера храмов Сицилии и Магна-Грации. Грек был равнодушен к конструкции как конструкции. Он находил в колонне и перемычке средства, вполне достаточные для воплощения своего идеала высокой неизменной красоты, и был доволен. Римляне, которые какое-то время довольствовались этими простыми методами, стали нетерпимы к конструктивным ограничениям столба и перемычки. Они хотели перекрыть большие пространства, и оставить пол свободным; сосредоточившись на этом, они пришли к арке, своду и куполу, и так стали величайшими строителями мира. Для них ордера были просто придатком декора, который они никогда не ценили должным образом, в котором они ошибались в намерениях, принимали худшие элементы и достаточно часто грубо злоупотребляли. Греки придерживались другой линии. Они раз и навсегда приняли колонну и перемычку как единственно возможный метод строительства и посвятили все свои труды непрерывному совершенствованию этого типа, устраняя несущественное, приходя путем постоянного отбора к наиболее совершенному выражению своей цели, и их цель была не такой, как у римского и современного архитектора, в основном утилитарной, она была направлена исключительно на эстетическую привлекательность, на обращение к эмоциям через красоту линии, формы и в меньшей степени цвета. Вся ткань греческого искусства распадается на части, когда оно вступает в контакт с такой чисто утилитарной нацией, как Рим".[132]

Из двух ордеров, дорического и ионического, дорический представляется мне наиболее чистым воплощением истинного греческого духа, в его безупречной форме, строгой сдержанности и отказе от несущественного. Более того, это был ордер *par excellence* для греческого храма на материке. Эрехтей был единственным ионическим храмом первоклассного значения в Греции, и ионический ордер использовался в Греции только в интерьерах и второстепенных зданиях. Что касается коринфского ордера, любимого римлянами, то он едва ли был признан греками. Во всех своих великих храмах в Греции, на Сицилии и в Магна-Греции они использовали дорический ордер.



Рис. 2. ХРАМ

НЕПТУНА В ПАЭСТУМЕ

Как возник этот ордер, нам доподлинно неизвестно. Выдвигались гениальные предположения о его происхождении из деревянного строительства, и хотя некоторые из этих предположений более вероятны, чем другие, они оставляют нас на месте в отношении этапов, на которых он достиг своей окончательной формы. Было высказано предположение, что дорическая колонна возникла из деревянного столба самых ранних храмов, таких, как предполагается, существовали в Герайоне в Олимпии. У квадратного столба были сняты углы, и он превратился в восьмиугольник, а дальнейшее удаление углов постепенно привело бы к форме, почти круглой в плане, в которой остались бы обводы скошенных углов, и это могло бы легко подсказать столь чувствительным художникам, как греки, их дальнейшее совершенствование и определение путем небольшого углубления между обводами, которые составили бы флаттинг дорической колонны. Ее происхождение от минойских и микенских колонн представляется крайне маловероятным. В дорической колонне есть две основные части - вал и капитель (греки не использовали никакой базы для этого ордера). Минойские колонны сужаются вниз, а не вверх - совершенно неконструктивная форма, и хотя в Кносском дворце и в Тирине колонны такой формы, по-видимому, использовались для перемычек, каменные колонны по обе стороны от входа в сокровищницу Атрея в Микенах использовались в декоративных, а не в конструктивных целях. С другой стороны, колонны большой массы, сужающиеся кверху, использовались задолго до этого в Египте; и хотя есть свидетельства против этого, все же кажется вероятным, что идея ствола дорической колонны могла прийти из Египта. Впервые мы находим его в Греции в седьмом веке до нашей эры, в период, когда Псамметих I (671-617 гг. до н. э.) открыл Египет для греческой торговли и поселения. Греческая колония Наукратис на западной стороне дельты Нила была основана миллицами около 650 года до н. э., а к середине шестого века до н. э. между Наукратисом и материковой частью Греции установились определенные торговые отношения. Греческое поселение в Дафнее на восточном рукаве Нила, по-видимому, было основано примерно в то же время, что и Наукратис, и в обоих случаях с санкции и при поддержке египетского царя. Самые ранние дорические храмы в Греции, Сицилии и Магна-Грации датируются концом седьмого и началом шестого веков. Близость даты делает вероятным, что вал дорического ордера берет свое начало от египетской колонны, увиденной каким-то проворным греком во время торговли в Египте. Когда мы переходим к капитальной части колонны, роли, кажется, меняются местами, так как мы не находим в египетской архитектуре ничего, что могло бы навести на мысль об эхинусе под квадратным абаксом дорической колонны; в то время как микенская колонна имела рудиментарную капитальную часть, которая могла навести на мысль о дорической капитальной части. Но примечательно то, что когда мы впервые сталкиваемся с дорической колонной на Сицилии и в Греции, она уже значительно

опережает все, что было до нее в Греции, и сильно отличается от колонн Египта. В дорическом храме Коринфа (650-600 гг. до н. э.) колонны уже достигли типовой формы: конический ствол с энтазисом или небольшим выпуклым изгибом в очертаниях, массивность (отношение диаметра к высоте четыре с четвертью), смелый параболический изгиб эхинуса под абаксом капители. В таком виде дорическая колонна была абсолютно свежей нотой в архитектуре. Несмотря на свою архаичность, эти колонны в Коринфе показывают, что греки уже были на пути к тем изыскам формы, тем оптическим коррекциям и компенсациям, которые отличают греческую архитектуру от архитектуры любой другой расы. Преувеличение энтазиса архаической колонны исчезает, ее сужение уменьшается, высота увеличивается, а выступ капители уменьшается, пока в Тесеоне (465 г. до н. э.) и Парфеноне (450-438 гг. до н. э.) мы не достигаем окончательного неповторимого типа. Колонна, высота которой в Паэстуме была в четыре раза больше ее правильного диаметра, теперь больше в пять раз, огромные нависающие капители уменьшены до разумных размеров, глубина антаблемента уменьшена, ось колонны слегка наклонена внутрь, чтобы создать впечатление устойчивости, валы имеют небольшой изгиб или "энтазис", достаточно выраженный, чтобы очертания колонны не выглядели изогнутыми; Линии стилобата, или непрерывного основания, на котором стоят колонны, и антаблемента, который они несут, имеют небольшой подъем к центру, чтобы исправить впечатление, что линии опускаются в середине; колонны на углах утолщены, потому что в свободном состоянии, когда вокруг них свет, они будут казаться меньше, чем колонны, стоящие на фоне здания. Ничто не было оставлено на волю случая; каждый аспект здания, отношение каждой части к целому и целого к его части были глубоко изучены, чтобы не было никаких сбоев в его совершенной гармонии. За исключением египетской архитектуры, да и то в гораздо меньшей степени, ничего подобного ранее не делалось. Греки же сформулировали ритмичную архитектуру, в которой каждая часть находилась в определенном и продуманном отношении к целому, так что даже в своем разрушенном состоянии эти дорические храмы производят неотразимое впечатление великой идеи, великой архитектурной эпопеи, в которой каждая деталь, какой бы прекрасной она ни была, подчинена единству концепции в целом. Именно это абстрактное качество возвышает греческую дорическую архитектуру над амбициозным искусством более поздних эпох, да и вообще над всеми, кроме самых лучших произведений любого периода архитектуры.



Рис. 3.

ДОРИЧЕСКИЙ ХРАМ, КОРИНФ

Было предпринято множество попыток раскрыть секрет этого удивительного совершенства пропорций. То, что у греков была своя система, что они работали с определенными соотношениями размеров и чисел и использовали графические методы определения

пропорций, такие как использование треугольников и т.п. для определения границ своих проектов, кажется несомненным. Но ни одного современного рассказа о такой системе не сохранилось, а все объяснения, которые даются, - *постфактум*, сделанные теоретиками, анализирующими существующие здания, а не архитекторами, проектирующими новые. Примерно четыре-пять сотен лет спустя Витрувий составил трактат по архитектуре, в котором, следуя доктринам Александрийской школы, изложил греческую теорию пропорций на основе человеческой фигуры. Витрувий неясен и, похоже, сам не определился, должны ли пропорции частей конструкции иметь отношение к целому, аналогичное отношению членов человеческого тела к телу в целом, или же пропорции ордера должны быть взяты из реальных пропорций человеческого тела; он усложняет положение, ссылаясь на "совершенные числа" греков. Но и здесь он не уверен, было ли "совершенное число" десятью или шестью. После этого, обратившись к человеческой фигуре как к канону пропорций, он невольно расставил ловушку для ученых и художников эпохи Возрождения, и отбросил эту тему, перейдя к общей классификации храмов, с формальными правилами размещения и размеров колонн, которые с тех пор составляют основу трактатов по классической архитектуре. О трудах Витрувия следует говорить с благодарностью, потому что, в конце концов, это единственный технический трактат, оставленный нам на эту тему; но он применил к чисто греческим храмам систему, разработанную столетиями позже критиками и теоретиками; он думал в основном о римских версиях греческой архитектуры, и его больше интересовали технические правила и предписания для использования архитекторами, чем та абстрактная красота, которая была всем, что волновало греков. Никакая классификация, какой бы трудоемкой она ни была, не сможет раскрыть тайну греческой архитектуры. Ее красота слишком тонка, чтобы ее можно было свести к какой-либо формуле.

Дорический ордер господствовал на протяжении всего великого периода с шестого по конец пятого века до н. э. Он потерпел крах вместе с крахом высоких идеалов Афин. Пришли другие силы, которым он уже не отвечал, и поздние греческие критики даже находили недостатки в дорическом ордере за некоторые "*mendosae et inconvenientes symmetriae*";^[133] но этот ордер, истинный символ сыновей Геракла, был одним из самых значительных вкладов, когда-либо сделанных в искусство архитектуры. Он был лейтмотивом греческой архитектуры на протяжении всего ее лучшего периода. Позже его вытеснил ионический ордер, а когда Рим стал главенствовать в западном мире, тот, в свою очередь, уступил свое место гордости коринфскому ордера, пышному, роскошному, немного вульгарному, являющемуся подлинным свидетельством снижения чувства и эталона красоты, последовавшего за падением Афин.

Тем временем на другом берегу Эгейского моря ионический ордер достиг своей совершенной формы в результате аналогичного процесса систематического размышления над определенно принятым типом. Греческие колонии в Малой Азии были очень раннего происхождения. Легенда приписывает их основание более ранним жителям Греции, изгнанным дорийцами. К VI веку до н. э. греческие колонии прочно обосновались на западном и юго-западном побережьях Малой Азии и выработали свой характерный архитектурный стиль в ионическом ордере и его колоннах, более стройных, чем дорические, с формованной базой и странной характерной капителью, непригодной с конструктивной точки зрения в камне или мраморе, но в конечном итоге достигшей изысканной красоты линий и лепки капителей Эрехтейона в Афинах. Две вещи кажутся вполне определенными в отношении происхождения этой капители; во-первых, она произошла от деревянных горизонтальных головок, закрепленных на столбах, чтобы уменьшить нагрузку на примитивные деревянные перемиčky; и, во-вторых, первое предложение о волюте пришло

ионийским грекам с Востока. Грубое предвосхищение волюты встречается в финикийских работах, а также на хеттском рельефе в Богаз Кеуи в центре Малой Азии. В обоих случаях ее происхождение было восточным, и перед нами другой мотив греческой архитектуры, восточный, во всяком случае, экзотический, и, по сравнению с дорическим, почти чуждый истинному греческому гению. Однако этот удивительный народ придал ему форму, столь же далекую от его варварских истоков, как дорические капители Парфенона от капителей колонн Микен, и когда греки по обе стороны Эгейского моря собрались вместе после поражения персов, ионический ордер пересек море и занял почетное место в храмах Греции, все еще, однако, за редким исключением, в подчинении у дорического ордера. В колониях Малой Азии главенство ионического ордера было признано уже давно. Ионический храм Геры на Самосе длиной 368 футов и шириной 178 футов, предположительно, был построен в конце шестого или в начале пятого века до нашей эры, и это был предшественник великих храмов четвертого века в Ионии, построенных, когда архитектура изменила свое направление, а эллинистическое искусство начало свой авантюрный путь.

Используя эти два порядка в качестве терминов и идиом для выражения, греки строили архитектуру своих храмов. Их планы были максимально простыми. Рудиментарный тип представлял собой простую камеру или целлу, с открытой для воздуха лоджией, за исключением двух колонн, стоящих между двумя крайними боковыми стенами, которые заканчивались пилястрами, известными как "анты".^[134] Следующим этапом было выдвижение колоннады вперед,^[135] этап номер три повторил колонну на другом конце здания,^[136] этап номер четыре продолжил колоннаду вдоль сторон,^[137] этап номер пять удвоил колоннаду со всех четырех сторон,^[138] и этап номер шесть сохранил внешние ряды колонн, но опустил внутренний ряд вдоль сторон, оставив широкий проход по всему периметру главного здания.^[139] Витрувий дает еще одну классификацию по расстоянию между колоннами, которую можно найти во всех справочниках по классической архитектуре. С небольшими вариациями в деталях эти типы оставались неизменными для храмов Греции и Рима. Основные изменения произошли в расширении собственно храма за счет окружающей колоннады. В архаических храмах, таких как более древние храмы Селинуса на Сицилии (VI век до н. э.), портик и колоннада занимают три четверти площади. В храме Гефеста (Тесейона) в Афинах (V век до н. э.) целла занимает лишь немногим более половины общей площади, а в Парфеноне, построенном примерно на двадцать лет позже, размер целлы еще больше увеличился. Большинство этих храмов были крытыми. Гипетральные храмы, в которых целла была открыта небу, упоминаются Витрувием, и вполне вероятно, что некоторые из них, во всяком случае, более крупные, были частично открыты небу. Но как были устроены эти отверстия, почти полностью остается предметом предположений. Крыша использовалась с очень плоским углом наклона - одна высота к четырем основаниям, позже она была еще более плоской, и это диктовало наклон фронтонов. Эта крыша покрывала все здание, то есть и целлу, и колоннады по обе стороны от нее, а поскольку греки не знали принципа треугольной фермы, состоящей из балок, находящихся в состоянии сжатия и растяжения, они не знали, как нести крышу, не выталкивая стены. Отсюда и большая прочность их зданий, и довольно неуклюжая конструкция колоннад в интерьерах храмов, которые, похоже, были единственным средством, которое они могли придумать, чтобы нести крышу. Вспоминая о греческой архитектуре, следует помнить, что греки не были строителями в том смысле, в каком ими были римляне; Они строили хорошо, и лучшая из их кладок была необычайно искусной - только благодаря необычному мастерству в резке и установке камня они могли выполнить тонкие изгибы колонн и других частей своих зданий - но строительство, в смысле изобретения новых методов для удовлетворения сложных условий, не интересовало греков, и нельзя не думать, что греки, возможно, были более успешны с

внешней частью своих зданий, чем с внутренней. Кажется очевидным, что большую часть своего внимания они посвящали внешним возвышениям. Доподлинно неизвестно, как они освещали свои храмы, хотя, конечно, высказывались всевозможные предположения о верхнем освещении. Возможно, в некоторых случаях они освещались только со стороны главного входа, и совершенно точно, что греку не нужны были такие потоки света внутри храма, какие необходимы под нашим северным небом. Во-первых, он пользовался самым ярким и проникающим светом, так что внутри его колоннад отраженного света было достаточно, чтобы показать фриз и другие украшения, и он без колебаний использовал сильные основные цвета, чтобы усилить и объяснить их эффект, где он находил это необходимым. Во-вторых, в самом святилище действовали другие соображения. Была создана некая светящаяся атмосфера, а не позитивный свет, и глубокие тени внутренних колоннад могли способствовать этому эффекту, добавляя загадочности фигуре бога.

Это также может быть объяснением того, что должно показаться архитектору аномалией в дизайне, - греческой привычки размещать огромные фигуры в интерьере своих храмов. Грек, по-своему, был очень религиозным человеком. В своем храме он делал все возможное, чтобы показать величие своего Бога, и если для этого было необходимо, он даже был готов пожертвовать своими принципами художника, пренебречь масштабом интерьера и ритмической гармонией дизайна, внедрив гигантские фигуры. Глаз судит по тому, что он знает, и самый быстрый способ получить представление о размерах здания или памятника - это соотнести его с нормальным размером человеческой фигуры. Витрувий, в своей путаной манере, предположил, что человеческая фигура является каноном и стандартом архитектурного дизайна, но как можно определить масштаб здания, которое содержит фигуру, по крайней мере, в шесть раз больше человека, простирающуюся от пола до крыши? Предполагается, что хриселефантиновая фигура Зевса в Олимпии, выполненная Фидием, имела высоту около тридцати пяти футов и доходила почти до крыши, проходя через двойной ярус колонн и галерею над проходами целлы. Более того, этот бог был представлен сидящим на своем троне, так что он ни в коем случае не мог быть в масштабе со зданием, насколько это касалось архитектуры. Даже гигантский храм Зевса в Агригентуме с его внешними колоннами высотой 61 фут 9 дюймов, достаточно большими для того, чтобы человек мог стоять в одном из флаттингов колонн, вряд ли смог бы противостоять фигурам такого масштаба, как эта. Такой резкий контраст в масштабе нарушал принцип симметрии, то строгое соотношение части и целого, которое греческие художники поддерживали в других местах со скрупулезной тщательностью. Художники с таким отточенным чувством меры, каким обладали греки, вряд ли допустили бы здесь ошибку, и напрашивается вывод: там, где речь шла о религии, все должно было уступить. Действительно, можно представить себе, какой грандиозный эффект производит эта колоссальная фигура, тускло виднеющаяся в полумраке целлы и заполняющая своим присутствием весь храм. Такая же аномалия масштаба произошла в Афинском Акрополе, где огромная фигура Афины Промехос, должно быть, уменьшила прекрасные Кариатиды Эрехтеума до ничтожности. М. Чойси делает доблестную попытку показать, что это несоответствие в масштабе, а также в расположении храмов, было преднамеренным и продуманным. На самом деле, общее правило, которое, похоже, соблюдалось во времена Перикла, заключалось в том, что новые храмы всегда должны строиться на месте старых,^[140] но осевыми линиями пренебрегали, и даже массы Пропилеи, прекрасного здания, каким бы оно ни было, не уравнивались. Акрополь был просто собранием несвязанных между собой зданий, а в великом дельфийском Теменосе различные памятники стояли как попало.^[141] Священный путь петлял, как буква S, и единственным методом, который он соблюдал, было очищение различных сокровищниц и святилищ, которые, похоже, были разбросаны внутри ограды, с пренебрежением друг к другу, чуть менее чем жестоким - довольно наводящий символ междоусобного

соперничества маленьких греческих государств. В Дельфах также находилась огромная фигура Аполлона Ситалкаса высотой, как говорят, семнадцать метров, которая, должно быть, безнадежно не соответствовала масштабу. Дело в том, что греческие архитекторы пятого века еще не пришли к концепции города как единого целого. У них был восхитительный взгляд на место, например, расположение самого Парфенона и храм Геры Лацинии в Агригентуме, расположенный высоко над морем, но неисторично наделять даже архитекторов Парфенона и Пропилеев знаниями и мировоззрением, о которых не задумывались до ста лет спустя. Даже греческие архитекторы и скульпторы V века до н. э. не были всезнающими, но в своих пределах, в своем мастерстве, в том, что они делали, художники эпохи Перикла остаются неприступными, и это был золотой век архитектуры. Они навсегда закрепили основные элементы искусства и установили стандарт достижения чистой формы, которого не смогла достичь ни одна последующая архитектура.

Падение Афин закрыло эту великолепную главу, но с греческой архитектурой было покончено. Серебряный век, эллинистическое искусство, которое последовало за ним, представляет огромный интерес. С возвышением македонской монархии сцена истории переместилась с материка в ионийские колонии на побережье Малой Азии. Такие города, как Эфес и Милет, стали чрезвычайно процветать, Мавсол из Галикарнаса, Атталиды из Пергама обладали богатствами, которые были бы немыслимы для греков Марафона. Городское государство, отчаянно борющееся за свое существование, вдохновленное высокими идеалами патриотизма и религии, уходило в прошлое. Эти греки из Ионии были вполне довольны тем, что наслаждались комфортом и процветанием устоявшейся цивилизации без необходимости бороться за нее; и вся атмосфера их существования, должно быть, отличалась от напряженной жизни Греции пятого века. Более того, ионийский грек, на которого, пусть и подсознательно, влиял дух Азии, по темпераменту не мог поддерживать интеллектуальный уровень дорической архитектуры материка; и разница проявляется во всей направленности искусства, в скульптуре, возможно, даже больше, чем в архитектуре. История эллинистического искусства еще не написана. Его называют декадентским, и оно, несомненно, было ответственно за некоторые очень плохие вещи, но оно также произвело "Победу" из Самофракии, одну из самых прекрасных вещей, когда-либо сделанных в скульптуре, и некоторые очень замечательные разработки в архитектуре. Не стоит судить о нем по стандартам искусства, которое ему предшествовало. Ионический грек IV-III веков до н. э. оторвался от материковой традиции, которая всегда была чужда его инстинктам. Его интересовала не столько безличная религия, сколько утверждение собственной индивидуальности. Он не понимал возвышенного патриотизма и высокого идеала абстрактной красоты, которые вдохновляли Перикла и его художников в Акрополе; более того, во многих его работах чувствуется некая современность, которая становилась все более заметной по мере того, как он попадал под власть Рима. Индивидуализм, реализм, возрождение и коммерциализм современного искусства были предвосхищены эллинистическими художниками Ионии, Родоса, Александрии и самих Афин в римский период. Цивилизация становилась все более сложной, и это нашло отражение в эллинистическом искусстве, одновременно более ярком, чем дорический стиль IV века, но и более искусном в решении сложных проблем планирования и дизайна. Никому не нужна была архаичная простота, когда богатства Азии стекались в сокровищницы ионийских государств, и выражение этой роскошной легкости можно найти в их великолепных храмах, таких как третий храм Артемиды в Эфесе, внешняя колоннада которого имеет размеры 342 фута 6 дюймов на 163 фута 9 дюймов, или огромный храм Аполлона Дидимея в Милете, шириной 165 футов и длиной 360 футов от колоннад до колонн; или удивительный памятник Мавсолу Карийскому в Галикарнасе, или большой алтарь в Пергамене. Фрагменты колонн храма Артемиды, хранящиеся сейчас в Британском музее, рассказывают о его размерах и

богатстве, а также дают первый намек на упадок искусства и цивилизации, который должен был последовать спустя столетия. Греки того великого периода не украшали конструктивные части своих зданий. Им и в голову не пришло бы вмешиваться в линии колонны, что противоречило бы ее назначению; но греческие архитекторы Эфеса не только поставили свои колонны на пьедесталы (что сделало их гораздо менее устойчивыми на вид), но и украсили нижнюю часть ионических колонн фигурами, восхитительными по исполнению, но совершенно неуместными в том положении, которое они занимают. Невозможно представить, чтобы Фидий допустил подобную ошибку. Великолепная по исполнению, какой часто была эллинистическая скульптура, она завоевала свое место за счет архитектуры; тщетно искать в ней тот отбор и сдержанность, которые придают ранним работам их непреходящее отличие.



Рис. 4. ХРАМ

ТЕЗЕЯ В АФИНАХ

Греки пятого века поняли, что архитектура - это искусство с определенной целью, а не просто средство для скульптуры, и что она делает эстетически привлекательной благодаря присущим ей качествам ритма, пропорции, расстояния, массы и очертаний. Хотя они использовали скульптуру и цвет для усиления эффекта своей архитектуры, они очень четко видели функции этих искусств по отношению друг к другу, и держали свою скульптуру и цвет в строгой связи с эстетической целью своей архитектуры. В этом вопросе позднейшие архитекторы сильно заблуждались. Большая часть работ раннего Ренессанса является простым украшением зданий, а в таких зданиях, как Чертоза в Павии, архитектура почти перестала существовать; и большая часть плохой архитектуры последних пятидесяти лет вызвана прискорбным заблуждением, что орнамент - это архитектура. Колонны Эфеса, скульптура Пергамского алтаря, блестящие по техническому исполнению, были первым намеком на тот упадок, который со временем должен был подорвать всю ткань Искусства. Архитектура была отстранена от своего высокого интеллектуального господства. Она все больше и больше стремилась стать обычным делом, и это был легкий переход от изобилия эллинистического искусства к откровенной вульгарности римской орнаментальной архитектуры.

Однако было неизбежно, что прекрасная простота периклийского искусства должна была исчезнуть вместе с его идеалами, и определенную компенсацию можно найти в расширении диапазона и кругозора архитектуры, которым мы обязаны эллинистическим архитекторам четвертого и последующих веков до н. э. В том, что касается совершенства формы, невозможно было вывести искусство за пределы той стадии, до которой его довели Иктин и Калликрат; но оставалось еще кое-что, и очень важное, что нужно было сделать. Осевая планировка, учет связи здания со зданием, похоже, были вне сознания греков V века, и

каждое здание рассматривалось как отдельная единица. Но неудобство этого, потеря возможностей и необходимость порядка и метода должны были стать очевидными, поскольку цивилизация становилась все сложнее и требовательнее. К концу четвертого века до нашей эры традиция архитектурной техники прочно укоренилась, и архитекторы смогли обратить свое внимание на проблемы масштабного планирования, с которыми они, похоже, справились с необычайным мастерством. До сих пор все, что делалось в этом направлении, было обусловлено религиозным вдохновением, как, например, процессии, ведущие к египетским храмам, или аллея фигур в Бранхиде. Эллинистические архитекторы разрабатывали последовательные схемы городского планирования, в которых доминирующим мотивом обустройства был художественный. Они научились рассматривать храмы, общественные здания, открытые пространства и подходы как элементы единой гармоничной композиции, в которой максимально использовались природные возможности места. В Эфесе, например, предположительно существовала последовательная схема, превосходящая по масштабам все подобные проекты, осуществленные даже во Франции в XVIII веке, хотя доказательства, следует отметить, во многом предположительны. В том виде, в каком ее представили сангвиники и энтузиасты-реставраторы, схема была великолепна. Рядом с портом и напротив него с одной стороны находился Арсенал, регулярное здание, выходящее на двор, окруженный колоннадой, который снова открывался на большую площадь, квадратное помещение шириной около 850 футов на север и юг, 650 футов на восток и запад,^[142] окруженное колоннадой со всех четырех сторон, с экседрами, или полукруглыми углублениями. В центре площади находился продолговатый водоем размером примерно 300 на 200 футов, а на дальней стороне, напротив зданий Арсенала, - Дом сената и другие общественные здания; за ними, справа и слева, - театр и стадион, частично вырытые в горе Корессус. Арсенал, Большая площадь с водоемом и общественные здания были расположены на осевой линии и на регулярном прямоугольном плане.

Подобная схема (если можно принять предположительную реставрацию), продуманная во всех ее аспектах, означала настоящий прогресс в области архитектуры. Бесполезно искать безупречную красоту пятого века, но изобретательность и мастерство эллинистических архитекторов придали новое значение этому искусству; и действительно, можно сказать, что они почти установили первый этап в развитии его современной практики. Именно у этих способных эллинистических архитекторов римляне учились монументальному планированию своих городов, и на протяжении веков архитекторами чаще всего становились греки из Малой Азии. В этот момент эллинистическая архитектура сливается с римской и теряет свой особый характер. Через римскую она переходит в современную архитектуру, и так в некотором смысле цепочка завершается; но между этим более поздним искусством и чисто греческой архитектурой лежит огромная пропасть, различия не только в технике, но и в мировоззрении, идеале и темпераменте. Могучие дорические Паэстума, Селинуса и Сегесты, Тесейон и Парфенон навсегда остались совершенным выражением души Древней Греции.

Одна из ироний истории заключается в том, что когда в XV и XVI веках ученые и художники осознали, что в прошлом существовала великая архитектура, они не знали никакой другой ее версии, кроме римской. Какое великолепное развитие могло бы последовать, если бы лучшие духи Возрождения, Альберти, Браманте или Перуцци, основывали свои теории архитектуры на храмах Сицилии и Магна-Грации, а не на униженных примерах императорского Рима! Они, по крайней мере, смогли бы увидеть красоту абстрактной формы и совершенной гармонии, секрет которой, похоже, был открыт только грекам среди народов мира - и то лишь на короткий период их истории. К сожалению, когда во второй половине XVIII века греческая архитектура была открыта, она стала ширмочкой для "виртуозов".

Национальные традиции Франции и Англии были утрачены, греческая архитектура стала модой, а заблуждающийся энтузиазм педантов и любителей настаивал на дословном воспроизведении, что завершило исчезновение архитектуры как народного искусства и заменило ее серией возрождений, от которых она страдает последние сто пятьдесят лет. Сознательное и преднамеренное вмешательство в архитектурное искусство закончилось его разрушением.

Мы не можем надеяться на возрождение греческой архитектуры, да и не должны пытаться это сделать. Когда-то один известный шотландский архитектор считал, что колонна и перемычка - это единственная допустимая форма конструкции, и благодаря этому ограничению и плохо подобранным греческим деталям он создал несколько фантастически уродливых зданий. Следуя аналогичной линии мысли, известный критик прошлого века осуждал методы строительства, не санкционированные Ветхим Заветом. Оба они ошиблись, потому что превыше всех технических деталей архитектуры стоит дух, с которым к ней подходят, интеллектуальный взгляд художника на свое искусство, и это может выражаться в самых разных формах. В греческой архитектуре Золотого периода это мировоззрение было определенным и характерным, и это был тот урок, который очень важен для нас сегодня. Целью и идеалом грека была красота формы, и эта красота, к которой он стремился в первую очередь как к выражению своей религии, в конечном итоге стала почти религией сама по себе. Воплощению этого идеала он посвятил все свои силы, не жалея сил на наказание своих работ, пока они не достигли максимального совершенства. Он слился с этой работой, не думая о том, как выразить себя в своем видении божественной и незыблемой красоты. Вряд ли ему приходило в голову, что его индивидуальные эмоции стоит сохранять. (В скульптуре великого периода выражение лица обычно одно - невозмутимое спокойствие). Хотя религиозные эмоции были источником и вдохновением его творчества, его работы были безличными. Он был далек от того лихорадочного стремления к самораскрытию, которое делает современное искусство таким интересным патологически и таким отвратительным в остальном. В нем также не было ничего от виртуоза. Для него техника не была самоцелью. В эллинистическом искусстве она стала таковой, но не в Золотом веке. Действительно, иногда он почти не заботился о точном моделировании, а в архитектуре не использовал ордер как простое проявление эрудиции. В поисках прекрасной формы он стоял на древних путях, терпеливый и спокойный, неуклонно двигаясь к намеченной цели. 'Ainsi procède le génie grec, moins soucieux du nouveau que du mieux, il reporte vers l'épuration des formes l'activité que d'autres dépensent en innovations souvent stériles, jusqu'à ce qu'enfin il atteigne l'exquise mesure dans les efforts, et dans les expressions l'absolue justesse.'^[143] С тех пор были редкие периоды, когда архитектура двигалась с той же спокойной непоколебимой целью: готическая архитектура, например, в двенадцатом и тринадцатом веках, и некоторые фазы архитектуры восемнадцатого века во Франции и Англии, когда традиция была еще активной и жизненной, а художники были довольны тем, что оставили все как есть.

Современные условия, кажется, полностью противоречат греческой точке зрения в искусстве. Искусство находится в плавильном котле, старые стандарты достижений попираются ногами, а пророки ложно пророчествуют. Совсем недавно нам предложили искать вдохновение в фетишах Золотого Берега, и если цель художника - превзойти своих собратьев в жестокости, то совет дельный. Недавно один критик оправдывал выходки некоторых художников необходимостью рекламировать себя. Это, несомненно, самый быстрый путь к немедленному успеху. Но вопрос для критика заключается не в личном продвижении художника, а в ценности его работы; и хочется спросить, была ли хоть одна хорошая работа в любой период истории искусства вдохновлена этим стремлением кричать громче, чем соседи. Конечно, позиция грека была прямо противоположной. Он не стремился

к рекламе и известности. Он был доволен своим внутренним видением красоты и стремился лишь к ее воплощению. У него не было ни малейшего желания шокировать или испугать кого-либо. Бывают случаи, когда шоковая тактика необходима, но она не нужна каждый день в неделю, как и не нужно начисто отметать прошлое, прежде чем приступить к работе в своем маленьком уголке искусства.

Что нужно современному искусству, так это некоторое осознание этого старого греческого духа, признание его ценности. Греки эпохи Перикла не хотели ни возрождения, ни революции; они двигались вперед, без спешки и тревоги, по традиционным линиям, и им это удавалось, потому что их искусство было настолько переплетено с их жизнью, что в пластических искусствах они не могли изменить свои методы выражения, как не могли изменить свою манеру речи. Этот высокий взгляд на жизнь утрачен и вряд ли может быть восстановлен в современных условиях социальной жизни и политического правления. Возможно, это было возможно только в условиях истинной демократии небольшого греческого города-государства, когда каждый гражданин принимал участие в упорядоченной жизни общины. И все же греческий идеал остался. В нашей лихорадке честных намерений и ошибочных суждений, высоких стремлений и беспардонного коммерциализма греческое искусство, искусство Фидия и Иктина, по-прежнему остается мудрой матерью, к которой мы должны вернуться. Урок Парфенона - это урок непоколебимого видения красоты, стоящей выше индивидуальных усилий и неудач, реализующей себя не в сложных деталях или расчетливой эксцентричности, а в безмятежной и изысканной простоте форм. Она учит нас, что в искусстве нет коротких путей, и что анархия, разрушение того, что было завоевано для нас в прошлом, - это не прогресс, а прямая дорога в бездонную яму варварства. Вместо того чтобы отречься от работы своих отцов, грек довел ее до совершенства и построил свой дворец искусства на надежном фундаменте, потому что он не поворачивался ни вправо, ни влево, а неуклонно направлял свое лицо к свету".

Реджинальд Бломфилд.

СНОСКИ:

[1] Со времени написания этой статьи *Евклид*, Книга I, на греческом языке, была отредактирована с комментарием сэра Томаса Хита (Cambridge Press, 1920). Она полна интереса и поучительности.

[2] См. мою статью "Сократовское учение о душе". *Proceedings of the British Academy*, 1915-16, pp. 235 sqq.

[3] В случае параболы основание (в отличие от "прямой стороны") прямоугольника является тем, что называется *абсциссой* (Gk. ἀποτμήσις, "отсекать") ординаты, а сам прямоугольник равен квадрату на ординате. В случае центральных коник основанием прямоугольника является "поперечная сторона фигуры" или поперечный диаметр (диаметр отсчета), а сам прямоугольник равен квадрату на диаметре, сопряженном с диаметром отсчета.

[4] Это слово означает прежде всего атлета, победителя во всех пяти видах спорта, составляющих пентаθλον, а именно: прыжках, метании диска, беге, борьбе и боксе (или метании копья).

[5] ἐπὶ δὲ τούτοις Πυθαγόρας τὴν περὶ αὐτὴν φιλοσοφίαν εἰς σχῆμα παιδείας ἐλευθεροῦ μετέστησεν. {epi de toutois Pythagoras tēn peri autēn philosophian eis schēma paideias eleutherou metestēsēn}. *Procli Comment. Euclidis lib. I, Prolegom. II* (p. 65, ed. Friedlein).

[6] Слово "биология" было введено Готфридом Рейнгольдом Тревиранусом (1776-1837) в его *"Biologie oder die Philosophie der lebenden Natur"*, 6 vols., Göttingen, 1802-22, и было принято Ж.-Б. де Ламарком (1744-1829) в его *"Hydrogéologie"*, Paris, 1802. Вероятно, первое английское употребление слова в современном смысле принадлежит сэру Уильяму Лоуренсу (1783-1867) в его работе *"О физиологии, зоологии и естественной истории человека"*, Лондон, 1819; однако существуют и более ранние английские употребления этого слова, противопоставленные *биографии*.

[7] Останки Алкмеона приведены в книге Х. Диля *"Фрагменты вросократиков"*, Берлин, 1903, с. 103. Алкмеон рассматривается в сопутствующей главе о *греческой медицине*.

[8] Особенно περὶ γυναικείης φύσιος, *О природе женщины*, и περὶ γυναικείων, *О женских болезнях*.

[9] περὶ ἐβδόμαδων. Греческий текст утрачен. Однако мы располагаем ранним и варварским латинским переводом, а недавно был напечатан арабский комментарий. G. Bergstrasser, *Pseudogaleni in Hippocratis de septimanis commentarium ab Hunnino Q. F. arabice versum*, Leipzig, 1914.

[10] περὶ νοσῶν δ.

[11] περὶ καρδίας.

[12] Особенно в περὶ γονής.

[13] Три сочинения περὶ γονής, περὶ φύσιος παιδίου, περὶ νοσῶν δ, *О поколении, о природе зародыша, о болезнях, книга IV*, образуют в действительности один трактат о поколении.

[14] περὶ φύσιος παιδίου, *О природе зародыша*, § 13. Тот же опыт описан в περὶ σαρκῶν, *О мышцах*.

[15] περὶ φύσιος παιδίου, *О природе зародыша*, § 29.

[16] περὶ φύσιος παιδίου, *О природе зародыша*, § 22.

[17] Там же. § 23.

[18] Возможно, Теофраст заимствовал слово pericarp у Аристотеля. Ср. *De anima*, ii. 1, 412 b 2. В отрывке το φύλλον περικαρπίου σκεπάσμα, το δὲ περικαρπίον καρπού в *De anima* это слово, однако, не имеет, по-видимому, той полной технической силы, которую придает ему Теофраст.

[19] *Historia plantarum*, i. 2, vi.

[20] *Ibid.* i. 1, iv.

[21] *Historia plantarum*, ii. 1, i.

[22] *Historia plantarum*, viii. 1, i.

[23] Натаниэль Хаймор, *История поколений*, Лондон, 1651.

[24] Марчелло Мальпиги, *Anatome plantarum*, Лондон, 1675.

[25] Нехемия Грю, *Анатомия овощей*, Лондон, 1672.

[26] Плиний, *Naturalis historia*, xiii. 4.

[27] Любопытное слово ολυνθαζειν, переведенное здесь как "дикая смоква", происходит от ολυνθος, разновидности дикой смоквы, которая редко созревает. Особое значение, которое здесь придается этому слову, объясняется в другой работе Теофраста, *De causis plantarum*, ii. 9, xv. После описания капрификации смоковниц он говорит: το δε επι των φοινικων συμβαινον ου ταυτον μεν, εχει δε τινα ομοιοτητα τουτω δι' ο καλουσιν ολυνθαζειν αυτους {to de epi tôn phoinikôn symbainon ou tauton men, echei de tina homoiotêta toutô di' ho kalousin olynthazein autous}. 'То же самое делается не с финиками, а с чем-то аналогичным, откуда и название ολυνθαζειν'.

[28] *Historia plantarum*, ii. 8, iv.

[29] Геродот i. 193.

[30] *Historia plantarum*, ii. 8, i.

[31] *Ibid.* ii. 8, ii.

[32] *Historia plantarum*, ii. 8, iv.

[33] *Ibid.* i. 1, ix.

[34] *Ibid.* iii. 18, x.

[35] *De causis plantarum*, ii. 23.

[36] *Historia plantarum*, i. 13, iii.

[37] См. сопутствующую главу о греческой медицине.

[38] Сохранившиеся фрагменты работ Кратеуса были недавно напечатаны М. Вельманом в качестве приложения к тексту Диоскорида, *De materia medica*, 3 vols., Berlin, 1906-17, iii. pp. 144-6. Источник и судьба его рисунков растений обсуждаются в книге того же автора "Кратеус", Берлин, 1897.

[39] Рукопись, о которой идет речь, - Med. Graec. 1, хранящаяся в Королевской библиотеке в Вене. Она известна как *Константинопольская*. После войны она была перевезена в собор Святого Марка в Венеции, но либо уже возвращена, либо вот-вот будет возвращена в Вену. Факсимиле этой великой рукописи было опубликовано Sijthoff, Leyden, 1906.

[40] Речь идет о Юлиане Аниции, дочери Аниция Олибрия, императора Запада в 472 году, и его жены Плацидии, дочери Валентиниана III. Юлиана была обручена в 479 году восточным императором Зеноном с Теодорихом Остроготом, но в 487 году, когда ей была подарена рукопись, вышла замуж за Ареобиндуса, высокопоставленного офицера при византийском императоре Анастасии.

- [41] Важность этой рукописи, а также положение Диоскорида как медицинского ботаника обсуждается Чарльзом Сингером в статье "Греческая биология и становление современной биологии", *Studies in the History and Method of Science*, vol. ii, Oxford, 1921.
- [42] Эта рукопись хранится в библиотеке Лейденского университета, где она имеет номер Voss Q 9.
- [43] Хорошим примером телеологической точки зрения Галена является его классическое описание *руки* в περὶ χρεῖας τῶν ἐν ἀνθρώπῳ σωματὶ μερῶν, *О применении частей тела человека*, i. 1. Этот отрывок доступен на английском языке в трактате Томаса Беллота, Лондон, 1840.
- [44] Ранние европейские переводы с арабского с беспримерной тщательностью проанализированы М. Штейншнайдером в работе "Die Europäischen Uebersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 17. Jahrhunderts", в *Sitzungsberichte der kais. Akad. der Wissenschaften in Wien*, cxlix и cli, Vienna, 1904 и 1905.
- [45] С. Н. Haskins, 'The reception of Arabic science in England,' *English Historical Review*, London, 1915, p. 56.
- [46] Роджер Бэкон, *Opus majus*, под редакцией Дж. Х. Бриджеса, 3 тома, Лондон, 1897-1900. Vol. iii, p. 66.
- [47] Об аристотелевских переводах Скота см. А. Н. Querfeld, *Michael Scottus und seine Schrift, De secretis naturae*, Leipzig, 1919; и С. Н. Haskins, "Michael Scot and Frederick II" в *Isis*, ii. 250, Brussels, 1922.
- [48] J. G. Schneider, *Aristotelis de animalibus historiae*, Leipzig, 1811, p. cxxvi. L. Dittmeyer, *Guilelmi Moerbekensis translatio commentationis Aristotelicae de generatione animalium*, Dillingen, 1915. L. Dittmeyer, *De animalibus historia*, Leipzig, 1907.
- [49] Тему латинских переводов Аристотеля рассматривают А. и К. Журден (A. and C. Jourdain), *Recherches critiques sur l'âge des traductions latines d'Aristote*, 2nd ed., Paris, 1843; М. Грабманн (M. Grabmann), *Forschungen über die lateinischen Aristoteles Übersetzungen des XIII. Jahrhunderts*, Münster i/W., 1916; и F. Wüstenfeld, *Die Übersetzungen arabischer Werke in das Lateinische seit dem XI. Jahrhundert*, Göttingen, 1877.
- [50] Огромный *De Animalibus* Альберта Кельнского теперь доступен в издании Х. Штадлера, *Albertus Magnus De Animalibus Libri XXVI nach der kölner Urschrift*, 2 vols., Münster i/W., 1916-21. Цитата переведена из тома i, pp. 465-6.
- [51] Работа Конрада удобно отредактирована Х. Шульцем, *Das Buch der Natur von Conrad von Meigenberg, die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache, in Neu-Hochdeutsche Sprache bearbeitet*, Greifswald, 1897. Работа Конрада основана на труде Томаса из Кантимпре (1201-70).
- [52] Иеронимо Фабрицио из Аквапенденте, *De formato foetu*, Падуя, 1604.
- [53] Уильям Харви, "Упражнения по выведению животных", Лондон, 1651.
- [54] Karl Ernst von Baer, *Ueber die Entwicklungsgeschichte der Thiere*, Königsberg, 1828-37.
- [55] Труды Герофила утрачены. Этот прекрасный отрывок был сохранен для нас Секстом Эмпириком, врачом третьего века, в его проς τοὺς μαθηματικοὺς ἀπὸρρητικοί, который, по сути, является нападением на всю позитивную философию. Забавно, что за останками

величайшего анатома древности нам приходится обращаться к такому труду. Этот отрывок находится в разделе, направленном против этических писателей, xi. 50.

[56] Слово *φυσικός*, хотя и перешло в латынь (Цицерон) со значением *натуралист*, приобрело у поздних греческих писателей оттенок *колдуна*. Возможно, слово *physicianus* было введено для того, чтобы отличить его от *physicus*, занимавшегося чародейством. В поздней латыни *physicus* и *medicus* почти всегда взаимозаменяемы.

[57] Этот фрагмент был опубликован в томе iii, часть 1, *Supplementum Aristotelicum X*. Дильсом под названием *Anonymi Londinensis ex Aristotelis Iatricis Menonis et Aliis Medicis Eclogae*, Berlin, 1893. См. также H. Bekh и F. Spät, *Anonymus Londinensis, Auszüge eines Unbekannten aus Aristoteles-Menons Handbuch der Medizin*, Berlin, 1896.

[58] После выхода в печать появился предварительный отчет о весьма примечательном папирусе Эдвина Смита, см. J. H. Breasted в *Recueil d'études égyptologiques dédiées à la mémoire de Champollion*, Paris 1922, и *New York Historical Society Bulletin*, 1922.

[59] Заманчиво также связать культ змеи Асклепия с тем, что змея занимает важное место в минойской религии.

[60] Слово *pronoia*, как объясняет Гален (εἰς τὸ Ἱπποκράτους προγνώστικον, К. xviii, В. р. 10), не используется в философском смысле, как, например, когда мы спрашиваем, была ли вселенная создана случайно или с помощью *pronoia*, и не употребляется в современном смысле *прогноза*, хотя включает и его. *Проноя* у Гиппократов означает знание вещей о пациенте до того, как вам их скажут. См. E. T. Withington, "Некоторые греческие медицинские термины со ссылкой на Луку и Лидделла и Скотта", *Proceedings of the Royal Society of Medicine (Section of the History of Medicine)*, xiii, р. 124, London, 1920.

[61] *Прогностика* 1.

[62] Отношение Асклеиады к храмовой практике обсуждается в статье Э. Т. Уитингтона "Асклеиада и жрец Асклепия" в *Studies in the History and Method of Science*, edited by Charles Singer, vol. ii, Oxford, 1921.

[63] Работы Анаксимена утрачены. Однако эта его фраза сохранилась у более позднего писателя Аэция.

[64] О работах этих врачей см. особенно M. Wellmann, *Fragmentsammlung der griechischen Aerzte*, Bd. I, Berlin, 1901.

[65] Гален, περὶ ανατομικῶν εὐχετησέων, *Об анатомических препаратах*, § 1, К. II, р. 282.

[66] *Historia animalium*, iii. 3, где она приписывается Полибу. Однако этот же отрывок дважды повторяется в сочинениях Гиппократов, а именно в περὶ φύσιος ἀνθρώπου, *О природе человека*, Литтре, vi. 58, и в περὶ ὀστέων φύσιος, *О природе костей*, Littré, ix. 174.

[67] Παραγγεῖλαι, § 6.

[68] См. рис. 1.

[69] Перевод профессора Артура Платта.

[70] Следует, однако, признать, что в сборнике Гиппократов встречаются нарушения клятвы, например, при индукции аборта, о которой говорится в περὶ φύσιος παιδίου. Однако есть свидетельства, что автор этого труда не был практикующим врачом.

[71] Rome Urbinas 64, fo. 116.

[72] Кюхлевейн, i. 79, считает это интерполированным отрывком.

[73] Littré, ii. 112; Kühlewein, i. 79. Тексты различаются: Кюхлевейн следует за ним, за исключением последнего предложения.

[74] Περὶ τέχνης, § 3.

[75] Περὶ νοσην α', § 6.

[76] Упоминание о расчленении в περὶ αρθρων, *О суставах*, § 1, кажется настоящему писателю александрийским.

[77] Их можно найти в качестве приложения к I и III книгам "*Эпидемий*" и встроенными в III книгу.

[78] Джон Чейн (1777-1836) описал этот тип дыхания в "*Дублинских больничных отчетах*", 1818, ii, p. 216. Крайний случай этого состояния был описан однофамильцем Чейна Джорджем Чейном (1671-1743) как знаменитый "Случай почтенного полковника Тауншенда" в его "*Английских болезнях*", Лондон, 1733. Уильям Стокс (1804-78) опубликовал свой рассказ о дыхании Чейна-Стокса в "*Дублинском ежеквартальном журнале медицинских наук*", 1846, ii, p. 73.

[79] Эпидаврские надписи приведены М. Фраенкелем в *Corpus Inscriptionum Graecarum* IV, 951-6 и рассмотрены Мэри Гамильтон (миссис Гай Дикинс) в книге "*Инкубация*", Сент-Эндрюс, 1906, из перевода которой я привел цитату. Другие надписи приведены Каввадиасом в *Archaiologike Ephemeris*, 1918, p. 155 (издано в 1921 г.).

[80] Почти то же самое говорится в апокрифическом *Евангелии от Никодима*, § 1, произведении, вероятно, написанном в конце четвертого века.

[81] Астли Пастон Купер, "*Трактат о вывихах и переломах суставов*", Лондон, 1822, и "*Наблюдения о переломах шеи и бедренной кости и т. д.*", Лондон, 1823.

[82] Эта знаменитая рукопись известна как Laurentian, Plutarch 74, 7, и ее рисунки воспроизведены Н. Schöne, *Apollonius von Kitium*, Leipzig, 1896.

[83] Первые строки являются источником знаменитых строк в "*Фаусте*" Гете:

"Ach Gott! die Kunst ist lang
Und kurz ist unser Leben,
Mir wird bei meinem kritischen Bestreben
Doch oft um Kopf und Busen bang.

[84] Крайность лечения в оригинале относится к крайнему ограничению диеты, ες ακρίβειαν, но смысл афоризма всегда воспринимался как более обобщенный.

[85] Древние почти ничего не знали об инфекции применительно именно к болезням. Все ранние народы, включая греков и римлян, верили в передачу качеств от объекта к объекту. Таким образом, чистота и нечистота, удача и неудача были инфекциями, и болезни считались инфекциями в этом смысле. Но в античности мало свидетельств веры в особую инфекционность *болезни как таковой*. Некоторые болезни, однако, однозначно называются инфекционными в ограниченном числе отрывков, например, офтальмия, чесотка и фтизис в

περί διαφορᾶς πυρετῶν, *О различии лихорадок*, К. vii, р. 279. Ссылки на инфекцию в античности подробно описаны К. и Д. Сингерами, "Научная позиция Джироламо Фракасторо", *Анналы истории медицины*, т. i, Нью-Йорк, 1917.

[86] К. F. H. Marx, *Herophilus, ein Beitrag zur Geschichte der Medizin*, Karlsruhe, 1838.

[87] Galen, περί ανατομικῶν εὑχειρησεῶν, *On anatomical preparations*, ix. 5 (последнее предложение).

[88] Гален, περί φλεβῶν καὶ ἀρτηρίων ἀνατομῆς, *Об анатомии вен и артерий*, i.

[89] Цитата взята из главы xxxiii, строки 44 *Anonymus Londinensis*. H. Diels, *Anonymus Londinensis in the Supplementum Aristotelicum*, vol. iii, pars 1, Berlin, 1893.

[90] Sanctorio Santorio, *Oratio in archilyceo patavino anno 1612 habita; de medicina statica aphorismi*. Venice, 1614.

[91] Это единственный сохранившийся отрывок из сочинения Гегетора. Он сохранился в труде Аполлония Цициумского.

[92] Лейденский Voss 4° 9* шестого века является фрагментом этого произведения.

[93] V. Rose, *Sorani Ephesii vetus translatio Latina cum additis Graeci textus reliquiis*, Leipzig, 1882; F. Weindler, *Geschichte der gynäkologisch-anatomischen Abbildung*, Dresden, 1908.

[94] Открытие и атрибуция этих фигур - работа К. Судхоффа. Библиографию его работ по этому вопросу можно найти в "Исследовании по анатомии раннего Возрождения" в книге К. Зингера *"Исследования по истории и методу науки"*, т. i, Оксфорд, 1917.

[95] Первое латинское издание Венеция, 1552; первое греческое издание Париж, 1554.

[96] Например, περί κρᾶσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἀπαντῶν φαρμάκων и фармака.

[97] Например, *De dinamidiis Galeni, Secreta Hippocratis* и многие астрологические трактаты.

[98] Расчленение животных практиковалось в Салерно уже в XI веке.

[99] Источники анатомических знаний Средневековья подробно рассматриваются в следующих работах: R. R. von Töply, *Studien zur Geschichte der Anatomie im Mittelalter*, Vienna, 1898; K. Sudhoff, *Tradition und Naturbeobachtung*, Leipzig, 1907; а также многочисленные статьи в *Archiv für Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften*; Charles Singer, "A Study in Early Renaissance Anatomy", in *Studies in the History and Method of Science*, vol. i, Oxford, 1917.

[100] Заметки Бенивени были опубликованы посмертно. Некоторые из поддельных греческих работ коллекции Гиппократы также имеют примечания.

[101] *Tusc.* 1. 1. 2.

[102] *Inst. Or.* I. 1. 12.

[103] Гете, *Gespräche*, 3. 387.

[104] Там же, 3. 443.

[105] Вордсворт, *Застольная беседа*.

[106] Шелли, *О нравах древних*.

[107] Милль, *Диссертации*, ii. 283 f.

[108] Macaulay, *Life and Letters*, i. 43.

[109] Гомер, *Илиада*, vi. 466 и далее (с пропусками: в основном в переводе Ланга, Листа и Майерса). Следует помнить, что из трех фигур в этой сцене муж умрет через несколько дней, а через год жена станет рабыней, а ребенок будет сброшен с городской стены.

[110] Бытие xxi. 14 f.

[111] *Илиада*, xvi. 428 f.: "Как стервятники с кривыми когтями и изогнутыми клювами, которые на каком-нибудь высоком утесе дерутся, громко крича". *Ibid.* v. 770 f.: "Насколько далеко простирается взгляд человека в дымке, когда он сидит на возвышении и взирает на виннотемное море, настолько далеко у источника скачут громко вздымающиеся кони богов".

[112] *Поэтика*, с. 23 (перевод Мясника).

[113] "Чужеземец, скажи спартанцам, что мы лежим здесь, повинуюсь их словам".

[114] *Phaedo*, 118 B.

[115] fr. 95: "Звезда вечерняя, приносящая все, что рассеял яркий рассвет, ты приводишь овец, ты приводишь козленка, ты возвращаешь ребенка матери".

[116] *Илиада*, xxiv. 277 f. (с пропусками).

[117] Эти цитаты из Китса я взял из Bradley, *Oxford Lecture on Poetry*, p. 238.

[118] Каллимах, *Epigr.* 20: "Его отец Филипп положил здесь на покой своего двенадцатилетнего сына, свою большую надежду, Никотела".

[119] *Thuc.* iv. 104, 105, 106 (tr. Jowett, в основном).

[120] *The Greek Genius and its Meaning to us*, pp. 74 ff.

[121] В этих романах и в "*Династии*" мистер Харди позволяет своим личным взглядам угнетать одну сторону весов: в своих менее значительных романах он часто показывает, что может удерживать равновесие. Это различие следует иметь в виду во всех критических замечаниях по поводу его творчества, которые я осмелился высказать.

[122] Китс, *Предисловие к "Эндимиону"*.

[123] *Гимн Деметре*, л. 2 и далее. Перевод в основном выполнен по изданию Pater, *Greek Studies*. "Которую, с согласия дальновидного, глубокомысленного Зевса, унес Эйдоней, когда она играла с широкогрудыми дочерьми Океана, собирая цветы на лугу с мягкой травой, розами, крокусами, фиалками, ирисами, гиацинтами и странным великолепием нарциссов, которые Земля, повинуюсь желанию Эйдонея, принесла, чтобы поймать цветоподобную девушку. Это было удивительно для всех, бессмертных богов и смертных людей. Сто цветов выросло из его корней, и очень сладок был его аромат, и смеялось, глядя на него, широкое небо, и вся земля, и соленые волны моря. Она в изумлении протянула две руки, чтобы взять прекрасную игрушку: и тогда на нисийской равнине разверзлась широкая земля, и царь великого народа мертвых выскочил со своими бессмертными конями".

[124] ll. 732 f. (tr. Murray).

[125] Витрувий, *De Architectura*.

[126] Плиний Старший, *Historia Naturalis*, xxxvi.

[127] Павсаний, Ἑλλάδος Περιήγησις.

[128] Сэр Артур Эванс составил гениальную хронологию раннеминойского периода (2800-2200 гг. до н. э.), среднеминойского (2200-1700 гг. до н. э.) и позднеминойского (1700-1200 гг. до н. э.). Доказательства почти полностью состоят из керамики, обнаруженной на месте поселения. Весь вопрос о соотношении минойского и микенского искусства, а также этого архаичного искусства с более ранними цивилизациями Египта и Халдеи, очень туманен и неопределен.

[129] Геральдическая трактовка львов имеет восточное происхождение. У греков была традиция, что вожди Микен пришли из Лидии.

[130] Части этих колонн сейчас находятся в Британском музее.

[131] Ордер, скажу я для непосвященных, означает полную упорядоченность колонны, архитрава, опирающегося непосредственно на ее столицу, фриза и карниза. Это окончательное выражение простого устройства столба и перемычки, балки, опирающейся на головки двух или более столбов; и мало кто сомневается, что в своем конечном происхождении ордер - это перевод в камень деталей примитивной деревянной конструкции.

[132] *Hellenistic Sculpture*, by Guy Dickins, p. 85. Автор, писавший с проницательностью художника и точностью ученого, умер от ран на Сомме в 1916 году.

[133] *Витрувий*, iii. 1. Трудность заключалась в том, что если триглиф поместить на углу здания (практика греков), а следующий триглиф поместить над осью колонны, то метопа (или панель) между этими двумя триглифами будет больше, чем метопа между триглифами, расположенными над осями других колонн. Греки решили эту проблему, уменьшив ширину торцевого интерколумния, но поздним критикам это не понравилось, и они решили ее, удалив торцевой триглиф из угла и расположив его осевым над торцевой колонной.

[134] Витрувий называет это "aedes in antis".

[135] Про-стиль (колоннада спереди).

[136] Амфипро-стиль (колоннада на обоих концах).

[137] Периптеральный (одинарная колоннада по всему периметру).

[138] Диптеральный (двойная колоннада по всему периметру).

[139] Псевдодиптеральный (внутренний ряд колонн опущен).

[140] Эрехтей был исключением.

[141] См. книгу "*Дельфы*" д-ра Фредерика Поулсена, с. 52. Есть предположение, что Священный путь существовал еще до постройки святилищ, и что его блуждания были вызваны уклонами склона. Однако, похоже, не было предпринято никаких попыток исправить это или рассматривать его как элемент дизайна.

[142] Вандомская площадь имеет размеры 450 футов. × 420 футов; площадь Гросвенор-сквер - около 650 × 530; Линкольнс-Инн-Филдс - около 800 × 630, если измерять от стены до стены зданий.

[143] Choisy, *History of Architecture*, vol. i, p. 298.

Примечания и ошибки транскриптора

Иллюстрации перенесены в соответствующие места в тексте.

Исправлены следующие опечатки.

Страница	Ошибка	Исправление
218	назад	черный
424	непоколебимый	непоколебимый

Следующие слова встречаются в тексте в дефисной и не дефисной формах. В скобках указано количество примеров.

каракатица (2)	каракатица (1)
пресноводный (1)	пресноводный (1)
предзанятость (4)	озабоченность (1)
	озабоченность (1)
переупорядочивание (1)	перестановка (1)
повторное открытие (2)	повторное открытие (3)
супермены (1)	супермены (1)
суперженщины (1)	суперженщины (1)
учебник (5)	учебник (2)
учебники (2)	учебники (3)